



РОМЕН
РОЛАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

ЖАН-КРИСТОФ

*Книги шестая,
седьмая, восьмая*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

*Собрание сочинений
осуществляется под общей редакцией
И. АНИСИМОВА*

*Переводы с французского
под редакцией
Б. ПЕСИСА*

Книга шестая
АНТУАНЕТТА

МОЕЙ МАТЕРИ

Перевод
Н. КАСАТКИНОЙ

Жанены принадлежали к числу тех старых французских семей, которые веками живут в одном и том же захолустном уголке и хранят чистоту рода от посторонних вторжений. Несмотря на перемены, происшедшие в обществе, таких семей во Франции больше, чем можно предположить. Они сами не сознают, какими глубокими корнями вросли в почву, от которой их может оторвать только сильная встряска. В этой их привязанности соображения рассудка не играют никакой роли, соображения выгоды — очень малую, а умиление перед исторической стариной свойственно лишь кучке просвещенных литераторов. Но всех, как самых невежественных, так и самых образованных, связывает одинаково неразрывными узами глубокое и могучее чувство, подсказывающее им, что они испокон веков — частица этой земли, живут ее жизнью, дышат ее воздухом, слышат у своей груди биение ее сердца, как два существа, лежащие рядом на общем ложе, улавливают каждое ее содрогание, малейшие оттенки, которыми отличаются друг от друга часы суток, времена года, погожие и хмурые дни, голоса и молчание природы. При этом и местность может быть не из самых красивых, и живется там не очень легко, но к ней привязываешься тем крепче, чем проще, чем смиреннее там природа, чем ближе она к человеку и чем яснее говорит ему родным, задушевым языком.

Такой была провинция в самом сердце Франции, где обитали Жанены. Плоский болотистый край, старинный сонный городок, который со скукой глядится в мутную, застоявшуюся воду канала; а кругом — пашни, луга,

ручейки, обширные леса, однообразные поля... Ни живописного вида, ни навевающего воспоминания памятника старины. Ничто здесь не привлекает. И все привязывает. В таком застое, в таком оцепенении есть скрытая сила. Впервые столкнувшись с ними, ум человеческий страдает и возмущается. Но кто из поколения в поколение жил под воздействием этой силы, тот уже не может стереть ее отпечаток: она вошла в его плоть и кровь; эта неподвижность, эта баюкающая скука, это однообразие полны для него чарующей прелести, в которой он не отдает себе отчета, которую даже отрицает, но любит и не забудет никогда.

Жанены жили здесь с незапамятных времен. Их род удалось проследить в архивах города и окрестностей вплоть до XVI века благодаря неизбежному двоюродному дедушке, который посвятил свою жизнь составлению родословной этих неизвестных тружеников: крестьян, деревенских ремесленников, а позднее сельских писцов и нотариусов, в конце концов осевших в супрефектуре округа, где Огюстен Жанен, отец нынешнего Жанена, преуспел в качестве банковского дельца; это был человек ловкий, по-крестьянски упорный и с хитрецей, в общем честный, но без чрезмерной щепетильности, неутомимый работник и прожигатель жизни; своим лукавым добродушием, прямоотой и богатством он умудрился внушить к себе почтение и страх на десять лье в окружности. Приземистый, коренастый, кряжистый, с мясистым, красным, в оспинах лицом и быстрыми глазками, он в молодости слыл большим любителем слабого пола и под старость не совсем утратил вкус к женщинам. Он любил вольные шутки, любил хорошо поесть. Стоило посмотреть на него за столом в обществе его сына Антуана и нескольких старых приятелей того же пошиба — мирового судьи, нотариуса, настоятеля собора (старик Жанен вел яростную кампанию против церкви, но охотно водил компанию со служителями церкви, если те были люди компанейские): все это были молодцы точно на подбор, как и подобало землякам Рабле. Гул стоял от забористых острот, от стука кулаками по столу, от

раскатов хохота. Их безудержное веселье передавалось прислуге на кухне и соседям на улице.

Но однажды в знойный летний день старик Огюстен вздумал спуститься в погреб без пиджака, чтобы самому разлить вино по бутылкам, и схватил воспаление легких. В одни сутки убрался он в иной мир, в который не очень-то верил, напутствуемый надлежащими церковными таинствами, как и полагается провинциальному буржуа-вольнодумцу: в последнюю минуту он на все готов согласиться, лишь бы бабье к нему не приставало, тем более, что самому-то ему наплевать... А кстати, кто знает...

Сын Антуан наследовал ему в делах. Это был веселый, румяный, низенький толстяк, бритый, с бакенбардами, очень подвижной, шумливый; говорил он быстро, глотая слова и отрывисто жестикулируя. Он не обладал коммерческими способностями отца, но не лишен был хозяйственной жилки. Впрочем, достаточно было спокойно продолжать начатое до него дело, чтобы оно шло своим ходом и процветало само по себе. В местных кругах Антуана считали дельным человеком, хотя, говоря по совести, роль его была самая незначительная; он способствовал преуспеванию предприятия только своей методичностью и усердием. В общем он был человек в высшей степени почтенный и всюду пользовался заслуженным уважением. И в городке и в окрестных деревнях он снискал себе прочную популярность приветливостью и простотой манер, кое-кому казавшихся чересчур панибратскими, развязными и грубоватыми. В деньгах он не был расточителен, но в чувствах — щедр непомерно. Он легко пускал слезу и при виде чужой беды так бурно выражал свое огорчение, что неизменно потрясал пострадавшего. Как и большинство обитателей городка, Антуан увлекался политикой. Он был до крайности умеренным республиканцем и при этом ярким либералом, патриотом и, по примеру отца, рьяным антиклерикалом. Он состоял в муниципальном совете, и для него с коллегами не было лучшего удовольствия, как насолить приходскому священнику или суровому проповеднику, приводившему в восторг местных дам. Кстати, не следует забывать, что антиклерикализм французских

провинциальных городков по большей части бывает одним из видов домашней войны, замаскированной формой той глухой и жестокой борьбы между мужьями и женами, которая неизбежна почти в каждой семье.

Антуан тяготел и к литературе. Как все провинциалы его поколения, он был воспитан на латинских классиках, из которых заучил наизусть несколько страниц и множество пословиц, на Лафонтене и Буало — на Буало «Поэтики» и главное «Аналоя», на авторе «Девственницы», а также на *poetae minores*¹ французского XVIII века и пытался подражать им в своих стихотворных опусах. В их кругу не он один страдал этой склонностью, возвышавшей его в глазах знакомых. В городе повторяли его стихотворные шутки, четверостишия, буриме, акrostихи, эпиграммы и куплеты, зачастую несколько вольные, однако не лишённые довольно плоского юмора. Тайны пищеварения при этом отнюдь не были забыты. Муза прилуарских краев охотно трубит в рог на манер знаменитого дантовского дьявола:

Ed egli avea del cul fatto trombetta...²

Этот крепкий жизнерадостный и деятельный толстяк женился на женщине совершенно иного типа — на дочери местного судейского чиновника, Люси де Вилье. Все де Вилье или, вернее, Девилье — их фамилия разделилась с течением времени, как раскалывается надвое камень, скатившийся с холма, — итак, все де Вилье из поколения в поколение служили по судебному ведомству и принадлежали к той старинной породе французских парламентариев, для которых священно понятие закона, долга, общественных приличий, личного, а тем более профессионального достоинства, подкрепленного безупречной честностью с легким привкусом самодовольства. В предшествовавшем веке они набрались фрондирующего янсенизма, от которого у них осталось отвращение ко всякому иезуитству и какая-то брюзгливая разочарованность. Жизнь представлялась им в мрачном свете, и они отнюдь не старались сглаживать житейские

¹ второстепенных поэтах (лат.).

² А тот трубу изобразил из зада (итал.) — Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXI. — Прим. ред.

невзгоды, а, наоборот, рады были нагромоздить новые, лишь бы иметь право брюзжать. Люси де Вилье унаследовала некоторые из этих черт, прямо противоположных несколько примитивной жизнерадостности своего мужа. Это была женщина высокого роста, на голову выше мужа, худощавая, стройная, одевалась она со вкусом, но, пожалуй, слишком строго, словно умышленно старалась казаться старше своих лет; сама глубоко нравственная по натуре, она была крайне требовательна к другим, не прощала не только проступков, но даже промахов и слыла холодной и высокомерной. Она отличалась большой набожностью, что служило поводом для вечных раздоров между супругами. Вообще же они были очень любящей четой, и хотя часто ссорились, но жить друг без друга не могли. Оба были равно лишены практической сметки — он от неумения разбираться в людях (его ничего не стоило провести умильным видом и пышными фразами), она — от полной неопытности в деловых вопросах (ее всегда держали в стороне от дел, и она привыкла не интересоваться ими).

У четы Жаненов было двое детей: дочь Антуанетта и сын Оливье, моложе сестры на пять лет.

Антуанетта была хорошенькая брюнетка с приветливым, простодушным личиком чисто французского типа — округлый овал, блестящие глаза, выпуклый лоб, изящный подбородок, прямой носик, — «тонкий нос благородства необычайного (как галантно выражается один из старых французских портретистов), каковой чуть приметно морщился и оживлял все лицо, указывая, сколь тонки были чувства молодой особы, когда она благоволила говорить или слушать». От отца Антуанетта унаследовала жизнерадостность и беспечность.

Оливье был хрупкий блондин небольшого роста, как отец, но совсем иного характера. В детстве он подолгу серьезно хворал, отчего здоровье его пошатнулось, и хотя домашние всячески холили его, он с ранних лет стал вялым, задумчивым мальчуганом, боялся смерти и был беззащитен перед лицом жизни. Он рос одиноко: от природы нелюдимый, сторонился и дичился сверстни-

ков — ему было с ними не по себе; их игры и драки его отталкивали, их грубость приводила в ужас. Он терпел их побои не от недостатка храбрости, а от застенчивости: он боялся защищаться, чтобы не сделать кому-нибудь больно. Мальчики совсем бы его замучили, если бы не положение отца. Оливье был очень нежным и болезненно чувствительным ребенком: малейшее слово, ласка, упрек доводили его до слез. Сестра, натура более здоровая, чем он, дразнила его, называла «Фонтанчик».

Брат и сестра горячо любили друг друга, но они были слишком разными, чтобы жить согласно. Каждый шел своим путем, увлекаемый своей мечтой. Антуанетта с возрастом все хорошела; ей об этом говорили, она и сама это знала, радовалась и уже видела себя в будущем героиней романов. Тщедушного меланхолика Оливье корбило всякое соприкосновение с внешним миром, и он искал прибежища в своем глупеньком ребяческом воображении, рассказывая себе разные истории. У него была страстная, чисто женская потребность любить и быть любимым; живя одиноко, в стороне от сверстников, он создал себе двух-трех вымышленных друзей: одного звали Жан, одного Этьен, а еще одного — Франсуа; он был постоянно с ними, а не с теми, кто его окружал на самом деле. Спал он мало и вечно о чем-то грезил. Утром, когда его удавалось поднять с постели, он задумывался, свесив с кровати голые ножки или же натянув оба чулка на одну ногу, что тоже случалось нередко. Он задумывался, погрузив обе руки в умывальный таз. Он задумывался за партой, не дописав строчки или заучивая урок; он часами витал в мечтах, а потом вдруг с ужасом обнаруживал, что не успел ничего выучить. Когда его окликали за обедом, он пугался и отвечал не сразу, а начав говорить, забывал, что хотел сказать. Он жил в полудреме, убаюканный своими детскими думами и однообразными, привычными впечатлениями медленно текущей провинциальной жизни: большой пустынный дом, половина которого была необитаемой; огромные, страшные подвалы и чердаки; наглухо запертые, таинственные комнаты с закрытыми ставнями, с мебелью в чехлах, с завешенными зеркалами, закутанными люстрами; старинные фамильные портреты с

застывшими улыбками; гравюры времен империи — смесь игривой добродетели и героизма — «Алкивиад и Сократ у куртизанки», «Антиох и Стратоника», «История Эпаминонда», «Нищий Велитарий»; снаружи — с той стороны улицы — грохот кузни, скачущий ритм молотов, тяжкие, прерывистые вздохи кузнечного меха, запах паленого рога, стук вальков на берегу, где прачки полощут белье, глухие удары топора, доносящиеся из мясной лавки в соседнем доме, цоканье лошадиных копыт по мостовой, скрип колодца, лязг разводимого моста на канале, тяжелые баржи, груженные штабелями дров, медленно тянущиеся на буксире мимо сада; мощный дворик с небольшой клумбой, где среди поросли герани и петуний тянулись вверх два сиреневых куста; вдоль террасы над каналом кадки с лавровыми и гранатовыми деревьями в цвету; а в базарные дни — шум с площади, крестьяне в глянцеvitых синих блузах, визг свиней... По воскресеньям в церкви фальшивящий певчий, старик-кюре, дремлющий во время мессы; прогулка всей семьей по Вокзальному проспекту, где время проходило в обмене церемонными приветствиями с такими же страдальцами, тоже считавшими своим долгом гулять семьями, — пока, наконец, дорога не выводила в озаренные солнцем поля, над которыми вились незримые жаворонки, или на берег сонного, подернутого рябью канала, по обоим берегам которого тянулись ряды тополей...

А потом парадные провинциальные обеды, где без конца ели и обсуждали еду с упоением и знанием дела; знатоками же были все, ибо чревоугодие для провинциала — важнейшее занятие, подлинное искусство. Говорили и о делах, рассказывали пикантные анекдоты; иногда заводили разговор о болезнях, не скупясь на подробности. Мальчуган сидел в своем уголке, тихонько, точно мышка, грыз что-нибудь, когда другие ели, и слушал, слушал. Ничто не ускользало от его внимания, а что ему случалось недослышать, он дополнял воображением. У него был удивительный дар, присущий отпрыскам старых семей, старых родов, на которых оставили свой след целые века, — дар угадывать мысли, ему самому пока что не приходившие в голову и едва ли даже понятные. И еще была кухня, где творились сочные и

смачные чудеса; была старая нянюшка, которая рассказывала потешные и страшные сказки. А по вечерам — бесшумный полет летучих мышей, ужас перед копошащимися где-то в недрах старого дома чудовищами: жирными крысами, гигантскими мохнатыми пауками; вечером — молитва на коленях у кровати, когда сам не понимаешь, что бормочешь; дребезжание колокольчика в соседней богадельне, зовущего монахинь ко сну; и постель, островок грез...

Лучшее время в году было весна и осень, когда семья жила в своей усадьбе, недалеко от города. Там можно было мечтать вволю: никто посторонний туда не заглядывал. Как и большинство буржуазных детей, брата и сестру держали подальше от простонародья: прислуга и фермеры внушали им своего рода страх и брезгливость. От матери они заимствовали аристократическое — или, вернее, чисто буржуазное — презрение к людям физического труда. Оливье проводил целые дни, примостившись среди ветвей ясеня, зачитываясь чудесными мифами, сказками Музеуса или г-жи д'Онуа, или «Тысячей и одной ночью», или же путешествиями, потому что его томила непонятная тоска по далеким краям — те мечты об океане, которые нередко булбурят юных обитателей французских захолустных городков. Густая зелень застилающая от него дом, и он мог воображать себя где-то очень далеко. И в то же время ему было приятно сознавать, что он близко: он не любил один удаляться от дома, — он чувствовал себя каким-то затерянным среди природы. Деревья колыхались вокруг. Сквозь чащу листвы он видел вдали желтеющие виноградники и луга, где паслись пестрые коровы, наполняя тишину засыпающих полей протяжным и жалобным мычанием. Петухи пронзительными голосами перекликались от фермы к ферме. Слышался неравномерный стук цепов на току. И среди невозмутимого покоя неодушевленной природы полным ходом шла лихорадочная жизнь великого множества живых существ. Беспokoйным взглядом следил Оливье за веренищами озабоченных муравьев, за пчелами, отягощенными добычей и гудящими точно орган, за спесивыми и глупыми осаами, которые сами не знают, чего хотят, — за этим мирком хлопотливых насекомых,

жадно стремящихся куда-то. Куда же? Им это неизвестно. Все равно! Куда-нибудь... Оливье пробирала дрожь среди этого слепого и враждебного мира. Он вздрагивал, как зайчонок, от шума упавшей шишки или треска сухого сучка. И сразу же успокаивался, заслышав, как звякают на другом конце сада кольца качелей, на которых до головокружения качалась Антуанетта.

Она тоже мечтала, но на свой лад. Целыми днями рыскала она по саду, заглядывала во все уголки, смеялась, лакомила, клевала виноград с кустов, как дрозд, потихоньку срывала с ветки персик, взбиралась на сливовое дерево или, проходя мимо, украдкой встряхивала его, чтобы на землю градом посыпалась золотая мирабель, тающая во рту, как душистый мед. А то еще, несмотря на запрет, рвала цветы: ломает розу, которую облюбовала с утра, и убежит в беседку в конце сада. Там она жадно зарывалась носом в чудесно пахнущий цветок, целовала, кусала, обсасывала лепестки, потом прятала похищенное сокровище за корсаж платья между двумя маленькими грудями; и с любопытством смотрела, как они приподнимают распахнувшуюся кофточку. Другим упоительным и запретным наслаждением было снять башмаки и чулки и бродить босиком по мелкому прохладному песку аллеи, по росистой траве лужаек, по камням, ледяным в тени или раскаленным на солнце, и по дну ручейка, текущего вдоль опушки леса, — ласкать пятками, ногами, коленями воду, землю, свет. Лежа в тени елей, она разглядывала свои пальцы, прозрачные на солнце, и бессознательно касалась губами атласистой кожи своих тонких и округлых рук. Она мастерила себе венки, ожерелья, платья из листьев плюща и дуба; вплетала в них лиловатые цветы чертополоха, красные ягоды барбариса, еловые веточки с зелеными шишками. И, точно принцесса какого-то варварского племени, плясала вокруг фонтана, вытянув руки; она кружилась, кружилась до тех пор, пока у нее не начинала кружиться голова; тогда она с размаху опускалась на лужайку, прятала лицо в траву и звонко смеялась несколько минут подряд, не в силах остановиться, сама не зная, чему смеется.

Так брат и сестра проводили дни, в двух шагах друг от друга, не интересуясь друг другом, — разве только

Антуанетте вздумается мимоходом подшутить над братом, бросить в него горсть сосновых игл, потряхнуть дерево, на котором он сидел, так, что он чуть не падал, или испугать его, внезапно набросившись с криком:

— У! У!..

Временами на нее нападала охота дразнить его. Желая сманить его на землю, она уверяла, будто мама зовет. А потом сама забиралась на его место и не желала слезать. Оливье хныкал, грозил пожаловаться. Но Антуанетта и сама не засиживалась на дереве — она не могла двух минут пробыть спокойно. Вдоволь поиздевавшись над Оливье с высоты ясеня, доведя его до бешенства, чуть не до слез, она кубарем скатывалась вниз, накидывалась на него, смеясь тормозила его, называла «простофилей» и валила наземь, утирая ему нос пучками травы. Он пытался бороться, но у него не хватало сил. Тогда он затихал и с жалостно покорным видом, не шевелясь лежал на спине, как майский жук, раскинув худенькие руки, прижатые к земле крепкими кулачками Антуанетты. При виде побежденного и сдавшегося на ее милость брата Антуанетта смягчалась, со смехом порывисто целовала Оливье и отпускала, не преминув на прощанье засунуть ему в рот пучок травы, чего он совсем не выносил, потому что был до крайности брезглив. Он плевался, вытирал рот, возмущался и негодовал, а она, смеясь, убегала со всех ног.

Она смеялась всегда. Смеялась даже ночью, во сне. Оливье, лежа в соседней комнате, рассказывал себе занимательные истории и, хотя не спал, но вздрагивал всякий раз, как она принималась хохотать или бормотала бессвязные слова, нарушая ночную тишину. В саду под порывами ветра скрипели деревья, ухала сова, собаки выли в дальних деревнях и на фермах, затерявшихся в лесу. В тусклом, мерцающем свете ночи Оливье видел, как за окном, подобно призракам, шевелятся тяжелые, темные ветви елей, и от смеха Антуанетты ему становилось спокойнее.

Оба они были очень набожны, в особенности Оливье. Отец смущал их своими антиклерикальными речами, но предоставлял им в этом смысле полную свободу и в глу-

бине души был даже доволен, как многие неверующие буржуа, что домашние веруют за него, — никогда не мешает иметь союзников в противном лагере, ведь трудно предугадать, чья возьмет. По существу он был деистом и не исключал возможности, когда пробьет час, позвать священника по примеру отца: пусть пользы от этого нет, зато нет и вреда — когда страхуешься от огня, вовсе не думаешь, что обязательно должен случиться пожар.

У Оливье, мальчика болезненного, была склонность к мистицизму: временами ему казалось, что он уже перестал существовать. По натуре доверчивый и мягкий, он нуждался в опоре; ему доставляло мучительное наслаждение исповедоваться, доверяться незримому Другу, чьи объятия всегда раскрыты для тебя, кому все можешь сказать, кто все поймет и простит; он с восторгом погружался в эту купель, откуда душа выходит чистой, омытой и умиротворенной. Верить было для него настолько естественно, что он не понимал, как можно не верить, и видел в этом злую волю или кару божью. Он молился тайком, чтобы отца осенила благодать, и когда они однажды вместе зашли в деревенскую церковь, очень обрадовался, увидев, что отец машинально перекрестился. Рассказы из священной истории перемешались у него в голове с волшебными сказками о Рюбецале, о Грациозе и Персинэ и о калифе Гарун Аль Рашиде. В раннем детстве он не сомневался в реальности и тех и других. И так же как порой ему казалось, что он на самом деле встречал и Шакабака с рассеченными губами, и болтливого цирюльника, и кашгарского горбуна; так же как, выходя на прогулку, он оглядывался, надеясь увидеть черного дятла, несущего в клюве волшебный корень кладонискателя, — точно так же его детское воображение без труда превращало какой-нибудь бургундский или беррийский уголок в Ханаан или Землю обетованную. Круглый холмик с деревцом на верхушке, похожим на общипанный султан, представлялся ему горю, где воздвиг свой жертвенник Авраам. А большой засохший куст на краю жнивья был для него Неопалимой купиной, успевшей погаснуть за столько веков. Даже когда он подрос и в нем проснулось критическое чувство, ему попрежнему нравилось убаюкивать себя

народными легендами, с которыми переплетается вера; и, понимая, что он обманывает себя, Оливье с упоением продолжал себя обманывать. Так, долгие годы он в страстную субботу подстерегал возвращение пасхальных колоколов, которые в четверг отправились в Рим и должны вернуться по воздуху, увитые лентами. В конце концов он понял, что это неправда, и все-таки закидывал голову, когда слышал перезвон; один раз ему даже почудилось, — хотя он и знал, что это невозможно, — будто над домом пролетел и скрылся в поднебесье колокол, разукрашенный голубыми бантами.

У него была неодолимая потребность погружаться в этот мир легенды и веры. Он бежал от жизни. Бежал от самого себя. Он рос худеньким, бледным, чахлым мальчиком, страдал от этого и не терпел, когда ему об этом напоминали. В нем был заложен врожденный пессимизм, вероятно унаследованный от матери и попавший на благоприятную почву. Он этого не сознавал: ему казалось, что все люди такие; и вот он, десятилетний мальчуган, в перерыве между уроками не убегал играть в сад, а запирался у себя в комнате и, лениво грызя сухарик, писал завещание.

Он вообще много писал. Каждый вечер тайком он непременно делал записи в дневнике, сам не зная зачем, потому что сказать ему было нечего и писал он сущие пустяки. Страсть к писанию была у него наследственной — вековой привычкой французского провинциального буржуа старой, несокрушимой породы, который с идиотским, доходящим до героизма упорством подробно записывает для себя все, что он видел, говорил, делал, слышал, ел и пил, и так каждый день, до гробовой доски. Для себя. Ни для кого другого. Никто никогда этого не прочтет. Он это знает и сам никогда не перечитывает своих записей.

Музыка, как и религия, служила для Оливье прибежищем от чересчур резкого света дня. Оба, брат и сестра, были в мать — музыкальны от природы, особенно Оливье. Впрочем, их музыкальный вкус оставлял желать лучшего. Некому было развить его в этом захолустье,

где единственной музыкой, которую доводилось слышать, были военные марши или, в лучшем случае, попури из Адольфа Адама в исполнении местного духового оркестра да еще романсы, разыгрываемые на церковном органе, и фортепианные упражнения буржуазных барышень, бренчавших на расстроенных инструментах несколько полек и вальсов, увертюру из «Багдадского калифа» или из «Охоты молодого Генриха» да две-три сонаты Моцарта, всегда одни и те же и с одними и теми же фальшивыми нотами. Это составляло неизменную программу званых вечеров. После обеда всех, кто обладал какими-нибудь талантами, приглашали осчастливить общество: они сперва смущались и отказывались, потом уступали настояниям гостей и исполняли наизусть свой коронный номер. А гости наперебой восхищались прекрасной памятью исполнителя и его «виртуозной» игрой.

Без этого представления не обходился почти ни один вечер, что портило обоим детям все удовольствие парадного обеда. Когда их сажали играть в четыре руки неизменное «Путешествие в Китай» Базена или пьески Вебера, они еще не очень робели, потому что были уверены друг в друге. Но когда приходилось выступать одному, начиналась настоящая пытка. Антуанетта здесь, как и во всем, оказывалась храбрее брата. Хотя ей смертельно не хотелось играть, она знала, что увильнуть не удастся, и скрепя сердце с независимым видом усаживалась за рояль, стараясь как можно быстрее отбарабанить свое «Рондо»; некоторые пассажи смазывала, на других сбивалась, останавливалась и, повернув голову, произносила с улыбкой:

— Ах, боже мой, забыла... — Потом, не долго думая, перескакивала через несколько тактов и доигрывала до конца.

Окончив, она откровенно радовалась, что отбыла повинность, и, когда возвращалась на свое место под гул похвал, говорила, смеясь:

— Ну и врала же я!..

Оливье не отличался таким покладистым нравом. Ему было мучительно выставять себя напоказ перед посторонними, быть центром всеобщего внимания. Даже

разговаривать при гостях для него было пыткой. А играть, особенно для людей, которые не любили музыки, — это он ясно видел, — скучали, слушая ее, и просили играть только потому, что так принято, казалось ему уже настоящей пыткой, и он пытался бунтовать, но тщетно. Обычно он упорно отказывался, иногда убегал, чтобы спрятаться в темной комнате, в коридоре и даже на чердаке, хотя ужасно боялся пауков. Оттого что он упирался, его упрасивали особенно настойчиво, над ним подтрунивали; к разговорам чужих добавлялись окрики родителей, подкрепляемые шлепками в тех случаях, когда бунтарский дух разгорался не в меру. Как это ни было бессмысленно, мальчику все-таки приходилось играть. А так как он был самолюбив и кроме того по-настоящему любил музыку, то потом всю ночь мучился, что играл плохо.

Музыкальные вкусы городка не всегда были такими убогими. Старожилы помнили времена, когда в двух или трех буржуазных домах устраивались недурные вечера камерной музыки. Г-жа Жанен часто рассказывала о своем дедушке, который с увлечением играл на виолончели, пел арии Глюка, Далеярака и Бертона. В доме сохранились толстая нотная тетрадь и целая кипа итальянских арий, ибо почтенный старец напоминал г-на Андриэ, о котором Берлиоз говорил: «Он очень любил Глюка». И с горечью добавлял: «Он очень любил и Пиччини». Возможно, что Пиччини он любил больше. Во всяком случае итальянские арии преобладали в собрании деда. Они послужили музыкальной пищей маленькому Оливье. Пища не очень здоровая, похожая на те провинциальные лакомства, которыми пичкают детей: она притупляет вкус, портит желудок и чаще всего отбивает охоту к более питательным кушаньям. Но Оливье нельзя было назвать сладкоежкой. Ему просто не давали более питательных кушаний. Не получая хлеба, он пробавлялся пирожными. Так волею судеб этого задумчивого, мистически настроенного мальчика вскормили Чимароза, Паэзиелло, Россини, и у него кружилась голова, когда он пил *Asti spumante*¹, которое наливали ему

¹ Итальянское шипучее вино. — Прим. ред.

взамен молока эти веселые и дерзкие отцы Силены вкупе с двумя резвыми вакханками из Неаполя и Катаньи, чьи улыбки полны невинного сладострастия, — Перголезе и Беллини.

Он много играл на рояле, один, для собственного удовольствия. Он был весь пропитан музыкой, не старался понять то, что играет, и наслаждался, не размышляя. Никто не думал учить его гармонии, и сам он не стремился учиться. Все, что имело отношение к науке и научной мысли, было чуждо его близким, особенно с материнской стороны. Все эти законники, краснобаи и философы становились в тупик перед любой научной проблемой. В семье говорили как о чуде об одном дальнем родственнике, состоявшем в географическом обществе. И тут же добавляли: недаром он сошел с ума. Старая провинциальная буржуазия, наделенная крепким и трезвым умом, но отупевшая от бесконечного поглощения и переваривания пищи, от однообразной жизни, выше всего ставит свой здравый смысл; она верит в него безусловно и считает, что нет таких трудностей, с какими бы он не справился; ей представляется, что люди науки недалеко ушли от людей искусства, — правда, пользы они приносят больше, зато они не так возвышенны; а от людей искусства никто и не ожидает ничего путного, но в их праздности есть своего рода аристократизм. Кстати, каждый буржуа не сомневается, что он преуспел бы в любом виде искусства, если бы пожелал, тогда как ученые — это почти рабочие (что весьма унижительно), те же фабричные мастера, только более образованные и малость помешанные; на бумаге они все умеют, но стоит им оторваться от их фабрики цифр — и они никуда не годятся. Они бы немногого достигли, если бы ими не руководили люди, обладающие здравым смыслом, а также житейским и деловым опытом.

Вся беда в том, что отнюдь не доказано, так ли уж всемогущ этот житейский и деловой опыт, как хотят уверить себя обладатели здравого смысла. Скорее всего это шаблон, пригодный для очень ограниченного количества несложных случаев. Стоит возникнуть непредвиденному обстоятельству, требующему быстрого решения, — и эти люди оказываются безоружными.

Банкир Жанен принадлежал к людям этого типа. Все было до того точно предусмотрено заранее, все повторялось так неизменно в размеренном ходе провинциальной жизни, что он ни разу не сталкивался с серьезными затруднениями. Он наследовал в делах отцу, не имея особого призвания к коммерции; так как все шло гладко, он приписывал это своим врожденным способностям и любил повторять, что для успеха вполне достаточно быть честным, трудолюбивым и руководствоваться здравым смыслом; он предполагал передать предприятие Оливье, нимало не интересуясь, как в свое время его отец, соответствуют ли эти планы вкусам и устремлениям сына, и отнюдь не подготавливал юношу к будущей карьере. Он предоставлял своим детям расти на воле, лишь бы они были послушными детьми, а главное, лишь бы им было хорошо, ибо он души в них не чаял. Таким образом, и Оливье и Антуанетта были как нельзя хуже подготовлены к житейской борьбе — они росли, словно тепличные растения. Но ведь будущее их было обеспечено. В этом сонном захолустье, в богатой, уважаемой семье, при веселом, приветливом, радушном отце, окруженном друзьями и считавшемся одним из первых лиц в местном коммерческом мире, жизнь казалась такой легкой, так улыбалась им!

Антуанетте было шестнадцать лет. Оливье готовился к первому причастию. Он жил в полусне под таинственное бормотание своих грез. Антуанетта вслушивалась в сладостный щебет беззаветных надежд, от которых, как от апрельских соловьиных трелей, наполняются счастьем вешние сердца. Ей отрадно было чувствовать, что тело и душа ее расцветают, зная, что она мила, и слушать, как ей об этом говорят. Одних похвал отца, его неосторожных речей с избытком хватало, чтобы вскружить ей голову.

Он восторгался дочерью, его забавляло ее кокетство, томные взгляды, которые она бросала в зеркало, ее невинные и хитрые девичьи уловки. Он сажал ее к себе на колени, поддразнивая справлялся о ее сердечке, вел счет одержанным ею победам и предложениям, которые

якобы ей делали через него; он перечислял ей женихов: все это были почтенные господа, один старше и уродливее другого. Она в ужасе отмахивалась, звонко смеясь, обнимала отца за шею и прижималась личиком к его щеке. А он допытывался, кто же счастливый избранник: прокурор ли республики, о котором старая нянюшка Жаненов говорила, что он уродлив, как семь смертных грехов, или же толстяк-нотариус? Антуанетта легонько шлепала его, чтобы он замолчал, или закрывала ему рот руками. Он целовал ее ладони и, подкидывая на коленях, напевал известную песенку:

Так кого же вам посватать бы, красотка?
Не хотите ли уroda-старика?

Она заливалась смехом, связывая ему бакенбарды у подбородка, и отвечала припевом:

А нельзя ли найти помоложе,
И чтоб был он хоть чуть попригоже?

Она твердо намеревалась сама выбрать себе мужа, зная, что она богата или будет очень богата (о чем ей непрерывно твердил отец) и, следовательно, «завидная невеста». Лучшие местные семьи, в которых были сыновья, уже начали обхаживать ее, плели вокруг нее сети тонкой лести и шитых белыми нитками хитроумных интриг, чтобы поймать прелестную золотую рыбку. Но рыбка грозила проскользнуть у них между пальцев, потому что умненькая Антуанетта отлично видела их хитрости и от души забавлялась: она не прочь была пойматься, но не желала, чтобы ее поймали. Про себя она уже решила, за кого выйдет замуж.

Знатная семья их окружи (в каждой округе обычно бывает только одна такая знатная семья, которая якобы ведет свой род от бывших феодальных властителей провинции; однако чаще всего такие семьи происходят от скупщиков национального имущества, интендантов XVIII века или поставщиков наполеоновских армий), — иными словами, семья Бонниве, имевшая в двух лье от города настоящий замок с остроконечными башнями, крытыми блестящей черепицей, посреди густых лесов, с богатыми рыбой прудами, — вот эта-то знатная семья явно делала авансы Жаненам. Молодой Бонниве

увивался вокруг Антуанетты. Он был недурен собой, хотя несколько грузен и толстоват для своих лет, и целый божий день только и знал, что охотился, ел, пил и спал; он ездил верхом, умел танцевать, отличался неплохими манерами и был не глупее прочих. Время от времени он являлся из замка в город в высоких сапогах, верхом или на дрожках; он заезжал к банкиру якобы по делам и привозил то корзинку дичи, то огромный букет для дам; пользуясь случаем, он ухаживал за банкирской дочкой, гулял с ней по саду. Отпускал тяжеловесные комплименты и мило шутил, покручивая ус и позвякивая шпорами по плитам террасы. Антуанетта находила его обворожительным. Он умел польстить ее гордости и ее чувствам. И она упивалась этой чудесной порой первой ребяческой любви. Оливье же ненавидел молодого дворянчика за то, что тот такой сильный, тупой, грубый, громко смеется, руку сжимает, как клещами, имеет обыкновение щипать его за щеку и называет «малыш» — что звучит как-то презрительно. А больше всего он бессознательно ненавидел Бонниве за то, что этот чужой человек любил его сестру... его сестру, его собственность, его — и ничью больше!..

Между тем катастрофа надвигалась. Рано или поздно она неминуемо разражается над каждой из этих буржуазных семей, много веков назад вросших в небольшой клочок земли и в конце концов истощивших его соки. Они мирно прозябают и верят, что будут существовать вечно, как та земля, что носит их. Но земля та мертва и корни засохли: достаточно одного удара заступом, чтобы выкорчевать все без остатка. Тогда начинаются разговоры о невезении, о неожиданном несчастье. Никакого невезения не было бы, если бы дерево оказалось устойчивее, а уж если бы стряслась беда, то шквал промчался бы, поломав лишь несколько веток, но не тронув ствола.

Банкир Жанен был человек слабый, доверчивый, немного тщеславный. Он любил пускать пыль в глаза и нередко забывал разницу между показным и подлинным. Он сорил деньгами направо и налево, не нанося, впро-

чем, большого ущерба своему состоянию, так как транжирство его умерялось вековой привычкой к бережливости, когда в приливе раскаяния дрожат над спичкой, только что израсходовав сажень дров. В делах он тоже был не слишком осмотрителен, никогда не отказывал в займе друзьям, а попасть к нему в друзья было трудно. Часто он даже не находил нужным потребовать расписку, не очень-то считал, кто ему сколько должен, и никогда не взыскивал долгов, если должники сами не спешили их отдать. Он ждал от других такой же добросовестности, какую, по его мнению, вправе были ждать от него. К тому же он был застенчив, что никак не вязалось с его непринужденными и даже развязными манерами. Он ни за что не решился бы отказать назойливому просителю или усомниться в его платежеспособности. И поступал он так столько же по доброте, сколько из малодушия. Он никого не хотел обижать и боялся, как бы его не обидели. Поэтому он всегда уступал. А чтобы обмануть самого себя, давал в долг с такой готовностью, как будто, беря у него займы, вы оказывали ему услугу. Он и сам, пожалуй, в это верил: самолюбие и природный оптимизм внушали ему, что всякое дело, за которое он берется, — выгодное дело.

Такой образ действий, конечно, привлекал к нему сердца тех, кто нуждался в займе. Крестьяне его обожали, зная, что всегда могут обратиться к нему за помощью, и не упускали удобного случая прибегнуть к ней. Но благодарность людей — даже людей порядочных — плод, который надо срывать во-время. Стоит передергать его на дереве, как он начнет гнить.

Проходило несколько месяцев, и должники г-на Жанена привыкали к мысли, что он обязан был оказать им эту услугу, и даже склонны были полагать, что г-н Жанен недаром с такой охотой пришел им на помощь, — очевидно, он видел в этом для себя выгоду. Наиболее совестливые считали, что они сквитались, если не деньгами, то вещественными знаками благодарности, принеся банкиру в базарный день зайца, которого они сами подстрелили, или корзинку яиц от собственных кур.

Пока речь шла о небольших суммах и г-ну Жанену попадались относительно порядочные люди, все обходилось

более или менее благополучно: денежный ущерб, о котором банкир умалчивал даже у себя дома, был ничтожен. Положение изменилось, когда г-н Жанен столкнулся с аферистом, который затеял какое-то крупное промышленное дело и, прослышав о сговорчивости банкира и его денежных возможностях, обратился к нему. Господин этот держал себя важно, носил в петлице ленточку Почетного легиона, старался показать, что он приятель с двумя-тремя министрами, одним архиепископом, целой уймой сенаторов, со многими видными лицами из литературного и финансового мира, свой человек в одной из влиятельнейших газет, и сразу же усвоил властный и дружеский тон, действовавший неотразимо на его жертву. Пользуясь приемами, которые своей беззастенчивостью насторожили бы любого человека более проникательного, чем г-н Жанен, он предъявлял в качестве гарантий трафаретно-любезные записки от знакомых знаменитостей, где они либо благодарили за приглашение на обед, либо в свою очередь приглашали его, — известно, как щедры французы на подобную эпистолярную ходячую монету и как они, не задумываясь, принимают приглашение или пожимают руку субъекта, с которым познакомились час назад, лишь бы с ним было не скучно и он не просил у них денег. Впрочем, найдутся и такие, которые не откажутся помочь своему новому приятелю, если другие последуют их примеру. И нужно особое невезение, чтобы умный человек, желающий избавить своего ближнего от излишка денег, не нашел бы в конце концов барана, который первый позволит себя остричь и увлечет за собой других. Никто, лучше чем Жанен, не мог бы сыграть роль первого барана. Он был из той длиннорунной породы, которая создана для стрижки. Гость подкупил банкира своими важными знакомствами, дешевой лестью и красноречием, а также тем, что на первых порах советы его оказались очень удачными. Жанен сначала рискнул небольшой суммой — и успешно; тогда он рискнул большей и, наконец, всем: не только своими деньгами, но и деньгами своих клиентов. При этом он даже не подумал их предупредить — он не сомневался в крупном барыше и хотел осчастливить их сюрпризом,

Предприятие рухнуло. Он узнал об этом стороной от одного из своих парижских корреспондентов; тот вскользь упомянул в письме о новом крахе, не подозревая, что Жанен тоже является жертвой: банкир ничего никому не рассказывал и, по непостижимому легкомыслию, не считал нужным — казалось, даже избегал — советоваться с осведомленными людьми; он все проделал тайком, полагаясь на свой непогрешимый здравый смысл, и удовольствовался самыми поверхностными справками. Бывают в жизни минуты такого помрачения, когда кажется, будто человек во что бы то ни стало хочет погубить себя и словно боится, что кто-нибудь удержит его: в таком состоянии избегают спасительного совета, прячутся от всех и спешат очертя голову нырнуть в омут.

Господин Жанен помчался на вокзал и, терзаясь тревогой, сел в парижский поезд. Он ехал на розыски того субъекта. Он еще тешил себя надеждой, что известия ложны или по крайней мере преувеличены. Субъекта он, разумеется, не нашел, зато получил подтверждение, что крах — полный. Он вернулся домой в полубезумном состоянии и не сказал никому ни слова. Никто еще ничего не знал. Он сделал попытку выиграть несколько недель, несколько дней. В своем неисправимом оптимизме он старался уверить себя, что найдет способ возместить убытки, если не свои, то хоть своих клиентов. Он перепробовал все средства и при этом действовал так необдуманно и поспешно, что заранее обрек себя на неудачу, даже если бы мог еще что-то спасти. На просьбы о займе он повсюду получал отказ. С отчаяния он пустился на рискованные спекуляции и потерял те крохи, которые у него еще оставались. После этого в нем произошел коренной перелом. Попрежнему он ни о чем никому не рассказывал, но стал раздражителен, резок, груб и ужасающе мрачен. С чужими он еще силился казаться веселым, но все видели, в каком он тяжелом состоянии, и приписывали это болезни. С домашними он почти не пытался сдерживаться, и они сразу заметили, что у него какая-то крупная неприятность. Он стал неузнаваем. То вдруг вбегал в комнату и начинал рыться в шкафах, вышвыривал на пол все бумаги и приходил

в ярость оттого, что ничего не может найти, или оттого, что ему предлагали помочь. Потом стоял и смотрел в растерянности на устроенный им беспорядок и, когда у него спрашивали, что он ищет, не мог толком ответить. К домашним он как будто совсем охладел, а то вдруг целовал их со слезами. Он перестал спать, перестал есть.

Госпожа Жанен видела, разумеется, что они на пороге катастрофы, но она никогда не вмешивалась в дела мужа и ничего в них не смыслила. Она попыталась его расспросить — он грубо оборвал ее; она оскорбилась и больше не настаивала, но сама дрожала от страха, не понимая толком почему.

Дети, конечно, не подозревали о близости катастрофы. Правда, Антуанетта была слишком умна, чтобы, как и мать, не предчувствовать несчастья, но ее целиком поглощала радость зарождающейся любви, и ей не хотелось думать о неприятном: она уговаривала себя, что тучи рассеются сами собой, а уж если не рассеются, всегда успеешь обратить на них внимание.

Пожалуй, Оливье лучше всех понимал душевное состояние несчастного банкира. Мальчик чувствовал, что отец страдает, и тайне страдал вместе с ним. Но сказать он ничего не смел: ведь он ничем не мог помочь, он ничего не знал. А кроме того, он тоже старался не думать об этих непонятных ему огорчениях: так же как у матери и сестры, у него была суеверная надежда, что если не пожелаешь видеть, как беда надвигается, она, быть может, и не надвинется. Люди, чувствующие, что над ними нависла угроза, склонны вести себя, как страус: они прячут голову за камнем и воображают, что беда не увидит их.

В городе пошли тревожные слухи. Говорили, что кредит банка пошатнулся. Хотя банкир держал себя при клиентах с подчеркнутым спокойствием, самые недоверчивые под тем или иным предлогом сразу потребовали обратно свои вклады. Г-н Жанен понял, что погиб. Он стал отчаянно обороняться, изображал негодование, с видом оскорбленного достоинства жаловался, что ему не

доверяют, и дошел до того, что стал устраивать своим старым клиентам скандалы, окончательно погубившие его в глазах общества. Требования о возвращении вкладов посыпались со всех сторон. Увидев, что положение безвыходное, он совсем потерял голову, отправился в соседний курортный городок попытать счастья в игре, за четверть часа проигрался дотла и вернулся домой.

Его неожиданный отъезд еще больше взбудоражил весь город; теперь уже прямо говорили, что он бежал, и г-же Жанен стоило большого труда сдерживать ярость и волнение клиентов: она умоляла их потерпеть, клялась, что муж вернется. Ей не очень верили, хотя всеми силами жаждали верить. И потому, когда стало известно, что Жанен возвратился, все вздохнули с облегчением: многие решили было, что беспокоились зря и что у Жаненов достанет ловкости вывернуться из самого скверного положения, если оно действительно так уж скверно. Поведение банкира подтверждало эту уверенность. Теперь, когда стало ясно, что выход один, он держался очень спокойно, только вид у него был измученный. Сойдя с поезда и встретив на перроне приятелей, он мирно поговорил о том, что полям давно уже нужен дождь, что виноград уродился на славу и что кабинет министров подал в отставку, о чем сообщали вечерние газеты.

Дома он сделал вид, что не замечает волнения жены, которая бросилась ему навстречу, едва он вошел, и начала торопливо и сбивчиво рассказывать, что произошло в его отсутствие. Она старалась угадать по выражению его лица, удалось ли ему отвратить непонятную ей опасность; однако из самолюбия не стала расспрашивать: она ждала, чтобы он заговорил сам, но он не сказал ни слова о том, что мучило их обоих. Он молча отклонил ее попытку вызвать его на откровенный разговор. И с ней он потолковал о погоде, о том, что очень устал от жары, пожаловался на страшную головную боль, и все, как обычно, сели обедать.

Утомленный и озабоченный, он почти все время молчал, хмурил лоб и барабанил пальцами по столу; он заставлял себя есть, понимая, что за ним следят, и, невидящими глазами смотрел на детей, смущенных молчанием за столом, и на жену, которая замкнулась в своей

оскорбленной гордости и, не глядя на мужа, подмечала каждое его движение. К концу обеда он как будто очнулся, попытался завязать разговор с Антуанеттой и Оливье, спросил, что они делали во время его отсутствия; но ответов он не слушал, а слышал только их голоса, и, хотя смотрел прямо на них, взгляд его был далеко. Оливье чувствовал это: он ни с того ни с сего прерывал рассказ о своих ребяческих делах, и продолжать ему не хотелось; зато Антуанетта после минутного смущения вновь обрела всю свою жизнерадостность — она болтала, как резвая сорока, клала руку на руку отца или теребила его за пиджак, чтобы он лучше слушал. Г-н Жанен молчал; взгляд его переходил с Антуанетты на Оливье, и морщина на лбу становилась все глубже. Посреди рассказа дочери он не выдержал, поднялся из-за стола и, желая скрыть свое волнение, отошел к окну. Дети сложили салфетки и тоже встали. Г-жа Жанен отослала их играть в сад; через минуту они уже с пронзительным криком гонялись друг за другом по дорожкам. Г-жа Жанен ходила вокруг стола, поглядывая на мужа, который стоял к ней спиной, и делала вид, будто что-то прибирает. Внезапно она подошла к нему и сказала приглушенным голосом, чтобы не услышала прислуга, да и страх душил ее:

— Послушай, Антуан, что с тобой наконец? Что-то случилось?.. Да, да! Ты что-то скрываешь... Случилось несчастье? Или ты болен?

Но г-н Жанен снова отстранил ее, нетерпеливо передрнул плечами и сказал резким тоном:

— Да нет же! Говорю тебе — нет! Оставь меня в покое!

Она возмутилась и ушла, повторяя себе в слепой ярости, что какая бы беда ни стряслась с мужем, ее это отныне не касается.

Господин Жанен спустился в сад. Антуанетта расшались и тормошила брата; ей хотелось бегать с ним наперегонки, а мальчик вдруг заявил, что не желает больше играть, и прислонился к балюстраде террасы в нескольких шагах от отца. Антуанетта снова попыталась расшевелить его, но он сердито оттолкнул сестру;

в ответ она нагрубила ему и, так как в саду все развлечения были исчерпаны, ушла в дом и села за рояль.

Господин Жанен и Оливье остались одни.

— Что с тобой, мой мальчик? Почему ты не хочешь играть? — нежно спросил отец.

— Я устал, папа.

— Ну, тогда давай посидим на скамейке.

Они сели. Был прекрасный сентябрьский вечер. Ясное ночное небо. Сладковатый запах петуний смешивался с резким, немного затхлым запахом темной воды канала, дремавшей у подножья террасы. Ночные бабочки — большие светлые сфинксы — кружили над цветами, жужжа, точно веретенца. Мирные голоса соседей, сидевших у порога своих домов по ту сторону канала, гулко раздавались в тишине. Из окон слышны были звуки рояля — это Антуанетта играла итальянские арии с фиоритурами. Г-н Жанен курил, держа в своей руке руку Оливье. В темноте, мало-помалу скрывшей черты отца, мальчик видел лишь огонек трубки, который то вспыхивал, то угасал на миг, снова вспыхивал и, наконец, совсем погас. Они почти не разговаривали. Оливье спросил названия некоторых звезд. Г-н Жанен, как большинство провинциальных буржуа, мало сведущий в вопросах мироздания, знал только имена крупных созвездий, известные всякому, но он сделал вид, будто мальчик о них и спрашивает, и назвал их. Оливье не стал противоречить — ему всегда приятно было слышать и повторять вполголоса их красивые, таинственные имена. К тому же он не столько ждал ответа, сколько чувствовал бессознательную потребность быть поближе к отцу. Они замолчали снова. Оливье, откинув голову и приоткрыв рот, смотрел на звезды; он совсем было задремал — теплота отцовской руки согревала его. И вдруг эта рука начала дрожать. Оливье удивился и заметил веселым сонным голоском:

— Ой, папа, как у тебя рука дрожит!

Господин Жанен отдернул руку.

Детский умишко Оливье продолжал работать, и минуту спустя мальчик спросил:

— Папа, ты тоже устал?

— Да, милый.

Детский голосок произнес ласково:

— Не надо так уставать, папа!

Господин Жанен привлек к себе голову сына, прижал к своей груди и прошептал:

— Бедняжка ты мой!..

Но мысли Оливье уже изменили направление — на башенных часах пробило восемь. Мальчик высвободился из объятий отца со словами:

— Пойду почитаю.

Ему было разрешено по четвергам, спустя час после обеда, читать до самого сна: это было для него величайшее счастье, и он ни за что на свете не пожертвовал бы хоть одной минутой.

Господин Жанен отпустил сына и принялся шагать взад и вперед по темной террасе. А немного погодя тоже вошел в дом.

Мать и дети сидели в гостиной у лампы. Антуанетта пришивала бант к кофточке; она болтала, не умолкая ни на секунду, или напевала, к великому неудовольствию Оливье, который уткнулся в книгу, сдвинув брови, опершись локтями на стол и зажав уши кулаками, чтобы ничего не слышать. Г-жа Жанен штопала чулки и разговаривала со старушкой няней, которая, стоя перед ней, отдавала отчет в расходах за день и пользовалась случаем посудачить немного. У нее всегда был запас забавных историй, которые она излагала таким уморительным языком, что слушатели покатывались со смеху, а шалунья Антуанетта пыталась ей подражать. Г-н Жанен молча поглядел на них. Никто не обратил на него внимания. Он постоял минутку в нерешительности, сел, взял книгу, раскрыл наугад, снова захлопнул, встал, — нет, ему положительно невольно было оставаться здесь. Он зажег свечу, пожелал всем покойной ночи, потом подошел к детям и с волнением поцеловал их; они рассеянно поцеловали его в ответ, не взглянув на него. Антуанетта была поглощена своей работой, а Оливье — книгой. Оливье даже не отнял рук от ушей и досадливо проворчал: «Покойной ночи», продолжая читать (он не оторвался бы от книги, даже если бы кто-нибудь из близких тонул у него на глазах). Г-н Жанен вышел в соседнюю комнату и задержался там. Немного погодя,

стпутив няню, туда же вошла жена — убрать белье в шкаф. Она сделала вид, что не замечает мужа. После минутного колебания он шагнул к ней и сказал:

— Прости меня. Я был сегодня резок с тобой.

Ей очень хотелось ответить:

«Бедный ты мой, я совсем на тебя не сержусь. Скажи мне, что с тобой? Что тебя мучает?»

А вместо этого она сказала, радуясь, что может отплатить ему:

— Оставь меня в покое! Ты недопустимо груб со мной. Ты не позволил бы себе так разговаривать с прислугой.

И она продолжала в том же духе, многословно перечисляя все свои обиды.

Он устало махнул рукой, усмехнулся с горечью и вышел.

Никто не слышал выстрела. Только на следующий день, когда стало известно о случившемся, соседи припомнили, что около полуночи до них — посреди полной тишины — долетел какой-то резкий звук, похожий на щелканье бича. Они не обратили на него внимания. Ночной покой тотчас вновь спустился на город, окутывая своим тяжелым покровом живых и мертвых.

Госпожа Жанен заснула и проснулась часа через два. Обнаружив, что мужа нет рядом, она встревожилась, встала и обошла все комнаты: спустилась в нижний этаж, побежала в контору банка, которая находилась в смежном крыле дома; и там, в кабинете, увидела мужа: он сидел в кресле, навалившись туловищем на письменный стол, посреди лужи крови, — кровь еще капала на пол. Она пронзительно закричала, выронила свечу и потеряла сознание. Ее крик услышали в доме. Сбежалась прислуга, ее подняли, привели в чувство, а тело г-на Жанена отнесли на кровать. Дверь в детскую была закрыта. Антуанетта спала сном праведницы. Оливье услышал голоса и шаги: ему очень хотелось узнать, что происходит, но он побоялся разбудить сестру и вскоре уснул сам.

Наутро новость успела уже облететь город, а дети еще ничего не знали. Им, всхлипывая, рассказала о слу-

чившемся няня. Мать не была способна думать ни о чем; ее состояние внушало опасения. Дети оказались одни перед лицом смерти. В первые минуты испуг их был сильнее горя. Впрочем, им даже не дали времени поплакать спокойно. С самого утра начались тягостные судебные формальности. Антуанетта, забившись к себе в комнату, всеми силами юного эгоизма цеплялась за единственную мысль, способную смягчить ужас, от которого у нее перехватывало дыхание, — мысль о своем поклоннике; она с часу на час ждала его прихода. В последний раз, когда они виделись, он был особенно нежен с нею. Она не сомневалась, что он примчится, как только узнает о катастрофе, и разделит ее горе. Но никто не явился. Не прислал даже записочки. Ни слова сочувствия ни от кого. Зато, едва только распространилась весть о самоубийстве, как люди, доверившие свои деньги банкиру, бросились к Жаненам, ворвались в дом и с безжалостной жестокостью устроили дикую сцену жене и детям покойного.

В несколько дней на них обрушились все беды: потеря близкого человека, потеря всего состояния, почетного положения в обществе, измена друзей. Ничего не уцелело из того, что составляло смысл их жизни. Все пошло прахом. Для всех троих честность была понятием непреложным, и они тем мучительнее страдали от бесчестия, в котором были неповинны. И сильнее всего горе потрясло Антуанетту, потому что она была особенно далека от мрачных мыслей. Как бы ни сокрушались г-жа Жанен и Оливье, но мир страданий не был им чужд. В силу природного пессимизма они ощущали всю тяжесть удара и значительно меньше — его неожиданность. Смерть всегда казалась им прибежищем, а сейчас — более чем когда-либо: они желали умереть. Жалкая покорность, конечно, но она не столь страшна, как возмущение юного, счастливого создания, верящего в жизнь, любящего ее и вдруг оказавшегося перед лицом бездонной и беспросветной скорби или перед лицом смерти, которая внушает ему ужас.

Антуанетте разом открылась вся неприглядность мира. Она прозрела, увидела жизнь и людей. Она стала трезво судить отца, мать, брата. В то время как Оливье

и г-жа Жанен плакали вместе, она замкнулась в своей горе. Своим смятенным детским умом она вдумывалась в прошлое, в настоящее, в будущее и не видела для себя ничего — ни надежды, ни поддержки: ей не на кого было рассчитывать.

А потом были похороны — мрачные, позорные. Церковь отказала самоубийце в отпевании. Вдова и сироты шли за гробом одни, потому что прежние друзья малодушно стушевались. Двое-трое появились на минуту, но у них был такой принужденный, натянутый вид, что их присутствие казалось тягостнее, чем отсутствие остальных. Они как будто оказали милость своим приходом, и в их молчании чувствовались укор и презрительная жалость. Родственники вели себя еще хуже: ни слова утешения, ничего, кроме горьких упреков. Самоубийство банкира отнюдь не смягчило злобу, — наоборот, оно представлялось чуть ли не таким же преступлением, как его банкротство. Буржуазная среда неумолима к тем, кто кончает самоубийством. Считается непозволительным предпочесть смерть самой постыдной жизни. Будь их воля, обыватели сурово карали бы того, кто своей смертью как бы говорит:

«Нет хуже несчастья, чем жить среди вас».

Труссы первые спешат расценить этот поступок как трусость. А когда самоубийца, уходя из жизни, вдобавок наносит урон их интересам и спасается от их мести, они впадают в полное бешенство. Они ни на секунду не задумались над тем, что выстрадал несчастный Жанен, прежде чем прийти к роковому решению. Они с радостью заставили бы его страдать в тысячу раз больше. А так как он ускользнул от их власти, они перенесли осуждение на его семью, не сознаваясь, однако, в этом даже самим себе, ибо знали, что это несправедливо. И все же не унимались, ибо им нужна была жертва.

Госпожа Жанен, казалось, способна была только плакать и стенать, но едва нападали на ее мужа, в ней откуда-то вдруг брались силы для отпора. Лишь теперь она поняла, как любила его; и хотя ни она, ни дети не представляли себе, что станет с ними завтра, все трое единодушно решили пожертвовать приданым матери и

всем своим личным состоянием, лишь бы по возможности погасить отцовские долги. А так как им нестерпимо тяжело было оставаться в родном городе, они решили переехать в Париж.

Отъезд был похож на бегство.

Накануне вечером (это был унылый сентябрьский вечер, поля тонули в густом тумане; из этой белесой пелены с обеих сторон дороги навстречу пешеходу выплывали остовы иззябших и промокших кустов, похожих на растения в аквариуме) они пошли проститься на кладбище. Все трое преклонили колени у низкой каменной ограды, окаймлявшей свежую могилу. Они плакали в молчании. Оливье всхлипывал, г-жа Жанен непрерывно вытирала слезы — она растравляла свое горе, сама терзала себя, без конца повторяя в памяти слова, которые сказала мужу в последний раз, когда видела его живым. Оливье думал о разговоре с отцом на скамейке у террасы. Антуанетта думала о том, что с ними будет. И никто из троих не упрекнул в душе несчастного, погубившего их вместе с собой. Антуанетта только твердила про себя: «Папа, дорогой! Как же нам будет тяжело».

Туман сгущался. Сырость пронизывала их насквозь, но г-жа Жанен все не решалась уйти. Антуанетта увидела, что Оливье дрожит, и сказала матери:

— Мне холодно, мама.

Они поднялись. Уходя, г-жа Жанен в последний раз оглянулась на могилу.

— Бедный мой друг! — произнесла она.

Ночь совсем надвинулась, когда они вышли с кладбища. Антуанетта держала в руке ледяную руку Оливье.

Они вернулись в свой старый дом. Это была их последняя ночь в том гнезде, где они знали мирный сон, где прошла их жизнь и жизнь их отцов, — с этими стенами, с этим домашним очагом, с этим клочком земли так неразрывно слились семейные радости и горести, что, казалось, все это тоже стало родным, стало частицей жизни и уйти отсюда прочь можно только для того, чтобы умереть.

Вещи уже были сложены. Жанены решили уехать первым утренним поездом, пока еще не открылись соседские лавки. Им хотелось избежать досужего любопытства и недоброжелательных толков. Они чувствовали потребность быть вместе, и все же каждого невольно потянуло в свою комнату. И каждый подолгу стоял молча, позабыв даже снять пальто и шляпу, — приятно было трогать стены, мебель, все, что предстояло покинуть, прижиматься лбом к оконному стеклу, чтобы вобрать в себя и подольше сохранить ощущение любимых вещей. Наконец, каждый, сделав над собой усилие, оторвался от эгоистического переживания своей скорби, и все трое сошлись в спальне г-жи Жанен — супружеской спальне с большим альковым в глубине: тут они собирались прежде по вечерам после обеда, когда не было гостей. Прежде! Все это казалось им уже далеким прошлым. Они молча посидели перед скудным огнем; потом помолились вместе, стоя на коленях у кровати, и легли очень рано, так как встать надо было до рассвета. Но они долго лежали без сна.

Госпожа Жанен поминутно смотрела на часы, чтобы не опоздать; около четырех она зажгла свечу и встала. Антуанетта, не спавшая всю ночь, слышала ее шаги и тоже встала. Оливье спал крепким сном. Г-жа Жанен с тоской смотрела на сына и не могла решиться его разбудить. Она отошла на цыпочках и сказала Антуанетте:

— Тише, пусть поспит напоследок в родном доме.

Мать и дочь оделись и сложили последние вещи. Кругом царило великое безмолвие тех холодных ночей, когда все живое — люди и звери — стремится поглубже зарыться в теплоту сна. У Антуанетты стучали зубы: душа и тело ее застыли.

В морозном воздухе гулко хлопнула входная дверь. Старая нянюшка, у которой были ключи от дома, в последний раз пришла помочь своим господам. Она появилась, пыхтя и отдуваясь, низенькая, непомерно толстая, но удивительно подвижная для своих лет; из-под теплого платка выглядывало ее доброе лицо с покрасневшим носом и вспухшими от слез глазами. Она ужасно огорчилась, что г-жа Жанен, не дождавшись ее, встала

и сама растопила печь на кухне. Оливье проснулся, когда вошла няня. Первым его движением было снова закрыть глаза, перевернуться на другой бок и спать дальше. Но Антуанетта бережно положила руку ему на плечо и вполголоса окликнула:

— Оливье, милый, пора вставать.

Он вздохнул, открыл глаза, увидел склоненное над ним лицо сестры; она печально улыбнулась, погладила его по голове и повторила:

— Вставай!

Он поднялся.

Они выскользнули из дому бесшумно, словно воры. Вещи полегче они несли в руках. Няня катила впереди тачку с сундуком. Они оставили почти все, что имели, и ушли, можно сказать, в чем были, взяв с собой только немного одежды. Малой скоростью им должны были выслать потом кое-какие, дорогие по воспоминаниям, мелочи: книги, портреты, старинные часы, тиканье которых казалось биением их собственных сердец. Погода была сырая. В городе никто еще не просыпался: ставни были заперты, улицы пустынные. Они шли молча. Говорила только няня. Г-жа Жанен старалась запечатлеть в памяти картины, с которыми было связано все ее прошлое.

На вокзале она из гордости взяла билеты во втором классе, хотя раньше твердо решила ехать в третьем, но при железнодорожных служащих, знавших ее, у нее не хватило мужества на такое унижение. Вместе с детьми она торопливо юркнула в пустое купе и заперлась там. Они со страхом смотрели из-за занавесок, не появится ли кто-нибудь знакомый, но никто не появился — город только просыпался; в поезде было пусто, — ехало всего несколько крестьян, да с товарной платформы доносились жалобное мычанье волов, вытягивавших головы над загородкой. После томительного ожидания паровоз дал долгий свисток, и поезд тронулся, рассекая мглу. Трое переселенцев отдернули занавески и прижались лицом к стеклу, чтобы в последний раз взглянуть на родной городок, готическая колокольня которого едва виднелась сквозь завесу тумана, на усеянный соломенными крышами холм, на белые от инея курящиеся поля; эта кар-

тина казалась уже далекой и нереальной, как сон. А когда после поворота город скрылся за высокой насыпью, все трое убедились, что их не видят, и перестали сдерживаться. Г-жа Жанен рыдала, прижав платок к губам. Оливье уткнулся головой в колени матери, целовал ей руки и обливал их слезами. Антуанетта сидела в противоположном углу купе и, повернувшись к окну, беззвучно плакала. Но плакали они о разном. Г-жа Жанен и Оливье думали лишь о том, что оставили позади. Антуанетта больше думала о том, что их ждет: она укоряла себя, силилась сосредоточиться на воспоминаниях. Она не без основания тревожилась о будущем: у нее был более верный взгляд на жизнь, чем у матери и брата. Тем Париж рисовался в радужном свете. Впрочем, и Антуанетта даже отдаленно не представляла себе, каково им там придется. Они ни разу не бывали в Париже. У г-жи Жанен там была сестра замужем за богатым судебским чиновником, и она рассчитывала на помощь этой сестры. Кроме того, она не сомневалась, что дети ее — при их воспитании и природных дарованиях, которые она преувеличивала, как и все матери, — без труда найдут себе достойное место в жизни.

Первое впечатление по приезде в Париж было гнетущее. Уже на вокзале они совсем растерялись от давки в багажном отделении и беспорядочной сутолоки на запруженной экипажами площади. Шел дождь. Фиакры были в миг расхватаны. Пришлось немало пройти пешком; тяжелая поклажа оттягивала руки, и несчастные путешественники то и дело останавливались посреди улицы, рискуя быть раздавленными или забрызганными грязью. Кучера не внимали их призывам. Наконец, им удалось остановить фиакр или, вернее, неопишимо грязную разбитую таратайку. Укладывая в нее свои пожитки, они уронили узел с постелью в лужу. Носильщик, тащивший их сундук, и возница воспользовались неопытностью приезжих и содрали с них двойную плату. Г-жа Жанен указала адрес одной из тех дорогих гостиниц средней руки, которую облюбовали себе провинциалы и где, несмотря на все неудобства, упорно

останавливаются только потому, что их дед лет тридцать назад останавливался там. С них взяли втридорога, заявили, что в гостинице полно, запихнули их в тесный чулан и посчитали, как за три комнаты. Они решили пообедать подешевле, не за табльдотом, и заказали себе скромный обед, который обошелся не меньше, а голода ничуть не утолил. Так с первых часов приезда рухнули все их иллюзии. И в первую же ночь, проведенную в гостинице, когда, зatisнутые в душную комнату, они не могли заснуть, то трясаясь от холода, то задыхаясь от жары и поминутно вздрагивая от шагов по коридору, от хлопанья дверей, от электрических звонков, меж тем как непрерывный грохот экипажей и тяжелых подвод отдавался у них в голове, они, точно от чудовища, пришли в ужас от этого города, куда бросились искать приюта и где сразу же потерялись.

Наутро г-жа Жанен поспешила к сестре, занимавшей роскошную квартиру на бульваре Осман. Она втайне надеялась, что им предложат здесь гостеприимство, пока они не устроятся самостоятельно. С первых же слов ее заблуждение рассеялось. Чета Пуайс-Делорм была возмущена банкротством зятя. Жена в особенности боялась, как бы это не бросило на них тени и не повредило карьере мужа, и считала крайним бесстыдством, что разоренная семья навязывается им и может окончательно их опозорить. То же думал и сам судья, но он был человек довольно порядочный и, вероятно, постарался бы помочь Жаненам, если бы жена не препятствовала ему, что, впрочем, вполне его устраивало. Итак, г-жа Пуайс-Делорм оказала сестре ледяной прием. Г-жа Жанен была потрясена, но постаралась смирить свою гордость и наметнула, в каком тяжелом положении они находятся и чего ждут от родных. Те сделали вид, что не поняли, даже не оставили сестру с детьми обедать и официально пригласили их на обед в конце недели. При этом приглашение исходило не от г-жи Пуайе, а от самого судьи: ему стало неловко за жену, и он постарался смягчить ее черствость; он держал себя с подчеркнутым простодушием, но чувствовалось, что простодушие его деланое и что он большой себялюбец. Несчастные Жанены верну-

лись в гостиницу, боясь поделиться друг с другом впечатлением от этой первой встречи.

Последующие дни они бродили по Парижу в поисках квартиры. Они выбились из сил, поднимаясь на верхние этажи; им опостылел вид домов-казарм, где скучено столько людей, где столько грязных лестниц, комнат, лишенных света и таких унылых после их просторного провинциального дома. Они все больше падали духом. Улицы, магазины, рестораны попрежнему приводили их в смятение, чем широко пользовались все, кому не лень. За любой пустяк с них заламывали непомерную цену, как будто они обладали способностью превращать в золото все, к чему прикасались, — только золото это приходилось оплачивать из собственного кармана. Они были удивительно непрактичны и не умели постоять за себя.

Хотя у г-жи Жанен не осталось никаких надежд на сестру, она все же чего-то ждала от обеда, на который их пригласили. С замиранием сердца готовились они к этому вечеру. Их приняли не по-родственному, а как гостей, — впрочем, ничем, кроме чопорного тона, этот обед от обычных будничных не отличался. Дети познакомились со своими сверстниками — двоюродным братом и сестрой, которые оказались не более радушными, чем их родители. Девочка, очень нарядная и жеманная, говорила с ними присюсюкивая, тоном вежливого превосходства, и смущала своей манерной слащавостью. Мальчику была смертельно скучна эта повинность — обед с бедными родственниками, и он все время дулся. Г-жа Пуайе-Делорм сидела надменно выпрямившись и, даже когда угощала сестру, хранила укоризненный вид. Г-н Пуайе-Делорм болтал какие-то пустяки, лишь бы не говорить о серьезных вещах. Во избежание опасной, личной темы бессодержательный разговор вертелся вокруг кушаний, которые подавали. Г-жа Жанен попыталась заговорить о самом для нее важном. Сестра перебила ее каким-то незначительным замечанием. А возобновить попытку у г-жи Жанен не хватило мужества.

После обеда она велела Антуанетте сыграть на рояле, чтобы показать свои способности. Девочка была смущена, раздражена и потому играла отвратительно.

Семейство Пуайе с нетерпением ожидало, когда она кончит. Г-жа Пуайе поглядывала на дочь, насмешливо кривя губы, и так как вещь была длинная, она снова заговорила с сестрой на посторонние темы. Но тут Антуанетта, окончательно сбившись, с ужасом заметила, что на каком-то пассаже начала пьесу сначала, значит, нет надежды выпутаться; тогда она оборвала игру на двух не вполне верных и одном совсем уже фальшивом аккорде.

— Браво! — произнес г-н Пуайе и велел подать кофе.

Госпожа Пуайе сказала, что дочь ее занимается с самим Пюньо. Девуца, занимавшаяся с самим Пюньо, заметила:

— Очень мило, душенька... — и спросила, где Антуанетта училась.

Разговор не вязался. Все, что можно сказать о безделушках, украшавших гостиную, о нарядах мамы и дочери Пуайе, было сказано.

«Вот сейчас нужно, необходимо заговорить», — твердила себе г-жа Жанен.

И тут же вся внутренне сжималась. Наконец, когда она сделала над собой невероятное усилие и решилась, г-жа Пуайе вставила как бы вскользь, но весьма непри нужденным тоном, что, к сожалению, около половины десятого им надо уехать — они приглашены и отказаться не могут. Жанены, глубоко задетые, поднялись и собрались уходить. Их для вида уговаривали остаться. Но через четверть часа раздался звонок на парадном: лакей доложил о друзьях и соседях семьи Пуайе, живших этажом ниже. Супруги Пуайе переглянулись и торопливо пошептались со слугами. Г-н Пуайе, запинаясь, под каким-то предлогом попросил Жаненов пройти в соседнюю комнату. (Ему хотелось скрыть от друзей существование, а главное присутствие в их доме неудобной родни.) Гостей оставили одних в нетопленной комнате. Дети не помнили себя от обиды. У Антуанетты на глазах стояли слезы; она больше ни минуты не хотела оставаться здесь. Мать сперва возражала, но так как ожидание затягивалось, согласилась уйти. Они направились в переднюю. Там их нагнал Пуайе, которого преду-

предил лакей, наспех извинился и сделал вид, что хочет удержать их; но ясно было, что ему не терпится их спроводить. Он помог им одеться; улыбаясь, пожимая руки, приглушенным голосом говоря любезные слова, он подталкивал их к двери и, наконец, выставил вон. Вернувшись в гостиницу, дети расплакались от негодования. Антуанетта бушевала, клялась, что ноги ее не будет у тетки.

Госпожа Жанен сняла квартиру на пятом этаже, по соседству с Ботаническим садом. Спальни выходили на грязные, пятнистые стены темного двора, столовая и гостиная (Г-жа Жанен непременно желала иметь гостиную) — на людную улицу. Целый день громыхал паровой трамвай, вереницей тянулись похоронные дроги, направляясь на кладбище в Иври. Оборванные итальянцы с кучей вшивых ребятишек торчали на скамьях или пронзительно орали, ссорились между собой. Из-за шума нельзя было держать окна открытыми, а возвращаясь вечером домой, приходилось пробиваться сквозь суетливую, дурно пахнущую толпу, запрудившую улицу, шлепать по лужам; вдобавок в нижнем этаже соседнего дома помещался гнусный кабак, у порога которого толкались, окидывая прохожих наглым взглядом, проститутки — огромные рыжеволосые девки с одутловатыми, набеленными и нарумяненными лицами.

Скудные денежные запасы Жаненов стремительно истощались. Каждый вечер они, холодея от ужаса, подсчитывали убыль в своем кошельке. Они пытались урезывать себя, но не умели — эта наука дается долгими годами лишений, если человек не обучен ей с детства. Люди, небережливые от природы, напрасно будут учиться бережливости: при первом же случае они уступят соблазну, а экономии отложат до следующего раза; если же случайно они выгадают или вообразят, будто выгадали какие-то крохи, то поспешат истратить эти крохи, и в итоге расход превысит экономию в десять раз.

Через несколько недель средства Жаненов иссякли. Г-же Жанен пришлось поступиться остатками самолюбия и, тайком от детей, пойти просить денег у Пуайе. Ей удалось повидаться с судьей наедине у него в кабинете, и она обратилась к нему с мольбой дать ей

взаймы небольшую сумму до тех пор, пока они начнут зарабатывать себе на жизнь. Судья, человек слабый и довольно мягкосердечный, сперва попытался увильнуть от окончательного ответа, но потом уступил. Расчувствовавшись, он дал ей взаймы двести франков; впрочем, он сразу же раскаялся в своем неразумном порыве, как только ему пришлось дать отчет жене, которую обозлили происки сестры и бесхарактерность мужа.

Жанены целыми днями бегали по Парижу в чаянии найти заработок. В г-же Жанен прочно сидели предрассудки богатой провинциалки, и она не допускала мысли о какой-нибудь иной профессии для себя и для своих детей, кроме «свободных», — называемых так, должно быть, потому, что они предоставляют полную свободу умирать с голоду. Более того, она ни за что не позволила бы дочери поступить гувернанткой в какую-нибудь семью. Только профессия, оплачиваемая государственной казной, не казалась ей позорной. Прежде всего надо было дать Оливье возможность закончить образование и стать педагогом. Для Антуанетты же г-жа Жанен мечтала о должности преподавательницы в каком-нибудь учебном заведении или об окончании курса в консерватории по классу фортепиано. Но во всех учебных заведениях, куда она обращалась, был полный комплект преподавателей с более солидными правами, чем скромное свидетельство дочери об окончании средней школы, а в отношении музыки пришлось признать, что Антуанетта обладает самыми заурядными способностями и что куда более одаренным людям не удастся пробиться. Жанены воочию увидели, как жестока борьба за жизнь и как нелепо Париж губит сотни больших и малых дарований, которые ему ни на что не нужны.

Брат и сестра совсем отчаялись в своих силах, потеряли всякую веру в себя. Им казалось теперь, что они — ничтожества, и они усиленно старались убедить в этом мать и самих себя. В свое время, дома, в провинциальном коллеже, Оливье ничего не стоило прослыть орлом, — теперь же он был подавлен выпавшими на его

долю испытаниями и как будто сразу утратил все свои способности. В лицее, куда его поместили и где ему удалось добиться стипендии, он на первых порах получал такие убийственные отметки, что стипендию у него отняли. И мальчик решил, что он совершеннейший тупица. Вдобавок ко всему его ужасал Париж, этот суетливый муравейник, отталкивала распушенность одноклассников, пошлые разговоры, гнусные наклонности некоторых из них и попытки приобщить его к своим забавам. Он не в силах был даже высказать им все свое отвращение. Он чувствовал себя загрязненным одной только мыслью об их грязи. Вместе с матерью и сестрой они каждый вечер искали прибежища в жарких молитвах после каждого нового дня разочарований и тайных унижений, которые казались этим чистым душам такими постыдными, что они даже не решались рассказать друг другу о пережитом. Однако у Оливье, хоть он и сам не замечал этого, под влиянием скрытого атеизма, которым пропитан самый воздух Парижа, вера стала разрушаться, как осыпается от дождя незатвердевшая штукатурка. Он продолжал верить; но вокруг него вера отмирала.

Мать и сестра упорствовали в своих бесполезных хлопотах. Г-жа Жанен опять пошла к Пуайе, и те, чтобы отделаться от родных, нашли им работу. Г-же Жанен предложили поступить чтицей к старухе, проводившей зиму на юге. Антуанетте подыскали должность гувернантки в семье, живущей круглый год в деревне на западе Франции. Условия были неплохие, но г-жа Жанен отказалась. Она и для себя считала унижительным поступать в услужение, а уж для дочери никак не могла на это согласиться, тем более, что это означало разлуку. Как ни были они несчастны, и именно потому, что они были несчастны, им не хотелось расставаться. Г-жа Пуайе ужасно возмутилась. Она заявила, что, когда людям не на что жить, им не пристало особенно гордиться. Г-жа Жанен не сдержалась и упрекнула ее в бессердечии. Г-жа Пуайе позволила себе оскорбительные намеки насчет их банкротства и насчет денег, которые сестра ей задолжала. Они расстались, поссорившись насмерть. Всякие отношения были порваны.

Г-жа Жанен мечтала об одном: вернуть долг. Но сделать этого не могла.

Тщетные поиски работы продолжались. Г-жа Жанен обратилась к депутату и к сенатору их департамента, которым г-н Жанен не раз оказывал услуги. Но и тут она натолкнулась на черствость и неблагодарность. Депутат даже не ответил ей на письмо, а когда она пришла к нему, велел сказать, что его нет дома. Сенатор с первых же слов стал самым бестактным образом жалеть ее и поносить «это ничтожество — Жанена», решительно осуждая его за самоубийство. Г-жа Жанен встала на защиту мужа. В ответ сенатор заявил, что отнюдь не считает поведение банкира бесчестным, что он действовал так по глупости и вообще был легкомысленным простаком: все норовил делать по-своему, ни у кого не спрашивал совета и не слушал предостережений. Если бы он погубил себя одного, всякий сказал бы: поделом ему. Но, не говоря уже о других пострадавших, пустить по миру жену и детей, а потом бросить их на произвол судьбы, чтобы они выпутывались, как знают, это уж слишком. Пусть г-жа Жанен ему прощает, если она святая; он же, сенатор, отнюдь не святой, а просто нормальный, здравомыслящий и разумный человек, и не видит никаких причин прощать: тот, кто при подобных обстоятельствах кончает с собой, — ничтожество, и больше ничего. Единственное ему оправдание в том, что он был не вполне вменяемым. Сенатор попросил г-жу Жанен извинить его, если он чересчур резко отзывался о ее муже, — причиной этому его сочувствие к ней. И, выдвинув ящик стола, он достал и протянул ей бумажку в пятьдесят франков — милостыню, от которой она отказалась.

Она сделала попытку устроиться в канцелярии какого-нибудь казенного учреждения, но хлопотала она неумело и недостаточно упорно. Собрав все свое мужество, она шла наниматься и возвращалась такая измученная, что несколько дней не могла сдвинуться с места, а когда приходила вторично, должность была уже занята. У служителей церкви она тоже не встретила поддержки — то ли они не видели в этом для себя особой выгоды, то ли не желали прийти на помощь разоренной

семье, глава которой был открытым антиклерикалом. Единственное, что удалось г-же Жанен найти после долгих стараний, было место учительницы музыки в монастырском пансионе — неблагодарное и до смешного скудно оплачиваемое занятие. Чтобы хоть немножко подработать, она по вечерам занималась перепиской для одной конторы, но никак не могла угодить. Ей делали грубые замечания за почерк и за рассеянность, потому что она, как ни старалась, нередко пропускала слова и даже целые строчки (у нее было столько других мыслей и забот!). Бывали случаи, когда, выбиваясь из сил до поздней ночи, она слепила себе глаза, а потом у нее не принимали работы и она приходила домой в отчаянии. Она убивалась по целым дням, но ничего не могла предпринять. У нее давно уже было больное сердце, от всех переживаний болезнь усилилась и внушала ей мрачные предчувствия. Она страдала сердечными спазмами и приступами удушья, иногда ей казалось, что она умирает. Выходя из дому, она клала в карман записку со своей фамилией и адресом, на случай, если потеряет сознание на улице. Что будет, если она уйдет из жизни! Антуанетта ободряла ее, как могла, притворялась спокойной, хотя и сама жила в постоянной тревоге; умоляла мать щадить себя, во что бы то ни стало хотела заменить ее в работе. Но г-жа Жанен всю оставшуюся у нее гордость полагала в том, чтобы уберечь дочь от унижений, которые приходилось сносить ей самой.

Как она ни надрывалась и ни сокращала расходы, заработка ее не хватало на жизнь. Пришлось продать те немногие драгоценности, какие еще уцелели. И ужаснее всего, что вырученные от продажи деньги у г-жи Жанен тут же украли. Бедная женщина, с обычной своей беспечностью, решила заодно зайти в магазин «Бон-Марше»: на следующий день были именины Антуанетты, и ей хотелось купить дочери подарочек. Она зажала кошелек в руке, чтобы не потерять его, но, выбирая покупку, на минуту машинально положила его на прилавок. Когда она вспомнила о кошельке, он исчез. Этот удар окончательно подкосил ее.

Через несколько дней, в душный августовский вечер, когда густое облако испарений стояло над городом, как в парильне, г-жа Жанен возвращалась из конторы, куда относилa спешную переписку. Она опаздывала к обеду, а тратить три су на омнибус не хотела и, чтобы дети не волновались, бежала домой, едва переводя дух. Поднимаясь к себе на пятый этаж, она так запыхалась, что совсем не могла говорить. В таком состоянии она возвращалась не в первый раз, и дети уже перестали пугаться. Не показывая виду, она тут же села с ними за стол. Дети не могли есть от жары и, преодолевая отвращение, силились проглотить несколько кусочков мяса и немного тепловатой воды. Видя, что мать не успела отдышаться, они не разговаривали (им и не хотелось разговаривать) и смотрели в окно.

Вдруг г-жа Жанен взмахнула руками, уцепилась за стол, посмотрела на детей, охнула и стала падать. Антуанетта и Оливье едва успели подхватить ее. Обезумев от ужаса, они кричали, умоляли:

— Мама! Мамочка!

Но она уже не отвечала. Они совсем потеряли голову. Антуанетта судорожно прижималась к матери, целовала, звала ее. Оливье открыл дверь на лестницу и крикнул:

— Помогите!

Привратница поднялась к ним и, увидев, что происходит, побежала за жившим по соседству врачом. Но когда пришел врач, он мог только констатировать конец. Смерть наступила мгновенно — к счастью для г-жи Жанен (хотя кто может сказать, что она успела передумать в последние секунды, сознавая, что умирает и дети остаются одни в таком бедственном положении).

Одни... и они одни переживали весь ужас случившегося, одни плакали, одни занимались всеми тягостными хлопотами, которые влечет за собой смерть. Привратница, женщина сердобольная, немножко помогла им; из пансиона, где г-жа Жанен давала уроки, прислали письмецо с холодными словами официального соболезнования.

Первые минуты были полны неопишемого отчаяния. Чрезмерность отчаяния как раз и спасла их — с Оливье сделались конвульсии. Это отвлекло Антуанетту от собственной скорби: она думала только о брате, и ее огромная любовь подчинила себе Оливье, не допустила до опасных крайностей, на которые его толкнуло бы горе. Они сидели при свете ночника, прижавшись друг к другу, возле кровати, на которой покоилась их мать, и Оливье твердил, что надо умереть, — умереть обоим, сейчас же, сию минуту; при этом он указывал на окно; Антуанетта тоже испытывала это пагубное искушение, но боролась с ним: она хотела жить.

— Ради чего?

— Ради нее, — ответила Антуанетта и показала на мать. — Она попрежнему с нами. Подумай!.. Она столько выстрадала из-за нас, нельзя, чтобы мы нанесли ей самый страшный удар — чтобы мы умерли несчастными. А потом, — продолжала она с жаром, — нельзя сдаваться! Нельзя! Я не желаю! Я протестую, я хочу, чтобы ты еще когда-нибудь был счастлив!

— Никогда этого не будет!

— Нет, будет. Мы слишком много страдали. Это изменится, должно измениться. Ты устроишь свою жизнь, у тебя будет семья, тебе будет хорошо, я так хочу, слышишь, хочу!

— А как жить? У нас не хватит сил!

— Хватит. Что нам надо? Протянуть до тех пор, пока ты начнешь зарабатывать. Это я беру на себя. Вот увидишь, я сумею. Ах, если бы мама позволила, я бы уже давно начала...

— А что ты будешь делать? Я не хочу, чтобы ты унижалась. Ты и сама на это не пойдешь.

— Пойду... И вовсе не унижительно зарабатывать себе на жизнь трудом — лишь бы только честным. Пожалуйста, не волнуйся. Все устроится, вот увидишь, ты будешь счастлив, мы будем счастливы, дорогой мой мальчик, она будет счастлива нашим счастьем...

Брат и сестра одни шли за гробом матери. Оба единодушно решили не извещать семейство Пуайе. Пуайе перестали для них существовать, они были слишком безжалостны к их матери и в какой-то мере повинны

в ее смерти. И когда привратница спросила, неужели у них нет никого родных, они ответили:

— Никого.

Они молились перед открытой могилой, держась за руки, замкнувшись в своей непримиримости, в гордом отчаянии и предпочли полное одиночество присутствию равнодушных и лицемерных родственников. Возвращались они пешком посреди толпы, чуждой их скорби, чуждой их мыслям, чуждой им во всех отношениях, кроме языка, на котором они говорили. Антуанетта вела Оливье под руку.

Они сняли в том же доме, на самом верху, маленькую квартирку — две комнатки чердачного типа, крошечная прихожая, которая должна была служить им столовой, и кухонька величиной со стеной шкаф. Они могли найти что-нибудь получше в другом квартале, но им казалось, что здесь они не окончательно разлучены с матерью. Привратница сначала хоть немного интересовалась ими, но вскоре собственные дела отвлекли ее, и о них никто уже больше не заботился. Они не были знакомы ни с кем из жильцов дома и даже не знали, кто живет с ними рядом.

Антуанетте разрешили вместо матери давать уроки музыки в монастырском пансионе. Она стала искать еще других уроков. У нее была одна цель: дать брату образование, чтобы он мог поступить в Высшую Нормальную школу. Она самостоятельно, по зрелом размышлении, сделала этот выбор; долго изучала она программы, наводила справки, пыталась выведать мнение Оливье, но он сам не знал, чего хочет, и она решила за него. Если он поступит в Нормальную школу, у него будет верный кусок хлеба до конца дней, и он сам сможет распоряжаться своей судьбой. Но надо, чтобы он этого добился, надо во что бы то ни стало дотянуть до тех пор, промучиться пять-шесть лет. Что ж, они добьются своего. Эта мысль с необычайной силой овладела Антуанеттой, всецело заполнила ее. Она ясно видела, какая одинокая, нищенская жизнь предстоит ей, и вынести эту жизнь можно было только при том страстном стремлении, которое охватило ее всю: спасти брата, сделать так,

чтобы брат был счастлив, если ей самой не суждено узнать счастье. Семнадцатилетняя девочка, избалованная и беспечная, словно переродилась под влиянием этого героического решения. Оказалось, что в ней заложена такая глубокая самоотверженность, такая горделивая воля к борьбе, каких никто в ней не подозревал, и она сама меньше всего... В эти переломные годы, в эту раннюю лихорадочную пору весны, когда все существо наливается любовью, купается в ней, как в роднике, бьющем тайком из-под земли, когда многообразные силы любви обволакивают, захлестывают женщину и неотступно держат в своей власти, — любовь эта принимает какие угодно формы: она ищет, на кого бы излиться, кому принести себя в жертву, цепляется за любой предлог, и эта целомудренная затаенная чувственность готова превратиться в самопожертвование. Любовь отдала Антуанетту в добычу дружбе.

У Оливье, натуры менее страстной, не было такого двигателя. Кроме того, не он приносил себя в жертву, а жертву приносили ради него, что гораздо легче и отраднее, особенно когда любишь. И потому он мучился раскаянием, видя, как сестра надрывается из-за него, и часто говорил ей об этом.

— Ах ты глупенький мальчик! — отвечала она. — Неужели ты не понимаешь, что только это и держит меня! Если бы не забота о тебе, чем бы я жила?!

Он вполне понимал сестру. Будь он на месте Антуанетты, ему также были бы дороги и отрадны эти заботы; другое дело — служить их предметом! Гордость и любовь возмущались в нем. А каким непосильным бременем было для него, существа слабого, сознание ответственности, необходимости преуспеть, раз сестра во имя его успеха поставила на карту свою жизнь! Это сознание было ему нестерпимо и, вместо того чтобы воодушевить, временами подавляло его, но все же так легче было выстоять, легче трудиться, жить, — если бы его не подгоняла мысль о конечной цели, он многого бы не перенес. Его скорее тянуло сложить оружие... быть может, даже покончить с собой. Быть может, он бросился бы в эту бездну, если бы сестра не решила за него, что он добьется успеха и будет счастлив. Он страдал от

такого насилия над своей природой, а между тем в этом для него было спасение. Он тоже переживал переходный возраст, тот опасный возраст, когда тысячи юношей, поддавшись нездоровым эмоциям, ради двух-трех лет безумств бесповоротно губят всю свою жизнь. Если бы у него было время задуматься, он предался бы отчаянию или попусту растратил силы; стоило ему только сосредоточиться мыслью на себе, как им вновь овладевала болезненная мечтательность, отвращение к жизни, к Парижу, к гнилоственному брожению миллионов тварей, которые, соединяясь между собой, вместе разлагаются. Но при виде сестры наваждение рассеивалось: раз она живет лишь для того, чтобы жил он, — хорошо, он будет жить, будет счастлив наперекор себе...

Итак, их жизнь была построена на беззаветном подвиге мужества, веры и благородного честолюбия. Оба всем существом своим стремились к одной цели — к успеху Оливье. Антуанетта взяла на себя все тяготы, все унижения: служила гувернанткой в семьях, где с ней обращались почти как с прислугой; она должна была, вместо няни, водить детей на прогулку, часами таскаться с ними по улицам под предлогом практики в немецком языке. Но в этих нравственных страданиях, в утомительных трудах находила удовлетворение ее любовь к брату и даже ее гордость.

Она приходила измученная и тут же начинала хлопотать по хозяйству, потому что Оливье был в лице полупансионером и возвращался домой вечером. Она стряпала обед — убогий обед на газовой плитке или на спиртовке. Оливье никогда не хотелось есть, все ему было противно, к мясу он чувствовал непреодолимое отвращение; приходилось насильно пичкать его или изощряться, приготавливая какие-нибудь лакомые кушанья, а бедняжка Антуанетта была довольно посредственной стряпухой. Она старалась изо всех сил, но потом выслушивала обидные заявления, что стряпня ее несъедобна. Сколько раз, стоя у кухонной плиты, испытывала она втихомолку отчаяние, знакомое неумелым

молодым хозяйкам, никому неведомое, но отравляющее им жизнь и даже сон.

После обеда, перебив то небольшое количество посуды, каким они обходились (от помощи Оливье она решительно отказывалась), она с материнской заботливостью спрашивала у него уроки, проверяла его письменные работы, даже помогала ему, стараясь не задеть самолюбие обидчивого мальчика. Они проводили вечера за своим единственным столом, который служил им и обеденным и письменным. Оливье готовил уроки, Антуанетта шила или занималась перепиской. Когда он ложился спать, она приводила в порядок его одежду или что-нибудь делала для себя.

Как ни трудно было им сводить концы с концами, они единодушно решили, что все деньги, какие удастся скопить, пойдут на уплату супругам Пуайе материнского долга. Те, правда, отнюдь не были докучными кредиторами: они не подавали признаков жизни, даже не вспоминали об этих деньгах, считая их пропавшими и втайне радуясь, что так дешево отделались от неудобных родственников. Но брат и сестра были слишком горды, слишком чтили память матери и не могли потерпеть, чтобы она осталась должна этим недостойным людям. Они боялись истратить лишний грош на развлечения, на одежду, на питание, — словом, всячески урезали расходы, чтобы скопить эти двести франков — сумму для них огромную. Конечно, Антуанетта предпочла бы экономить только на себе. Но когда брат узнал о ее намерении, он во что бы то ни стало пожелал подражать ей. И теперь оба всячески ограничивали себя и были счастливы, когда могли отложить в день несколько су.

Путем постоянных лишений им удалось в три года по грошам собрать всю сумму. Это была для них большая радость. Однажды вечером Антуанетта отправилась к Пуайе. Ее приняли довольно неприветливо, решив, что она пришла просить помощи. Сочтя за благо забежать вперед, родственники стали резко выговаривать ей за то, что она не давала о себе знать, не известила их даже о смерти матери и пришла только, когда ей что-то понадобилось. Антуанетта спокойно прервала их, заявив, что не собиралась причинять им беспокойство, а

пришла просто отдать деньги, которые брала у них взаймы, и, положив на стол два кредитных билета, потребовала расписку. Дядя и тетка тотчас переменили тон, сделали вид, что не хотят брать деньги; они воспылали к ней той внезапной любовью, какая вспыхивает у кредитора к должнику, через много лет приносящему долг, на котором был уже поставлен крест. Пуайе стали расспрашивать Антуанетту, где они с братом поселились и как им живется. Она уклонилась от ответа, снова потребовала расписку, сказала, что спешит, холодно попрощалась и ушла. Пуайе были возмущены неблагодарностью дерзкой девчонки.

Избавившись от этой заботы, Антуанетта продолжала урезать себя, но уже ради брата. Только теперь она делала это украдкой, чтобы он ничего не заметил: отказывала себе в нарядах, даже в пище, стараясь скопить на одежду и развлечения брату, побаловать его, скрасить ему жизнь, дать ему возможность время от времени пойти в концерт и даже в оперу — величайшее блаженство для Оливье. Он не желал ходить без нее. Но она всегда придумывала какой-нибудь предлог, чтобы отказать и вместе с тем избавить его от угрызений совести: говорила, что она слишком устала и потому ей не хочется выходить из дому, и даже уверяла, что ей это неинтересно. Он не верил в эту ложь, под сказанную любовью, но детский эгоизм брал верх. Он шел в театр, а там угрызения совести снова одолевали его: до конца спектакля он ни о чем другом не мог думать и не получал никакого удовольствия. В одно из воскресений Антуанетта отправила его слушать концерт в «Шатле»; он возвратился через полчаса и заявил, что дошел до моста Сен-Мишель, но тут у него не хватило духа идти дальше — концерт перестал его интересовать, и вообще развлекаться без нее — не радость, а мучение. Это было очень приятно Антуанетте, хотя она и пожалела, что брат лишился из-за нее воскресного развлечения. Но сам Оливье не жалел ни о чем. Когда он увидел, как просияло лицо сестры, несмотря на все старания скрыть свои чувства, он испытывал такое удовольствие, какое не доставила бы ему самая прекрасная музыка в мире. Они провели этот воскрес-

ный день, сидя рядышком у окна. Оливье — с книгой, Антуанетта за шитьем, но он не читал, а она не шила, и оба болтали о пустяках, не занимавших ни его, ни ее. Они уговорились не ходить врозь в концерт: удовольствие в одиночку перестало быть удовольствием.

Антуанетта тайком скопила достаточно денег, чтобы сделать Оливье сюрприз — взять на прокат пианино, которое, согласно существовавшим правилам проката, через определенный срок становилось их собственностью. Таким образом, она взвалила на себя еще одно тяжелое обязательство. Сроки платежа стояли перед ней, как злой кошмар; она надрывалась в работе, чтобы набрать нужную сумму. Но эта безрассудная прихоть давала столько радости им обоим! Музыка была уголком рая в их суровой жизни. Постепенно она заполонила их целиком. Они отгораживались ею от прочего мира. Но в этом таилась и своего рода опасность. Музыка порой оказывает растлевающее действие на душу современного человека. Подобно горячему пару или осенней истоме, она взвинчивает нервы и убивает волю. И в то же время музыка служит отдохновением для того, кто, как Антуанетта, принужден заниматься непосильным и безрадостным трудом. Воскресный концерт был единственным светлым проблеском за целую неделю непрерывной работы. Они жили воспоминанием о последнем концерте и надеждой на следующий, на эти два-три часа вне Парижа, вне времени. После долгого стояния на улице, под дождем или снегом, на ветру и холоде, когда они, прижавшись друг к другу, со страхом ждали, будут ли билеты, их вместе с общим потоком вносило в театр, и они, заняв неудобные, тесные места, растворялись в толпе. Их толкали, им было душно и чуть не делалось дурно от давки и жары. И все же каждый из них был счастлив, счастлив собственным наслаждением и наслаждением другого — счастлив ощущать, как в сердце струятся волны добра, света и силы, изливаемые великими душами Бетховена и Вагнера, счастлив видеть, как рядом проясняется родное лицо, побледневшее от утомления и преждевременных забот. Антуанетте казалось, что ее, усталую, баюкают чьи-то материнские

объятия. Она нежилась в этом мягком и теплом гнездышке и беззвучно плакала. Оливье держал ее руку. Никто не замечал их в темноте гигантского зала, где было столько израненных душ, искавших приюта под материнским крылом Музыки.

Антуанетту попрежнему поддерживала вера. Она была очень набожна и каждый день истово, подолгу молилась, а каждое воскресенье ходила к обедне. В своей несправедливо жестокой судьбе она не могла отречься от веры в божественного друга, который страдает вместе со страждущими и когда-нибудь утешит их. Еще больше чем с богом ощущала она духовную связь с дорогими покойниками и втайне приобщала их ко всем своим горестям. Но мыслила она самостоятельно и рассуждала трезво; она держалась в стороне от других верующих, которые косились на нее, обвиняли в строптивости и усматривали в ее поведении чуть не вольнодумство потому лишь, что она, как истое дитя Франции, не желала отказываться от свободы суждений: она веровала не из слепого послушания, как тупое стадо, а по велению сердца.

Оливье перестал верить. Медленный процесс распада веры, начавшийся в нем с первых месяцев пребывания в Париже, привел к полному ее уничтожению. Юноша перенес это очень тяжело, он не был из числа тех, кто настолько силен или настолько ограничен, чтобы обойтись без всякой веры, а потому долго мучился жестокими сомнениями. Но религиозная мистика сохранила власть над его сердцем, и при всем его неверии духовный мир сестры был ему очень близок. Оба — и брат и сестра — жили в атмосфере высоких чувств. Когда они сходились после целого дня разлуки, их крохотная квартира становилась для них тихой пристанью, неприкосновенным убежищем, убогим, холодным, но незапятнанным. Как далеки они были здесь от Парижа с его шумом, с его растленным мышлением!

Они почти не говорили о своих занятиях: когда возвращаешься усталый, нет никакой охоты, рассказывая о прошедшем дне, вновь переживать все его тяготы. Они инстинктивно помогали друг другу забыть парижские будни. Особенно в первые минуты, встретившись за

столом, они избегали задавать друг другу вопросы, здоровались взглядом и, случалось, не произносили ни слова до конца обеда. Антуанетта смотрела на брата, а он сидел, задумавшись над тарелкой, точь-в-точь как в детстве. Она ласково гладила его руку.

— Ну, что же ты! — улыбаясь, говорила она. — Живей!

Он тоже улыбался и начинал есть. У них была такая потребность в тишине, что они не делали ни малейшего усилия поддержать беседу. Лишь позднее, отогревшись в атмосфере чуткой взаимной любви и стряхнув с себя нечистые следы дня, они становились словоохотливее.

Оливье садился за пианино. Антуанетта сама почти перестала играть, чтобы не мешать ему, — это ведь была его единственная радость, и он всецело отдавался ей. У него были недюжинные способности к музыке: его женственная натура, которой более свойственно было любить, чем созидать, любовно воспринимала мысль исполняемых им композиторов, сливалась с ней, со страстной проникновенностью передавала малейшие ее оттенки, поскольку ему позволяли слабые руки и грудь, изнемогавшая от титанической мощи «Тристана» и последних сонат Бетховена. Потому-то он и искал прибежища у Моцарта и Глюка; Антуанетта тоже предпочитала их.

Иногда она пела, но только самые простые старинные песенки. Голос у нее был глуховатый — меццо-сопрано, глубокое, но не сильное. От застенчивости она не могла петь ни при ком, кроме Оливье, — у нее делался спазм в горле. Особенно любила она одну шотландскую песню Бетховена — «Верный Джонни», такую ровную, покойную... а под этим покоем столько страстной нежности! Песня была похожа на нее. У Оливье слезы навертывались на глаза, когда она пела «Верного Джонни».

Но она предпочитала слушать игру Оливье. Она спешила управиться с хозяйством и оставляла дверь из кухни открытой, чтобы было слышнее; однако, как ни старалась она не шуметь, Оливье сердился, что она грохочет посудой. Тогда Антуанетта прикрывала дверь; кончив убирать, она приходила и садилась в низенькое кресло, только не возле инструмента (Оливье не мог

играть, когда кто-нибудь сидел рядом), а у камина. И тут, свернувшись клубком, как кошечка, спиной к пианино, вперив глаза в золотистое пламя очага, где неслышно догорал уголь, она баюкала себя образами прошлого. Когда часы били девять, она скрепя сердце напоминала Оливье, что пора кончать. Ей тяжело было отрывать от грез и его и себя, но Оливье надо было еще поработать вечером, а ложиться поздно ему не следовало. Он подчинялся не сразу: ему требовалось некоторое время, чтобы после музыки сосредоточиться на занятиях. Мысли его где-то витали. И нередко часы били уже половину десятого, а он все не мог вернуться к действительности. Антуанетта сидела напротив него, склонившись над работой, и знала, что он ничего не делает, но не решалась слишком часто смотреть в его сторону, боясь досадить ему излишней опекой.

Оливье был в том неблагоприятном — в том блаженном возрасте, когда проводишь целые дни, предаваясь праздным мечтам. У него был чистый лоб, девичьи глаза — и порочные и простодушные, нередко окруженные синевой; большой рот с припухшими, как у грудного младенца, губами, кривившимися едва уловимой усмешкой, рассеянной и озорной; копна волос, падающая до бровей, сзади пышная, как прическа, с непокорным хохолком на макушке; вокруг шеи небрежно болтался галстук, который сестра тщательно повязывала каждое утро; куртка была вечно без пуговиц, хотя Антуанетта тратила уйму времени, пришивая их; из рукавов без манжет торчали большие руки с костлявыми запястьями. Он мог часами витать в облаках с полусонным, лукавым и сладострастным видом. Глаза его без цели блуждали по комнате Антуанетты (стол для занятий находился у нее), останавливаясь на узкой железной кровати, над которой висело распятие слоновой кости с буксовой веточкой, на портретах отца и матери и на старой фотографии провинциального городка с колокольней и зеркалом каналов. Когда же его взгляд доходил до бледненького личика сестры, молча работавшей рядом, ему становилось бесконечно жалко ее и досадно на себя, — он встряхивался, сердясь на свое безделье, и ревностно брался за работу, чтобы наверстать потерянное время.

В свободные дни он много читал. Они всегда читали врозь. При всей их взаимной любви они не могли читать вслух друг другу. Это их оскорбляло, казалось нецеломудренным. Хорошая книга была для них тайной, которую можно нашептывать только себе. Когда какая-нибудь страница особенно восхищала одного из них, ни он, ни она не читали ее вслух, а протягивали книгу другому, указывая пальцем волнующее место и говоря:

— Прочти.

И пока другой читал, тот, кто уже прочел, блестящими глазами следил, как отражаются на лице близкого человека переживаемые им чувства, и наслаждался вдвойне.

Но часто, облокотясь на стол перед раскрытой книгой, они не читали, а разговаривали. Особенно к концу вечера у них нарастала потребность излить душу, и уже не так было трудно говорить. Оливье всегда одолевали печальные думы, и он, как существо слабое, стремился избавиться от своих терзаний, переложив их бремя на плечи другого. Сомнения мучили его. И Антуанетта должна была ободрять брата, защищать от самого себя, — эта борьба возобновлялась непрерывно, изо дня в день. Оливье высказывал горькие, мрачные мысли и, высказавшись, чувствовал себя легче, но не задумывался над тем, что они ложатся гнетом на сестру. Слишком поздно он понял, как изводил ее: брал себе ее силу, а в нее вселял свои сомнения. Антуанетта не роптала. По характеру бодрая и жизнерадостная, она заставляла себя казаться попрежнему веселой, хотя веселость ее давно исчезла. У нее бывали минуты безмерной усталости и возмущения против жизни, исполненной непрерывного самоотречения, на которую она себя обрекла. Но она осуждала эти мысли, не желала в них углубляться и, против воли, не приемля, терпела их. На помощь ей приходила молитва — кроме тех мгновений, когда сердце отказывалось молиться (бывает и так), когда оно словно было иссушено. Тогда оставалось лишь молча дожидаться, дрожа и стыдясь, чтобы благодать снова осенила ее. Оливье даже не догадывался об этих муках. В такие минуты Антуанетта под любым предлогом уходила из

дому или запиралась у себя в комнате. Только справившись с собой, она появлялась снова, улыбающаяся, страдавшаяся, и была еще ласковее, чем всегда, словно каялась в своих страданиях.

Комнаты их были рядом, и кровати стояли у одной и той же стены, так что брат и сестра могли переговариваться шепотом; а когда им не спалось, легкие постукивания в стену как бы говорили:

«Ты спишь? Я не сплю».

Перегородка была такая тонкая, что они словно лежали в одной постели, целомудренно, как два друга. Но дверь между комнатами на ночь всегда закрывали из чувства глубокой, инстинктивной стыдливости — чувства священного; она оставалась открытой, только когда Оливье хворал, а это, увы, случалось нередко.

Здоровье его все не восстанавливалось и даже стало хуже. У него постоянно что-нибудь болело — горло, грудь, голова, сердце, самая легкая простуда грозила перейти в бронхит; он заболел скарлатиной и чуть не умер; даже будучи здоровым, он вечно жаловался на какие-нибудь угрожающие симптомы, которые, к счастью, ни во что не выливались: то у него кололо в боку, то в сердце.

Однажды врач, выслушав его, определил не то перикардит, не то катар легких, и профессор-специалист, к которому они обратились потом, подтвердил эти опасения. Однако диагноз оказался ошибочным. В сущности у него были только больные нервы; а, как известно, заболевания такого рода принимают самые неожиданные формы и после многих дней тревоги кончаются ничем. Но чего стоили эти дни Антуанетте! Сколько она провела бессонных ночей! Она поминутно вскакивала с постели и, стоя у двери, прислушивалась к дыханию брата, потом ложилась снова, терзаясь страхом. Ей казалось, что он умрет, она это знала, она была уверена в этом. Дрожа, приподымалась она на кровати, складывала руки, стискивала их, прижимала к губам, чтобы не закричать.

«Господи, господи! — молила она. — Не отнимай его у меня! Нет, нет! Я не отдам его. Смилуйся, господи, смилуйся! Мамочка, дорогая! Помоги мне! Спаси его, сделай, чтобы он жил!..»

Все ее тело трепетало, как натянутая струна.

«Как! Умереть на полдороге, когда уже столько сделано, когда цель уже близка, когда ему скоро будет хорошо... Нет, это невозможно, это слишком жестоко!..»

Вскоре Оливье стал причинять сестре тревоги другого рода.

Как и она, он был глубоко порядочен по натуре, но воля у него была слабая, а ум очень независимый, слегка скептический и потому несвободный от путаных представлений; отсюда склонность мириться с дурным и тяга к наслаждениям. Антуанетта по своей душевной чистоте долго не могла понять, что творится с братом. Но вот она сделала совершенно неожиданное открытие.

Оливье думал, что сестры нет дома. Обычно в это время у нее был урок, но в последнюю минуту ученица известила ее запиской, что сегодня заниматься не может. Антуанетта этому втайне обрадовалась, хотя тем самым из их скудного бюджета выпадало несколько франков; но она была очень утомлена и прилегла на кровать, радуясь, что может отдохнуть денек без угрызений совести. Оливье вернулся из лицей и привел с собой товарища. Они расположились в соседней комнате и принялись болтать. Каждое их слово было слышно, а говорили они не стесняясь, думая, что кроме них никого нет. Антуанетта с улыбкой слушала оживленный голос брата. Но вскоре она перестала улыбаться, кровь застыла у нее в жилах. Они говорили на самые откровенные темы, употребляя отвратительно грубые выражения, и, очевидно, находили в этом удовольствие. Она слышала, как смеялся Оливье, ее маленький Оливье, и с его уст, которые она считала невинными, слетали непристойные слова, приводившие ее в ужас. Острая боль пронизывала ее до глубины души. Это длилось долго: они не могли наговориться, а она не могла не слушать. Наконец, мальчики ушли. Оставшись одна, Антуанетта заплакала — что-то умерло в ней; светлый образ брата — ее ребенка, — который она создала в своем воображении, был замазан, и она жестоко страдала от этого. Вечером она ни слова не сказала Оливье. Он заметил, что она плакала, но не

мог добиться причины. Он не понял, отчего она переменилась к нему. Ей не сразу удалось переломить себя.

Но самый жестокий удар нанес он ей, когда однажды не вернулся домой ночевать. Она не ложилась всю ночь, ожидая его. Она была уязвлена не только в своей нравственной чистоте, она была уязвлена в самых сокровенных тайниках своего сердца — тех глубоких тайниках, где роятся опасные чувства, которые она старалась скрыть даже от самой себя и над которыми не дозволено поднимать покров.

А Оливье прежде всего желал утвердить свою независимость. Он вернулся утром с развязным видом, готовясь ответить дерзостью, если сестра вздумает сделать ему замечание. Он на цыпочках проскользнул в квартиру, чтобы не разбудить ее. Но когда он увидел, что она не ложилась и ждала его, бледная, с покрасневшими от слез глазами, увидел, что она и не думает упрекать его, а молча хлопчет, чтобы накормить его завтраком до ухода в лицей, увидел, что она явно удручена, хотя не говорит ни слова, что все ее существо выражает безмолвный упрек, — тогда он не выдержал: бросился перед ней на колени, спрятал лицо в складках ее платья, и оба заплакали. Ему было стыдно, противно вспомнить о прошедшей ночи, он чувствовал себя замаранным. Он хотел заговорить — она не позволила, закрыла ему рот рукой, и он поцеловал эту руку. Больше между ними ничего не было сказано — они без слов поняли друг друга. Оливье дал себе клятву не огорчать Антуанетту и быть таким, каким она хотела его видеть. Но она, как ни старалась, не сразу забыла свою обиду. Она точно выздоравливала от тяжелой болезни, и чувство неловкости надолго сохранилось в их отношениях. Ее любовь не ослабела, но только теперь Антуанетта увидела в душе брата что-то ей чуждое, пугавшее ее.

То, что открылось Антуанетте в душе брата, ранило ее тем больше, что именно в это время ей приходилось терпеть упорные преследования мужчин. Когда она возвращалась под вечер в темноте и особенно когда она бывала вынуждена выходить после обеда, чтобы взять

или отнести работу по переписке, она вся дрожала от страха, что к ней подойдут, заговорят, пристанут, как это уже случалось не раз. Она старалась по возможности брать с собой Оливье под тем предлогом, что ему полезно гулять, но он соглашался неохотно, она же не смела настаивать, боясь помешать его занятиям. Душа девственницы и провинциалки возмущалась в ней против парижских нравов. Ночной Париж казался ей темным лесом, где ее подкарауливают страшные чудовища, и она боялась выходить из своей норки. Однако выходить было необходимо. В конце концов она взяла себя в руки, но страдать не перестала. Когда же она представляла себе, что ее мальчик, ее Оливье будет или уже стал похож на этих наглых мужчин, ей по возвращении стоило усилия пожать ему руку. А он не мог понять, за что сердится на него сестра...

Никто не назвал бы Антуанетту красавицей, но она обладала большим обаянием и останавливала на себе взгляды без малейшего старания со своей стороны. Одетая очень просто, почти всегда в черное, невысокого роста, тоненькая, хрупкая, неразговорчивая, она безмолвно скользила в толпе, стараясь быть незаметной, и все-таки против собственной воли привлекала к себе внимание пленительной нежностью кротких усталых глаз и по-детски непорочных губ. Иногда, правда, она видела, что нравится; ее это смущало и все-таки радовало. Кто скажет, сколько невинного, трогательного кокетства может невольно проснуться в спокойной девичьей душе, угадавшей чье-то ласковое участие? У Антуанетты появлялась тогда некоторая неловкость движений, она искоса бросала пугливые взгляды — это было и забавно и умиленно. Смущение делало ее еще привлекательнее. Она возбуждала желания, а так как она была девушка бедная и беззащитная, за ней ухаживали весьма бесцеремонно,

Она бывала иногда в доме Натанов, богатых евреев, которые встретили ее у своих знакомых, где она преподавала, и участливо отнеслись к ней. Антуанетте пришлось преодолеть свою застенчивость и раза два-три быть у них даже на званых вечерах. Альфред Натан был очень известный в Париже профессор, крупный ученый и в то же время весьма светский человек, — эта причудли-

вая помесь учености и суетности часто наблюдается среди евреев. Так и у г-жи Натан подлинная доброта сочеталась с чрезвычайной светскостью. Оба супруга от случая к случаю щедро и шумно выражали Антуанетте свою искреннюю симпатию. Вообще Антуанетта встретила больше сочувствия среди евреев, чем среди своих единоверцев. У евреев много недостатков, но у них есть одно достоинство — может быть, самое главное: они живые люди, они человечны; ничто человеческое им не чуждо, они внимательны ко всему живому. Даже когда у них нет настоящего горячего чувства, они неизменно полны любопытства, заставляющего их интересоваться всеми более или менее значительными людьми и идеями, хотя бы совершенно чуждыми им. Нельзя сказать, чтобы они всегда оказывали при этом действенную помощь, — слишком многое занимает их одновременно, и они, более чем кто-либо, находятся во власти светского тщеславия, хотя и отрицают это. Но они по крайней мере что-то делают, а это уже много при равнодушии, царящем в современном обществе. Они служат в нем ферментом жизни, бродилом действия. У католиков Антуанетта натолкнулась на стену ледяного безразличия и тем сильнее ценила внимание, хотя бы и поверхностное, которое проявляли к ней Натаны. Г-жа Натан угадала, какую подвижническую жизнь ведет Антуанетта, кроме того пленялась ее внешним и внутренним обликом и задумала взять девушку под свое покровительство. У нее самой детей не было, но она любила и часто собирала у себя молодежь; она настояла на том, чтобы Антуанетта тоже приходила, чтобы она нарушила свое затворничество и немножко развлекалась. Нетрудно было понять, что Антуанетта чуждалась общества отчасти из-за своей бедности, и г-жа Натан сделала попытку снабдить ее нарядами, но гордость Антуанетты возмутилась против этого; тогда заботливая покровительница так деликатно повела дело, что все-таки заставила девушку принять кое-какие мелочи, столь ценные для невинного женского тщеславия. Антуанетта была тронута этим и смущена. Скрепя сердце она время от времени приходила на вечера г-жи Натан, а там молодость брала свое, и она втягивалась в общее веселье.

Но в этом несколько пестром обществе, где бывало много молодых людей, бедную и миловидную девушку, которой покровительствовала хозяйка дома, немедленно избрали своей жертвой двое-трое шалопаев, с наглой самоуверенностью остановивших на ней свой выбор. В расчете на ее робость они заранее бились между собой об заклад, кто скорее преуспеет.

Началось с того, что Антуанетта стала получать анонимные или, вернее, подписанные вымышленным громким именем письма с объяснениями в любви. Сперва это были вкрадчивые, настойчивые любовные записочки, в которых ее просили о свидании; затем тон стал более развязным, появились угрозы, а дальше пошли оскорбления, грязная клевета: ее раздевали в этих письмах, пачкали похотливыми домыслами, разбирали во всех подробностях ее скрытые достоинства, пытались сыграть на ее неопытности, грозя ей публичным скандалом, если она не придет на свидание в указанное место. Она плакала от обиды, получая такие предложения; эти гнусности оскорбляли ее гордость, как огнем жгли ее тело и душу. Она не знала, как выйти из положения. Ей не хотелось рассказывать обо всем брату: она понимала, что ему будет слишком больно и что это только усложнит дело. Друзей у нее не было. Обратиться в полицию? На это она не решалась из боязни огласки. Однако пора было принять решительные меры. Она чувствовала, что молчанием тут не спастись, что негодяй, преследующий ее, не отстанет и решится на что угодно, если будет чувствовать себя в безопасности.

Тут как раз подоспело категорическое требование явиться завтра в определенный час в Люксембургский музей. Антуанетта решила пойти. Путем долгих размышлений она пришла к выводу, что мучитель ее познакомился с нею у г-жи Натан. В каком-то из его писем упоминалось об одном случае, который мог иметь место только там. И вот она попросила г-жу Натан оказать ей большую услугу: подвезти ее в своем экипаже в музей и минутку подождать у входа. Когда Антуанетта вошла, ее встретил возле указанной в письме картины торжествующий шантажист и заговорил с ней преувеличенно учтивым тоном. Она молча, пристально смотрела

на него. Кончив свою речь, он игриво спросил, почему она так на него смотрит.

— Я смотрю на подлеца, — ответила Антуанетта.

Он не смутился такой малостью и стал еще развязнее.

— Вы мне грозили скандалом, — сказала она. — Пожалуйста! Я готова пойти на скандал!

Она вся дрожала и говорила громко, с явным намерением привлечь внимание посетителей. На них оглядывались. Молодой человек увидел, что она не остановится ни перед чем, и присмирел. Она еще раз крикнула ему:

— Подлец!

И пошла прочь.

Не желая признать себя побежденным, он последовал за девушкой. Она вышла из музея — он за ней. Она направилась к ожидавшей ее карете, распахнула дверцу, и предприимчивый ловелас очутился лицом к лицу с г-жой Натан, которая узнала его и приветствовала, назвав по имени. Он растерялся и поспешил скрыться.

Антуанетте пришлось все объяснить своей спутнице. Она изложила происшедшее неохотно и крайне сдержанно. Ей было тяжело посвящать постороннего человека в свой внутренний мир и рассказывать о страданиях своего оскорбленного целомудрия. Г-жа Натан упрекнула ее за то, что она так долго молчала. Антуанетта умоляла никому не говорить ни слова. На том заключение и закончилось; г-же Натан не понадобилось даже отказывать наглому субъекту от дома — он не посмел больше показаться у нее в гостиную.

Приблизительно в то же время на долю Антуанетты выпало огорчение совсем другого рода.

Один очень порядочный человек лет сорока, служивший консулом на Дальнем Востоке и приехавший во Францию на несколько месяцев в отпуск, познакомился с Антуанеттой у Натанов и влюбился в нее. Встреча эта была, без ведома Антуанетты, подстроена г-жой Натан, которая во что бы то ни стало решила выдать замуж

свою юную приятельницу. Консул, тоже еврей, не отличался красотой — он был немного плешив и сутуловат, но у него были добрые глаза, ласковые манеры и сердце, знавшее страдание, а потому умевшее сострадать другим. В Антуанетте уже ничего не осталось от прежней избалованной девочки-мечтательницы, рисовавшей себе жизнь как прогулку в ясный день об руку с возлюбленным; теперь жизнь предстала перед ней как жестокая битва, которую надо вести изо дня в день, без передышки, чтобы не потерять в один миг все, что было завоевано пядь за пядью годами изнурительного труда; и она часто думала, что отраднее было бы опереться на руку друга, разделить с ним заботы и отдохнуть немножко, а он чтобы тем временем оберегал ее покой. Она понимала, что это только мечта, но у нее еще не хватало мужества отказаться от такой мечты. Впрочем, она отлично знала, что бесприданнице не на что надеяться в том обществе, где она жила. Старая французская буржуазия на весь мир прославилась своим гнусно-торгашеским отношением к браку. Евреи же не так бесстыдно гоняются за деньгами. Среди них нередко можно встретить богатого молодого человека, который женится на бедной девушке, или состоятельную девушку, которая упорно ищет себе в мужья человека интеллигентного. Но в среде французских буржуа, провинциалов и католиков, мощь всегда ищет мощь. Глупцы, на что им столько денег? Потребности у них самые ограниченные: они умеют только есть, зевать от скуки, спать и... копить. Антуанетта хорошо знала этих людей, она видела их с детства, смотрела на них и глазами богатства и глазами нищеты. Она не обольщалась на их счет и понимала, что тут ждать нечего. А потому неожиданное сватовство консула было для нее большим утешением. Сперва она и не думала любить его, но мало-помалу прониклась к нему глубокой признательностью и симпатией. Она приняла бы его предложение, если бы не надо было ехать в колонии, а значит, разлучиться с братом, и отказала влюбленному; тот, хотя и понял все благородство ее побуждений, но не простил отказа: любовь в своем эгоизме требует, чтобы ей жертвовали всем, вплоть до тех качеств, которые ей особенно дороги в любимом существе. Он перестал встре-

чаться с Антуанеттой, не написал ей, когда уехал, и она ничего не знала о нем, пока пять или шесть месяцев спустя не получила извещения о его женитьбе, причем конверт был надписан его рукой.

После этой новой сердечной раны Антуанетта сложила свою скорбь к стопам божьим, постаралась себя убедить, что понесла справедливую кару за то, что хоть на миг позабыла свой единственный долг — посвятить себя брату, и всецело отдалась заботам о нем.

Она окончательно отдалилась от света, перестала даже бывать у Натанов, которые несколько охладели к ней после того, как она отказала найденному ими жениху, — они тоже не приняли ее доводов. Г-жа Натан, заранее решившая, что этот брак состоится и будет образцовым, была уязвлена в своем самолюбии, когда он не состоялся по вине Антуанетты. На ее взгляд, чувства девушки были, конечно, весьма похвальны, но преувеличены до приторности, и она сразу же утратила интерес к этой дурочке. В силу своей потребности благодетельствовать людям с их согласия или помимо него она облюбовала себе другую подопечную, на которую в данный момент и расходовала весь запас внимания и забот.

Оливье и не догадывался о печальных романтических переживаниях сестры. Это был чувствительный и легкомысленный юноша, постоянно витавший в мечтах. Полагаться на него не стоило ни в чем, хотя ум у него был живой и обаятельный, а сердце — такая же сокровищница любви, как и у Антуанетты. Целые месяцы трудов он часто сводил на нет каким-нибудь сумасбродным выпадом, приступом хандры, полосой безделья, надуманными увлечениями, на которые тратил время и силы; он влюблялся в первое встречное смазливенькое личико, в кокетливых девочек-подростков, которые разок поболтали с ним где-нибудь в гостях и тут же позабыли об этом. Он мог увлечься книгой, поэмой, каким-нибудь музыкальным произведением и по неделям ничем иным не занимался, пренебрегая ученьем. За ним надо было следить неусыпно, но незаметно, чтобы не обидеть его. Трудно было предусмотреть, что он выкинет в следующую минуту. Он постоянно находился в лихорадочном возбужде-

нии, в том неуравновешенном, взвинченном состоянии, которое нередко наблюдается у людей, предрасположенных к чахотке. Врач не скрыл своих опасений от Антуанетты. Этому чахлому от природы растению, пересаженному из провинции в Париж, очень нужно было солнце и свежий воздух, — словом, то, чего Антуанетта не могла ему предоставить. У них не было денег, чтобы уезжать из Парижа на каникулы. А в течение года они были заняты по целым дням и так уставали к воскресенью, что им никуда не хотелось идти, разве только в концерт.

Однако летом, по воскресеньям, Антуанетта иногда насильно увлекала Оливье за город, в леса Шавиля или Сен-Клу. Но в лесу некуда было деваться от шумных парочек, кафешантанных песенок и просаленных бумажек: такая обстановка меньше всего походила на ту чудесную тишину, которая успокаивает и очищает. А вечером, на обратном пути, надо было терпеть давку в поездах, духоту битком набитых, отвратительных пригородных вагонов, низких, тесных, темных, вольные словечки и сценки, шум, хохот, пенье, вонь, табачный дым. И Антуанетта, и Оливье чувствовали себя чужими в толпе, а потому возвращались домой раздраженные, расстроенные. Оливье умолял сестру прекратить прогулки, да и у Антуанетты не было охоты повторять эти опыты. Однако она упорствовала в своем намерении, хотя такие поездки доставляли ей еще меньше удовольствия, чем Оливье, — она считала, что это нужно для здоровья брата, и снова старалась вытащить его из дому. Новые попытки были не более удачны, и Оливье жестоко корил ее. Наконец, они решили безвыездно сидеть в душном городе и из недр своего тюремного двора вздыхали о просторе полей.

Наступил последний учебный год, а за ним предстояли приемные экзамены в Высшую Нормальную школу. И слава богу! Антуанетта очень устала. Она твердо рассчитывала на успех. Оливье имел все основания быть принятым. В лицее на него смотрели как на самого верного кандидата; все преподаватели дружно хвалили его способности и ум, делая, правда, оговорку

насчет недисциплинированности мышления, мешавшей ему работать планомерно. Но бремя ответственности до того утнетало Оливье, что по мере приближения экзаменов он все больше тупел. Крайнее утомление, боязнь срезаться и болезненная застенчивость заранее сковывали его. Он дрожал при мысли, что ему придется выступать публично перед строгими судьями. Он всегда страдал от своей застенчивости. В классе, когда приходилось отвечать, он краснел, у него сжималось горло. В первое время ему трудно было отозваться, даже когда произносили его имя. Отвечать неожиданно он еще кое-как мог; если же он знал, что его вызовут, ему чуть не делалось дурно, но голова у него не переставала работать, и он во всех подробностях представлял себе, что сейчас произойдет; чем дольше приходилось ждать, тем было мучительнее. Можно сказать, что каждый экзамен он держал дважды: накануне ночью он экзаменовался во сне и тратил на это все силы, так что для настоящих экзаменов сил совсем не оставалось.

Но он даже не был допущен до устного экзамена — того, который внушал ему такой ужас, что по ночам его прошибал холодный пот. Во время письменной работы на философскую тему, которая в обычное время непременно увлекала бы его, он за шесть часов едва выжал из себя две странички. Сначала у него в голове была пустота, ни одной мысли, буквально ни одной. Перед ним словно выросла черная стена, о которую он тщетно бился. Потом, за час до срока, стена раздалась, и лучи света хлынули в брешь. Тогда он набросал на бумагу несколько превосходных мыслей, однако этого было недостаточно для хорошей отметки. По его удрученному виду после письменного экзамена Антуанетта поняла, что он провалился, и сама была удручена не меньше, но скрыла тревогу. Впрочем, даже в самых безнадежных положениях ей не изменяла способность надеяться.

Оливье не приняли.

Он был убит. Антуанетта улыбалась, стараясь показать, что ничего страшного не произошло, но губы у нее дрожали. Она утешала брата, убеждала, что это неудача поправимая, что на будущий год он обязательно

выдержит испытания и даже лучше других. Она не сказала, как важно было ей, чтобы он выдержал именно в этом году, как она измучена телом и душой, как боится, что у нее не хватит сил вытянуть еще один такой год. А тянуть нужно было. Если ее не станет до того, как его примут, он один ни за что не найдет в себе мужества продолжать борьбу, и жизнь сломит его.

Итак, она скрыла от него свою усталость и даже удвоила усилия. Она надрывалась, чтобы он мог немного развлечься во время каникул и с большей бодростью и уверенностью начать учебный год. Но к началу учебного года ее скромные сбережения значительно убывли, а вдобавок она потеряла несколько выгодных уроков.

Еще целый год! Перед последним испытанием нервы у обоих были напряжены до предела. Но прежде всего надо было жить и изыскивать какие-то новые источники заработка. Антуанетта согласилась ехать гувернанткой в Германию, взяв место, которое подыскиали ей Натаны. Она решилась на это как на крайнюю меру: ничего другого у нее не было в виду, а ждать она не могла. За шесть лет они с братом не расставались ни на день, и она даже не представляла себе, как будет жить и не видеть, не слышать его постоянно. Оливье не мог без ужаса думать о разлуке, но ничего не смел сказать — он сам был причиной этого несчастья: если бы он выдержал экзамены, Антуанетте не понадобилось бы идти на такую крайность; он не имел права протестовать и выдвигать на первый план свои собственные переживания — решать должна была она.

Последние дни, которые им осталось быть вместе, они провели в безмолвной скорби, словно перед вечной разлукой: когда горе одолевало их, они прятались друг от друга. Сестра взглядом спрашивала совета у брата. Если бы он сказал: «Не уезжай!» — она бы не уехала, хотя ехать было необходимо. Еще в фиакре, который вез их на вокзал, она готова была отказаться от поездки, чувствуя, что у нее нет сил осуществить свое намерение. Одного слова Оливье было бы достаточно! Но он этого слова не сказал. Он держал себя в руках, как и сестра.

Она взяла с него обещание писать каждый день, ничего от нее не скрывая, и чуть что — немедленно вызывать ее.

Она уехала. В то время как Оливье с леденящей тоской на сердце возвращался в лицей, где ему пришлось стать пансионером, поезд уносил застывшую в скорби Антуанетту. Вперив взоры в темноту, брат и сестра чувствовали, что с каждой минутой расстояние между ними становится все больше, и шепотом призывали друг друга.

Антуанетта с ужасом думала о той среде, где ей предстояло жить. Она очень изменилась. Прежде ей ничего не было страшно, она ни перед чем не робела, но за эти шесть лет она так привыкла к тишине и уединению, что ей казалось настоящей пыткой выйти из своей скорлупы. Смешливая, веселая болтуня Антуанетта былых счастливых дней исчезла. Несчастье сделало ее дикаркой. Вероятно, живя бок о бок с Оливье, она в конце концов заразилась его застенчивостью. Ей трудно было говорить с кем-нибудь, кроме брата. Она всего боялась, ее пугала даже необходимость пойти в гости. Поэтому она содрогалась при мысли, что придется жить у чужих людей, разговаривать с ними, постоянно быть на виду. К тому же у нее, бедняжки, так же как у Оливье, не было склонности к педагогике: она добросовестно исполняла свои обязанности, но не верила в пользу того, что делала, и не могла утешаться сознанием, что занята нужным делом. Она была создана, чтобы любить, а не учить. Любовь же ее никому не была нужна.

И меньше всего ее любовь была нужна на новом месте, в Германии. Семья Грюнбаумов, куда ее наняли обучать детей французскому языку, не выказывала к ней ни малейшего интереса. Это были люди чванные и развязные, равнодушные и назойливые; платили они неплохо и на этом основании полагали, что благодетельствуют человеку, получающему у них жалованье, и могут себе позволить с ним что угодно. Они считали Антуанетту чуть повыше прислуги и не давали ей свободно вздохнуть. У нее не было отдельной комнаты — она спала в каморке, смежной с детской, куда дверь даже по

ночам не закрывалась. Она никогда не бывала одна. Никто не желал понять, что у нее может быть потребность остаться наедине с собой, — никто не признавал за ней священного права каждого живого существа на внутреннее одиночество. Она знала теперь одну-единственную радость — мысленно побыть и поговорить с братом. Но Грюнбаумы старались отнять у нее даже те считанные свободные минутки, которые она урывала для себя. Стоило ей сесть за письмо, как кто-нибудь уже шнырял вокруг и допытывался, что она пишет. Когда она читала полученное письмо, ее спрашивали, что там написано; с игривой развязностью осведомлялись о «братце». Ей приходилось прятаться. Стыдно сказать, к каким уловкам она вынуждена была прибегать, где запирались, чтобы без помехи читать письма Оливье. Если она забывала письмо на столе, то не сомневалась, что его прочтут; а так как ничто в комнате, кроме ее чемодана, не запиралось, она поневоле таскала с собой все бумаги, которые хотела скрыть от посторонних глаз, — и без того уж в ее вещах и в ее сердце постоянно рылись, старались докопаться до ее заветных мыслей. Но это вовсе не означало, что Грюнбаумы интересуются ею. Просто считалось, что она — их собственность, раз они ей платят. Впрочем, никакого злого умысла они не питали: нескромное любопытство было их коренным свойством, и члены семьи друг на друга за это не обижались.

Антуанетте была нестерпима эта слежка, это отсутствие душевного такта, не позволявшие ей ни на час укрыться от нескромных взглядов. Ее исполненная достоинства сдержанность оскорбляла Грюнбаумов. Разумеется, они находили высоконравственные доводы, чтобы оправдать свою грубую назойливость и осудить попытки Антуанетты уклониться от их вторжений. «Наш прямой долг, — рассуждали они, — знать личную жизнь девушки, которую мы поселили у себя, ввели в свою семью и которой поручили воспитание детей: мы ответственны за нее». (Так говорят о своей прислуге многие хозяйки дома, причем «ответственность» эта отнюдь не ограждает бедняжек от изнурительного труда и унижения, а только воспрещает им всякую

радость.) «Раз Антуанетта не признает этого нравственного долга, — заключали Грюнбаумы, — значит, она не считает себя безупречной: честным девушкам скрывать нечего».

Таким образом, вокруг Антуанетты создавалась атмосфера непрерывной травли, которая заставляла ее быть все время начеку, отчего она казалась еще более выскомерной и замкнутой.

Брат каждый день слал ей письма страниц в двенадцать, и она ухитрялась писать ему каждый день хоть две-три строчки. Оливье старался быть настоящим мужчиной и не слишком обнаруживать свои страдания. Но он просто погибал от тоски. Его жизнь была всегда так неразрывно связана с жизнью сестры, что теперь, в разлуке, он будто потерял половину самого себя: он разучился владеть руками, ногами, мыслями, разучился гулять, играть на рояле, заниматься и вообще делать что бы то ни было, даже мечтать о чем-нибудь... кроме нее. С утра до вечера он корпел над учебниками, но ничего не запоминал: мыслями он был далеко; он тосковал или думал о ней, о ее вчерашнем письме; не спуская глаз с часов, ждал сегодняшнего письма; когда же оно приходило, руки у него, вскрывая конверт, дрожали от радости, а также от страха. Никогда пальцы влюбленного, державшие любовное письмо, не трепетали такой встревоженной нежностью. Как и Антуанетта, он прятался, читая ее письма, и все их носил при себе, а самое последнее держал под подушкой и, желая убедиться, что оно не пропало, время от времени трогал его, когда лежал ночью без сна, мечтая о своей дорогой сестренке. Как она была далеко! Особенно мучился он, если письмо задерживалось и приходило через день после того, как было отправлено. Два дня и две ночи разделяли их! Время и расстояние казались ему огромными особенно потому, что он никогда не путешествовал. Воображение его разыгрывалось. Господи! Вдруг она заболит и умрет, прежде чем он успеет добраться до нее... Почему она не написала накануне хоть несколько строк? А вдруг она больна? Да, конечно, она больна... У него сердце обрывалось. Еще чаще он боялся сам умереть вдали от нее, один, среди

равнодушных людей, в этом мерзком лице, в этом унылом Париже. Он и действительно чуть не заболел от одних только мыслей. «Не написать ли ей, чтобы она вернулась?» И тут же ему становилось стыдно своего малодушия. Впрочем, едва он садился ей писать, как забывал свою тоску, — такое для него было счастье общаться с нею. Ему казалось, что он видит, слышит ее; он рассказывал ей обо всем. Пока они жили вместе, он никогда так не откровенничал с нею, не выражал так горячо своих чувств, а теперь он называл ее: «Мой верный, мужественный друг, моя добрая, дорогая, любимая, очень любимая сестричка». Это были настоящие любовные письма.

Антуанетта купалась в их ласке, за весь день они были для нее единственной отдушиной. Когда письмо не приходило утром в обычный час, она глубоко страдала. Раза два Грюнбаумы по небрежности или — кто знает? — быть может, в насмешку, назло, не отдавали ей письма до вечера, а один раз даже до следующего утра. У нее сделался жар. На Новый год брат и сестра, не сговорившись, надумали послать друг другу длинные телеграммы (удовольствие очень дорогое), которые пришли в один и тот же час. Оливье попрежнему рассказывал Антуанетте о своих занятиях и сомнениях, просил у нее совета; она его наставляла, старалась вселить в него свою силу.

А между тем ей и на себя уже не хватало сил. Она задыхалась тут, в чужой стране, где никого не знала и никому до нее не было дела, кроме жены одного учителя, недавно поселившейся в этом городе и тоже чувствовавшей себя одиноко. Добрая женщина по-матерински жалела двух детей, которые любили друг друга и жили в разлуке (она частично выведала у Антуанетты историю ее жизни), но она была так шумлива и так вульгарна, до такой степени лишена чуткости и деликатности, что утонченная душа девушки пугливо замыкалась. Антуанетте некому было довериться, и она носила в себе все свои заботы — груз очень нелегкий; временами ей казалось, что она не выдержит и упадет под его тяжестью; но она стискивала зубы и шла дальше. Здоровье ее пошатнулось — она сильно худела. Письма брата станови-

лись все печальнее. Однажды в припадке отчаяния он написал:

«Вернись, вернись, вернись...»

Но не успел он отправить письмо, как устыдился и написал другое, в котором умолял Антуанетту порвать первое письмо и забыть о нем. Он даже постарался сделать вид, что ему очень весело и он вовсе не нуждается в сестре. Болезненно самолюбивый юноша ни за что не хотел, чтобы думали, будто он не может без нее обойтись.

Антуанетту трудно было обмануть — она все это понимала, но не знала, как быть. То она уже совсем собиралась ехать и шла на вокзал узнать, когда отходит поезд на Париж. То внушала себе, что это безумие, — ведь деньги, которые она зарабатывала здесь, окупали содержание Оливье в пансионе и, значит, надо терпеть, пока хватит сил. Она уже не способна была принять решение. С утра она еще бодрилась, но, по мере того как надвигались сумерки, мужество ее слабело, ей хотелось бежать, одолевала тоска по родине — той родине, где ей пришлось очень несладко, но где были схоронены все святыни ее прошлого; она тосковала о языке, на котором говорил ее брат и на котором она сама выражала свою любовь к нему.

Как раз в это время в немецком городке, где она жила, остановилась проездом труппа французских актеров. Антуанетта очень редко бывала в театре (у нее для этого не было ни времени, ни охоты), но тут ей неудержимо захотелось услышать родную речь, подышать воздухом Франции. Дальнейшее уже известно. Все билеты в театре были распроданы; молодой музыкант Жан-Кристоф, с которым Антуанетта не была знакома, увидев, как она огорчена, предложил ей место в ложе; она, не подумав, согласилась. Ее появление вместе с Кристофом вызвало пересуды в городке; эти злобные толки немедленно дошли до Грюнбаумов, которые заранее были готовы поверить всему, что бы ни наговорили дурного о молодой француженке; кроме того, вследствие некоторых обстоятельств, изложенных ранее ¹, они были на-

¹ См. «Жан-Кристоф», кн. четвертая, «Бунт». — *Р. Р.*

строены против Кристофа и грубо отказали Антуанетте от места.

Целомудренная, стыдливая девушка, всецело поглощенная любовью к брату, ограждавшей ее от малейшей нечистой мысли, думала, что не вынесет позора, когда поняла, в чем ее обвиняют. У нее ни на миг не поднялась досада на Кристофа. Она знала, что он так же ни в чем не повинен, как она сама, что он причинил ей зло, искренне желая добра, и была ему только благодарна. Она ничего не знала о своем случайном спутнике кроме того, что он музыкант и что его избрали мишенью для ожесточенных нападков; но при всем своем неведении жизни и людей она врожденным чутьем, обострившимся от горя, умела угадывать человеческую душу и в этом соседе по театру, хоть и дурно воспитанном и чудаковатом, угадала чистоту помыслов, равную своей, и мужественную красоту, о которой даже вспоминать было отраднo. Все то плохое, что говорилось о Кристофе, ничуть не поколебало доверия, которое он внушил ей. Она сама была жертвой и не сомневалась в том, что он тоже жертва и страдает, должно быть, гораздо дольше от злобы людей, нанесших ей оскорбление. А так как она привыкла забывать о себе и думать о других, мысль обо всем, что страдал Кристоф, отвлекла ее от собственной обиды. Ни за что на свете не стала бы она искать встречи с ним или писать ему — стыдливость и гордость запрещали ей это. Она уверила себя, что он не знает, какую неприятность навлек на нее, и по доброте своей искренне желала, чтобы он никогда об этом не узнал.

Она уехала. По воле случая, в часе пути от города поезд, увозивший ее, встретился с тем поездом, в котором Кристоф возвращался из соседнего городка, где провел день.

Пока поезда стояли рядом, они в тиши ночи увидели друг друга из вагонного окна и не заговорили друг с другом. Да и что бы они могли сказать, кроме самых обыденных слов? Эти слова только опошили бы неуловимое чувство взаимной жалости и таинственного влечения, которое родилось в них и не имело иного основания, кроме внутреннего ясновидения. В тот миг, когда они, незнакомые, обменивались последним взглядом,

они увидели друг друга так, как никто из живших бок о бок с ними никогда их не видел. Все проходит — воспоминание о словах любви, о поцелуях, о самых жарких объятиях; но соприкосновение двух душ, которые встретились однажды и узнали друг друга в толпе бесчувственных марионеток, не забывается никогда. Антуанетта унесла память о нем в тайниках своего сердца — сердца, окутанного печалью, посреди которой сиял, однако, скрытый свет, подобный тому, что окутывает елисейские тени в «Орфее» Глюка.

Итак, она вернулась к Оливье. И вернулась во-время: он как раз заболел. Этот нервный, неуравновешенный мальчик, дрожавший перед вымышленными болезнями, теперь, захворав всерьез, решил не писать сестре о своей болезни, чтобы не встревожить ее. Но мысленно он звал ее, молил об ее приезде, как о чуде.

Когда чудо свершилось, он лежал в жару на койке лицейского лазарета и дремал. Он не вскрикнул, увидев ее. Сколько раз ему чудилось, будто она входит в палату! Он поднялся на постели, открыв рот, дрожа от страха, что вдруг это опять окажется обманом. И когда Антуанетта села на кровать возле него, когда она обняла его и он прильнул к ней, когда он ощутил губами ее нежную щеку и ее руки, заочеченные после целой ночи, проведенной в поезде, когда он, наконец, убедился, что это она, его сестричка, его девочка, — он заплакал. Он остался все тем же «Фонтанчиком», каким был в детстве, и не умел иначе выражать свои чувства. Он прижимал сестру к себе, боясь, что она опять ускользнет от него. Как они изменились оба! Какой у них был болезненный вид! Все равно! Они снова были вместе, и все вокруг точно просияло: лазарет, лицей, пасмурный день, — они обрели друг друга и теперь уж не расстанутся никогда. Прежде чем она успела сказать хоть слово, он взял с нее клятву, что она больше не уедет. Ему незачем было брать с нее клятву — нет, она больше не уедет, они слишком страдали вдали друг от друга; покойная мать была права: все лучше, чем разлука. Даже нужда, даже смерть, только бы быть вместе.

Они поспешили снять квартиру. Им хотелось вернуться в прежнюю, хотя она была очень неприглядной, но ее уже заняли. Новая квартира тоже выходила окнами во двор, однако поверх стены виднелась макушка чахлой акации, и оба, брат и сестра, сразу же полюбили эту вестницу полей, заточенную, как и они, в каменной тюрьме. Здоровье Оливье быстро восстановилось — вернее, то, что для него считалось здоровьем: у другого более крепкого человека такое состояние называли бы болезнью. Как ни тягостно было для Антуанетты пребывание в Германии, оно позволило ей скопить немного денег. Кроме того, она получила какие-то крохи за перевод немецкой книги, которую удалось пристроить в одном издательстве. Денежные заботы были на время устранены, и все складывалось отлично, только бы Оливье в конце года выдержал приемные экзамены. А вдруг он не выдержит?

Страх перед экзаменами снова навис над ними, едва радость совместной жизни вошла в привычку. Они старались не говорить на эту тему и все-таки без конца возвращались к ней. Мысль об экзаменах неотступно преследовала их, даже когда они пытались развлечься: она вдруг выплывала в концерте, посреди какой-нибудь пьесы; стоило им проснуться ночью, как она разверзалась в их сознании, точно бездна. Оливье не только страстно желал облегчить сестре бремя жизни, доказать, что она не напрасно пожертвовала ему своей молодостью, — он еще безумно боялся военной службы, которой ему не миновать, если он провалится (в те времена поступление в высшую школу освобождало от воинской повинности). С чувством непреодолимой гадливости думал он о тесном физическом и моральном общении нивесть с кем, о постепенном отупении — неизбежном следствии жизни в казарме, как ему, справедливо или несправедливо, казалось. Все, что было в его натуре аристократического и девственного, восставало против этой перспективы — временами сама смерть представлялась ему лучшим выходом. Можно осмеивать и даже бичевать такого рода чувства во имя общественной морали, возведенной нашим веком в религию, но было бы слепотой не понять, какие глубокие страдания причиняет по-

теря внутреннего одиночества во имя равенства, чересчур широко и грубо понимаемого в наши дни.

Снова начались экзамены. Оливье едва не пропустил их: он плохо себя чувствовал и так боялся волнений, через которые ему предстояло пройти, все равно, примут его или нет, что даже желал заболеть по-настоящему. На этот раз сочинение он написал неплохо. Но мучительно было ждать, пока выяснится, допущен ли он к дальнейшим экзаменам. Согласно обычаям, установившимся с незапамятных времен в стране Революции — самой косной стране на свете, экзамены происходили в июле, в самое жаркое время года; казалось, это делается нарочно, с целью доконать несчастную молодежь, и без того замученную чудовищной программой экзаменов, из которой сами судьи не знали и десятой доли. Заключение по письменной работе давались на следующий день после праздника 14 июля, сопровождаемого народными гуляниями и шумным весельем, которое так тягостно для тех, кому совсем невесело и хочется тишины. На соседней площади были построены балаганы; с утра до поздней ночи щелкали выстрелы в тире, редела паровая карусель с деревянными лошадками, завывала шарманка. И этот дикий грохот длился целую неделю: президент республики — популярности ради — наकिनул горланам еще три свободных дня. Ему это ничего не стоило — он-то их не слышал. Но Оливье и Антуанетта совсем извелись: неистовый шум сверлил им мозг, они закрывали окна и сидели без воздуха в душных комнатах, затыкали уши, чтобы избавиться от назойливых, вьедливых, пошленьких уличных песенок, которые с утра до ночи раздирали слух и точно молотом долбили голову.

Устные экзамены начинаются почти сразу же после того, как объявлены результаты письменных. Оливье упросил Антуанетту не присутствовать на них. Она ждала у двери и дрожала больше, чем он сам. А он, разумеется, не говорил, что доволен своими ответами. Он изводил сестру, жалея о том, что сказал или чего не сказал.

Настал решающий день. Списки принятых вывешивали во дворе Сорбонны. Антуанетта не пустила Оливье одного. Выходя из дому, каждый из них по-

думал про себя, что, вернувшись, они уже будут знать и, возможно, пожалеют об этих минутах томительного ожидания, когда у них оставалась хотя бы надежда. Но вот они увидели купол Сорбонны, и ноги у них подкосились. Антуанетта, обычно такая храбрая, сказала брату:

— Ради бога, не беги так...

Оливье посмотрел на сестру — она силилась улыбнуться.

— Давай посидим минутку, — предложил он.

Он рад был бы не идти дальше. Но не успели они опуститься на скамейку, как Антуанетта сжала его руку и сказала:

— Ничего, мой мальчик, идем.

Им не сразу попался на глаза нужный список. Они просмотрели несколько, где имени Жанена не было. Увидев, наконец, это имя, они даже не поняли сперва: читали, перечитывали и все не могли поверить. А когда убедились, что это правда, что Жанен и Оливье — одно лицо, что Жанен принят, они, не вымолвив ни слова, бросились домой. Антуанетта схватила брата под руку, крепко стиснула его пальцы, а он оперся на нее. Всю дорогу они почти бежали, ничего не видя вокруг; когда они переходили бульвар, их чуть не раздавил экипаж.

«Милый мой!.. — Милая моя!..» — твердили они.

Они поднялись по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Очутившись у себя, они бросились друг другу в объятия. Антуанетта взяла брата за руку и подвела его к портретам отца и матери, которые висели у ее кровати, в уголке, превращенном в некое святилище; опустившись на колени, брат и сестра помолились и плакали потихоньку.

Антуанетта велела принести из ресторана праздничный обед, но оба не притронулись ни к чему — им не хотелось есть. Весь вечер Оливье просидел у ног сестры или у нее на коленях, а она ласкала его, как малого ребенка. Они почти не разговаривали. У них не хватало сил даже чувствовать себя счастливыми — оба были совершенно разбиты. Они легли в девять часов и заснули крепким сном.

На следующий день у Антуанетты страшно болела голова, но с сердца свалилась такая тяжесть! Оливье впервые почувствовал, что дышит полной грудью. Он был спасен. Антуанетта спасла его, она выполнила свою задачу; а он оправдал надежды, которые сестра на него возлагала! Впервые за долгие-долгие годы они позволили себе понежиться. До полудня они пролежали в постели, переговариваясь через открытую дверь; они видели друг друга в зеркале, видели, какие у них счастливые и отекавшие от усталости лица; они улыбались друг другу, посылали воздушные поцелуи, снова дремали, и тот, кто просыпался, смотрел, как спит другой, — оба такие измученные, обессиленные, что и переговариваться могли только нежными возгласами.

Антуанетта не переставая копила понемножку про черный день и по грошам собрала небольшую сумму. Она скрыла от брата, какой готовит ему подарок, и на следующий день после того, как он был принят в Высшую Нормальную школу, объявила, что в награду за годы тяжких трудов они вдвоем проведут месяц в Швейцарии. Теперь, когда Оливье было обеспечено трехгодичное пребывание в Нормальной школе на казенный счет, а по окончании курса — приличное место, они могли пороскошествовать и потратить все свои сбережения. Оливье встретил это известие восторженными возгласами. Антуанетта радовалась еще больше, чем он, радовалась его радости и тому, что наконец-то увидит природу, о которой так стосковалась.

Приготовления к поездке были делом сложным, но вместе с тем доставляли много удовольствия. Брат и сестра собрались только к концу августа. Оба не привыкли путешествовать. Оливье не спал всю ночь накануне отъезда и всю ночь в вагоне, а до того весь день боялся опоздать на поезд. Они лихорадочно спешили, их затолкали на вокзале и запихнули в купе второго класса, где даже не на что было облокотиться, чтобы вздремнуть (французские железнодорожные компании, учреждения в высшей степени демократические, ухитряются лишать этого удобства небогатых пассажиров,

дабы богатым особенно приятно было сознавать, что комфортом пользуются они одни). Оливье ни на минуту не сомкнул глаз: он все еще сомневался, в тот ли поезд они сели, и проверял название каждой станции. Антуанетта дремала, то и дело просыпаясь: голова у нее качалась от толчков вагона. Оливье смотрел на нее при свете траурной лампы, мерцающей под сводом этих движущихся склепов, и был поражен болезненной переменой в ее чертах. Глаза ввалились, по-детски нежный рот был приоткрыт от усталости. Цвет лица принял желтоватый оттенок, щеки были тронуты мелкими морщинками — печатью горестных дней, утрат и разочарований. Она казалась постаревшей, измученной. И в самом деле, она так устала! Ей очень хотелось отложить отъезд, но она побоялась испортить брату удовольствие и уговорила себя, что она не больна, а просто переутомилась и что на лоне природы это пройдет. Ах, как она боялась расхвораться в дороге! Она почувствовала, что брат смотрит на нее, и, с трудом стряхнув с себя мучительную сонливость, открыла глаза; глаза эти, всегда такие юные, светлые и ясные, теперь туманила невольная тревога, как облачко — невозмутимую гладь пруда. Оливье шепотом, с нежной заботой спросил ее, как она себя чувствует; она пожала ему руку и уверила, что отлично. Слово теплого участия оживило ее.

Впрочем, едва над белесой равниной между Долем и Понтарлье зарделась заря, как внимание их было отвлечено: зрелище просыпающихся полей, веселого солнышка, встающего над землей и, подобно им, вырвавшегося из плена пыльных парижских улиц, домов, липкого, продымленного воздуха; волнующиеся под утренним ветерком луга, окутанные легкой молочно-белой дымкой собственного дыхания, все мелочи придорожного пейзажа — деревенская колоколенка, ленточка ручейка, зыбкая голубоватая гряда холмов на горизонте; слабый и трогательный звон колокола, зовущего к утренней молитве, — ветер донес его издали во время остановки посреди сонной равнины; силуэты коров, застывших в задумчивости на железнодорожной насыпи, — все, все занимало Антуанетту и Оливье, все казалось им невиданным и новым. Они были похожи на

два засохших деревца, с упоением пьющих небесную влагу.

А утром — швейцарская граница, где надо было выходить. Маленькая станция в открытом поле. От бессонной ночи немножко мутило, от предутренней сырости пробирал озноб, но погода была тихая, небо ясное, сочный запах лугов, словно родниковая струя, освежал рот, язык, проникал в горло, в грудь; и все пассажиры, стоя вокруг стола, прямо под открытым небом, пили горячий бодрящий кофе с густым, как сливки, чудесным молоком, вкусно пахнущим травой и полевыми цветами.

Затем они пересели в швейцарский вагон и по-детски забавлялись, разглядывая его непривычное устройство. Но Антуанетта чувствовала такую слабость! Она не могла понять, что с нею происходит. Она видит, что все кругом так красиво, так ново, а не может ничему радоваться по-настоящему. Почему это? Ведь сбылось все, о чем она мечтала годами: они путешествуют вдвоем с братом, заботы о будущем отошли прочь, вокруг милая ее сердцу природа... Что же с нею? Она корила себя, старалась восхищаться, силилась делить простодушную радость Оливье.

Они остановились в Туне и должны были на следующий день ехать дальше, в горы. Однако ночью в гостинице у Антуанетты сделался сильный жар с рвотой и головной болью. Оливье сразу растерялся и всю ночь сходил с ума от тревоги. Утром пришлось вызвать врача (лишний и непредвиденный расход, довольно чувствительный для их скудных средств). Врач нашел, что непосредственной опасности нет, но вообще организм совершенно подорван переутомлением. О том, чтобы немедленно продолжать путь, не могло быть и речи. Доктор велел Антуанетте лежать весь день и намекнул, что им, пожалуй, придется задержаться в Туне. Они были очень огорчены и в то же время обрадованы, что ночные страхи не оправдались и все обошлось сравнительно благополучно. Однако обидно было совершить такой длинный путь и потом сидеть взаперти в скверном номере гостиницы, где солнце пекло, как в теплице. Антуанетта отправила Оливье погулять. Он вышел из гостиницы, увидел одетый в пышную зелень Аар, а вдали —

парящую в небе белую вершину и был настолько потрясен и восхищен, что не мог один пережить все восхищение. Он бросился назад в гостиницу, взволнованно рассказал сестре о том, что видел; когда же она удивилась, что он так скоро вернулся, и потребовала, чтобы он снова шел гулять, он ответил, как в тот раз, когда вернулся с концерта в «Шатле»:

— Нет, нет, это слишком прекрасно; мне тяжело смотреть на такую красоту без тебя.

Это ощущение было им уже не внове — они давно знали, что только вдвоем могут пережить всю полноту чувств. Но приятно лишний раз услышать подтверждение этого. Слова брата принесли Антуанетте больше пользы, чем любые лекарства. Она улыбалась теперь в радостной истоме и, спокойно проспав ночь, решила: пусть это не очень благоразумно, но они сбегут рано утром, не дожидаясь доктора, который, чего доброго, еще задержит их. Чистый воздух и удовольствие от того, что они вместе видят столько прекрасного, подкрепили Антуанетту, и ей не пришлось расплачиваться за свою неосторожность; теперь уже они без всяких помех достигли цели своего путешествия — горной деревушки, расположенной над озером, неподалеку от Шпица.

Там, в маленькой гостинице, они провели около месяца. У Антуанетты больше не было ни одного приступа лихорадки, но она никак не могла вполне оправиться и постоянно ощущала мучительную тяжесть в голове — какое-то неопределенное недомогание.

Оливье часто спрашивал, как она себя чувствует, — ему казалось, что сестра все еще слишком бледна, но он был упсен окружающей красотой, инстинктивно старался отмахнуться от печальных мыслей и потому, когда Антуанетта уверяла, что она вполне здорова, он силился верить этому, хотя и знал, что это неправда. Впрочем, Антуанетта от всей души наслаждалась восторгами брата, воздухом и, главное, покоем. Какое блаженство отдохнуть, наконец, после этих страшных лет!

Оливье пытался брать ее с собой на дальние прогулки; она и сама рада была принять в них участие, несколько раз храбро отправлялась в поход и принуждена

была через двадцать минут остановиться, запыхавшись, с отчаянным сердцебиением. Ему поневоле приходилось одному совершать экскурсии — это были вполне безопасные восхождения, но Антуанетта места себе не находила, пока он не возвращался. Иногда они вместе делали небольшие прогулки; она шла не спеша, опираясь на его руку, и они беседовали, — он в особенности стал очень разговорчив: смеялся, строил планы на будущее, рассказывал забавные истории. Дойдя до половины подъема, они останавливались и смотрели, как белые облака отражаются в зеркале озера, как плавают по нему лодки, точно насекомые по поверхности большой лужи; они упились мягким воздухом, музыкой колокольчиков, звон которых ветер порывами доносил до них из ближнего стада вместе с запахом скошенного сена и разогретой смолы. Они грезили вслух о прошлом, о будущем и о настоящем, которое казалось им самой сказочной и пленительной из всех грез. Временами Антуанетта заражалась детской веселостью брата — тогда они бежали вперегонки, бросали друг в друга пучками травы. Однажды он услышал, что она снова смеется, как прежде, как в детстве, — смеется неудержимым ребяческим смехом, беспечным, чистым, точно ручеек, тем смехом, какого он не слышал уже много лет.

Но чаще Оливье соблазнялся дальними прогулками. Потом его немножко мучила совесть, а впоследствии он, вероятно, укорял себя, что недостаточно наслаждался радостью душевных бесед с сестрой. Даже оставаясь в гостинице, он нередко бросал ее одну. Там собрался небольшой кружок юношей и девушек, от которого оба они вначале держались в стороне. Оливье пугало и привлекало их общество, и в конце концов он примкнул к ним. У него никогда не было друзей; кроме сестры, он знал только товарищей по лицею — грубых мальчишек, да их любовниц, внушавших ему омерзение. Ему было очень приятно очутиться в компании своих сверстников, хорошо воспитанных, приветливых и веселых. Хотя он был настоящим дичком, его простодушное любопытство и нежную целомудренно-чувственную душу неудержимо влекли огоньки, играющие и мерцающие в девичьих глазах. Несмотря на свою застенчивость, сам он тоже нра-

вился. Простодушная жажда любить и быть любимым придавала ему неподдельное юношеское обаяние, внушала нужные слова, жесты, учила милому уходу, особенно привлекательному своей неловкостью. У него была способность чаровать окружающих. Хотя умом, приобретшим в одиночестве весьма иронический уклон, он сознавал всю пошлость, все недостатки людей, зачастую претившие ему, стоило ему непосредственно столкнуться с кем-нибудь, как он видел только глаза — глаза живого существа, которое рано или поздно умрет, которое, как и он, получило в дар одну лишь жизнь и, подобно ему, скоро утратит ее; тогда в нем пробуждалась невольная симпатия: ни за что на свете не согласился бы он огорчить того, кто в данную минуту был перед ним, и помимо воли становился необычайно приветлив. Он был слаб по натуре и тем самым создан, чтобы нравиться «свету», прощающему все пороки и даже все добродетели, кроме одной — силы, без которой все остальные ничто.

Антуанетта сторонилась компании своих сверстников. Расшатанное здоровье, усталость, беспричинно-угнетенное состояние — все это вместе взятое сковывало ее. За долгие годы забот и непосильного труда, изнуряющего тело и душу, они с братом поменялись ролями — теперь она была далека от мира, бесконечно далека... И стать прежней уже не могла; вся эта болтовня, шум, смех, пустячные интересы были ей скучны, утомительны, почти что оскорбляли ее. Она сама страдала от этого, ей хотелось быть похожей на других девушек, волноваться тем, что волновало их, смеяться тому, чему они смеялись. Но это было уже недоступно ей! Сердце у нее сжималось, ей казалось, что она мертва. Вечера она просиживала взаперти у себя в комнате и часто даже не зажигала огня; так она сидела в темноте, пока Оливье проводил время внизу, в гостиной, поглощенный очередной романтической влюбленностью. Она стряхивала с себя оцепенение, только когда слышала, что он поднимается по лестнице, болтая и смеясь со своими приятельницами, подолгу прощается у их дверей и все не может расстаться с ними. Тогда Антуанетта улыбалась в темноте и спе-

шила зажечь электричество. Смех брата вселял в нее жизнь.

Наступила настоящая осень. Солнце скупое грело землю. Природа увядала. Под плотными, точно ватными, октябрьскими облаками краски потускнели, горы окутаны снегом, а равнина — туманами. Туристы стали уезжать сперва поодиночке, а потом целыми пачками. Грустно было расставаться с приятелями и даже с посторонними, а грустнее всего — с летней порой, с месяцем счастья и покоя — единственным оазисом в их жизни. Серым осенним днем Оливье и Антуанетта пошли в последний раз погулять по лесу, по горному склону. Они не разговаривали, они грустили, мечтали, держа друг друга за руку, и зябко жались друг к другу, кутаясь в пальто, поднимая воротники. Отсыревший лес безмолвствовал и плакал в тишине. Из чащи доносился слабый и жалобный писк птицы, чувствовавшей приближение зимы. Колокольчик дальнего стада звенел в тумане чуть слышно, замирая, и казалось, будто его хрустальный звон отдается у них в груди.

Они вернулись в Париж. Оба были печальны. Здоровье Антуанетты не восстановилось.

Нужно было заняться гардеробом Оливье, необходимым при поступлении в Нормальную школу. Антуанетта потратила на это последние сбережения и даже продала тайком кое-что из драгоценностей. Какая важность! Ведь он все вернет ей со временем. И потом без него ей так мало надо! Она старалась не задумываться над тем, как пойдет ее жизнь без Оливье, — она была поглощена приготовлением нужных ему вещей, вкладывала в эту работу всю свою страстную любовь к брату, предчувствуя, что больше ей уж ничего не придется сделать для него.

Последние дни, которые им оставалось пробыть вместе, они были неразлучны, боялись потерять хотя бы мгновение. В последний вечер они поздно засиделись у камина: Антуанетта — в единственном их кресле, Оливье — на скамеечке у ее ног, ласкаясь к ней по старой привычке балованного ребенка. Он был озабочен и в то

же время увлечен перспективой новой жизни. Антуанетта не переставала думать все о том же — что пришел конец их милой жизни вдвоем, и с ужасом спрашивала себя, как ей жить дальше. А он, словно нарочно, чтобы сделать ей еще больнее, в этот последний вечер был особенно нежен и как бы старался, с присущим людям его породы невольным и невинным кокетством, проявить на прощание свои самые лучшие, самые пленительные качества. Он сел за пианино и долго играл ей любимые ими обоими страницы из Моцарта и Глюка — с этими картинками умиленного счастья и светлой грусти столько было связано в их прошлом.

Настал час разлуки, и Антуанетта проводила Оливье до подъезда Школы. Потом вернулась домой. Снова она была одна. Но, в отличие от ее пребывания в Германии, на этот раз она не могла положить конец разлуке, когда ей станет уж очень невмоготу. Теперь дома осталась она, а ушел он, и ушел надолго, на всю жизнь. Однако в своей материнской любви она в первые минуты думала больше о нем, чем о себе: ее беспокоило, как сложится поначалу эта новая для него жизнь с придирками к новичкам и с мелкими неприятностями, которые могут быть ничтожны по существу, но принимают грозные размеры в воображении того, кто живет одиноко и привык болеть душой за близких. Тревога была для нее даже благодетельна — она заполняла одиночество. Антуанетта уже мечтала о том, как завтра на полчаса встретится с братом в приемной. Она пришла за четверть часа до срока. Он был с ней очень ласков, но всецело поглощен и увлечен своими впечатлениями.

В последующие дни она попрежнему была полна заботливой нежности, и разница между тем, что значили эти минуты свидания для него и для нее, сказывалась все сильнее. Для нее в этом заключалась теперь вся жизнь. А он — он, разумеется, нежно любил Антуанетту, но нельзя было требовать, чтобы он думал только о ней, как она думала о нем. Раз или два он вышел в приемную с опозданием. В другой раз на ее вопрос, не тоскует ли он, Оливье ответил, что нет. Все эти мелкие уколы больно ранили сердце Антуанетты. Она укоряла себя за такие

чувства, винила себя в эгоизме: она отлично понимала, как было бы нелепо, вредно и даже противоестественно, если бы он не мог обойтись без нее, а она без него, если бы она не видела в жизни никого и ничего, кроме брата. Да, она все это знала, но что проку в этом знании? Если вина, что в течение десяти лет вся жизнь ее была сосредоточена на мысли об Оливье? Теперь же, когда этот единственный интерес у нее отняли, не осталось ровно ничего.

Она мужественно пыталась вернуться к обычным занятиям, к чтению, к музыке, к любимым книгам... Господи! Как без него были пусты Бетховен и Шекспир! Да, конечно, это прекрасно... Но Оливье нет с нею. К чему вся красота, если нельзя на нее смотреть глазами того, кого любишь? Что делать с красотой и даже со счастьем, если нельзя наслаждаться ими вместе с любимым?

Будь у нее больше сил, она постаралась бы заново перестроить свою жизнь, найти себе другую цель. Но она дошла до предела. Теперь, когда уже не было причины крепиться, чего бы это ей ни стоило, нервы, напряженные свыше всякой меры, сдали: она свалилась. Гнездившаяся в ней больше года болезнь, которой она не давала воли, теперь завладела ею.

По целым вечерам Антуанетта томилась одна у потухшего камина: она не могла заставить себя снова развести огонь, не могла собраться с духом и лечь в постель; она сидела до поздней ночи, забывалась временами, грезилась, дрожала в ознобе. Она мысленно вновь переживала всю свою жизнь, она вновь была с дорогими покойниками, со своими разбитыми мечтами, и ей становилось нестерпимо жаль утраченной молодости — без любви, без надежды на любовь. Это была глухая боль, смутная, затаенная... Смех ребенка на улице, неуверенные детские шажки этажом ниже... Топот детских ножек болью отдавался в ее сердце. В ней поднимались сомнения, дурные мысли: город себялюбия и наслаждений дохнул своей нравственной заразой в ее ослабевшую душу. Она стыдилась этих желаний и сожалений; она не понимала себя и приписывала свои страдания дурным наклонностям. Бедная маленькая Офелия, снедаемая

таинственным недугом, с ужасом чувствовала, как из недр ее существа поднимается мутная волна самых грубых и низменных инстинктов жизни. Она перестала работать, отказалась от большей части уроков. Прежде она бодро вскакивала рано утром, а теперь, случалось, оставалась в постели до полудня: ей не к чему было вставать, не к чему было ложиться; ела она кое-как, а то и вовсе не ела. Только в те дни, когда брат бывал свободен — в четверг после обеда и в воскресенье с утра, — она брала себя в руки и при нем старалась быть прежней.

Он ничего не замечал. Его слишком занимала или отвлекала новая жизнь, чтобы он мог пристальнее наблюдать за сестрой. Для него настала та пора молодости, когда с трудом отдаешь другому даже крохи чувства, когда с виду становишься равнодушен к тому, что трогало прежде и будет глубоко волновать впоследствии. Иногда может показаться, что люди более зрелые живее воспринимают впечатления и простодушнее радуются природе и жизни, чем двадцатилетние юноши. Тогда обычно говорят, что молодежь пресыщена и стара душой. Это по большей части неверно. Молодые люди могут показаться бесчувственными не потому, что они пресыщены, а потому, что они поглощены страстями, честолюбивыми планами, желаниями, увлечениями. Когда же тело увядает и нечего больше ждать от жизни, вновь находится место для бескорыстных волнений, и открывается источник детских слез. Оливье был занят тысячами мелких забот, из которых самой важной было глупое увлечение (увлечения у него не переводились), до такой степени завладевшее им, что он стал слеп и равнодушен ко всему на свете. Антуанетта не знала, что происходит с братом, она видела лишь, что он отдаляется от нее. Но виноват в этом был не только Оливье. Иногда он шел домой, радуясь, что увидит ее, поговорит с нею. Он входил и сразу же словно каменел. Она с такою лихорадочной нежностью цеплялась за него, так пила каждое слово с его губ, предупреждала малейшее его желание, что этот переизбыток любви и судорожной заботливости немедленно отбивал у него всякую охоту к откровенности. Ему следовало бы заметить, что с

Антуанеттой творится что-то странное. От присущей ей тактичной сдержанности не осталось и следа. Но он не задумывался над этим. На ее расспросы он отвечал сухо «да» и «нет». Чем больше она расспрашивала его, тем упорнее он замыкался в молчании или даже оскорблял ее резким ответом. Тогда она тоже умолкала, совершенно подавленная. И день проходил, пропадал зря. Но уже по дороге из дому в Нормальную школу Оливье начинал корить себя за свое поведение, а потом всю ночь терзался мыслью, что огорчил сестру. Случалось даже, что сейчас же по возвращении в Нормальную школу он садился за письмо к ней. Но, перечитав письмо на следующее утро, рвал его. И Антуанетта ничего не знала об этом. Она думала, что он ее разлюбил.

Ей довелось еще испытать если не последнюю радость, то хотя бы последний порыв юного чувства, ожививший ее сердце, — судорожную вспышку нерастраченной силы любви, веры в счастье, веры в жизнь. Кстати сказать, то, что произошло, было так нелепо, так противоречило ее уравновешенной натуре! Объяснение этому надо искать в той душевной смуте, которую она переживала, в том угнетенном и возбужденном состоянии, какое предшествует болезни.

Она была вместе с братом на концерте в «Шатле». Оливье вел отдел музыкальной критики в небольшом журнальчике, и потому они сидели на более приличных местах, чем прежде, но зато публика здесь была значительно менее приятная. Они занимали откидные сидения в первых рядах партера. Дирижировать должен был Кристоф Крафт. Ни брат, ни сестра не знали этого немецкого музыканта. Когда Антуанетта увидела его, вся кровь прилила ей к сердцу. Хотя утомленные глаза девушки различали все смутно, сквозь дымку, она сразу же, как только он вошел, узнала незнакомого друга, которого встретила в тяжкую пору своего пребывания в Германии. Она ни разу не говорила о нем брату и вряд ли даже сама вспоминала его — все ее мысли были поглощены житейскими заботами. Кроме того, Антуанетта, как рассудительная юная француженка, не ви-

дела смысла в туманном чувстве, явившемся неизвестно откуда и не имевшем будущего. Целая область ее души в своих непознанных глубинах хранила немало чувств, в которых ей стыдно было бы признаться себе самой: она знала, что они кроются где-то тут, но отворачивалась от них в страхе перед тем таинственным, что ускользает из-под власти разума.

Немного успокоившись, она попросила у брата бинокль, чтобы посмотреть на Кристофа; он стоял за дирижерским пультом и был виден ей в профиль; она сразу узнала сосредоточенное и страстное выражение его лица. На Кристофе был потертый фрак, который очень ему не шел. Молча, застыв от ужаса, присутствовала она при тягостных перипетиях этого концерта, во время которого Кристоф натолкнулся на откровенное недоброжелательство публики, враждебно настроенной в тот момент к немецким музыкантам и к тому же смертельно скучавшей¹. Когда, после исполнения симфонии, показавшейся слушателям слишком длинной, он снова появился на эстраде, чтобы сыграть несколько фортепианных пьес, его встретили насмешливыми возгласами, которые ясно свидетельствовали, что публика ему отнюдь не рада. Однако он все же начал играть в атмосфере покорной скуки; но двое слушателей на галерке продолжали, как ни в чем не бывало, обмениваться вслух нелестными замечаниями, потещая весь зал. Тогда Кристоф остановился и позволил себе дерзкую, мальчишескую выходку — одним пальцем пробарабанил песенку «Мальбрук в поход собрался», после чего встал из-за рояля и крикнул публике:

— Вот что вам нужно!

Публика, в первый момент не понявшая, что хочет сказать музыкант, разразилась дикими воплями. Поднялся невообразимый шум, слышались свистки, крики:

— Пусть извинится! Сию же минуту!

Побагровевшие от злости слушатели сами разжигали себя, пытались себя уверить, что они действительно воз-

¹ См. «Жан-Кристоф», кн. пятая, «Ярмарка на площади». — Р. Р.

мущены; возможно, что так оно и было, но, главное, они радовались случаю пошуметь в свое удовольствие, точно школьники на перемене после двух часов сиденья в классе.

Антуанетта не могла пошевелиться. Она точно оцепенела — только пальцы ее судорожно рвали перчатку. С первых же тактов симфонии она уже предвидела, что произойдет, она улавливала затаенную, все усиливающуюся враждебность публики, угадывала состояние Кристофа и понимала, что взрыв неминуем; с нарастающим страхом ждала она этого взрыва и напрягала всю свою волю, чтобы предотвратить его; когда же буря разразилась, все происшедшее настолько совпало с ее предчувствиями, что она была совершенно подавлена, точно свершилось нечто роковое, против чего человек бессилён. А так как она не отрывала глаз от Кристофа, который дерзко смотрел на улюлюкающую публику, то взгляды их встретились. Глаза Кристофа, возможно, на миг узнали ее, но ум его, охваченный яростным возмущением, ее не признал. (Кристоф давно перестал думать о ней.) Он ушел с эстрады под свист и шиканье.

Ей хотелось крикнуть, сказать, сделать что-нибудь, но она была скована, как в кошмарном сне. Для нее было облегчением присутствие милого, мужественного Оливье, который волновался и негодовал не меньше, чем она, конечно не подозревая, что творится с сестрой. Оливье был музыкант до мозга костей и обладал самостоятельным вкусом, который ничто не могло поколебать. То, что ему нравилось, он готов был отстаивать против целого мира. С самого начала симфонии он почувствовал в ней что-то значительное — такое, чего он еще не встречал в жизни.

— Как хорошо! Ах, как хорошо! — повторял он вполголоса с глубочайшим восхищением.

А сестра в приливе благодарности инстинктивно прижималась к нему. По окончании симфонии он неистово хлопал наперекор насмешливому равнодушию публики.

Когда поднялся скандал, Оливье потерял всякое са-

мообладание: он вскочил, он кричал, что Кристоф прав, стыдил свистунов, лез в драку, — робкий юноша стал неузнаваем. Голос его терялся в шуме; его грубо обрывали, называли молокососом, отмахивались от него. Антуанетта, понимая тщету возмущения, удерживала брата за руку.

— Замолчи, прошу тебя, замолчи! — твердила она.

Он сел, совсем обескураженный, и без конца повторял:

— Стыд! Позор! Мерзавцы!

Антуанетта не говорила ни слова, она страдала молча; брат решил, что ей недоступна эта музыка, и сказал:

— Но ты-то, Антуанетта, понимаешь, как это прекрасно?

Она утвердительно кивнула, все еще не в силах сбросить с себя оцепенение. Но когда оркестр заиграл другую вещь, она встрепенулась, вскочила и почти с ненавистью шепнула брату:

— Уйдем отсюда, мне противно видеть этих людей.

Они поспешно вышли. На улице, ведя ее под руку, Оливье без умолку говорил, кипятился. Антуанетта упорно молчала.

Весь тот день и все последующие дни, сидя одна в своей комнате, она безвольно подчинялась чувству, которому боялась дать название, но чувство это заглушало все думы, такое же настойчивое, как глухие удары пульса, до боли бывшего в висках.

Спустя несколько дней Оливье принес ей сборник *Lieder*¹ Кристофа, который обнаружил в каком-то нотном магазине. Антуанетта раскрыла его наугад и на первой же странице, которая попала ей на глаза, прочла следующее посвящение к одной из пьес, написанное по-немецки:

«Моей бедной милой жертве» —

и под этим датой и год.

Она хорошо знала эту дату. Ее охватило такое

¹ песен (нем.).

волнение, что она не могла смотреть дальше, положила сборник на пианино, попросила брата поиграть, а сама ушла к себе в комнату и притворила дверь. Оливье начал играть, отдаваясь наслаждению, какое рождала в нем эта новая музыка, и даже не заметил состояния сестры. Антуанетта, сидя в соседней комнате, старалась усмирить биение сердца. Внезапно она поднялась и стала искать в шкафу книжечку с записью расходов, чтобы сверить дату своего отъезда из Германии с той таинственной датой. Да, конечно, она знала заранее — это был день спектакля, на котором она очутилась вместе с Кристофом. Она легла на кровать, закрыла глаза и, краснея, прижимая руки к груди, стала слушать дорожную ей музыку. Сердце ее было переполнено благодарностью... Только отчего у нее так болела голова? »

Удивляясь отсутствию сестры, Оливье, когда кончил играть, пошел к ней и увидел, что она лежит. Он спросил, не больна ли она. Она пробормотала что-то насчет легкого утомления и встала, чтобы немного посидеть с братом; он о чем-то говорил, а она не сразу отвечала на вопросы. Казалось, мысли ее витают где-то далеко; она улыбалась, краснела, оправдывалась сильной головной болью, от которой становишься совсем бестолковой. Наконец, Оливье ушел. Она попросила, чтобы он оставил ей сборник *Lieder*, и до поздней ночи сидела одна у пианино и разбирала их — она не играла, только иногда брала одну-две ноты, еле касаясь клавиш, чтобы не потревожить соседей. А большую часть времени она даже не смотрела в ноты: она мечтала и в приливе благодарности и любви тянулась к тому, кто пожалел ее, кто с чудесной прозорливостью доброты сумел разгадать ее душу. Она не могла собраться с мыслями. Ей было радостно и грустно, очень грустно. И как же у нее болела голова!

Она провела ночь в блаженных и мучительных грезах, в гнетущей тоске. Днем ей захотелось выйти погулять, чтобы немного встряхнуться. Несмотря на упорную головную боль, она, чтобы не бродить без цели, отправилась за покупками в универсальный магазин. Но делала все машинально, не думая. Не признаваясь в том

самой себе, она думала только о Кристофе. Когда она вышла вместе с толпой из магазина, до смерти измученная и удрученная, на противоположном тротуаре она увидела Кристофа. И он в ту же минуту увидел ее. Тотчас необдуманно, внезапным движением она протянула к нему руки. Кристоф остановился: на этот раз он узнал ее. Вот он уже свернул на мостовую, чтобы добраться до Антуанетты, и Антуанетта устремила к нему навстречу, но беспощадный людской поток понес ее, как соломинку, а прямо перед Кристофом на скользкий асфальт упала впряженная в омнибус лошадь, затормозив двойной поток экипажей и воздвигнув непреодолимую преграду. Кристоф все-таки попытался прошмыгнуть, но застрял между экипажами и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Когда ему удалось попасть на то место, где он увидел Антуанетту, она была уже далеко, — сперва она тщетно силилась вырваться из людского водоворота, но потом покорила и перестала бороться. У нее было такое чувство, будто над ней тяготеет рок, мешающий ее встрече с Кристофом, а против рока восставать бесполезно. И когда она, наконец, выбралась из толпы, то даже не сделала попытки повернуть назад; ей стало стыдно: что она ему скажет? Что сделает? Что он может подумать? И она бросилась домой.

Успокоилась она, лишь когда вошла к себе в квартиру. Но, очутившись в своей комнате, она долго сидела в темноте, у стола, не в силах снять шляпку и перчатки. Она страдала от того, что не могла с ним поговорить, но на душе у нее стало светло, она больше не ощущала мрака, не ощущала недуга, точившего ее. Она без конца перебирала в памяти все подробности только что происшедшей сцены, мысленно вносила в них изменения, представляя себе, что было бы, если бы обстоятельства сложились иначе. Она вспоминала, как протянула к нему руки, как он просиял, узнав ее, и смеялась и краснела. Она краснела — и в полном одиночестве, в темноте своей комнаты, где никто не мог ее видеть, снова протягивала к нему руки. Что делать? Она не могла совладать с собой: чувствуя, что собственная ее жизнь кончается, она инстинктивно старалась ухватиться за ту

полнокровную жизнь, которая встретила на ее пути и подарила ее добрым взглядом. Сердце ее, полное страха и любви, призывало его во мраке:

«Помогите! Спасите меня!»

Она поднялась, вся дрожа, зажгла лампу, достала бумагу, перо и села писать Кристофу. Никогда эта стыдливая и гордая девушка даже не помыслила бы написать ему, если бы не была во власти болезни. Она сама не знала, что пишет. Она уже не владела собой. Она звала его, говорила, что любит... Посреди письма она в ужасе остановилась, хотела написать по-иному, но воодушевление иссякло, голова была пуста и горела, как в огне; слова не шли, ее одолевала усталость и мучил стыд. К чему все это? Она прекрасно понимала, что сознательно обманывает себя, что никогда не отправит этого письма. И даже если бы она решилась, все равно письмо не дошло бы по назначению. Ведь она не знает, где живет Кристоф... Бедный Кристоф! Да и чем бы он помог ей, если бы даже все узнал и пожалел ее? Поздно, поздно! Все напрасно. Это был отчаянный порыв птицы, которая, задыхаясь, бьется из последних сил. Нет, нет, надо смириться...

Еще долго сидела она у стола, погружившись в думы, и не могла пошевелиться. Было уже за полночь, когда она поднялась, собрав все мужество. Машинально, по привычке, засунула черновики письма в одну из книг своей небольшой библиотечки — ни запечатать, ни порвать его у нее не хватило духа. Потом она легла, дрожа от озноба. Развязка близилась. Антуанетта чувствовала, что свершается воля божия...

И великий покой снизошел на нее.

В воскресенье утром Оливье, придя из школы, застал Антуанетту в постели, временами она даже бредила. Вызванный врач определил скоротечную чахотку.

За последние дни Антуанетта осознала свое состояние, поняла и причину душевного смятения, ужасавшего ее. Бедняжка стыдилась самой себя, и мысль, что она тут ни при чем, что виной всему болезнь, была чуть не

облегчением. У нее достало мужества подумать обо всем, сжечь свои бумаги, оставить письмо для г-жи Натан с просьбой не покидать Оливье в первое время после ее «смерти» (ей трудно было написать это слово).

Врач ничем не мог помочь: болезнь зашла слишком далеко, а организм Антуанетты был совершенно подорван годами непосильного труда.

Антуанетта была спокойна. С той минуты, как она поняла, что положение ее безнадежно, все тревоги кончились. Она перебирала в памяти пережитые испытания, вновь и вновь повторяла себе, что цель достигнута, что дорогой ее Оливье спасен, и несказанная радость охватывала ее. Она твердила мысленно:

«Это дело моих рук!»

И тут же укоряла себя в гордыне:

«Одна я ничего бы не сделала. Господь помог мне».

И она возносила хвалу господу за то, что он не дал ей уйти из жизни, пока она не выполнила своего долга. Правда, ей было больно уходить именно сейчас, но жаловаться она не смела — это значило бы проявить неблагодарность, ведь господь мог раньше призвать ее к себе. А что, если бы ее не стало год назад? Она вздыхала и с благодарностью смирялась.

Хотя ей было очень тяжело, она совсем не жаловалась — только в минуты забытья тихонько плакала, как малый ребенок. На все и всех вокруг она смотрела с улыбкой покорности. Видеть Оливье было для нее неисчерпаемой радостью. Она звала его, беззвучно шевеля губами; ей хотелось, чтобы голова его покоилась на подушке возле нее, и она подолгу молча смотрела ему в глаза. Потом приподнималась, обхватывала его голову руками и шептала:

— Ах, Оливье!.. Оливье!..

Она сняла с шеи образок, который носила постоянно, и надела его на шею брату. Она поручала своего бесценного Оливье доктору, духовнику — словом, всем... Чувствовалось, что отныне она живет только в нем, что на пороге смерти его жизнь для нее — спасительный островок. Минутами она бывала словно опьянена мистическим восторгом любви и веры, уже не ощущала своего

недуга, и скорбь претворялась для нее в радость — по истине неземную радость, сиявшую на ее устах, в ее глазах.

— Я так счастлива... — повторяла она.

Надвигалось забытье. В последние минуты ясного сознания губы ее зашевелились, она что-то шептала. Оливье подошел и склонился над ее изголовьем. Она узнала его и слабо ему улыбнулась; губы ее все еще шевелились, а глаза были полны слез. Невозможно было понять, что она говорит. Но Оливье уловил в конце концов слабые, как вздох, слова старой и милой песни, которую оба они так любили и которую она столько раз пела ему: «I will come again, my sweet and bonny, I will come again» («Я вновь приду к тебе, любимый, я вновь приду к тебе»).

Потом она снова впала в забытье и тихо отошла.

Сама того не подозревая, Антуанетта внушала глубокую симпатию многим людям, с которыми совсем не была знакома, например — соседям по дому, хотя она не имела понятия, как их зовут. Посторонние лица выражали сочувствие Оливье. На похоронах Антуанетты не было так уныло и безлюдно, как на похоронах ее матери. Друзья, приятели брата, те семьи, где она давала уроки, люди, мимо которых она молча шла своим путем, ни слова не говоря о себе, и которые ни слова не говорили ей, но втайне восхищались ее самоотверженностью, даже бедные труженики: женщина, помогавшая ей по хозяйству, мелкие торговцы их квартала, — все пришли проводить ее на кладбище. Г-жа Натан в первый же вечер после смерти Антуанетты забрала Оливье к себе, силой оторвала от его горя.

Пожалуй, это был единственный момент в его жизни, когда он все же мог пережестить такой удар, когда он не вправе был целиком отдаться отчаянию. Он только что начал новую жизнь, вошел в определенный круг и помимо воли был захвачен общим потоком. Учебные занятия и заботы, напряженная умственная жизнь, борьба за существование, экзамены, — все это не

давало ему замкнуться в себе, он не мог уединиться. Он страдал от этого, но в этом и оказалось его спасение. Годом раньше или несколько лет спустя Оливье бы погиб.

Теперь же он, насколько мог, ушел в воспоминания о сестре. К его огорчению, сохранить квартиру, где они жили вместе, не удалось: не хватило денег. Он надеялся, что люди, с виду чуткие и сострадательные, поймут, как ему больно расстаться с тем, что принадлежало ей. Но эта надежда не оправдалась. Тогда он собрал немного денег — частично взял взаймы, частично подработал урками — и снял мансарду, куда свез все, что поместилось там из вещей сестры: ее кровать, стол, кресло и создал себе храм воспоминаний об ушедшей. Туда он приходил искать прибежища, когда ему бывало особенно тяжело. Товарищи думали, что Оливье завел интрижку. А он часами просиживал один, положив голову на руки, и думал об Антуанетте. К несчастью, у него не осталось ни одного ее портрета, кроме маленькой фотографии, где они были сняты вдвоем еще детьми. Он говорил с ней, плакал... Где она теперь? Ах, будь она хоть на краю света, в самом недостижимом уголке земного шара, — с каким восторгом, с каким несокрушимым рвением бросился бы он искать ее, претерпел бы любые страдания, шел бы босой, шел годами, столетиями, лишь бы каждый шаг приближал его к ней! Пусть бы у него теплилась хоть слабая надежда добраться до нее. Но нет... Ее не было нигде. И не было средства когда-нибудь обрести ее... Какое беспросветное одиночество! Каким безоружным, по-детски неопытным оказался он теперь перед лицом жизни, когда не стало ее, умевшей любить, направлять, утешать... Тот, кому выпало счастье познать однажды полную, неограниченную близость родной души, тот познал самую совершенную радость — радость, которая делает человека несчастным до конца его дней...

*Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria...*¹

¹ Нет большей скорби, чем вспоминать о днях блаженных во дни несчастий (итал.).

Худшее горе для слабых и нежных душ — познать и утратить великое счастье.

Но, как ни горько терять на заре жизни тех, кого любишь, все же в ту пору это менее страшно, чем позднее, когда источники жизни уже иссякли. Оливье был молод, и, наперекор его врожденному пессимизму, наперекор постигнутому его несчастью, у него была потребность жить. Казалось, будто Антуанетта, умирая, вдохнула в брата частицу своей души. По крайней мере он сам в это верил. Не будучи религиозным, подобно ей, он бессознательно внушал себе, что сестра не умерла совсем, что она, как обещала ему, живет в нем. По бретонскому поверью, люди, умирающие молодыми, не умирают: они продолжают витать в тех местах, где жили когда-то, пока не завершат положенного им срока бытия. Так и Антуанетта продолжала жить подле Оливье.

Он читал и перечитывал оставшиеся от нее бумаги. К несчастью, она почти все сожгла. Впрочем, она не принадлежала к тем женщинам, которые ведут запись своих душевных переживаний. Она постыдилась бы обнажать свою мысль. У нее была только записная книжечка с пометками, почти невразумительными для посторонних: она записывала туда, без всяких пояснений, некоторые даты, мелкие происшествия повседневной жизни, послужившие поводом для радости или тревоги: ей не нужно было подробно излагать их, чтобы пережить заново. Почти все эти записи были связаны с какими-нибудь событиями в жизни Оливье. Она сохранила все до единого полученные от него письма. Он, к сожалению, оказался не так внимателен и растерял почти все ее письма. На что ему было беречь их? Он думал, что сестра всегда будет возле него, ему казалось, что этот чудесный источник нежности неистощим и всегда будет освежать его уста и душу; он неосмотрительно расточал любовь, которую пил из этого источника, а теперь рад был бы собрать все до последней капельки. Какое волнение охватило его, когда, просматривая сборник стихов из библиотечки Антуанетты, он увидел слова, написанные карандашом на клочке бумаги:

«Оливье, дорогой мой Оливье!»

Он едва не лишился чувств. Рыдая, припал он губами к незримым устам, взывавшим к нему из могилы. После этого случая он стал перелистывать ее книги в надежде найти еще какое-нибудь признание. Так ему попался черновик письма к Кристофу и открылась зарождавшаяся в ней, никому неизвестная любовь; он впервые заглянул в ее личную жизнь, которую не знал до тех пор и не старался узнать; он мысленно пережил те последние дни, когда, покинутая им, она в смятении своем протягивала руки к неизвестному другу. Она ни разу не говорила ему, что видела Кристофа раньше. А из письма явствовало, что они встретились еще в Германии, что Кристоф оказал Антуанетте дружескую услугу при обстоятельствах, о которых не говорилось подробно, и что чувство ее возникло еще тогда, но она до конца сохранила его в тайне.

Оливье уже успел полюбить Кристофа за красоту его искусства, а теперь музыкант сразу стал ему несказанно дорог. Его любила Антуанетта, и Оливье казалось, что сам он в Кристофе любит Антуанетту. Он решил во что бы то ни стало встретиться с ним. Но напасть на его след оказалось нелегко.

После своей неудачи Кристоф затерялся где-то в необъятном Париже; он отгородился от всех, и никто больше не интересовался им. Только спустя несколько месяцев Оливье случайно встретил его на улице — бледного, исхудалого, едва оправившегося от болезни. Но у юноши не хватило духа остановить его. Он шел за Кристофом до самого его дома и решил написать ему, но так и не отважился. О чем писать? Ведь Оливье был не один, с ним была Антуанетта, ее любовь, ее стыдливость перешли к нему. От сознания, что сестра любила Кристофа, Оливье краснел перед Кристофом, как краснела бы она сама. А между тем до чего же ему хотелось поговорить с Кристофом о ней! Но он не смел — ее тайна сковывала ему уста.

Он искал встречи с Кристофом, бывал всюду, где, по его соображениям, мог бывать Кристоф. Он жаждал пожать ему руку. Но, едва увидев Кристофа, спешил скрыться, чтобы тот не увидел его.

Наконец, они столкнулись в гостиной у общих друзей. Оливье держался в стороне, не говорил ни слова, только смотрел на Кристофа. Должно быть, в тот вечер, дух Антуанетты реял возле брата, потому что ее увидел Кристоф во взгляде Оливье, и ее образ, внезапно возникший перед ним, заставил его устремиться через всю гостиную к этому неведомому вестнику, который, подобно юному Гермесу, принес ему скорбный привет от блаженной тени.

Книга седьмая
В ДОМЕ

Перевод
В. СТАНЕВИЧ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

К друзьям Жан-Кристофа

Я привык так часто в течение многих лет мысленно беседовать с моими друзьями, знакомыми и незнакомыми, что сегодня мне хочется побеседовать с ними вслух. Я столь многим им обязан, что счел бы себя неблагодарным, если бы не выразил им здесь своей признательности. С тех пор как я начал писать эту долгую повесть о Жан-Кристофе, я не переставал чувствовать, что пишу для них и они — рядом. Они ободряли меня, терпеливо следовали за мной, согревали мне сердце своим сочувствием. Если я и сделал для них что-нибудь хорошее, то они дали мне неизмеримо больше. Мой труд — это плод тех мыслей, которые рождались у нас сообща.

Когда я начинал, я думал, что нас будет лишь горсточка друзей; я никогда не надеялся, что их соберется больше, чем в доме у Сократа. Но с годами я чувствовал все сильнее, что мы действительно братья и любим одно, — где бы мы ни были: в провинции или в Париже, во Франции, или за ее рубежами, страдаем ли мы или радуемся. Я убедился в этом, когда вышел в свет тот том цикла, где Кристоф, так же как и я, следуя велениям совести, заклеил Ярмарку на площади. Ни одна моя книга не вызвала столь непосредственного отзвука. Да и не удивительно: моими устами говорили и мои друзья. Они знают, что Кристоф — и их достояние, а не только моё. В нем живет и их и моя душа.

Так как Кристоф принадлежит моим читателям, то я обязан дать им некоторые разъяснения по поводу тома, который сейчас им предлагаю. Так же как и в «Ярмарке на площади», они не найдут здесь романических приключений, и им может показаться, что течение жизни моего героя прервано.

Необходимо изложить обстоятельства, при которых я начал этот цикл.

Я был одинок. Как многие и многие во Франции, я задыхался в морально враждебном мне мире: я хотел дышать, я стремился бороться с этой нездоровой цивилизацией, с этим растленным мировоззрением людей, которые считались «избранными», которым мне хотелось сказать: «Вы лжете, вы не представляете собой Франции».

Для этой цели мне требовался герой с чистыми глазами и сердцем, у которого была бы душа достаточно возвышенная, чтобы он имел право говорить, и голос достаточно сильный, чтобы заставить себя слушать. Я терпеливо создавал такого героя. Прежде чем решиться написать первую строчку этого произведения, я вынашивал его в себе десять лет; Кристоф только тогда пустился в путь, когда этот путь для меня до конца уяснился; и некоторые главы из «Ярмарки на площади», так же как и некоторые части последних томов «Жан-Кристофа»¹, были написаны раньше «Зари» или одновременно с нею. Образу Франции, как он отражен в Кристофе и Оливье, с самого начала было отведено определенное место в этой книге. Поэтому ее надо рассматривать не как уклонение в сторону, но как предусмотренную заранее остановку в пути, как один из тех высоких уступов жизни, откуда можно созерцать только что пройденную долину и отдаленный горизонт, зовущий дальше в путь.

Ясно, что я отнюдь не собирался писать роман, когда создавал эти два тома — «Ярмарку на площади» и «В доме», — так же как и все остальные. Но что же такое мое произведение? Поэма? Зачем вам непременно нужно название? Когда вы встречаете человека, разве вы

¹ Например, одна из частей «Неопалимой купины», озаглавленная «Анна». — Р. Р.

спрашиваете, роман он или поэма? А я создал именно человека. Человеческая жизнь не укладывается в рамки какой-либо литературной формы. Ее закон — в ней самой; а всякая жизнь имеет свои законы. Она подобна силам природы. Есть человеческие жизни, похожие на спокойные озера, другие — на широкое светлое небо с плывущими по нему облаками, третьи — на тучные равнины, иные — на одинокие горные вершины. Жан-Кристоф всегда представлялся мне рекою; я высказал это уже на первых страницах. У самых быстрых рек есть тихие, сонные заводи, и в них отражаются окрестные берега и небо. Но воды не перестают течь и меняться; а иногда под этой мнимой неподвижностью скрыто стремительное течение, сила которого скажется дальше, при встрече с первым же препятствием. Таков образ данного тома «Жан-Кристофа». Теперь, когда этот поток стал таким полноводным, впитав в себя мысли, родившиеся на том и на другом берегу, он снова помчится к морю, к которому идем все мы.

Р. Р.

Январь 1909.

Часть первая

У меня есть друг!.. Как сладостно встретить родную душу, у которой можешь найти защиту от жизненных бурь, ласковый и надежный приют, где, наконец, переведешь дыхание, ожидая, чтобы унялось бешено бьющееся сердце! Больше не знать одиночества, не быть вечно настороже, всегда бодрствующим, не выпуская из рук оружия, хотя глаза уже обожжены бессонными ночами и ты вот-вот ослабеешь и станешь добычей врага! Иметь рядом с собой бесценного спутника, в руки которого отдаешь всего себя и который также отдал всего себя в твои руки. Наконец, отдохнуть, — спать, когда друг бодрствует, и бодрствовать, когда он спит. Познать, какая это радость — быть защитником того, кого любишь и кто доверился тебе, как дитя. Познать еще большую радость оттого, что ты весь отдался ему, понимать, что он знает твои тайны и может располагать тобой. Чувствовать себя постаревшим, изношенным, усталым, после того как столько лет тащил на себе бремя жизни, и возродиться юным и бодрым в теле друга, видеть его глазами обновленный мир, через него впитать красоту преходящего, вкушать его сердцем великолепие жизни... Даже страдать вместе... О, даже страдание — радость, когда нас двое!

У меня есть друг! Вдали от меня, вблизи от меня — он всегда во мне. Он — мой, и я принадлежу ему. Мой друг любит меня. Мой друг владеет мной. Нашими душами владеет любовь, ибо они — одно.

Когда на другой день после вечера у Руссанов Кристоф проснулся, его первая мысль была об Оливье. И им тут же овладело неудержимое желание увидеть нового знакомого. Кристоф оделся и вышел. Еще не было восьми. Утро стояло теплое, даже парило: над Парижем сталаась грозовая мгла.

Оливье жил близ холма Сент-Женевьев, на тесной улочке неподалеку от Ботанического сада. Там, где стоял его дом, улочка была всего уже. В глубине полутемного двора виднелась лестница, и оттуда несло всякими зловоениями. Лестница круто поворачивала с этажа на этаж, ступеньки кренились к стене, исчерченной карандашными надписями. На третьем этаже какая-то женщина — седая, нечесаная, в распахнутой ночной кофте — должно быть, заслышав шаги, приоткрыла дверь, но когда увидела Кристофа, тут же шумно захлопнула ее. На каждую площадку выходило по нескольку квартир. Сквозь щели разошедшихся дверей доносился визг и рев ребят. В этих битком набитых низеньких квартирках, выходящих на вонючий двор, подобный колодцу, так и кишело человеческими существами, грязными, убогими. Кристоф, охваченный отвращением, спрашивал себя, какие же соблазны могли завлечь сюда, в городские трущобы, все эти создания, — так далеко от полей, где хоть воздуху на всех хватает, — и какие выгоды мог сулить им этот Париж, где они обречены жить, как в могиле?

Он, наконец, добрался до того этажа, на котором находилась квартира Оливье. К звонку была привязана простая бечевка с узелком. Кристоф дернул ее так энергично, что на лестнице снова открылось несколько дверей. Оливье отпер. Кристоф был поражен простым, изысканным изяществом его одежды, и эта изысканность, которой он в другом случае даже не заметил бы, сейчас приятно удивила его: все вокруг было так загажено, а юноша своим обликом вносил сюда что-то свежее и здоровое. Увидев перед собой ясные и чистые глаза Оливье, Кристоф испытал то же чувство, что и накануне, и протянул ему руку. Оливье испуганно пролепетал:

— Вы, вы здесь!..

Кристоф, поглощенный желанием постичь душу этого

милого юноши, открывшуюся в миг охватившего ее смущения, только улыбнулся и ничего не ответил. Подталкивая перед собой Оливье, он вошел в его единственную комнату, служившую юноше и спальней и кабинетом. Подле окна у стены стояла узенькая железная кровать; Кристоф отметил груды подушек на изголовье. Три стула, выкрашенный черной краской стол, пианино, полки с книгами — вот и вся обстановка. Комната была тесная, темная, низкая; однако на всем словно лежал отблеск светлых глаз ее обитателя. Все было чисто, аккуратно прибрано, как будто всего касалась рука женщины; а несколько роз в графине вносили легкое дыхание весны в эти стены, увешанные репродукциями с картин старых флорентийских мастеров.

— Вы все-таки пришли, пришли ко мне? — взволнованно повторял Оливье.

— Ну, а как же иначе? — сказал Кристоф. — Ведь вы-то сами не пришли бы?

— Вы думаете? — отозвался Оливье.

Затем тут же добавил:

— Да, вы правы. Но не потому, что я не желал бы этого.

— Что же вас удерживало?

— Мне слишком сильно хотелось прийти.

— Вот так причина!

— Ну да, только не смейтесь надо мной. Я опасался, что вам не так уж хочется меня видеть.

— А вот я не опасался! Захотелось вас увидеть, взял и пришел. Если вам это неприятно, я тут же замечу.

— Нельзя заметить то, чего нет.

Они, улыбаясь, посмотрели друг на друга.

Оливье продолжал:

— Я вел себя вчера очень глупо. Боялся, что не понравлюсь вам. Эта застенчивость у меня прямо болезнь какая-то: иногда слова из себя не выжмешь.

— Не жалуйтесь. В вашей стране говорунов достаточно; и такое удовольствие встретить кого-нибудь, кто иной раз и помолчит, хотя бы из робости, даже против собственного желания.

И Кристоф расхохотался, довольный своей шуткой.

— Значит, вы посетили меня потому, что я молчу?

— Да, потому, что вы молчите, а главное — как вы молчите. Ведь молчать можно по-разному. Ваше молчание мне нравится, вот и все.

— Откуда у вас могла возникнуть симпатия ко мне? Вы же меня почти не знаете!

— Уж это мое дело. Я скор на выбор. Если предомной мелькнет лицо человека, который мне по душе, я, не долго думая, бросаюсь за ним, чтобы его не упустить.

— И вы никогда не ошибаетесь?

— Частенько ошибаюсь.

— Может быть, вы и на сей раз ошиблись?

— Там посмотрим.

— О! Тогда я пропал! Я холодею от одной мысли, что вы за мной наблюдаете; я совсем теряюсь.

Кристоф смотрел с ласковым любопытством на это выразительное лицо, которое то бледнело, то вспыхивало. Чувства отражались на нем, как проплывающие облака в воде.

«Какой нервный мальчик! — подумал он. — Точно женщина».

Кристоф слегка коснулся его колена.

— Бросьте, — сказал Кристоф, — неужели вы думаете, что я пришел сюда с камнем за пазухой? Терпеть не могу, когда люди пускаются в психологические исследования за счет своих друзей. Единственное, чего я хочу для нас обоих, — это иметь право быть свободными и искренними, отдаваться своим чувствам без ложного стыда, не боясь, что узы дружбы превратятся для тебя в вечные цепи, не боясь впасть в противоречие с самим собой, — я хочу иметь право любить сейчас и уже через мгновение — не любить. Разве так не мужественнее, не честнее?

Оливье задумчиво посмотрел на него и ответил:

— Без сомнения. В этом есть мужество, и оно вам по плечу. Но я — я ведь не такой.

— А я уверен, что и вы сильный, — отозвался Кристоф, — только по-другому. Впрочем, я затем и пришел, чтобы помочь вам быть сильным, если вы пожелаете. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, и потому добавлю — и вы мне поверьте: я уже люблю вас, ничего не предпреляя.

Оливье залился румянцем. Скованный смущеньем, он не нашелся, что ответить.

Кристоф рассматривал комнату.

— Плохо вы устроились! У вас что — только одна комната?

— Нет, есть еще чулан.

— Уф! Просто дышать нечем. И как вы ухитряетесь жить здесь!

— Привык.

— Я бы никогда не мог привыкнуть.

Кристоф расстегнул жилет. Ему действительно было трудно дышать.

Оливье подошел к окну и распахнул обе створки.

— Вам в любом городе должно быть трудно, мосье Крафт. А по моим силенкам воздуха хватает. Дышу понемногу и везде как-то приноравливаюсь. Хотя, правда, бывает, что иной раз в летние ночи даже мне становится тяжело. Я просто боюсь их, и тогда я до утра сижу в постели, и мне кажется, я вот-вот задохнусь.

Кристоф взглянул на груды подушек, на усталое лицо Оливье и представил себе, как тот задыхается в ночном мраке.

— Переезжайте отсюда, — сказал он. — Зачем вы сидите здесь?

Оливье пожал плечами и равнодушно ответил:

— О, не все ли равно — здесь или в другом месте?

В квартире наверху затопали тяжелые башмаки. Внизу переругивались два раздраженных голоса. Стены ежеминутно вздрагивали от грохота омнибуса, проходившего по улице.

— Один дом чего стоит! — продолжал Кристоф. — Он насквозь пропитан грязью, удушающей вонью, чудовишной нищетой; как вам не противно каждый вечер возвращаться сюда? Разве вас не берет тоска? Я бы ни за что не согласился тут жить. Уж лучше ночевать под мостом!

— Я тоже мучился первое время. И отвратительно мне все это не меньше, чем вам. Когда я был ребенком и меня водили гулять, от одного вида этих грязных трущоб, набитых людьми, у меня сердце сжималось. Мною овладевал какой-то невыразимый ужас, в котором

я никому не смел признаться. Я думал: «Если сейчас вдруг произойдет землетрясение, я погибну и навеки останусь лежать здесь мертвый», — это казалось мне самым страшным несчастьем. Я и не подозревал, что настанет день, когда мне самому, по доброй воле, придется жить в одной из таких трущоб и, вероятно, там умереть. Жизнь принудила меня стать менее прихотливым. А отвращение я испытываю до сих пор; но теперь я стараюсь забыть о нем; когда я поднимаюсь по лестнице, я затыкаю уши и нос — выключаю все органы чувств, я точно замуровываюсь в самом себе. А потом, смотрите — там, над крышей, видна верхушка акации. Я сажусь в угол — так, чтобы ничего кроме нее не видеть; в сумерках, когда ветер качает деревья, мне чудится, что я далеко от Парижа; никогда шум больших лесов не казался мне таким сладостным, как порою шелковистый шорох этих узорчатых листьев.

— Да, я так и думал, — сказал Кристоф, — вы вечно грезите; но досадно, что в этой борьбе с обидами существования тратится на иллюзии та сила, которая нужна художнику — творцу жизни.

— Разве не такова участь большинства из нас? Да и вы сами, разве вы не растрчиваете себя на гнев, на борьбу?

— Я — другое дело. Так уж мне на роду написано. Посмотрите на мои руки, на мои плечи. Сражаться мне только полезно. Но вы — у вас не больно много сил; это сразу видно.

Оливье грустно посмотрел на свои руки с тонкими кистями и сказал:

— Да, я слабый, я всегда был таким. Но что же делать? Жить нужно.

— А чем вы живете?

— Даю уроки.

— Уроки чего?

— Всего. Репетирую по-латыни, по-гречески, по истории. Готовлю на бакалавра. Потом преподаю основы морали в одной из городских школ.

— Основы чего?

— Морали.

— Это еще что за чертовщина? В ваших школах преподают мораль?

Оливье улыбнулся.

— Ну конечно.

— И у вас хватает материала больше, чем на десять минут?

— У меня двенадцать часов в неделю.

— Вы, должно быть, учите творить зло?

— Почему же?

— Чтобы узнать, что такое добро, вовсе не нужно столько слов.

— Или чтобы не знать.

— Пожалуй, верно. И, по-моему, это не худший способ делать добро. Добро — не наука, оно — действие. Только неврастеники занимаются болтовней о морали; первая заповедь всякой морали — не быть неврастеником. К черту педантов! Это все равно как если бы ка леки вздумали учить меня ходить.

— Они проповедуют не для таких, как вы. Вы-то знаете; но ведь сколько людей не знают.

— Ну и пусть, точно младенцы, ползают на карачках, пока сами не научатся ходить. Все равно — на двух ногах или на четвереньках — лишь бы двигались.

Кристоф большими шагами мерил комнату, в которой и было-то не больше четырех шагов.

Затем он остановился перед пианино, открыл крышку, перелистал ноты, коснулся клавиш и сказал:

— Сыграйте что-нибудь.

Оливье вздрогнул.

— Я? — отозвался он. — Что вы!

— Госпожа Руссэн говорила, что вы хорошо играете. Послушайте, сыграйте!

— При вас? — сказал Оливье. — Да я умру!

В этом испуге было столько наивности и непосредственности, что Кристоф рассмеялся, — рассмеялся смущенно и сам Оливье.

— Вот как! — воскликнул Кристоф. — Разве это может остановить француза?

Однако Оливье продолжал отнекиваться.

— Да зачем? Зачем вам это нужно?

— А я вам потом скажу. Сыграйте.

— Что же?

— Что хотите.

Оливье с тяжким вздохом сел за пианино и, покорный воле нового друга, который так властно ворвался в его жизнь, после долгих колебаний заиграл прекрасное адажио Моцарта в си-миноре. Сначала его пальцы дрожали, и он едва был в силах нажимать на клавиши, но мало-помалу он осмелел и, воображая, что воспроизводит музыку Моцарта, открыл, сам того не ведая, свое сердце. Музыка — неверная наперсница: она выдает самые потаенные мысли тех, кто ее любит, — тем, кто ее любит. Сквозь божественный рисунок моцартовского адажио Кристоф угадывал незримые черты, но не Моцарта, а еще неведомого друга: грустную ясность, улыбку, робкую и нежную, этого чуткого юноши — чистого, любящего, смущенного. Но в самом конце, когда мелодия, полная страдальческой любви, все нарастает и, дойдя до вершины, разбивается, душевное целомудрие помешало Оливье продолжать, — мелодия оборвалась. Он снял руки с клавиш и пробормотал:

— Больше не могу...

Кристоф, стоявший у него за спиной, наклонился, обнял его и закончил на пианино прерванную фразу; затем сказал:

— Теперь, мне кажется, я знаю, как звучит ваша душа.

Он взял молодого человека за руки и долго смотрел на него. Наконец, промолвил:

— Как странно! Я вас где-то видел... Я вас знаю так хорошо и так давно!

Губы Оливье дрогнули: он чуть не заговорил. Но промолчал.

Кристоф все еще смотрел на него. Потом безмолвно улыбнулся и вышел.

Кристоф спускался по лестнице. Его сердце ликовало. Он встретил двух поднимавшихся ему навстречу чумазых мальчишек — один тащил хлеб, другой бутылку масла. Кристоф ласково ущипнул их за щеки. Улыбнулся хмурому привратнику. По улице он шел, напевая себе

под нос. Потом очутился в Люксембургском саду. Там он прилег на скамейку в тени и закрыл глаза. Воздух был недвижим; гуляющих было мало. Издали доносился приглушенный неровный плеск фонтана и временами — скрип гравия под ногой прохожего. Кристоф испытывал неодолимую лень; дремота охватывала его, как ящерицу, пригретую солнцем; и хотя тень уже ушла, он все не решался пошевелинуться. Мысли вращались по кругу; он не старался задержать их на чем-либо — все они были залиты светом счастья. На Люксембургском дворце прозвонили часы; он не слушал их, но мгновение спустя ему показалось, что они пробили полдень. Он сразу вскочил, понял, что прошатался два часа, пропустил свидание с Гехтом, зря потерял все утро; он рассмеялся и, посвистывая, отправился домой. Тут же сочинил рондо, по всем правилам, на крик торговца. Даже печальные мелодии звучали для него теперь в радостном ритме. Проходя мимо знакомой прачечной, он, по обыкновению, заглянул внутрь и увидел рыженькую прачку: ее матово-бледное личико порозовело от жары; она гладила, худые руки были обнажены до плеч, корсаж расстегнут. Девушка, как всегда, вызываясь стрельнула в него глазами; и в первый раз этот взгляд скользнул по нему, не вызвав раздражения. Он снова засмеялся. Придя к себе в комнату, он не нашел ни одной из тех забот, которые здесь оставил. Раскидав как попало шляпу, пиджак, жилет, Кристоф принялся за работу с таким воодушевлением, точно решил завоевать весь мир. Он подобрал разбросанные повсюду черновики своих композиций и стал читать ноты, но только глазами — мысли его были далеко. Им снова овладело то блаженное оцепенение, которое он только что испытал в Люксембургском саду. Он был, словно пьяный. Почувствовав этот хмель, Кристоф попытался стряхнуть его с себя, но тщетно. Он весело выругался, встал и сунул голову в таз с холодной водой. Вода немного отрезвила его. Вернувшись к столу, он уселся с безмолвной, блуждающей на губах улыбкой.

«Какая же разница между этим и любовью?»

Продолжая свое размышление, Кристоф пожал плечами и не то шепнул, не то подумал, точно ему было стыдно:

«Двух видов любви не существует... Или, вернее, их именно два: одни любят, отдаваясь целиком, другие — жертвуя любви только крохами от своего изобилия. Боже, охрани меня от душевной скарденности!»

Какое-то целомудренное чувство мешало ему додумать свои мысли до конца. Долго сидел композитор, улыбаясь своей сокровенной мечте. Сердце его пело среди безмолвия:

...Du bist mein, und nun ist das Meine meiner als jemals... (Ты мой, и, больше чем когда-либо, я принадлежу себе.)

Затем он взял лист нотной бумаги и спокойно записал песнь своего сердца.

Они решили поселиться вместе. Кристоф настаивал на том, чтобы сделать это сейчас же, пусть пропадает квартирная плата за полмесяца. Оливье, более осторожный, хотя и полюбивший своего друга не менее сильно, советовал дождаться срока. Но Кристоф не желал знать столь низменных расчетов. Как и многие люди, привыкшие быть без денег, он легко относился к материальным потерям. Он решил, что Оливье еще более стеснен в средствах, чем он. Однажды, когда его особенно поразила бедность друга, Кристоф внезапно ушел, вернулся только через два часа и торжествующе положил перед Оливье несколько пятифранковых монет — аванс, который он вытянул у Гехта. Оливье покраснел и отказался. Кристоф рассердился и хотел выбросить деньги какому-то итальянцу, игравшему во дворе. Оливье удержал его. Кристоф ушел оскорбленный и все же в душе проклинал себя за то, что своей иеловкостью вызвал отказ Оливье. Однако полученное от друга письмо пролило на его рану целительный бальзам. Оливье писал о том, чего не смог высказать вслух: как он счастлив, что узнал Кристофа, и как взволнован тем, что друг хотел ему помочь. Кристоф ответил сумасшедшим и восторженным письмом — такие излияния он писал в пятнадцать лет своему другу Отто; оно было полно Gemüt¹ и всякой

¹ задушевности (нем.).

чепухи — французских и немецких каламбуров, притом даже положенных на музыку.

Наконец, они устроились. На Монпарнасе, возле площади Денфер, на шестом этаже старого дома они нашли квартирку из трех комнат и кухни, — очень маленьких и выходивших в жалкий садик, зажатый между четырьмя стенами. Из окон, поверх противоположной невысокой стены, виден был большой сад — один из тех, никому неведомых, скрытых от глаз монастырских садов, которых сохранилось в Париже еще немало. Ни души на пустынных аллеях. Старые деревья — выше и гуще, чем деревья в Люксембургском саду — трепетали в лучах солнца. Пели птицы. С рассвета начинали звучать флейты черных дроздов; потом звенел разноголосый ритмичный хорал — это вступали воробьи. Летними вечерами стрижи с пронзительными вскриками рассекали воздух, скользя по синеве, точно конькобежцы. А ночью, при луне, подобно пузырькам воздуха, всплывающим на поверхности пруда, из сада доносились певучие и четкие трели жаб. Можно было совсем позабыть о том, что это Париж, если бы ветхий дом поминутно не сотрясался от грохота тяжелых подвод, точно сама земля дрожала в судорожном ознобе.

Одна из комнат была больше и лучше остальных. Кристоф и Оливье долго спорили, уступая ее друг другу. Пришлось бросить жребий, и Кристофу, подавшему эту мысль, удалось с помощью ловкой подтасовки, на которую он до сих пор считал себя не способным, сделать так, что комната досталась Оливье.

И вот для них наступила пора безоблачного счастья. Счастье это состояло не в чем-нибудь определенном, оно было решительно во всем: оно овевало каждый их поступок, каждую мысль, оно было неотделимо от них.

В течение медового месяца их дружбы, этих первых дней глубокого и немного ликования, которое дано изведать тому, «кто во всей вселенной хотя бы единую душу может назвать своей» — «ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund...» — они почти не говорили, едва осмеливались говорить; им было достаточно

чувствовать друг друга, достаточно одного слова, взгляда, и вдруг, после долгой паузы, оказывалось, что их мысли текут по одному и тому же руслу. Ни о чем не спрашивая, даже не поднимая глаз, они видели друг друга всегда. Тот, кто любит, бессознательно стремится уподобиться душе любимого; и так велико желание ничем не задеть его, быть во всем таким же, как друг, что внезапно, с помощью таинственной интуиции, он прозревает неуловимые движения чужой души. Друг становится как бы прозрачным для своего друга; два существа обмениваются всем. Один следует образу другого, душа подражает душе — пока не проснутся темные силы и не порвут оболочку любви, которая до сих пор держала их в плену.

Кристоф говорил вполголоса, ходил на цыпочках, он боялся зашуметь, стукнуть чем-нибудь в комнате рядом с комнатой молчаливого Оливье. Дружба преобразила Кристофа: его словно помолодевшее лицо светилось таким счастьем, таким доверием, какого у Кристофа еще не видели. Он обожал Оливье. И тому было бы нетрудно злоупотребить своею властью, если бы она не смущала его, точно незаслуженная награда, ибо он считал себя гораздо ниже Кристофа, а последний был не менее скромный в оценке себя. Эта готовность каждого к самоуничтожению, вытекавшая из великой любви, вносила в их дружбу новую прелесть. Было сладостно чувствовать, как много ты значишь для сердца друга, хотя, конечно, этого не заслужил. Оба были за это чуть не до слез благодарны друг другу.

Оливье присоединил свои книги к библиотеке Кристофа; отныне они стали достоянием обоих, и когда речь заходила об этих книгах, он не говорил: «моя книга», он говорил: «наша книга». Лишь очень немногие предметы он оставил себе, не передав их в общее владение, — те, которые некогда принадлежали его сестре или с которыми была связана память о ней. Кристоф, благодаря той чуткости и такту, которыми его одарила любовь, вскоре заметил это и, хотя не понимал причины, не решался расспрашивать Оливье о его родных. Кристоф знал об утратах Оливье, однако он вообще старался не выражать своих чувств к другу — и не только

из самолюбивой сдержанности, но и из гордости; кроме того, его удерживал страх пробудить в душе Оливье былую боль. Странная робость всякий раз сковывала его, когда он подходил к столу Оливье с намерением повнимательнее рассмотреть фотографические карточки, где были сняты господин и дама в чопорных позах, а также двенадцатилетняя девочка с большим спаньелем, лежавшим у ее ног.

Через два-три месяца после того, как они поселились вместе, Оливье простудился и слег. Кристоф, открывший в себе неиссякаемый источник материнских чувств, ухаживал за ним с нежностью и тревогой. Врач, выслушав Оливье, нашел небольшое воспаление в верхушке одного легкого и поручил Кристофу смазывать иодом спину больного. Кристоф, тщательно выполняя предписания врача, вдруг увидел на шее у Оливье образок. Он достаточно знал Оливье, знал, что тот — еще больше, чем он сам, — свободен от религиозной веры, и не сдержал своего удивления. Оливье покраснел и сказал:

— Это память. Я снял его с шейки моей бедняшкой Антуанетты, когда она умирала.

Кристоф вздрогнул. Имя Антуанетты что-то осветило в нем, как вспышка молнии.

— Антуанетты? — спросил он.

— Моей сестры, — сказал Оливье.

А Кристоф повторял:

— Антуанетта... Антуанетта Жанен... Так она была вашей сестрой? Но ведь она, — продолжал Кристоф, рассматривая стоявшую на столе фотографическую карточку, — была, видимо, совсем девочкой, когда вы потеряли ее?

Оливье грустно улыбнулся.

— Этот снимок сделан в детстве, — пояснил он. — Увы! У меня только он и есть. Ей было двадцать пять лет, когда она ушла от меня.

— А! — произнес Кристоф, взволнованный. — И она жила одно время в Германии, верно?

Оливье кивнул.

Кристоф схватил руки Оливье.

— Но я же был знаком с нею! — воскликнул он.

— Я это знаю, — ответил Оливье.

И кинулся на шею Кристофу.

— Бедная девочка! Бедная девочка! — повторял Кристоф.

Они поплакали вместе.

Но тут Кристоф вспомнил, что Оливье болен. Он постарался его успокоить, заставил спрятать руки под одеяло, укрыл плечи и по-матерински вытер ему глаза, а затем уселся возле изголовья и стал смотреть на своего друга.

— Так вот откуда я тебя знаю, — сказал он. — С первого же вечера я узнал тебя.

(И неизвестно было, к кому он обращается — к другу, который перед ним, или к той, которой уже нет.)

— Но ты, — продолжал он через мгновение, — ты-то знал?.. Отчего же ты не говорил мне?

И глазами Оливье Антуанетта ответила:

«Мне нельзя было. Ты должен был сказать».

Они помолчали; затем среди ночной тишины Оливье, лежа неподвижно в постели, вполголоса рассказал Кристофу историю Антуанетты. Но он не упомянул о том, о чем не должен был говорить: о той тайне, которую она не открыла и которую Кристоф, быть может, и сам знал.

С тех пор душа Антуанетты точно окутала их обоих. Когда они оставались вдвоем, она была с ними. Им не зачем было вспоминать о ней: все, что они думали вместе, связывало их думы с нею. Ее любовь была той страной, где сливались их души.

Оливье вызывал в памяти ее образ. Подчас это были разрозненные воспоминания, отдельные эпизоды. Благодаря им выступал вновь, как бы озаренный мимолетным светом, какой-нибудь ее робкий и милый жест, ее юная серьезная улыбка, задумчивая прелесть этого рано угасшего создания. Кристоф слушал молча, и в него проникали как бы отсветы незримой подруги. Он жадно, ненасытно пил жизнь, это было в его натуре, и порой он улавливал в словах Оливье далекое эхо, которого сам Оливье не слышал; он познавал, даже полнее, чем Оливье, то, что составляло сущность умершей девушки.

Он невольно старался заменить ее для Оливье, и трогательно было видеть, как неловкий немец бессознательно вносил в свои отношения с другом что-то от ее деликатной заботливости, от ее предупредительного внимания. Минутами он уже не знал, любит он Оливье в Антуанетте, или Антуанетту в Оливье. Под влиянием нежности он стал тайком посещать могилу Антуанетты и приносил цветы. Оливье долго об этом не догадывался. И узнал только тогда, когда обнаружил на могиле совсем свежие цветы; но удостовериться в том, что сюда действительно приходил Кристоф, оказалось нелегко. Когда Оливье робко заговорил с ним об этом, Кристоф с грубоватой решительностью перевел разговор на другое. Он старался, чтобы Оливье не узнал об его посещениях. И упорствовал до того дня, пока, наконец, они не столкнулись на кладбище Иври.

Со своей стороны, Оливье, без ведома Кристофа, писал иногда его матери. Он сообщал Луизе о жизни ее сына; рассказывал о том, как привязан к Кристофу и как им восхищается. Луиза отвечала Оливье смиренными, неумелыми письмами, рассыпалась в благодарностях; она говорила о сыне так, будто он все еще маленький мальчик.

После периода почти безмолвной влюбленности — «чудесного покоя и беспричинного блаженства» — они стали разговорчивее. Они могли часами всматриваться друг в друга в поисках еще неведомых глубин.

Очень разные, они оба были все же из чистого металла, без примесей. И любили друг друга именно потому, что, несмотря на глубокое различие, их роднило внутреннее сходство.

Оливье был слаб, щедеушен, неспособен бороться с трудностями жизни. Если он наталкивался на какое-нибудь препятствие, то сразу отступал — не из страха, а отчасти из робости, главным же образом — из отвращения к низменным и грубым способам, которыми добывалась победа. Оливье жил уроками, писал книжки об искусстве, за которые ему, как водится, платили постыдные гроши, а также изредка статьи для обозрений и

журналов, но в них он никогда не мог высказаться свободно, да и темы его не интересовали; интересные же темы были не нужны; и никогда с него не требовали того, что он мог делать всего лучше: он был поэтом, а должен был поставлять критические заметки, он был знатоком музыки, а его заставляли писать о живописи. Оливье отлично знал, что его рассуждения в этой области весьма посредственны, но они-то и нравились, ибо он говорил с посредственностью на ее языке. В конце концов его взяло отвращение, и он стал отказываться от подобных статей. Удовольствие ему доставляло только сотрудничество в маленьких журнальчиках, которые вовсе не платили, но которым он, подобно многим молодым людям, отдавал охотно свои силы, оттого что чувствовал себя там свободным. Лишь на их страницах мог он высказывать все то действительно ценное, что жило в нем.

Он был кроток, вежлив и как будто очень терпелив, но необычайно чувствителен. Любое чуть резкое слово глубоко его ранило, несправедливость потрясала; он страдал и за себя и за других. Гнусности, совершенные вска назад, терзали его, как будто он сам был их жертвой. Оливье бледнел, трепетал, невыносимо терзался, вспоминая о муках той или иной жертвы и о том, что предмет его сочувствия отделен от него несколькими веками. А когда ему случалось быть свидетелем какой-нибудь несправедливости, им овладевал приступ негодования, он начинал дрожать всем телом, прямо заболел, не мог спать по ночам. Оливье знал об этой своей слабости и потому любой ценой старался сохранять спокойствие, ибо, когда он уступал гневу, то переходил всякие границы и говорил людям такие вещи, которые не забываются. Ему прощали меньше, чем Кристофу, хотя последний всегда был резок; что же до Оливье, то казалось, что в минуты бешенства он выдает свои истинные мысли. Так оно и было в действительности. Он судил о людях без слепого преувеличения, присущего Кристофу, но и без иллюзий, с беспощадной трезвостью. А такой трезвости люди не спускают никому. Поэтому он предпочитал молчать, уклонялся от спора, слишком хорошо зная, насколько любые споры бесцельны. Но, обуздывая себя, он страдал. Еще больше страдал он от своей застенчивости,

из-за которой иногда отступался от своих мыслей или не отваживался встать на их защиту, а порой готов был даже извиниться, как в споре с Леви-Кэром относительно Кристофа. Не один приступ отчаяния пережил Оливье, прежде чем выбрал определенную позицию по отношению к миру и к самому себе. В годы отрочества, когда он весь находился во власти своих нервов, периоды бурной восторженности вдруг сменялись в нем периодами депрессии. В минуты, когда он испытывал безоблачное счастье, можно было поручиться, что горе уже подстерегает его. И оно действительно вдруг обрушивалось на него, неведомо откуда. Но просто несчастья ему было мало: он непременно начинал винить себя в этом несчастье; перебирал все свои слова, поступки, брал под сомнение свою честность, становился на сторону других против самого себя. Сердце неистово билось в груди, он мучительно спорил с самим собой, задыхался. После смерти Антуанетты, а может быть, благодаря этой смерти, благодаря тому умиротворяющему свету, который излучают иногда любимые нами умершие, свету, подобному утренней заре, освежающей очи и душу болящих, Оливье удалось если не избавиться от снедавших его тревог, то по крайней мере смириться и не поддаваться им. Немногие догадывались об этих внутренних борениях. Он скрывал их как унижительную тайну, скрывал неудержимый тревожный трепет измученного тела, на которое взирал, не будучи в силах победить его, но и не подчиняясь ему, свободный и ясный дух, хранящий «тот внутренний покой, который царит нерушимо на дне бесконечных волнений».

Кристоф был поражен. Этот покой он и читал в глазах Оливье. Его друг обладал способностью интуитивно постигать людские души, имел широкий, любознательный, гибкий ум, который ни перед чем не замыкался, ни к чему не испытывал ненависти и созерцал жизнь с великодушным сочувствием, — это была именно та свежесть взгляда, тот бесценный дар, который позволяет юному сердцу наслаждаться вечным обновлением мира. В своей внутренней вселенной, где Оливье чувствовал себя свободным и безграничным властелином, он забывал о слабости, о своих физических недугах.

И когда он глядел как бы издали, с иронической жалостью на свое немоющее тело, которому каждую минуту грозит уничтожение, он испытывал даже какую-то тихую радость: так по крайней мере не рискуешь слишком привязаться к собственной жизни, и тем горячее становится привязанность к жизни как таковой. Оливье переносил в сферу любви и мышления все те силы, от которых отрекся в сфере действия. У него не хватало жизненных соков, чтобы существовать самостоятельно; он был, как плющ: он должен был вокруг кого-нибудь обвиться. Лучше всего он ощущал свое богатство, когда отдавал себя. Это была женственная душа с всегдашней потребностью любить и быть любимой. Он прямо был создан для Кристофа. Такими же были те изысканные и обаятельные друзья, что сопутствовали великим художникам и кажутся нам цветами, которые питались соками их мощных душ: Бельтраффио — друг Леонардо; Кавальери — друг Микеланджело; умбрийские товарищи молодого Рафаэля; Арент ван Гельдер, оставшийся верным Рембрандту, когда тот постарел и впал в нищету. У них нет величия мастеров, но все, что есть у этих мастеров наиболее благородного и чистого, словно оживает еще более одухотворенным в их друзьях. Это как бы идеальные спутники гениев.

Дружба оказалась благодеянием для обоих. Друг придает жизни ценность: ради него живешь, ради него оберегаешь от ржавчины времени целостность своего существа.

Они обогащали друг друга. Оливье был ясен духом и немоощен плотью. У Кристофа было могучее здоровье и мятежная душа. Это была дружба слепца и паралитика. Теперь, когда их жизни соединились, им казалось, что они стали очень сильными. В тени, которую отбрасывал Кристоф, Оливье опять почувствовал влечение к свету; Кристоф точно переливал в него часть своей кипучей жизненной силы, своей физической и нравственной мощи, поддерживавших в нем оптимизм, даже когда

его постигали страдания и несправедливости, даже когда он встречал ненависть. Кристоф брал от Оливье гораздо больше, чем Оливье от него, следуя закону, согласно которому гений, сколько бы ни давал, в любви всегда берет больше, чем дает, — *quia pomipog Leo*¹; и происходит это потому, что он гений, а гений — это на добрую половину умение поглощать все, что есть вокруг великого, и придавать ему еще большее величие. Народная мудрость гласит, что деньги идут к деньгам. А сила приходит к сильному. Кристоф питался мыслью Оливье, проникался спокойствием его ума, свободой его духа, способностью смотреть на жизнь дальноржим взглядом, молча постигать ее и властвовать над нею. Но перенесенные в Кристофа, на более богатую почву, достоинства друга возрастали стократ.

Оба восхищались теми чертами, которые открывали один в другом. Каждый вносил свой вклад — несметные богатства, ведь до сих пор ни один из них даже не знал, как он богат; то были моральные сокровища их народов: от Оливье шла обширная культура Франции и ее психологическая зоркость; от Кристофа — внутренняя музыкальность Германии и врожденный дар постигать природу.

Кристоф дивился, каким образом Оливье может быть французом. Ведь его друг так непохож на всех тех французов, которых знал Кристоф! До встречи с Оливье Кристоф почти готов был принять за типичный образец французского интеллигента Люсьена Леви-Кэра, хотя тот и являлся всего лишь карикатурой. И вот теперь, на примере Оливье, он убеждался, что в Париже существуют люди гораздо более свободного ума, чем Люсьен Леви-Кэр, и вместе с тем сумевшие сохранить чистоту и стоическую твердость духа. Кристоф пытался доказать Оливье, что ни он, ни Антуанетта, вероятно, не чистокровные французы.

— Бедный друг мой, — сказал Оливье, — что ты знаешь о Франции?

Кристоф возразил, что он старался узнать ее; он перечислил всех французских, которых встречал у Стивенсов

¹ ибо я называюсь Лев (лат.).

и у Руссанов: евреев, бельгийцев, люксембуржцев, американцев, русских, левантинцев и даже нескольких коренных французов.

— Вот именно, — отозвался Оливье. — Ты еще не встречал ни одного настоящего... Что ты видел? Развращенное общество, беспутных скотов, которых и французами-то назвать нельзя, прожигателей жизни и политика-нов, всех этих лодырей, всю эту накипь, которая проходит бесследно, не затрагивая недр нации. Ты видел только мириады трутней, привлеченных осенним изобилием и фруктовыми садами. И ты не заметил ульев с неутомимыми пчелами, страны труда и лихорадочной деятельности мысли.

— Прости, — сказал Кристоф, — но я видел и сливки вашей интеллигенции.

— Что? Два-три десятка литераторов? Подумаешь! Сейчас, когда наука и действие приобрели такое величие, стало ясно, насколько неглубок по отношению к мысли народа тот слой, который именуется литературой. Да и в литературе — что ты знаешь кроме театра — театра как роскоши, как интернациональной стряпни, созданной для космополитической клиентуры богатых отелей? Парижские театры? Ты думаешь, рабочий люд знает, что там делается? Пастер за всю свою жизнь не был в театре и десяти раз! Как все иностранцы, ты придаешь слишком большое значение нашим романам, нашим театрам на Бульварах, интригам наших политиков. Я могу показать тебе женщин, которые никогда не читают романов, парижских девушек, которые ни разу не бывали в театре, мужчин, которые никогда не занимались политикой, — и это среди интеллигенции. Ты не видел ни наших ученых, ни наших поэтов. Ты не знаешь ни наших художников-одиночек, угасающих в неизвестности, ни наших революционеров, пылающих, как пламя костра. Ты не видел ни одного убежденного верующего, ни одного убежденного атеиста. Я уж не говорю о народе. Кроме той бедной женщины, которая тебе прислуживала, что ты знаешь о нем? Где ты мог видеть его? Много ли ты встречал парижан из тех, что живут выше второго или третьего этажа? Если ты их не знаешь, ты не знаешь

Франции. Не знаешь людей, живущих в квартирах для бедняков, в парижских мансардах, в бессловесной провинции, людей честных и искренних, отдавших всю свою неприглядную жизнь высоким думам и незаметным подвигам самопожертвования; они образуют как бы малую церковь; эта церковь всегда существовала во Франции; она мала только по числу верующих, но велика по духу; и в ней, почти неизвестной, никак не проявляющей себя вовне — вся сила Франции, сила молчаливая и стойкая; те же, кого мы именуем избранниками, разлагаются, а на их месте вырастают другие. Естественно, что ты удивлен, вдруг встретив француза, живущего не для того, чтобы наслаждаться, наслаждаться любой ценой, но чтобы воплощать в жизнь свои верования или служить им. Существуют тысячи людей, подобных мне, и гораздо достойнее меня, более верных, более смиренных, которые до последнего вздоха преданно служат своему идеалу, своему богу, хотя он их не желает слушать. Ты не знаешь простой народ, маленьких людей, бережливых, аккуратных, трудолюбивых, спокойных, в чьих сердцах дремлет пламя, — народ, вечно приносимый в жертву; его некогда защищал против эгоизма власть имущих мой земляк — голубоглазый старик Вобан. Ты не знаешь народ, ты не знаешь интеллигенции. Прочел ли ты хоть одну книгу из тех, что мы считаем нашими верными друзьями, спутниками, поддерживающими нас? Ты едва ли даже слышал о наших молодых журналах, в которые вкладывается столько преданности и веры! Ты и не подозреваешь о существовании людей, являющихся образцом такой моральной высоты, что они для нас — как солнце, само существование их излучает свет, наводящий страх на полчища лицемеров; эти господа не осмеливаются бороться с ними, подняв забрало, и склоняются перед ними, чтобы тем скорее предать их. Лицемер всегда раб, а где есть рабы, есть и господа. Но ты знаешь только рабов, господ ты не знаешь. Ты наблюдал наши схватки и осудил их как дикую нелепость оттого, что не понял их смысла. Ты видишь лишь тени и отблески света, но не видишь внутреннего света нашей древней души. А пытался ли ты когда-нибудь понять

ее? Интересовался ли ты когда-нибудь нашими героическими подвигами, начиная от крестовых походов и до Коммуны? Вдумывался ли ты в трагедию французского духа? Склонялся ли когда-нибудь над той бездной, над которой склонялся Паскаль? Как можно себе позволить клевету на такой народ, который вот уже больше десяти веков творит и действует, народ, создавший целый мир по своему образу и подобию — в готике, в творениях семнадцатого века, в делах Революции? Народ, который десятки раз проходил через испытания огнем и только закалялся в них, народ, который, побеждая смерть, десятки раз воскресал? Все вы одинаковы! Все твои соотечественники, когда приезжают во Францию, не видят ничего, кроме присосавшихся к ней паразитов, авантюристов от литературы, от политики, от финансов, с их поставщиками, клиентами и проститутками; и они судят о Франции по этим негодям, пожирающим ее. Ни один из вас не подумает о подлинной, угнетенной Франции, о жизненных силах, таящихся в недрах французской провинции, обо всем нашем народе, который трудится, глубоко равнодушный к свистопляске своих недолговечных хозяев... Да, вполне естественно, что вы ничего этого не знаете, и я не виню вас: откуда вам знать? Ведь и сами французы едва знают свою Францию. Лучшие из нас живут, как в заточении, мы пленники на собственной земле. Никто никогда не узнает всего, что мы выстрадали, верные духу нашего народа, оберегая в себе как святыню полученный от него свет, отчаянно защищая его от враждебных вихрей, стремящихся его задуть. Одинокие, вынужденные дышать воздухом, зачумленным чужаками, которые облепили нашу мысль точно рой мух, тогда как их гнусные личинки пожирают наш разум и грязнят наше сердце; преданные теми, чьей миссией было защищать нас, — нашими вождями, нашими критиками — глупцами или трусами, пресмыкающимися перед врагом, чтобы вымолить себе прощение за то, что они французы; покинутые нашим народом, которому дела нет до нас, который даже нас не знает. Да и откуда ему знать нас? Нам к нему не пробиться... Вот что самое тяжелое! Мы знаем, что во Франции есть тысячи людей, разделяющих наши взгляды, мы знаем, что говорим от их имени, и

мы не можем добиться того, чтобы нас услышали. Враг прибрал к рукам все: газеты, журналы, театры... Пресса боится всякой мысли и допускает только то, что является источником развлечений или служит оружием для какой-нибудь партии. Кружки и салоны щадят лишь того, кто им во всем поддакивает. Мы угнетены непосильным трудом и нищетой. Политики, занятые своим обогащением, интересуются только теми пролетариями, которых можно купить. А буржуазия, равнодушная и эгоистичная, спокойно взирает на то, как мы умираем. Наш народ не знает нас: даже те, кто борются так же, как мы, и, как мы, окружены молчанием, не ведают о нас, а мы — о них. О, этот злосчастный Париж! Конечно, и он сослужил свою службу, собрав воедино все силы французской мысли. Но зла он причинил во всяком случае не меньше, чем добра; а в такую эпоху, как наша, даже добро обращается во зло. Достаточно кучке каких-то мнимых избранников взять Париж в свои руки и затрубить в иерихонскую трубу общественного мнения, — и вот уже голос всей остальной Франции заглушен. Больше того, сама Франция введена в заблуждение; она молчит, растерянная, она со страху прячет в себе свои идеи... Я очень страдал от всего этого когда-то. Но теперь, Кристоф, я спокоен. Я понял свою силу, силу моего народа. Нужно ждать, пока это наводнение схлынет. Ему не подточить несокрушимую гранитную глыбу Франции. И пусть ее облепила грязь, я помогу тебе прикоснуться к этому граниту. Уже теперь то там, то здесь из воды выступают вершины.

Так Кристофу открылась огромная мощь идеализма, вдохновлявшего поэтов, музыкантов, ученых современной ему Франции. В то время как всевозможные калифы на час заглушали грохотом своего грубого сенсуализма голос французской мысли, она, слишком аристократичная, чтобы силой бороться с наглым криком этой мрази, сосредоточенно продолжала петь для себя и своего бога свою пламенную песнь. Казалось даже, что она, желая бежать как можно дальше от назойли-

вого уличного шума, удалилась в самые потаенные убежища в недрах своей башни.

Поэты, действительно заслуживавшие это прекрасное звание, которым пресса и академии награждали болтунов, жадных до денег и тщеславия, — поэты, презрев и бесстыдную риторику и рабский реализм, грызущий кору вещей, но неспособный проникнуть в их суть, погрузились в мистическое созерцание, укрылись как бы в самой сердцевине своей души, куда мир мыслей и форм вливался подобно потоку, спадающему в озеро, и окрашивался всеми оттенками их внутренней жизни. Насыщенность этого идеализма, замыкавшегося в себе, чтобы пересоздать мир, делала его недоступным для толпы.

Сам Кристоф вначале не разглядел его. Слишком неожиданным был переход к нему от Ярмарки на площади. Композитору казалось, что, вырвавшись из яростной давки при резком свете дня, он вдруг очутился среди ночи и тишины. В его ушах еще стоял оглушающий шум. Он ничего перед собой не видел и в первую минуту, при своей любви к жизни, был даже возмущен этим контрастом. За стеной с ревом проносились бурные потоки страстей, они потрясали Францию, волновали все человечество. А в искусстве на первый взгляд не отражалось ничего. Кристоф попытывался у Оливье:

— Вот вас взметнуло до звезд, а потом сбросило в бездну дело Дрейфуса. Где же поэт, через которого прошел этот шквал? Сейчас в душах религиозных людей происходит самая замечательная из битв, какие велись на протяжении многих веков: битва между авторитетом церкви и требованиями совести. Где же тот поэт, который отобразил бы эти священные терзания? Рабочие массы готовятся к войне, одни нации гибнут, другие возрождаются. В Армении резня, Азия просыпается от своего тысячелетнего сна и сбрасывает власть московского колосса, ключаря всей Европы; Турция, как Адам, впервые видит дневной свет; воздух завоеван человеком; старая земля дает трещины под нашими шагами и разверзается; она пожирает целые народы. Все эти чудеса произошли за какие-нибудь двадцать лет, а иххватило бы на двадцать «Илиад»; так где же они? Где

их огненные следы в книгах ваших писателей? Неужели только они не видят поэзии жизни?

— Терпение, мой друг, терпение, — отвечал ему Оливье. — Молчи, не говори, слушай...

Понемногу скрип земной оси стихал; грохот тяжелой колесницы действия, громыхавшей по мостовым, смолкала вдали, и начинала звучать божественная песнь безмолвия:

Жужжанье пчел, благоуханье лип,
И ветерок,
Устами золотыми
Ласкающий равнины...
И тихий шум дождя, и запах розы томной.

Слышался звон молота, каким поэты высекали на стенках ваз

Простых вещей величие и скромность,
изображая картины жизни важной и ликующей

Под звуки золотых и деревянных флейт,
благоговейную радость и родники веры, бьющей из людских сердец, для которых

Любая тень светла,
и баюкающей нас с улыбкой блаженного страданья,

Чей лик суровый излучает
Какой-то свет нездешний...
и образ

Смерти ясной с кроткими глазами.

Это была симфония чистых голосов, хотя ни один не мог сравниться с полнозвучным и трубным гласом народов, вещавших устами Корнелей и Гюго; но насколько глубже и богаче тонкими оттенками казалась их гармония! Это была самая драгоценная музыка в современной Европе.

И Оливье сказал Кристофу, который тоже погрузился в безмолвие:

— Теперь ты понимаешь?

Кристоф, в свою очередь, сделал ему знак, чтобы он замолк. И хотя он любил более мужественные напевы,

но теперь жадно впивал шепот рощ и ручьев человеческой души, чьи тихие голоса уже научился различать. Среди безрассудной борьбы между народами они воспевали вечную молодость мира и

Красоты благую кротость.

В то время как человечество,

Вопя от ужаса и жалобно стеная,
На том же топчется бесплодном, темном поле,

а миллионы человеческих существ истощают свои силы, стараясь вырвать друг у друга окровавленные клочки свободы, — ручьи и рощи повторяют:

«Свободен... ты свободен... Sanctus, sanctus» ¹.

Но их не убаюкивали грезы эгоистического покоя. В хоре поэтов звучали и трагические голоса — голоса гордости, голоса любви, голоса тревоги.

Это был хмельной ураган,

То ласковый, то беспощадный, буйный...

В нем слышались бурлящие силы тех, кто в мощных эпосах воспевал горячку толп, и битвы между кумирами, и тружеников в поту,

И миллионы лиц, то золотых, то черных,
И спин, то согнутых, то выпрямленных вдруг
В палящем свете доми и богатырских горнов,

кующих Город будущего.

Это был свет ослепительный и загадочный, падающий на ледники человеческого разума, это была героическая горечь одиноких душ, терзающих себя с весельем отчаяния.

Многие черты этих идеалистов казались немцу скорее немецкими, чем французскими. Но во всех жила любовь

¹ Свят, свят (лат.).

к «французскому изяществу речи», и соки греческих мифов текли в их поэмах. Пейзажи Франции и ее повседневная жизнь с помощью какой-то тайной магии преображались в их зрачках в видения Аттики, как будто в этих французах XX века еще жили души древних, стремившихся сбросить лохмотья современности, чтобы снова обрести себя в своей прекрасной нагоде.

От всей этой поэзии в целом веяло благоуханием богатой цивилизации, созревавшей в течение долгих веков, — другой такой не было нигде в Европе. Тот, кто вдохнул ее, уже не мог ее забыть. Она привлекала поэтов со всех концов земли. И они становились французскими поэтами, французскими до нетерпимости; и у французского классического искусства не было более ревностных учеников, чем эти англосаксы, эти фламандцы, эти греки.

Кристоф, вдовый Оливье, проникался задумчивой прелестью французской музыки, хотя втайне все же предпочитал этой аристократической особе, которая была для него, пожалуй, слишком умной, — цветущую девушку из народа, простую, сильную, здоровую, которая меньше рассуждает, но крепче любит.

Тем же *odor di bellezza*¹ веяло и от всего французского искусства, как веет из осенних разогретых солнцем лесов запахом созревшей земляники. Одним из этих скрытых в траве маленьких ягодников была музыка. Кристоф, привыкший в своей стране к гораздо более густым музыкальным зарослям, сначала прошел мимо него. Но вот легкий аромат заставил его оглянуться; и с помощью Оливье он открыл между колючек и блеклых листьев, присвоивших себе название музыки, утонченное и свежее искусство горсточки композиторов. Среди огородов и фабричных дымов демократии, посреди Плэн-Сен-Дени, в священной рощице плясали беззаботные фавны. И Кристоф изумленно слушал их пение, по-

¹ запахом красоты (итал.).

добное флейте, безмятежное и насмешливое, непохожее ни на что слышанное им до сих пор:

Мне довольно тростничка,
Чтоб затрепетали травы,
И весь луг,
И тихий тополь,
И ручей, поющий скромно;
Мне довольно тростничка,
Чтобы целый лес запел...

Сквозь небрежную грацию и кажущийся дилетантизм этих пьесок для фортепьяно, этих песенок, всей этой французской камерной музыки, которую немецкое искусство не удостаивало взглядом и чьей поэтической виртуозностью пренебрегал даже Кристоф, немецкий композитор начинал улавливать жар обновления и тревогу, неведомые на другом берегу Рейна и говорившие о том, что французские музыканты ищут на невозделанных землях своего искусства живые зародыши плодотворного будущего. В то время как немецкие музыканты окопались в становищах отцов и пытались превратить бывшие победы в преграду для развития мира, мир продолжал идти вперед; французы, шедшие в первых рядах, бросались в разведку: они исследовали далекие горизонты искусства, потухшие солнца и солнца, которые еще только загорались, — былую Грецию и Дальний Восток, после многовекового сна снова открывающий под лучами света свои удлинённые раскосые глаза, полные безмерных грез. В музыке Запада, текущей по руслам, проложенным духом порядка и классического разума, они открыли шлюзы древних ладов; и в бассейны Версаля начали вливаться воды со всей вселенной: народные мелодии и ритмы, экзотические и античные звукоязыды, новые и древние интервалы. И если до них французские художники-импрессионисты — как некие Христофоры Колумбы красок — открыли глазу новый мир, то французские музыканты двинулись на завоевание вселенной звуков: они проникали все дальше в тайники слуха; в этих внутренних морях они открывали неведомые материки. Впрочем, самое вероятное, что они не воспользуются своими завоеваниями и по обыкновению останутся только пролагателями новых путей.

Кристоф восхищался дерзанием французской музыки, возродившейся только вчера и уже сегодня идущей в авангарде. А сколько было отваги в этой изящной маленькой особе! Он даже стал снисходительней к тем глупостям, которые еще так недавно раздражали его. Не ошибается только тот, кто ничего не делает! А заблуждения, вызванные поисками живой истины, более плодотворны, чем истина мертвая.

Каковы бы ни оказались результаты, усилия были сделаны огромные. Оливье показывал Кристофу, что было достигнуто за тридцать пять лет и сколько было затрачено энергии, чтобы вывести французскую музыку из того небытия, в котором она пребывала до 1870 года: без собственной симфонической школы, без глубокой культуры, без традиций, без мастеров, без публики — с одним Берлиозом, задыхавшимся от недостатка свежего воздуха и от скуки. И Кристоф начинал уважать тех, кто были творцами этого национального пробуждения; ему уже в голову не приходило придирааться к ним за устои эстетических взглядов и за отсутствие таланта. Ведь они создали больше чем произведения — они создали целое племя музыкантов. Среди всех этих великих кузнецов, ковавших новую французскую музыку, одно имя было по-настоящему дорого Кристофу — имя Цезаря Франка, который умер, так и не дождавшись подготовленной им победы, и, подобно старику Шюцу, сберег в самый мрачный период французского искусства сокровище своей веры и гений своего народа. Знаменательное явление: среди веселящегося Парижа этому неземному Франку, этому святому от музыки, удалось пронести через жизнь, полную лишений и всеми презираемого труда, немеркнущую ясность терпеливой души, и отсюда — та смиренная улыбка, что осеняла светом добра его творчество.

Для Кристофа, не знавшего подлинной жизни Франции, появление этого верующего музыканта из недр народа-атеиста, казалось почти чудом.

Но Оливье, слегка пожав плечами, спросил его, в какой еще европейской стране можно найти художника,

сильнее сжигаемого огненным дыханием библии, чем пуританин Франсуа Милле; ученого с более чистой душой и более глубокой, пламенной и смиренной верой, нежели Пастер. Не он ли преклонял колени перед идеей бесконечности, и когда эта идея овладевала им «в минуты шемящей тоски», как он сам выражался, «молил свой разум пощадить его, так как готов был отдаться высокому безумию Паскаля». Католицизм не служил препятствием героическому реализму Пастера, так же как и исканиям страстного разума Паскаля, уверенно прошедшего, не отклоняясь ни на шаг, «по кругам природных стихий, через непроницаемый мрак бесконечно малых величин и последние бездны бытия, где зарождается жизнь». У народа глубинной Франции, из чьих недр они вышли, почерпнули они эту веру, которая всегда теплилась в толще французской земли и которую тщетно пыталась отрицать кучка краснобаев-демагогов. Оливье хорошо ее знал, эту веру, — он сам когда-то носил ее в своей груди.

Он указывал Кристофу на героические попытки обновить католицизм, предпринимавшиеся на протяжении четверти века, на мощные усилия христианской мысли во Франции найти сочетание веры с разумом, со свободой, с жизнью; на замечательных пастырей церкви, имевших мужество, как выражался один из них, «креститься в человека» и требовать для католицизма права все понимать, поддерживать каждую честную мысль, ибо «каждая честная мысль, если даже она — заблуждение, священна и божественна». Указывал на тысячи младокатоликов, давших великодушный обет создать христианскую республику, свободную, чистую, объединенную узами братства, открытую для всех людей доброй воли; невзирая на постыдную травлю и обвинения в ереси, несмотря на вероломство справа и слева (особенно справа), объектом которых являлись эти истинные христиане современности, — они, этот небольшой и бесстрашный отряд, продолжали идти вперед через суровое ущелье, ведущее к будущему; взор их был ясен, и они смиренно ожидали испытаний, ибо знали, что нельзя возвести прочного здания, не скрепив его своими слезами и своею кровью.

То же веяние животворящего идеализма и страстного либерализма возродило и другие религии, существовавшие во Франции. В гигантских, давно застывших организмах протестантизма и иудаизма просыпался трепет новой жизни. И все они стали состязаться в благородном стремлении создать религию свободного человечества, при которой ему ничем не пришлось бы жертвовать — ни мощью своего энтузиазма, ни мощью своего разума.

Эта религиозная экзальтация не являлась достоянием одних лишь религиозных людей — ею было проникнуто и революционное движение. И тут она становилась трагической. Кристоф знал до сих пор лишь низкопробный социализм, социализм политиканов, которые пытались ослепить свою изголодавшуюся клиентуру дешевой мишурой ребяческой и примитивной грезы о всеобщем счастье, или, проще говоря, о всеобщем наслаждении, которое, как они уверяли, могло быть обеспечено всем только с помощью науки, опирающейся на власть; и Кристоф видел теперь, как этому тошнотворному оптимизму противостоит интеллигенция с ее мистицизмом и пафосом и ведет в бой синдикалистские рабочие организации. Она призывала к «войне, которая одна способна породить возвышенное и вернуть умирающему миру смысл, цель, идеал». Эти великие революционеры, с презрением отвергавшие «буржуазный, торговый, пацифистский социализм на английский лад», противопоставляли ему «трагическую концепцию вселенной, в которой антагонизм царит как закон» и которая жива только постоянной, все вновь приносимой жертвой. Армия, брошенная вожаками на приступ старого мира, вероятнее всего не понимала их воинствующего мистицизма, оправдывавшего свои насильственные действия философией Канта и Ницше; но зрелище этой революционной аристократии, чье опьянение пессимизмом, неистовая жажда героики, вера в войну и в жертву напоминала милитаристские и религиозные идеалы рыцарей Тевтонского ордена или японских самураев, не становилось от этого менее потрясающим.

Вместе с тем это было явление чисто французское, естественное для французской нации, основные черты

которой оставались неизменными в течение ряда веков. Глядя на ее историю глазами Оливье, Кристоф узнавал все те же черты, он находил их у трибунов и проконсулов Конвента, у некоторых мыслителей, деятелей и реформаторов, живших при старом режиме. И как бы люди ни называли себя — кальвинистами, янсенистами, якобинцами или синдикалистами, — во всех жил тот же дух пессимистического идеализма, борющегося с человеческой природой, не ведающего иллюзий, но и не знающего разочарований; этот дух служил как бы железным костяком, который поддерживал нацию, а иногда и сокрушал ее.

Кристоф дышал теперь воздухом этих мистических борений и начинал постигать все величие фанатизма, в который Франция вносила такую непримиримую честность, о какой другие нации, более склонные к всевозможным *combinazioni*¹, и понятия не имели.

Подобно всем иностранцам, Кристоф вначале позволял себе довольно легковесные шуточки по поводу слишком явного противоречия между присущим французам деспотизмом и той магической формулой, которой республика любила украшать фасады зданий. Но теперь Кристоф впервые понял смысл той воинствующей свободы, которой они служили, — это был грозный меч Разума. Нет, культ Разума, оказывается, для них не просто риторика, не туманная идеология. У народа, для которого требования разума всего важнее, и борьба за него стоит на первом месте. И пусть народам, считающим себя практическими, подобная борьба кажется лишней смыслом! Ведь если взглядеться поглубже, то разве не столь же суетна борьба за овладение миром, за утверждение власти империи или власти денег? Через миллион лет от всего этого не останется и следа. Но если жизни придает цену как раз та напряженность борьбы, при которой бурно проявляют себя все силы человеческого существа — вплоть до принесения себя в жертву некоему высшему существу, — то едва ли найдется много битв, дающих человечеству право так гордиться собой, как битвы, неустанно ведущиеся во

¹ комбинациям (итал.).

Франции за или против Разума. Тем, кто вкусил их терпкого хмеля, столь прославленная апатичная терпимость англосаксов кажется пресной и лишенной мужества. Англосаксы находят взамен другое применение для своей энергии. Но в эту борьбу они ее не вкладывают. Терпимость же только тогда приобретает черты величия и становится героизмом, когда она остается верной себе даже в самом разгаре борьбы партий. А в наши дни и в современной Европе она свидетельствует чаще всего лишь о равнодушии, отсутствии веры, отсутствии жизненной силы. Англичане, по-своему перефразируя Вольтера, охотно хвастают тем, что «различие верований породило в Англии большую терпимость», чем Революция во Франции. Но во Франции, с ее Революцией, больше веры, чем в Англии со всеми ее верованиями.

Из этого железного круга воинствующего идеализма и боев за Разум Оливье, подобно Вергилию, ведущему Данте, вывел Кристофа за руку на вершину горы, где пребывала в спокойном безмолвии горсточка избранников — подлинно свободных французов.

И не было на свете людей более свободных, чем они. Их спокойствие — это спокойствие птицы, парящей в неподвижном небе. На этих высотах воздух был так чист, так разрежен, что Кристоф едва мог дышать. Там были художники, утверждавшие безграничную свободу мечты, — яростные субъективисты, презиравшие, как Флобер, «тупых скотов, верящих в реальность предметов»; мыслители, чья изменчивая и многообразная мысль, уподобляясь бесконечному потоку вещей, находящихся в движении, «текла и стремилась все дальше», нигде не закрепляясь, нигде не наталкиваясь на твердую почву, на скалу, «отображая не все сущее, а все преходящее», — как говорил Монтень, — «вечно *преходящее*, изо дня в день, из минуты в минуту»; там были ученые, познавшие ту вселенскую пустоту и то небытие, в котором человек сотворил свою мысль, своего бога, свое искусство, свою науку, и продолжавшие творить мир и его законы, эту гигантскую мечту-однодневку. Они не требовали от науки ни вдохновения, ни счастья, ни даже

истины, ибо сомневались в возможности обрести ее; они любили науку ради нее самой, оттого что она была прекрасна, — только она и была прекрасна и только она была реальна. На вершинах мысли стояли они, эти ученые, эти страстные последователи Пиррона¹, равнодушные к страданиям и разочарованию, чуть ли не к самой действительности, и прислушивались, закрыв глаза, к безмолвному концерту душ, к сокровенной и величественной гармонии форм и чисел; эти прославленные математики, эти вольнолюбивые философы и вместе с тем самые суровые и позитивные умы находились на грани мистического экстаза; они исследовали вокруг себя пустоту; повиснув над бездной, они опьянялись ее головокружительной глубиной и, упоенные, ликуя, озаряли беспредельную ночь вспышками своей мысли, подобной молнии.

Кристоф, склонившись рядом с ними, тоже пытался заглянуть в бездну, и голова у него кружилась. Он, считавший себя свободным, потому что вышел из-под власти всякого закона, кроме закона своей совести, теперь видел, оторопев, свое ничтожество рядом с этими французами, свободными даже от бесспорных законов разума, от всякого категорического императива, от всякого целеустремленного понимания жизни. Так ради чего же они жили?

— Ради радости быть свободными, — отвечал Оливье.

Но Кристоф, терявший в этой свободе все точки опоры, начинал даже скучать о могучем духе дисциплины, о присущей немцам авторитарности; и он говорил:

— Ваша радость — самообман, греза, приснившаяся курильщику опума. Вы опьяняетесь свободой, вы забываете о жизни. Абсолютная свобода для разума — безумие, для государства — анархия... Свобода! А кто свободен в этом мире? Кто свободен в вашей республике? Негодяи. Вас же, лучших, вас душат. Вам остается только мечтать. Но скоро вы даже мечтать не сможете.

— Пусть! — отвечал Оливье. — Тебе не понять, мой бедный Кристоф, того блаженства, которое дает свобода. Ради него стоит рискнуть всем, пойти на муки, даже на

¹ П и р р о н — древнегреческий философ (IV век до н. э.), основатель школы скептицизма. — *Прим. ред.*

смерть. Быть свободным и чувствовать, что все человеческие существа вокруг тебя свободны духом, — да, даже негодяи! Это невыразимое наслаждение; кажется, будто душа парит в бесконечном просторе. И в иной среде она уже не могла бы жить. На что мне безопасность, которую ты мне сулишь, на что твой строгий порядок и безукоризненная дисциплина в четырех стенах твоей императорской казармы? Да я там умру, задохнусь. Воздуху! Все больше воздуху, все больше свободы!

— Для жизни законы необходимы, — возражал Кристоф. — Рано или поздно приходит хозяин.

Но Оливье насмешливо напомнил Кристофу слова старика Пьера д'Этуалля:

Столь же мало во власти
Всех сил земных
Лишить французов свободы слова,
Как запрятать солнце
В какую-нибудь
Яму.

И мало-помалу Кристоф привыкал к воздуху беспредельной свободы. С вершин французской мысли, на которых грезят те, чей дух стал светом, смотрел он на горные склоны, где героические избранники борются за живую веру, какова бы она ни была, и неутомимо рвутся вперед, ввысь, — те, кто ведет священную войну против невежества, болезней, нищеты; те, кого сжигает лихорадка изобретательства, кто охвачен разумным бредом современных Икаров и Прометеев, овладевающих световыми лучами, исследующих воздушные дороги и ведущих гигантское наступление науки на природу, которую они покоряют; немного ниже — кучка мужчин и женщин доброй воли, молчаливых, честных и смиренных, которые ценою бесконечных усилий поднялись до половины горы, но идти выше уже не могут, прикованные к своей убогой и трудной жизни и сгорающие втайне на огне своих никому неведомых жертв; еще ниже, у самой подошвы, в узких ущельях между крутыми склонами кипел непрерывный бой, — это фанатики абстрактных идей и слепых инстинктов яростно сражались друг с другом, не подо-

зревая о том, что над скалами, обступившими их стеной, есть еще нечто более высокое; а совсем внизу была трясина и скоты, валявшиеся в собственном навозе. И всюду — тут и там — по склонам горы были разбросаны свежие цветы искусства, благоухающие ягодники музыки, слышалось пение ручьев и птиц-поэтов.

И Кристоф спросил Оливье:

— А где же ваш народ? Я вижу только избранников, полезных или вредных.

Оливье отвечал:

— Народ? Он возделывает свой сад. Ему нет дела до нас. Каждая группа избранных старается перетянуть его к себе. А ему на всех наплевать. Сначала он еще слушал, просто забавы ради, зазывания политических скоморохов. Теперь он ради них и пальцем не двинет. Несколько миллионов людей даже не используют своих избирательных прав. Пусть партии грызутся между собой, народу от этого ни тепло, ни холодно, — только бы не потоптали в драке его поля. В таком случае он начинает колотить и правых и левых, не разбирая партий; сам по себе он не действует, а лишь противодействует, когда уж слишком мешают его работе и его отдыху. И кто бы ни управлял им — короли, императоры, республики, священники, франкмасоны, социалисты — единственное, чего народ от них хочет, — это чтобы они защищали его от великих, всенародных бедствий: войны, беспорядков, эпидемий, а что до остального, то лишь бы ему не препятствовали мирно возделывать свой сад. В глубине души он думает:

«И когда только эти скоты оставят меня в покое!»

Но эти скоты настолько глупы, что они будут до тех пор приставать к простому человеку, пока он, наконец, не схватит вилы и не отшвырнет их прочь, — так он в один прекрасный день и поступит с нашими парламентариями.

Когда-то в прошлом он пылал жадной великих дел; быть может, запыхается опять, хотя он давно уже перебесился; во всяком случае пыл народа недолговечен: народ быстро возвращается к своей извечной подруге — земле. Это она привязывает французов к Франции, да и не только французов. Столько разнообразных наро-

дов бок о бок трудятся уже много веков на этой честной земле, что она объединяет их; она — их великая любовь. И в счастье и в несчастье они неустанно возделывают ее; и все в ней мило им, даже самый маленький клочок.

Кристоф смотрел вокруг: вдоль дороги, насколько хватало глаз, по краям болот, на скалах, на бывших полях сражений, среди развалин, оставшихся после военных действий, все было возделано — здесь раскинулся большой сад европейской цивилизации. Его несравненное очарование зависело столько же от щедрости плодородной почвы, сколько и от упорных усилий неутомимого народа, который в течение долгих веков не устал ее рыхлить, засеивать и обрабатывать.

Удивительный народ! Все обвиняют его в непостоянстве, а в нем ничто не меняется. Искушенный взгляд Оливье находил в готической скульптуре все типы современных жителей французской провинции; так же как в карандашных рисунках Клуэ и Дюмустье — усталые насмешливые лица представителей высшего общества и интеллигенции; а на картинах братьев Ленен — смывшиеся и ясные глаза рабочих из Иль-де-Франса и Пикардии. В умах современников продолжали жить мысли прошлого. Дух Паскаля оживал не только в среде рационалистической и религиозной интеллигенции, но и у безвестных буржуа, у синдикалистов-революционеров. Для народа искусство Расина и Корнеля оставалось живым, и парижский мелкий чиновник чувствовал, что какая-нибудь трагедия времен Людовика XIV ему понятнее, чем роман Толстого или драма Ибсена. Средневековые песни и французский «Тристан» были ближе современным французам, чем «Тристан» вагнеровский. Цветы мысли, которые с XII века не переставали распускаться в садах Франции, несмотря на все свое разнообразие, состоят между собой в тесном родстве, и каждый из этих цветков резко отличается от того, что лежит за пределами сада.

Кристоф слишком мало знал Францию, чтобы уловить неизменность ее основных черт, но что больше всего поражало его в ярком французском пейзаже — это крайняя раздробленность земельных богатств. У

каждого, как говорил Оливье, имелся свой садик; каждый клочок почвы был отделен от остальных стенами, живыми изгородями и всякого рода оградами. Только изредка попадался общественный луг или рощица, да жители одного берега реки были по необходимости теснее связаны друг с другом, чем с жителями другого берега. Каждый замыкался в своем углу; и этот ревнивый индивидуализм, вместо того чтобы ослабевать после веков, прожитых бок о бок с соседями, казалось, стал теперь еще сильнее, чем когда-либо. И Кристоф говорил себе:

«Как же они одиноки!»

Трудно было найти более характерный пример, чем дом, в котором жили Кристоф и Оливье. Это был целый замкнутый мирок — Франция в миниатюре, честная и трудолюбивая. Но среди разнообразного населения этого уголка не было решительно никакой связи. Дом был пятиэтажный, дряхлый и покривившийся; скрипучие полы, источенные червями потолки. Крыша над Кристофом и Оливье — они жили на верхнем этаже — протекала, и пришлось нанять кровельщиков, чтобы хоть как-нибудь залатать ее. Кристоф слышал, как они работают у него над головой и разговаривают. Один особенно веселил и раздражал Кристофа. Он не смолкал ни на минуту: смеялся, пел, насвистывал всякий вздор, разговаривал сам с собой, и при этом продолжал работать; что бы он ни делал, он непременно должен был заявить об этом во всеуслышанье:

— Ну-ка, забьем еще гвоздик. Куда же это мой молоток делся? Забил один. Второй. Эх, саданем-ка! Так! Получай, бабка, вот!..

Когда Кристоф начинал играть на рояле, кровельщик на мгновенье смолкал, затем принимался насвистывать еще усерднее; а при особенно увлекательных пассажах отбивал такт, оглушительно ударяя по крыше молотком. Наконец, музыкант, выведенный из терпения, влез на стул и высунулся в окно мансарды, намереваясь хорошенько выругать беспокойного кровельщика. Но едва Кристоф увидел своего врага, сидевшего верхом на

коньке крыши, увидел его добродушное лицо, его оттопыренную щеку, набитый гвоздями рот, он вдруг расхохотался, и рабочий тоже. Забыв о своей досаде, Кристоф разговорился с ним. Тут он вспомнил о причине, заставившей его высунуться в окно.

— Да, кстати, — сказал он, — я хотел спросить, может быть моя музыка мешает вам?

Кровельщик заверил его, что нет, ничуть, но попросил, нельзя ли играть что-нибудь более быстрое — ведь он старается подладиться к музыке, а замедлять свою работу не может. Они расстались друзьями, и за эти четверть часа Кристоф наговорил с ним больше, чем за целых полгода со всеми обитателями дома вместе взятыми.

На каждом этаже было по две квартиры: одна — из трех и одна всего из двух комнат. Комнат для прислуги не полагалось: каждая семья сама себя обслуживала, кроме жильцов первого и второго этажей, занимавших по две спаренные квартиры.

Соседом Кристофа и Оливье, живших на шестом этаже, был аббат Корнель, священник лет около сорока, очень образованный, всельнодумец, человек широкого ума, бывший преподаватель экзегетики в большой семинарии, недавно отстраненный Римом от своих обязанностей за слишком современный образ мыслей. Он принял эту кару, но не смирился, затаил протест в глубине души, не пытаясь бороться, отказываясь от предоставленной ему возможности публично изложить свои взгляды, боясь излишнего шума и предпочитая крушение своих идей атмосфере скандала. Кристоф никак не мог понять этот тип смирившегося бунтовщика и не раз пытался беседовать с ним; аббат очень вежливо, но холодно выслушивал его, не упоминая ни словом о том, что больше всего его занимало, и, видимо, считал более достойным живо похоронить себя.

На пятом, в такой же квартире, как и та, которую занимали друзья, проживало семейство Эли Эльсберже — инженер, его жена и две дочки семи и десяти лет, люди воспитанные, симпатичные; но жизнь они вели крайне замкнутую — главным образом из ложного

стыда за свое стесненное положение. Молодая женщина мужественно посвятила себя хозяйству, хоть и считала, что это унижает ее; она согласилась бы работать вдвое, только бы никто ничего не знал, — еще одна черта французского характера, которую Кристоф отказывался понимать. Эльсберже были протестанты, с востока Франции. Несколько лет назад обоих захватила буря, поднятая делом Дрейфуса; они защищали его со страстью, подобно миллионам французов, которых семь лет трепал ветер этой священной истерики. Эльсберже пожертвовали для него своим отдыхом, положением, связями; ради него они порвали дорогие им отношения с людьми, едва не погубили свое здоровье. В течение долгих месяцев не спали по ночам, потеряли аппетит, возвращались с почти маниакальным упорством все к тем же доказательствам, подстрекали друг друга; несмотря на свою застенчивость и страх оказаться смешными, участвовали в манифестациях, выступали на митингах. И возвращались оттуда с распаленным воображением и больной душой, а ночью вместе плакали. Они вложили в эту борьбу столько энтузиазма и страсти, что когда, наконец, пришла победа, у них уже не хватило сил для радости; растратив энергию, они так и остались на всю жизнь разбитыми, опустошенными.

И так возвышенны были их надежды, так чист огонь жертвы, что реальная победа казалась просто смехотворной, в сравнении с тем, о чем они мечтали.

У таких цельных натур, какими были супруги Эльсберже, натур, способных вместить только одну истину, всевозможные ухищрения и политические компромиссы их героев не могли не вызвать горького разочарования. Они оказались свидетелями того, как их соратники — люди, которых они считали воодушевленными такой же всепоглощающей жаждой справедливости, — едва враг был разбит, накинулись на добычу, захватили власть, места и почести и сами начали попираť ногами справедливость. Каждому свой черед... Осталась лишь горсточка единомышленников, не изменивших своим убеждениям: они были бедны, одиноки, отвергнуты всеми партиями, и сами, в свою очередь, отвергли их все. Они держались

в тени, сторонясь друг друга, уже ни на что не надеясь, снедаемые печалью и неврастением, охваченные отвращением к людям, придавленные тоской, уставшие от жизни. К числу этих побежденных относились и инженер с женой.

Они жили в доме беззвучно, как мыши, ибо ими владел почти болезненный страх побеспокоить соседей, хотя их самих очень беспокоили. Эльсберже из гордости не жаловались. Кристофу было очень жаль обеих девочек, чья потребность повеселиться, покричать, попрыгать, посмеяться то и дело подавлялась. Он обожал детей и, встречаясь на лестнице со своими маленькими соседками, старался приласкать их. Девочки вначале робели, но скоро привыкли к Кристофу, у которого всегда для них был в запасе смешной рассказ или какое-нибудь лакомство; они рассказывали про него отцу с матерью, и родители, сначала смотревшие косо на его любезность, постепенно поддались искренности и сердечности своего шумливого соседа, которого столько раз бранили за его игру на рояле и за несносную беготню у них над головой (Кристоф, задыхавшийся в своей комнатухе, метался по ней, как зверь в клетке). В разговоры они вступали нелегко. Грубоватые манеры Кристофа не раз вызывали возмущение Эли Эльсберже. Но инженер тщетно пытался остаться за той стеной сдержанности, которую он оградил себя от людей: устоять перед неистощимым добродушием этого человека, когда он смотрел на Эльсберже своим честным и добрым взглядом, было просто невозможно, и Кристофу время от времени удавалось вызвать соседа на откровенность. Эльсберже обладал своеобразным душевным складом — это был человек мужественный и вместе с тем апатичный, меланхолический и смиренный. У него хватало сил на то, чтобы с достоинством нести бремя своей трудной жизни, но не на то, чтобы ее изменить. Казалось, он даже был благодарен жизни, находя в ней оправдание для своего пессимизма. Незадолго перед тем ему предложили выгодное место в Бразилии — взять на себя руководство одним предприятием, но он отказался из-за климата, боясь подвергнуть риску здоровье семьи.

— Ну что ж, оставьте их здесь, — сказал Кристоф. — Поезжайте один и заработайте для них состояние.

— Оставить их здесь? — воскликнул инженер. — Сразу видно, что у вас нет детей.

— Уверяю вас, если бы они и были, я рассуждал бы именно так.

— Ни за что! Ни за что! И потом — уехать из Франции! Нет! Уж лучше страдать здесь.

Кристоф находил довольно странной такую манеру любить свою родину и свою семью, состоящую в том, чтобы вместе влачить жалкое существование. Но Оливье понимал инженера.

— Подумай, — говорил он, — ведь Эльсберже может умереть там, на чужой земле, где его никто не знает, вдали от тех, кто ему дорог! Все лучше, чем такой ужас! А потом, ради нескольких лет, которые людям суждено прожить, стоит ли идти на такую ломку?

— Зачем постоянно думать о смерти? — отвечал Кристоф, пожимая плечами. — И если даже это случится, то разве не лучше умереть, борясь за счастье тех, кого любишь, чем так и угаснуть в равнодушном бессилии?

Против них, тоже на пятом этаже, снимал маленькую квартирку рабочий-электротехник по фамилии Обер. Но если и Обер держался в стороне от всех остальных обитателей дома, то здесь была не только его вина. Этот человек, вышедший из народных низов, страстно желал никогда больше не возвращаться в прежнюю среду. Обер был щуплый, болезненный, с упрямым лбом, резкой чертой бровей и живыми пристальными глазами, взгляд которых вонзался, как бурав; у него были белокурые усы, насмешливый рот и глуховатый голос со свистящими хрипами, шея, вечно обмотанная шарфом, постоянный кашель, который еще усиливался от пристрастия к курению, лихорадочная подвижность — словом, темперамент чахоточного. Смесью презрения, иронии и горечи он прикрывал душу восторженную, пылкую и наивную, которую постоянно обманывала жизнь. Незаконный сын какого-то буржуа, которого он

не знал, воспитанный матерью, не имевшей никаких данных, чтобы заслужить его уважение, Обер видел в раннем детстве немало горя и грязи. Он сменил множество профессий, извездил всю Францию. Благодаря неутолимой жажде знаний, он ценою невероятных усилий стал образованным человеком, но был этим обязан только себе; читал решительно все — историю, философию, декадентских поэтов; был в курсе всего: посещал театры, выставки, концерты. Он прямо-таки трогательно восхищался буржуазной литературой и буржуазными идеями, имевшими для него неодолимую притягательную силу. Он был весь пропитан той туманной и обжигающей идеологией, которая, как бред, владела буржуазией первых лет Революции. Обер твердо верил в непогрешимость разума, в бесконечный прогресс — *quo pop assepdam?*¹ — в грядущее счастье на земле, верил и в могущество науки, верил в человечество, как в божество, и в величие Франции — старшей дочери этого человечества. Он был восторженным и легковерным антиклерикалом, всякую религию — особенно католицизм — считал мракобесием и видел в каждом священнике истинного врага просвещения. Социализм, индивидуализм, шовинизм — все перемешалось у него в голове. По своим взглядам этот самоучка был гуманист, по темпераменту — деспот, а по сути дела — анархист. Будучи человеком гордым и зная недочеты своего образования, он держался очень осторожно, прислушивался к тому, что говорят другие, но советов не спрашивал: это казалось ему унижительным. Все же, несмотря на его находчивость и сообразительность, эти качества не могли вполне заменить ему образование. Он возомнил себя писателем. Как и многие недоучившиеся французы, он обладал врожденным стилем и наблюдательностью, но в мыслях у него царил путаница. Он показал кое-что из своих писаний очень известному журналисту, в которого верил, а тот поднял его на смех. Глубоко уязвленный, Обер с тех пор уже ни с кем не говорил о своих произведениях. Но писать не бросил: у него была потребность изливаться вовне, и это давало ему горделивую радость.

¹ куда только я не взберусь (лат.).

Сам он был весьма доволен своими витиеватыми рассуждениями и философским полетом мысли, которым была грош цена, и ни во что не ставил свои превосходные наблюдения над действительной жизнью. Он вообразил себя философом и непременно желал сочинять драмы с социальным содержанием и идейные романы, смаху решал самые неразрешимые вопросы и на каждом шагу открывал Америки. Убедившись, что они уже давно открыты, он испытывал разочарование, даже горечь, готовый, кажется, и тут усмотреть интригу. Его сжигала любовь к славе и жажда самопожертвования, и он страдал от невозможности найти применение своим силам. Обер хотел бы быть знаменитым писателем, принадлежать к Олимпу бумагомарателей, которые представлялись ему облеченными каким-то божественным престижем. Но, невзирая на склонность к самособольщению, он обладал умом настолько трезвым и насмешливым, что не мог не понимать, как мало у него шансов подняться выше. И все-таки ему хотелось хотя бы жить в атмосфере буржуазной мысли и искусства, которая издали казалась такой лучезарной. Это желание, само по себе невинное, приводило, однако, к тому, что он тяготился людьми, в среде которых был вынужден жить. А так как буржуазное общество, с которым он мечтал сблизиться, запирало перед ним двери, он ни с кем не общался. Поэтому Кристофу не стоило никакого труда завязать с ним знакомство. Напротив, ему очень скоро пришлось ограждать себя от вторжений Обера, иначе тот зачастил бы к нему: он был слишком счастлив, найдя, наконец, себе друга-художника, с которым интересно было поговорить о музыке, театре и т. п. Интерес этот, разумеется, не был взаимным, — с человеком из народа Кристоф предпочел бы говорить о народе. А Обер этого не хотел, да он уже давно и забыл, что такое народ.

Чем ниже этажом, тем отношения между Кристофом и проживавшими там людьми становились, по вполне понятным причинам, все более отдаленными. Впрочем, надо было, вероятно, знать какую-то особую магическую формулу, какой-то «Сезам, отворись», чтобы проникнуть к обитателям четвертого этажа. По одну сторону площадки

жили две дамы, точно застывшие в каком-то уже давнем трауре: г-жа Жермен, тридцатипятилетняя женщина, потерявшая мужа и дочку и жившая в глубоком уединении, и ее свекровь, набожная старуха. Против них обитала загадочная личность, мужчина неопределенного возраста — между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами — с девчуркой лет десяти. Он был лыс, носил пышную холеную бороду, говорил вкрадчиво, обладал изысканными манерами и аристократическими руками. Его фамилия была Ватлэ. Его считали анархистом, революционером, иностранцем, но неведомо какой национальности — может быть, русским, может быть, бельгийцем. На самом деле он происходил из северной Франции и едва ли был теперь революционером, хотя жил за счет своей былой репутации. Участник Коммуны 71 года, приговоренный к смерти, он сам хорошенько не знал, как уцелел; лет десять он скитался по Европе. Ему пришлось быть свидетелем стольких мерзостей — и во время парижского шквала, и после, и в изгнании, и даже по возвращении на родину, — как со стороны бывлых товарищей, снова примирившихся с режимом, так и со стороны представителей всех революционных партий, что он отошел от них и мирно хранил про себя свои убеждения, незапятнанные и бесполезные. Он много читал, пописывал осторожные, чуть крамольные книги, держал в своих руках (так по крайней мере утверждали) нити анархистских движений где-то очень далеко — не то в Индии, не то на Дальнем Востоке, — интересовался всемирной революцией и вместе с тем — столь же всемирными, но более безобидными вопросами: о всемирном языке, о новом общедоступном методе преподавания музыки. Он не поддерживал знакомства ни с кем из жильцов, ограничиваясь при встречах изысканно вежливым поклоном. Все же он снизошел до Кристофа и в нескольких словах поделился с ним основами своего метода преподавания музыки. Но как раз это меньше всего интересовало Кристофа. Ему было все равно, какими условными знаками тот выражает свои мысли; он сумел бы выразить их на любом языке. Однако Ватлэ настойчиво, с кротким упрямством продолжал объяснять свою систему, а об остальной его жизни Кристофу так ничего и не удалось узнать.

Поэтому, встречаясь с ним на лестнице, музыкант задерживался только, чтобы посмотреть на девчурку, неизменно сопровождавшую его: это была голубоглазая блондиночка, бледненькая и малокровная, с хрупким тельцем, тонким суховатым профилем и болезненным, не очень выразительным личиком. Кристоф считал, как все, что она родная дочь Ватлэ. Но она была сиротой, дочерью рабочего. Ватлэ удочерил ее, когда ей было четыре-пять лет, после того как ее родители умерли во время эпидемии. Он испытывал почти беспредельную любовь к бедным, особенно к детям бедняков. Эта нежность носила у него какой-то мистический оттенок, в духе Венсена де Поля¹, но так как Ватлэ относился с недоверием ко всякой официальной благотворительности и знал цену филантропическим обществам, он творил милостыню в одиночестве; он скрывал это ото всех, обретая в этом тайную радость. Чтобы стать людям полезным, он изучил медицину. Однажды, войдя к жившему поблизости рабочему, он нашел там больных и принялся их лечить. Он имел кое-какие медицинские познания и решил пополнить их. Ватлэ просто не мог видеть страдающего ребенка; сердце у него разрывалось на части. Но зато какая ни с чем не сравнимая радость охватывала его, когда удавалось вырвать из когтей болезни одно из этих бедных маленьких созданий, когда на худеньком личике опять появлялась слабая улыбка! Ватлэ таял от счастья. Это были поистине райские минуты. Он забывал тогда обо всех неприятностях, которые обычно причиняли те, кто был ему обязан. Благодарными они бывали редко. Привратница просто бесилась оттого, что по ее лестнице ходит столько людей и натаскивает грязь, и с раздражением жаловалась на него. Домовладелец, обеспокоенный этими собраниями анархистов, стал наблюдать за жильцом. Ватлэ уже подумывал о том, чтобы переменить квартиру, но никак не мог на это решиться: у него были свои безобидные чудачества; мягкий и упрямый, он равнодушно относился к злословию соседей.

¹ Венсен де Поль (1576—1660) — французский религиозный деятель, основатель ряда благотворительных учреждений. — *Прим. ред.*

Своей любовью к детям Кристофу до известной степени удалось завоевать его доверие. Нашлась точка соприкосновения. Когда Кристоф видел девчурку Ватлэ, его сердце неизменно сжималось: благодаря какому-то необъяснимому сходству, которое он уловил инстинктивно, бессознательно, девочка напомнила ему дочку Сабинны — той его первой, далекой любви, той воздушной тени, чья безмолвная прелесть неизгладимо запечатлелась в его душе. И потому он интересовался этой бледнушкой, которая никогда не прыгала, не бегала, — ее не было слышно; она жила без единой подружки-сверстницы, всегда одна, молча играла только в бесшумные, сидячие игры — с куклой или с деревяшкой, едва шевеля губами и шепотом рассказывая себе разные истории. Она была ласкова и вместе с тем равнодушна; в ней чувствовалась какая-то странная и непонятная отчужденность, но приемный отец не видел этого: он любил ее. Увы, эту отчужденность, эту непонятность не ощущаем ли мы всегда, даже в наших собственных детях, нашей плоти и крови?

Кристоф попытался познакомить маленькую отшельницу с девочками инженера. Однако и со стороны Эльсберже, и со стороны Ватлэ он наткнулся на решительный отпор — вежливый, но категорический. Казалось, что для каждого из этих людей — похоронить себя заживо, в своем одиноком углу — вопрос чести. В случае крайней нужды каждый из них, вероятно, и согласился бы помочь другому, но каждый боялся, как бы не подумали, что именно он-то и нуждается в помощи; и так как обе стороны были одинаково самолюбивы — и в одинаково стесненных обстоятельствах, — то не оставалось надежды на то, что один из них, наконец, решится протянуть руку другому.

Большая квартира на третьем обычно пустовала. Домовладелец оставил ее для себя, однако почти здесь не жил. Некогда он был коммерсантом, но ушел от дел, как только накопленное им состояние достигло суммы, которую он себе наметил. Большую часть года он проводил вне Парижа: зиму — в отеле на Лазурном берегу; лето — на Нормандском пляже, и жил жизнью

мелкого рантье, который за небольшие деньги создает себе иллюзию роскоши, созерцая роскошь других, и ведет, как и они, бесполезное существование.

Маленькую квартиру снимала бездетная пара: г-н и г-жа Арно. Муж, лет сорока — сорока пяти, был преподавателем в лицее. Замученный уроками, исправлением тетрадей и занятиями с отстающими учениками, он так и не удосужился написать диссертацию и кончил тем, что отказался от мысли о ней. Жена, десятью годами моложе его, была миловидна и чрезвычайно застенчива. И муж и жена обладали умом, образованием и любили друг друга, но они не имели никаких знакомств и никогда нигде не бывали. У мужа совсем не оставалось свободного времени; у жены его было с избытком, но эта маленькая женщина честно и мужественно боролась с приступами меланхолии и, главное, умело скрывала их, стараясь развлечь себя всеми доступными для нее средствами: читала, сама делала выписки для мужа, систематизировала его выписки, чинила его одежду, мастерила себе платья и шляпки. Она с удовольствием бывала бы время от времени в театре, но самого Арно никуда не тянуло: к вечеру он слишком уставал. И жена смирялась.

Их величайшей радостью была музыка. Они обожали ее. Он не умел играть, а она, хоть и умела, однако была слишком застенчива, и, когда ей приходилось играть при ком-нибудь, даже при муже, казалось, что клавиши перебирает ребенок. Но и этого им было достаточно: Глюк, Моцарт, Бетховен — произведения которых под ее пальцами звучали, как лепет, были их близкими друзьями; оба они знали жизнь своих любимцев во всех подробностях, и страдания великих композиторов вызывали в сердцах супругов Арно горячую любовь и жалость. Счастье давали им и книги — хорошие книги, которые они читали вместе. Но в современной литературе так мало хороших книг: писателям нет дела до тех, кто не может дать им ни славы, ни наслаждений, ни денег, — вернее, нет дела до скромных читателей, ведь они никогда не бывают в высшем обществе, нигде не пишут и умеют только любить и молчать. Этого безмолвного сияния

искусства, которое в честной и благоговейно внимавшей душе супругов Арно светилось почти неземным светом, и любви друг к другу было достаточно, чтобы они жили в мире, счастливые, хотя и немного печальные (одно другого не исключает), очень одинокие и слегка ушибленные жизнью. Оба стояли гораздо выше той участи, которая выпала им в жизни. Голова г-на Арно была полна интересных мыслей, но у него не хватало времени, а теперь и смелости, чтобы изложить их на бумаге. Для опубликования статей и книг пришлось бы много хлопотать; игра не стоила свеч, — пустое тщеславие! Что он такое по сравнению с мыслителями, перед которыми он преклонялся! Он слишком любил искусство, чтобы взять на себя смелость «творить» самому! Такую претензию он считал бы смехотворной и дерзкой. Его удел, как он полагал, знакомить других с великими произведениями искусства. Так его идеи становились достоянием его учеников; когда-нибудь они напишут книги и в них разовьют эти идеи, разумеется даже не упомянув имени г-на Арно. Никто, кажется, не тратил столько денег на выпуск всевозможных изданий. Бедняки ведь щедрее всех — они покупают книги; богатые же считают для себя чуть ли не оскорблением, если им не удастся получить книгу даром. Арно разорялся на книги; они были его слабостью, его пороком. Он стыдился его и скрывал от жены, но она не упрекала мужа — на его месте она поступала бы так же. Они постоянно мечтали о сбережениях для путешествия в Италию, хотя отлично знали, что никогда туда не поедут, и смеялись над своей неспособностью копить деньги. Арно утешал себя: у него есть его дорогая жена и жизнь, полная труда и своих духовных радостей. А для нее разве этого недостаточно? И она отвечала: да. Она не осмеливалась сказать, что ей было бы приятно, если бы муж имел некоторую известность, отблеск которой упал бы и на нее, осветил бы и ее жизнь, внес бы в дом благосостояние; духовная радость, конечно, вещь прекрасная, но немного света извне — это тоже неплохо! Все же она не протестовала, ибо была робка; и потом она чувствовала, что если бы даже он стремился к известности, то вряд ли добился бы ее, да к тому же те-

перь и слишком поздно! Больше всего их огорчало, что у них нет детей. Они скрывали друг от друга свою печаль, и тем глубже была их нежность. Они словно просили друг у друга прощения. Г-жа Арно была доброй и ласковой, она охотно сблизилась бы с г-жой Эльсберже, но не решалась: та не шла ей навстречу. Что же касается Кристофа, то муж и жена с удовольствием познакомились бы с ним: он заворожил их своей музыкой, доносившейся к ним с пятого этажа. Тем не менее они ни за что на свете не сделали бы первого шага: нельзя же быть навязчивыми.

Весь второй этаж был занят г-ном и г-жой Феликс Вейль, богатыми бездетными евреями, проводившими полгода в окрестностях Парижа. Хотя они жили в этом доме уже двадцать лет (правда, только по привычке, ибо, конечно, могли бы найти квартиру, более соответствующую их состоянию), они казались здесь случайными, временными жильцами. Вейли ни разу не заговорили ни с кем из соседей, и об этой паре было известно не больше, чем в первый день их приезда, что, однако, не мешало людям судачить о них, — их не любили. Да они как будто и не старались вызвать любовь. Все же они заслуживали того, чтобы к ним пригляделись поближе: оба были превосходными людьми и притом выдающегося ума. Муж, уже шестидесятилетний старик, прославился своими раскопками в Средней Азии, — он занимался историей Ассирии; обладая широким кругозором и любознательностью, как это присуще большинству мыслителей его народа, он не ограничивался узкими рамками своей специальности, а интересовался также искусством, социальными вопросами, всеми явлениями современной мысли. Но ни одно из них не захватывало его целиком, ибо все было интересно и ничто не удовлетворяло. Он был очень умен, слишком умен, слишком свободен от всяких оков и всегда готов левой рукой разрушить то, что создал правой, а создавал он немало — большие труды и собственные теории; он был настоящим тружеником и в силу привычки и ради гигиены мышления продолжал терпеливо и основательно вспахивать свою ниву знаний, не веря, впро-

чем, в полезность того, что делает. Вейль имел несчастье всю жизнь быть богатым: ему так и не пришлось испытать, что такое борьба за существование; после своих исследований на Востоке, через несколько лет уже наскучивших ему, Вейль отказался вообще от всех официальных должностей. Однако, помимо изысканий, он с присущей ему прозорливостью занимался и злободневными проблемами, а также социальными реформами, имевшими непосредственное практическое значение, — как, например, реорганизация народного образования во Франции. Он любил выдвинуть новую идею, создать какое-нибудь течение; приводил в действие интеллектуальные механизмы и тотчас испытывал к ним отвращение. Сколько раз вызывал он негодование тех, кого сам побудил отстаивать какую-нибудь затею, а потом вдруг обрушивался на них с беспощадной и ядовитой критикой.

Делалось это не нарочно — такова была потребность его натуры; крайне нервный и насмешливый, он едва был в силах выносить все то нелепое в жизни и людях, что невольно подмечал со свойственной ему пронизательностью. И так как нет ни одного благого начинания и ни одного хорошего человека, в которых, если взглянуть на них с определенной точки зрения и через увеличительное стекло, не оказалось бы смешных сторон, то ирония Вейля не щадила никого. А таким путем друзей не наживешь. И все-таки он искренно желал делать людям добро и делал, но люди не очень-то ценили это добро: даже те, кто был обязан ему, в глубине души не могли простить, что оказались в его глазах смешными. Он мог любить людей, лишь когда не видел их слишком уж близко. Не потому, что был мизантропом. Для такой роли ему не хватало самонадеянности. Он робел перед этим миром, который высмеивал, и в глубине души не чувствовал уверенности, что прав он, а не этот мир; поэтому он старался не слишком выделяться среди остальных людей, заставляя себя подражать им и в своем поведении и во взглядах. Но тщетно: он не мог удержаться от критики, ибо слишком остро воспринимал всякое нарушение чувства меры, всякий недостаток простоты, и не умел скрывать своей досады. Особенно

был он чувствителен к смешным сторонам в характере евреев. Вейль слишком хорошо знал их. Невзирая на все свое свободомыслие, отрицавшее любые преграды между народами, ему все же нередко приходилось наталкиваться на барьер, воздвигнутый перед ним людьми других национальностей; и так как Вейль, не признававший таких барьеров, все же чувствовал себя чуждым христианскому мышлению, то, не теряя собственного достоинства, уходил в себя, довольствуясь иронией и действительно глубокой привязанностью к жене.

Хуже всего было то, что даже ее не щадила ирония Вейля. Это была добрая, энергичная женщина, жаждавшая быть полезной людям и отдававшая все свое время делам благотворительности. Натура гораздо менее сложная, чем муж, она как бы остановилась в своем развитии, не идя дальше того, что — при всей своей доброй воле — несколько рассудочно и узко считала своим высоким долгом; и вся ее жизнь, не слишком веселая, жизнь без детей, без большой радости и большой любви, опиралась на эту моральную веру, скорее на стремление верить. Муж не мог не чувствовать той доли самовнушения, которая крылась в этом, и, повинаясь непреодолимой потребности иронизировать, подшучивал над женой. Он весь состоял из противоречий: перед идеей нравственного долга он преклонялся, быть может, не меньше, чем жена, но вместе с тем испытывал непобедимое желание анализировать и критиковать, вечно опасаясь, что кто-то оставит его в дураках, а это вынуждало его топтать и крушить принятый и проверенный им «категорический императив». Муж не замечал, что вырывает почву из-под ног жены и самым жестоким образом лишает ее мужества. Когда он это чувствовал, то страдал даже сильнее ее; но зло было уже сделано. Тем не менее они продолжали преданно любить друг друга, работать и делать добро. Однако холодная чопорность жены отталкивала людей не меньше, чем насмешки мужа, и так как они были слишком горды, чтобы кричать о своих добрых делах, их сдержанность принималась за равнодушие, а замкнутость — за эгоизм. Но чем острее они чувствовали отношение к себе людей, тем меньше старались его изменить. Как бы в противовес бесцере-

монной навязчивости многих представителей их нации, они оказались жертвами чрезмерной сдержанности, под которой таилось немало гордыни.

Что касается первого этажа, откуда по нескольким ступенькам можно было спуститься в маленький садик, то там жил майор Шабран, отставной артиллерийский офицер колониальных войск. Этот еще не старый, крепкий человек участвовал в ряде блестящих кампаний в Судане и на Мадагаскаре; затем внезапно все послал к черту, засел в этом доме, объявил, что больше слышать не хочет об армии, и проводил целые дни, копаясь на своих клумбах; безуспешно учился играть на флейте, ворчал на политику и изводил дочь, которую обожал. Это была молодая женщина лет тридцати, не красавица, но очень миловидная, преданно любившая отца и не вышедшая замуж, только чтобы не расставаться с ним. Кристоф часто видел их обоих из окна. И — что вполне естественно — больше обращал внимания на дочь, чем на отца. Она же под вечер проводила по несколько часов в саду, шила, мечтала, возилась с цветами и была неизменно ласкова со своим ворчуним-отцом. До Кристофа доносился ее спокойный, звонкий голос, весело отвечавший отцу, говорившему обычно сердитым и повелительным тоном и без конца шагавшему по песку дорожек. Затем он возвращался домой, а она оставалась сидеть на садовой скамейке и шила в течение долгих часов, не меняя позы, не произнося ни слова, улыбаясь мечтательной улыбкой, в то время как бывший вояка упражнялся в комнатах на своей пискливой флейте или для разнообразия неловкими пальцами извлекал аккорды из расстроенной фисгармонии, вызывая у Кристофа то смех, то досаду (смотря по настроению).

Все эти люди жили бок о бок в доме, отрезанном от улицы садом, укрытые от жизненных бурь, отделенные даже друг от друга непроницаемыми перегородками. Только Кристоф, со своей потребностью общения и избытком жизненных сил, распространял на них всех, хотя и без их ведома, свою симпатию — слепую и прозорливую; Кристоф их не понимал, да и мог ли он их по-

нять? Ему недоставало той способности психологического проникновения, которой был наделен Оливье. Но он любил их; невольно ставил себя на их место, — и медленно, таинственно и неуклонно, как прилив, возникало в нем смутное понимание этих жизней — таких близких и вместе с тем таких далеких; тогда он чувствовал, как цепенела в своей скорби вдова, и постигал стоическую и гордую скрытность священника, еврея, инженера, анархиста; и бледное пламя кроткой нежности и веры, сжигавшее сердце обоих Арно; и простодушное стремление к знанию человека из народа; и затаенный бунт и бесполезную энергию майора, которые тот подавлял в себе; и покорное спокойствие девушки, грезившей в тени сирени. Но в эту безмолвную музыку душ способен был проникнуть только Кристоф; они сами ее не слышали — каждый был поглощен своей собственной печалью и своими грезами.

Впрочем, все они работали — и старый ученый скептик, и инженер-пессимист, и священник, и анархист, все эти гордецы и неудачники. А надо всем пел свою песнь каменщик.

И за стенами дома Кристоф замечал у лучших из людей то же моральное одиночество, даже когда они объединялись.

Оливье познакомил его с членами редакции маленького журнальчика, где сотрудничал сам. Журнальчик назывался «Эзоп» и взял себе в качестве девиза следующие строки Монтеня:

«Эзопа выставили для продажи вместе с двумя рабами. Покупщик спросил первого раба, что он умеет делать. И тот, желая похвалиться, наговорил с три короба; второй столько же, коли не больше. Когда дело дошло до Эзопы и его тоже спросили, что он умеет делать, то он отвечал: «Ничего, ибо эти двое все себе забрали; они все умеют».

Таков был презрительный ответ журнала на «бесстыдство», как выражался Монтень, тех, «кто всегда все знает и непомерно заносится». На самом деле скептики

из «Эзопа» обладали самой искренней верой, но публику эта маска иронии, конечно, не очень привлекала, — больше того, сбивала с толку. Народ идет лишь за тем, кто ему говорит о жизни простой, ясной, разумной и надежной. Пышущую здоровьем ложь он предпочитает художочной истине. Скептицизм приемлем для него лишь в том случае, если за ним скрывается либо природная сила, либо христианское идолопоклонство. Тот презрительный пирронизм, в который драпировался «Эзоп», мог быть понят лишь очень немногими *alme sdegnose*¹, уверенными в своей внутренней силе. Но для действия эта сила не годилась.

Впрочем, это их не тревожило. Чем Франция становилась демократичнее, тем, казалось, все более аристократичными становились ее мысль, ее искусство, ее наука. Наука, говорившая на своем особом языке, укрывшаяся в глубине своего святилища под тройным покрывалом, приподнять которое могли только посвященные, была куда менее доступна, чем в эпоху Бюффона и энциклопедистов. Искусство — по крайней мере то, которое уважало себя и служило прекрасному, — также было замкнутым: оно презирало народ. Даже среди писателей, для которых действие было важнее красоты, среди тех, для кого на первом плане стояли идеи нравственного порядка, а не эстетические, — даже среди них царил какой-то странный дух аристократизма. Казалось, им важнее сохранить в чистоте свой внутренний огонь, чем зажечь им других. Как будто главное — исповедание своих идей, а не их победа в жизни.

Все же среди них попадались люди, которых занимали проблемы народного искусства. Одни, из числа наиболее искренних, провозглашали в своих произведениях идеи анархические и разрушительные, истины, еще далекие и годные лишь для грядущего, быть может и благотворные через столетие или двадцать веков, но в настоящее время действовавшие на души, как огонь и ржавчина; другие писали пьесы, полные горечи, грусти или иронии, без всяких иллюзий. Кристоф, прочитав такую пьесу, обычно бывал дня на два выбит из колеи.

¹ гневными душами (итал.).

— И вы это показываете народу? — спрашивал он, охваченный жалостью к людям, приходившим в театр, чтобы хоть на несколько часов забыть о своих горестях, и вместо этого вынужденным развлекаться столь мрачными произведениями. — Ведь так можно совсем доко-
нать человека.

— Не беспокойся, — отвечал, смеясь, Оливье. — Народ туда не ходит.

— И очень умно делает, черт возьми! Вы просто сумасшедшие! Вы, что же, хотите лишить его последнего мужества, подорвать его волю к жизни?

— Почему же? Разве ему не следует, как и нам, научиться понимать, насколько жизнь печальна, и все-таки мужественно выполнять свой долг?

— Мужественно? Сомневаюсь. И уж во всяком случае удовольствия от этого он не получит. А если в человеке убить радость жизни, он далеко не уйдет.

— Но что же делать? Мы не вправе искажать истину.

— Однако нельзя и открывать ее всем до конца.

— И это говоришь ты? Но ты же сам не устаешь требовать истины, уверяешь, что любишь ее больше всего на свете!

— Да, я требую истины для себя и для тех, чьи плечи достаточно сильны, чтобы нести ее бремя. Но открывать ее другим глупо и жестоко. Теперь я это вижу со всей ясностью. В моей стране мне бы это никогда в голову не пришло; там, в Германии, люди не болеют, как здесь, жаждой истины: они слишком дорожат жизнью и предпочитают — из осторожности — видеть только то, что хотят видеть. Но я и люблю вас за то, что вы не такие: вы — смелые, вы играете в открытую. Но вы бесчеловечны. Когда вам кажется, что вы откопали какую-нибудь истину, вы выпускаете ее в мир, не заботясь о том, что она, подобно библейским лисицам с пылающими хвостами, может поджечь этот мир. Вы предпочитаете истину собственному счастью, и за это я вас уважаю. Но что касается счастья других — тут уж оставьте! Слишком много на себя берете. Истину нужно любить больше самого себя, но ближнего — больше истины.

— И поэтому ему нужно лгать?

Кристоф ответил словами Гёте:

«Среди самых высоких истин мы имеем право высказывать только те, которые могут послужить ко благу человечества. Остальные мы должны хранить в себе; подобные мягким отблескам незримого солнца, они будут озарять своим светом все наши поступки».

Однако такого рода щепетильность была чужда французским писателям. Они не спрашивали себя, посылает ли тот лук, который они натянули, стрелу «идеи» или «смерти», или и то и другое вместе. Им недоставало любви. Если у француза появляются идеи, он жаждет навязать их всем, он жаждет этого и в том случае, когда идей вовсе нет. Если же он убедится, что это не в его силах, то он отходит в сторону. Вот почему эти сливки интеллигенции так мало интересовались политикой. Каждый замыкался в своей вере или в своем неверии.

Немало было сделано попыток бороться с этим индивидуализмом и создавать какие-то группировки, но большинство подобных объединений тут же превращалось в литературные говорильни или переходило в нелепую кружковщину. И лучшие из них разносили друг друга в клочья. В этой среде были личности выдающиеся, полные силы и веры, прямо предназначенные для того, чтобы объединить и направить людей досброй, но слабой воли. Однако у каждого имелось свое стадо, и он не соглашался, чтобы оно растворилось в общем стаде. Так существовала эта небольшая горсточка журнальчиков, союзов, обществ, имевших решительно все нравственные добродетели, кроме одной: способности к самоотречению, ибо ни одно из этих объединений не желало ничем поступиться ради другого; и, оспаривая таким образом друг у друга крохи внимания, уделяемые им честными читателями — весьма немногочисленными и еще менее удачливыми, — они некоторое время кое-как существовали — худосочные, голодные; затем распадались, чтобы уже не воскреснуть. И притом не от ударов врага, а, что обиднее всего, от ударов, наносимых своими же со-

братьями. Представители всех этих разнообразных профессий — литераторы, драматурги, поэты, прозаики, педагоги, журналисты — образовали множество мелких каст, делившихся, в свою очередь, на еще более мелкие, причем доступ членам одной касты в другую был закрыт. Никакого общения. Во Франции ни по одному вопросу не существовало единодушия, за исключением редких случаев, когда это единодушие принимало эпидемический характер, но тогда охваченные им люди обычно совершали ошибки, ибо оно имело нездоровую основу. Во всех сферах деятельности господствовал индивидуализм — в области научных исследований не меньше, чем в торговле, где он не позволял коммерсантам объединяться и создавать предпринимательские организации. Этот индивидуализм не бросался в глаза, не переливался через край, но он сидел в людях крепко и упорно. Каждый хотел быть сам по себе, не брать на себя обязательств, не смешиваться с другими — из страха перед их возможным превосходством, — не нарушать покоя своего горделивого одиночества; таковы были тайные побуждения почти всех этих людей, основывавших «особые» журналы, «особые» театры, «особые» группы; чаще всего подобные театры, журналы и группы возникали единственно потому, что люди старались обособиться, не умели объединиться с другими в каком-либо деле или идее, не доверяли другим; или же это была вражда между партиями, натравливавшими друг на друга людей достойных, близких по образу мыслей.

Даже когда уважающие друг друга литераторы объединялись вокруг какого-нибудь общего начинания, подобного хотя бы «Эзопу», они, казалось, были все время настороже, им не хватало того неудержимого добродушия, которое столь часто встречается у немцев и становится подчас даже обременительным. В этой группе молодых людей один¹ особенно привлекал к себе Кристофа, так как музыкант чуял в нем исключительную силу; это был писатель, обладавший железной логикой, стойкой волей, всего себя отдававший служению высшей

¹ Шарль Пегги. — Р. Р.

морали, служению бескорыстному, и готовый пожертвовать во имя ее целым миром и самим собой; чтобы отстаивать свои взгляды, он создал журнал, причем почти все в этом журнале писалось им самим; он поклялся бороться за идею чистой, героической и свободной Франции, авторитет которой признали бы не только во Франции, но и во всей Европе. Он твердо верил, что настанет день, когда все поймут, что он вписал в историю французской мысли одну из ее самых смелых страниц; и он не ошибался. Кристофу очень хотелось узнать его поближе и сойтись с ним. Но как? Хотя Оливье постоянно приходилось иметь с ним дело, они встречались редко, и их разговоры никогда не принимали интимного характера; самое большее, если они обменивались иногда отвлеченными мыслями; вернее (для точности следует отметить, что никакого обмена не было, каждый оставался при своем), они произносили в присутствии друг друга монологи, каждый в отдельности. И все-таки были настоящими боевыми товарищами и знали себе цену.

Их сдержанность вызывалась многими причинами, разобраться в которых даже им самим было бы трудно. Прежде всего — чрезмерным критицизмом, который видит в слишком беспощадном свете непреодолимые различия между людьми с разным складом ума и чрезмерным интеллектуализмом, придающим слишком большое значение этим различиям. Может быть, здесь играл роль недостаток непосредственной, горячей симпатии, которая может возникнуть только из любви, только у того, кому любовь необходима, чтобы жить. Может быть, сказывалась также давящая тяжесть взятой на себя задачи, слишком трудная жизнь, лихорадочная работа мысли, после которой уже не хватает сил наслаждаться вечером дружеской беседой. Или, наконец, то ужасное чувство, в котором француз боится сознаться даже самому себе, на которое порой гремит в его душе, как отдаленный гром: *не все французы принадлежат к одной расе*; на одной и той же французской земле живут люди разных рас, разных национальностей, оставшихся от разных эпох, и хотя они объединены в один народ, они все же мыслят по-разному, и не следует, в общих интересах, даже желать единомыслия. А сверх всего этого — опьяняющая

и опасная страсть к свободе: раз вкусив ее, чем ради нее не пожертвуешь! Это одиночество свободного индивидуума тем более драгоценно, что куплено оно годами испытаний. Избранные искали его, чтобы избежать порабощения со стороны посредственности. Оно явилось реакцией на тиранию религиозных и политических блоков и гнет такого чудовищного пресса, как семья, как общественное мнение, как государство, тайные общества, партии, кружки, школы, которые во Франции придавливают личность. Представьте себе узника; чтобы освободиться, ему нужно одолеть одну за другой два десятка стен. Если он все-таки их одолеет, не сломав себе шеи, значит он действительно силен. Суровая школа для свободной воли! Но те, кто прошел через нее, на всю жизнь сохраняют в своем характере какую-то жесткость — они помешаны на независимости и неспособны слиться с другими людьми.

Помимо одиночества из гордости, существовало одиночество, вызванное отречением от жизни. Сколько во Франции отличных людей, которых доброта, любовь, чувство собственного достоинства заставляют удалиться от мира! Тысячи причин уважительных и неуважительных мешают им действовать. У одних — это покорность, робость, сила привычки. У других — уважение к человеческому достоинству, страх быть смешным, боязнь оказаться слишком на виду, стать жертвой осуждения черни, опасение, что самые бескорыстные поступки будут истолкованы как служение личным интересам. Один уклоняется от участия в политической и социальной борьбе, другая не участвует в делах благотворительности, ибо оба видят, что слишком многие занимаются этим без всякой совести и смысла, и опасаются, как бы их также не причислили к шарлатанам и глупцам. И почти во всех чувствуется усталость, боязнь действия, страданий, уродства, глупости, риска, ответственности и роковое «зачем», из-за которого в наши дни опускаются руки у стольких французов. Они слишком умны (причем это ум бескрылый), слишком отчетливо видят все «за» и «против». У них не хватает сил, не хватает жизни. Когда человек полон жизни, он не спрашивает, зачем ему жить, — он живет, оттого что жить — это замечательно!

Наконец, лучших удерживает от действия сочетание привлекательных и довольно распространенных черт: кроткая философия, умеренность желаний, любовь к семье, к родным местам, к определенным нравственным навыкам, деликатность, боязнь оказаться навязчивым, помешать, стыдливость чувств, постоянная сдержанность. Иногда все эти милые, симпатичные черты совмещаются даже с безмятежностью духа и мужеством; однако во всем этом сказывалось усиливающееся малокровие и постепенный упадок жизненных сил французской нации.

Прелестный садик, как бы расцветший на дне колодца и прилегавший к дому, где жили Кристоф и Оливье, мог бы служить символом этой особой маленькой Франции. Зеленый уголок, закрытый для внешнего мира. Только иногда носившийся на воле буйный ветер вихрем налетал на него сверху и приносил мечтавшей в нем девушке дыхание далеких полей и необъятных зеленых просторов.

Теперь, когда Кристоф начинал понимать, какие скрытые источники сил таит в себе Франция, его возмущало, что она позволяет всякому сброду угнетать себя. Кристоф задыхался в том сумраке, в котором жили эти избранные. Стоицизм хорош только для беззубых. Кристофу же необходим был вольный воздух, широкая аудитория, солнце славы, любовь миллионов, возможность обнять тех, кто ему дорог, обличать врагов, бороться и побеждать.

— Ты сильный, — сказал ему Оливье, — ты можешь, ты создан для того, чтобы побеждать даже при помощи твоих (извини меня) пороков, а не только добродетелей, и потом ты имеешь счастье принадлежать к народу, не страдающему избытком аристократизма. Действие тебе не претит. Ты способен — при необходимости — даже стать политическим деятелем! И тебе дано неоценимое счастье выражать свои мысли в музыке. Тебя не понимают. Поэтому ты можешь все им говорить. Если бы люди знали, сколько презрения к ним в твоей музыке, сколько веры в то, что они отрицают, и слышали бы

этот несмолкающий гимн в честь того, что они всячески стараются убить, они бы тебе не простили; они подвергли бы тебя такой травле, таким преследованиям, что ты растратил бы свои лучшие силы на борьбу с ними; и как бы ты ни был прав, тебя бы уже не хватило на то, чтобы выполнить свое назначение: твоя жизнь была бы кончена. Торжество великих людей — обычно плод недоразумения: их принимают за нечто как раз обратное тому, что они есть на самом деле, и поэтому ими восхищаются.

— Ну, еще бы! — пробурчал Кристоф. — Вы не знаете, насколько трусливы ваши хозяева. Я сначала считал, что ты одинок, и извинял твою пассивность. А оказывается, вас целая армия единомышленников. Да вы во сто крат сильнее ваших угнетателей, им грош цена по сравнению с вами, как же вы позволяете всяким наглецам командовать собой! Я отказываюсь понимать вас! У вас самая лучшая страна, самая лучшая интеллигенция, самое высокое представление о человечности, а вы — точно безрукие и еще позволяете какой-то шайке прохвостов ездить на вас верхом, попирать вас ногами! Какого черта, станьте же самими собой! Нечего ждать, пока вам поможет господь бог или какой-нибудь Наполеон! Вставайте! Объединяйтесь! За дело! Выметайте мусор из своего дома.

Однако Оливье, насмешливо и устало пожав плечами, сказал:

— Что же? Драться с ними? Нет, это не наша роль, у нас есть дела поважнее. Мне лично насилие претит. Я слишком хорошо знаю, к чему оно приводит. Озлобленные старики-неудачники, молодые щелкоперы-роялисты, гнусные апостолы всякого зверства и ненависти примазались бы к моему делу и обесчестили бы его. Ты что же, хочешь, чтобы я вернулся к древнему девизу ненависти: «Fuori Barbari!»¹ — или: «Франция для французов»?

— А почему бы и нет? — спросил Кристоф.

— Это, друг мой, недостойно француза! И напрасно у нас пропагандируют такие идеи под видом патриотизма. Подобный лозунг годится только для вар-

¹ Вон варваров! (итал.)

варов. Наша страна не создана для ненависти. Гений нашего народа утверждает себя, не разрушая других, а поглощая их. Пусть к нам приходит и глубокомысленный Север и болливый Юг.

— И ядовитый Восток?

— И ядовитый Восток; мы растворим его в себе, как и остальных! Не он первый, не он последний. Мне просто смешно его победоносный вид, а также малодушие некоторых моих соотечественников. Пусть воображает, что завоевал нас; пусть распускает веером хвост на наших бульварах, в наших газетах и журналах, на наших подмостках — и театральных и политических. Глупец! Он же побежден! Напитав нас собой, он сам себя уничтожит. У Галлии хороший желудок: за двадцать веков она переварила не одну цивилизацию. Нам яды уже не опасны... А вы, немцы, трепещите, — ваше дело! Вы либо сохраните свою чистоту, либо исчезнете. Для нас же дело вовсе не в чистоте, а в универсальности. У вас есть император, Великобритания называет себя империей, но на самом деле надо всем этим царит наш латинский гений. Мы — граждане вселенского города. *Urbis. Orbis*¹.

— Все это так, — ответил Кристоф, — пока нация здорова и в расцвете сил. Но в один прекрасный день ее энергия иссякает; и тогда она рискует быть затопленной чужеземцами. Между нами: тебе не кажется, что этот день наступил?

— Сколько раз уже это говорилось на протяжении веков! И всегда наша история опровергала все страхи! Мы выдерживали испытания и посерьезнее, начиная с времен Орлеанской девственницы, когда по опустевшему Парижу рыскали стаи голодных волков. Безудержный разврат, погоня за наслаждениями, бесхарактерность и равнодушие, современная анархия — все это меня не трогает. Терпение! Кто хочет выжить, тот должен выдерживать. Я отлично знаю, что последует моральная реакция, — она, впрочем, ничем не будет лучше и, вероятно, приведет также к ряду глупостей; и ее самыми усерд-

¹ Города. Мира (лат.). — Имеется в виду известная формула «Городу и миру», употреблявшаяся в актах древнего Рима. — *Прим. ред.*

ными служителями как раз и окажутся те, кто сейчас живет за счет коррупции общества. Но что нам до того! Все эти волнения никак не затрагивают подлинного народа Франции. Гнилое яблоко не портит яблони. Оно просто падает. Эти люди вне нации. И какое нам дело, будут ли они жить, или умрут? Неужели же мне из-за них тревожиться и устраивать какие-то общества и революции? Нынешнее зло — не результат того или иного режима. Бацилла этой проказы — роскошь; эти люди паразитируют на нашем материальном и интеллектуальном богатстве, но от них и следа не останется.

— После того, как они высосут из вас все.

— Когда речь идет о народе, подобном нашему, не имеешь права отчаиваться. В нем столько скрытых достоинств, такая сила света и действенного идеализма, что эти качества сообщаются даже тем, кто этот народ эксплуатирует и разоряет. Даже своекорыстные политики испытывают на себе его влияние. Самые ничтожные, придя к власти, бывают потрясены величием его судеб; народ как бы заставляет их подняться над их ничтожеством; он передает им из рук в руки свой факел; и, один за другим, они возобновляют извечную борьбу против тьмы. Гений их народа увлекает их за собой; и волей-неволей они выполняют законы того бога, которого отрицают: *Cesta Dei per Francos*¹. Родина, дорогая родина, никогда я не усомнюсь в тебе! И если даже на твою долю выпадут самые грозные испытания, они только усилят чувство гордости, которое вызывает во мне наша миссия на земле. Я вовсе не хочу, чтобы моя Франция трусливо сидела взаперти, как больной, боящийся свежего воздуха. Я не хочу прозябать. Когда народ достиг такого величия, какого достигли мы, лучше умереть, чем утратить его. Так пусть же весь мир обрушит на нас поток своей мысли! Я не боюсь его. Воды схлынут, напоят и удобрив своим илом мою землю.

— Бедненький мой, — сказал Кристоф, — но ведь пока-то уж очень невесело! И где ты будешь, когда твоя Франция вынырнет из этого Нила? Разве не лучше бороться? В борьбе ты рисковал бы только поражением,

¹ Дело божье, творимое руками франков (лат.).

на которое ты сознательно обрекаешь себя до скончания своих дней.

— Я рисковал бы гораздо большим, чем поражение, — сказал Оливье. — Я рисковал бы потерять спокойствие духа, а оно мне дороже, чем победа. Я не хочу ненавидеть. Я хочу воздавать должное даже врагам. Я хочу сохранить в пылу страстей ясность взгляда, все понимать и все любить.

Но Кристоф, для которого эта любовь к жизни вдали от жизни скорее походила на покорное приятие смерти, чувствовал, подобно старику Эмпедоклу, как в нем начинается греметь гимн к ненависти и к любви — сестре ненависти, к любви плодотворной, которая вспахивает и обсеменяет землю. Он не разделял спокойного фатализма Оливье; и так как, в отличие от своего друга, плохо верил в живучесть нации, которая не защищает себя, видел выход только в том, чтобы призвать к действию ее здоровые силы, поднять на бой всех честных людей Франции.

Подобно тому как за одну минуту любви больше узнаешь о человеке, чем за месяцы наблюдений, так же и Кристоф больше узнал о Франции после недели, проведенной дома, с Оливье, чем за год постоянных странствий по улицам Парижа с заходом в политические и литературные салоны. Посреди этой всеобщей анархии, в которой он терял почву под ногами, душа друга оказалась ему каким-то Иль-де-Франсом — островом разума и тишины среди бурного моря. И внутренний покой, который Кристоф почувствовал в сердце нового друга, был тем поразительнее, что основой ему служили не доводы разума, не то, что он не знал спокойной и благополучной жизни (Оливье был беден, одинок, и его страна, казалось, клонилась к закату), а был подвержен болезням и обладал не слишком крепкими нервами; не казалось это спокойствие и плодом каких-либо волевых усилий (воля у него была слабая), — нет, оно рождалось из недр его существа и его народа. Кристоф замечал далекий отблеск того же *εὐφροσύνη* — «безмолвного покоя неподвижного моря» — у многих из окружавших Оливье; и

музыкант, слишком хорошо знавший, какое смятение и какие бури таятся в глубинах его собственной души, — порой всей воли его едва хватало на то, чтобы укрощать и удерживать в равновесии буйные силы своей натуры, — музыкант восхищался этой скрытой от мира гармонией.

Открывшаяся перед ним картина внутренней жизни Франции скоро окончательно опрокинула все прежние представления о французском характере. Вместо веселого и общительного народа, блестящего и беззаботного, он видел людей, сосредоточенных в себе, одиноких, тающих под лучезарной дымкой оптимизма глубокий и спокойный пессимизм людей, одержимых навязчивыми идеями, страстями интеллекта и наделенных такой душевной стойкостью, что их легче было бы уничтожить, чем сбить с пути. Это были, конечно, только избранные, только лучшие представители французской нации. Кристоф, недоумевая, как-то спросил, что служит источником такого стоицизма и такой веры. Оливье ответил:

— Поражение. Это вы, мой добрый Кристоф, перековали нас. Увы, операция была мучительная. Вы даже не подозреваете, как мрачна была та атмосфера, в которой мы выросли — дети униженной и израненной Франции, заглянувшей в глаза смерти и всегда ощущавшей смертельную угрозу насилия. Наша жизнь, наш гений, наша французская цивилизация, величие десяти веков — мы знали, что все это попало в руки грубого завоевателя, который не понимает ее, втайне ненавидит и готов в любую минуту окончательно ее раздавить. И нам приходилось жить с сознанием этого. Вспомни о маленьких людях, о простодушных французах, о тех, кто родился в домах, отмеченных печатью траура и поражения, кто вскормлен унылыми рассуждениями, воспитан для кровавого реванша, рокового и, быть может, бесцельного; ибо они с раннего детства прежде всего усвоили ту мысль, что справедливости нет, ее не существует на земле: сила попирает право! Подобные открытия способны сломить юное поколение или закалить его душу навсегда; у многих опустились руки; они думали: раз так — зачем бороться? Зачем действовать? Ничто и есть ничто. Перестанем думать об этом. Будем наслаждаться жизнью. Но те, кто выдержал, прошли как бы испыта-

ние огнем. Их веру уже не поколеблют никакие разочарования, ибо с первого же дня они поняли, что их путь не имеет ничего общего с дорогой к счастью и что все же — поскольку иного выбора нет — нужно идти, иначе задохнешься. Эта уверенность приходит не сразу. И нельзя требовать ее от пятнадцатилетних мальчиков. Им предстоит пережить немало тяжелого и пролить немало слез. Но так нужно. Так должно быть.

О вера, дева светлая, как сталь,
Вспахай своим копьём растоптанное сердце наций!

Кристоф молча пожал руку Оливье.

— Дорогой Кристоф, — сказал Оливье, — твоя Германия доставила нам много мук.

И Кристоф начал чуть ли не извиняться, как будто он был тому причиной.

— Не сокрушайся, — сказал Оливье с улыбкой. — Добро, которое она против воли сделала нам, перевешивает зло. Поражение заставило снова вспыхнуть факел нашего идеализма, оживило пламень науки и пламень веры; это вы заставили нас покрыть всю Францию сетью школ, это вы пробудили творческие силы наших Пастеров, открытия которых намного ценнее пяти миллиардов всенной контрибуции. Вам мы обязаны возрождением нашей поэзии, нашей живописи, нашей музыки и пробуждением нашего национального самосознания. Нелегко было предпочесть счастью радость веры, но мы вознаграждены: среди всеобщей апатии мы ощутили в своей душе такую моральную силу, что перестали сомневаться в себе, даже в своей способности победить. Видишь ли, мой добрый Кристоф, как нас ни мало и какими бы слабыми мы ни казались, — ведь мы только капля в океане германской мощи, — но мы верим, что как раз эта капля окрасит весь океан. Македонская фаланга врежется в вооруженные массы европейской черни.

Кристоф посмотрел на тщедушную фигурку Оливье, глаза которого сверкали горячей верой.

— Бедные, хилые французики! Вы же сильнее нас!

— О, благое поражение, — повторял Оливье. — Да будет благословен наш разгром! Мы не станем отрекаться от него! Мы его дети!

Часть вторая

В поражении перековываются лучшие силы нации, происходит отбор стойких и чистых духом, и они становятся еще более чистыми, еще более стойкими. Но тем быстрее происходит крушение в другом лагере, где гаснут все порывы. Так, основная масса не выдерживает испытания, отделяется от лучших, от тех, которые продолжают идти вперед. Лучшие сами знают это и страдают от этого; даже в сердце наиболее отважных живет скрытая печаль, сознание своего бессилия и своего одиночества. И самое худшее в том, что они оторваны не только от корней народа, но и друг от друга. Каждый борется на свой страх и риск. Сильные думают только о собственном спасении. «О человек, сам себе помоги!» Они забывают, что закон мужества гласит: «О люди, помогайте друг другу!» И ни у кого нет доверия, нет щедрости сердца, нет той потребности действовать сообща, которую рождает в нации победа, ощущение своего расцвета и полноты своих сил.

Кристоф и Оливье знали кое-что на этот счет: здесь, в Париже, где, казалось бы, не было недостатка в понимающих душах, в этом доме, населенном неведомыми друзьями, они были так же одиноки, как в азиатской пустыне.

Положение их было нелегкое. Источников существования почти никаких. У Кристофа бывала иногда кое-какая переписка нот и музыкальная транспонировка, которые ему заказывал Гехт. Оливье имел неосторожность

уйти из университета в тот период, когда, после смерти сестры, его охватило отчаяние, и уже окончательно выбился из колеи после неудачного романа с одной девушкой, принадлежавшей к кругу г-жи Натан (он никогда не рассказывал об этом романе Кристофу: что касалось собственных горестей, Оливье был крайне стыдлив, и одно из его самых милых качеств состояло в том, что какие-то интимные уголки его внутренней жизни оставались закрытыми даже для ближайших друзей).

В этом состоянии душевной подавленности, когда молодой человек особенно жаждал тишины, преподавательская деятельность стала для него просто мукой. Педагогика не была призванием Оливье: она его отталкивала необходимостью все время быть на виду и вслух высказывать свои мысли, не знать ни минуты блаженного одиночества. Преподавание лишь тогда становится занятием благородным, когда в нем есть что-то от апостольского служения, а для Оливье это было не так. Преподавательская деятельность на факультете требует непрерывного контакта с аудиторией — мучительного для человека, чья душа жаждет одиночества. Два-три раза Оливье пришлось говорить публично, и он испытал при этом такое чувство, как будто его унизили. Это показывание себя публике было ему отвратительно. Он видел своих слушателей, ощущал — как будто с помощью особых проводов, — что в большинстве своем здесь сидят бездельники, которые хотят только одного: как-нибудь развлечься; а роль официального развлекателя была ему не по вкусу. Но хуже всего то, что слова, произносимые с кафедры, искажают и уродуют мысль; нужно быть все время настороже, чтобы они не привели к актерству — в жестах, в декламации, в позах, в способе излагать свои идеи, даже в самой сути этих идей. Ведь лекция — это определенный жанр, лавирующий между двумя подводными камнями: скучной комедией и светским педантизмом. В этой форме монолога, произносимого вслух перед сотнями неведомых и безмолвных людей, в этой готовой одежде, которая должна годиться для всех, а не годится никому, есть для художников с сердцем диким и гордым что-то нестерпимо фальшивое, и Оливье, испытывавший потребность

внутренне сосредоточиться и говорить только то, что является правдивым выражением его мыслей, отказался от преподавания, которого с таким трудом добился; и так как подле него уже не было сестры, чтобы обуздывать его фантазию, он начал писать. Оливье наивно верил в то, что, раз у него есть художественное дарование, оно будет признано без всяких усилий с его стороны.

Он жестоко обманулся. Напечатать что-либо было невозможно. Оливье ревниво любил свободу, и эта любовь внушала ему ужас перед всем, что ограничивало его свободу и заставляло его жить в одиночестве, подобно цветку, который хиреет в расселине стены. Зажатый между тяжелыми глыбами политических партий, разных враждебных друг другу группировок, державших в руках всю страну и всю прессу, Оливье не примыкал ни к каким литературным кружкам, а те, в свою очередь, отвергали его. В этих кружках у него не было ни одного друга, да и не могло быть. Его отталкивали черствость, сухость и эгоизм этих интеллигентов (за исключением горсточки тех, кто следовал подлинному призванию или целиком отдавался каким-либо научным исследованиям). Человек, принеший свое сердце в жертву мозгу, — причем не очень могучему, — представляет собой печальное зрелище. В нем уже нет ни капли доброты, ибо такой ум подобен кинжалу в ножнах: кто поручится, что в любую минуту он не нанесет вам удара; волей-неволей не выпускаешь из рук орудия. Дружба возможна лишь с добрыми, кто любит прекрасное без всякой корысти, а такие люди живут обычно за пределами литературной среды.

Воздух искусства годится не для всех, многие задыхаются в нем. Только самые великие способны жить в такой атмосфере, не теряя способности любить, — этого источника жизни.

Оливье мог рассчитывать лишь на себя. Весьма ненадежная опора. Каждый шаг стоил ему усилий. Но унижаться, чтобы напечатать свои произведения, он не желал и краснел от стыда, наблюдая, сколь позорно заискивают молодые авторы перед директорами театров, которые, видя это пресмыкание, обходились с ними так, как не обошлись бы со своим лакеем. Оливье не пошел бы на

такое унижение, даже если бы вопрос касался его жизни и смерти. Он ограничивался тем, что посылал свои рукописи по почте, заносил их в контору театра или в редакцию журнала, и там они валялись месяцами непрочитанные. Но случаю было угодно, чтобы Оливье однажды встретил своего бывшего товарища по лицу; этот милый лентяй, сохранявший к Оливье чувство благодарности за его неизменную готовность помочь товарищу и восхищения перед той легкостью, с какою Оливье делал за него уроки, ничего не смыслил в литературе, но он был знаком с литераторами, что гораздо важнее, и даже, как человек богатый и светский, из снобизма разрешал им втайне эксплуатировать себя. Он замолвил за Оливье словечко секретарю редакции одного толстого журнала, акционером которого он состоял; тотчас одну из погребенных в папках рукописей откопали и прочли и, после долгих колебаний (если произведение и представляло интерес, то имя автора было неизвестно и поэтому творение его не имело никакой цены) решились принять. Получив эту добрую весть, Оливье вообразил, что его бедствиям пришел конец. Но они только начинались.

В Париже не так уж трудно добиться, чтобы приняли какое-нибудь произведение; гораздо труднее обстоит дело с его напечатанием. Приходится ждать и ждать месяцами, иногда целую жизнь, если не обладаешь даром обхаживать нужных людей или приставать к ним, появляясь время от времени на утренних приемах этих карманных монархов и неустанно напоминая им о том, что ты существуешь и что твердо решил надоедать им, пока не достигнешь цели. Оливье же умел только сидеть дома и изводиться в ожидании ответа. Самое большее, на что он был способен, — писать письма, на которые ему не отвечали. Он нервничал, не мог работать. Нелепо! Но в таких случаях разум бессилен. Сидя за своим столом, охваченный мучительным и смутным томлением, он поджидал почту и выходил, только чтобы заглянуть в свое отделение почтового ящика, внизу у привратника, причем надежда тотчас сменялась разочарованием; иногда он прогуливался по улице, ничего не замечая, с одним желанием поскорее вернуться домой;

и когда почтальон уже не мог прийти, когда тишина его комнаты уже бесцеремонно не нарушалась шагами соседей над головой, Оливье начинал задыхаться от этого равнодушия. Хоть слово! Одно только слово! Неужели ему откажут даже в этом подаении? А тот, кто отказывал, вероятно, и не подозревал, какую он причиняет боль! Каждый судит о мире по-своему. Тем, у кого душа мертва, вселенная кажется иссохшей; они и не думают о том трепете ожидания, надежды и муки, который волнует молодые сердца; а если и думают, то холодно осуждают с тупой иронией пресыщенности.

Наконец, произведение Оливье было опубликовано. Он ждал так долго, что не почувствовал никакого удовольствия: для него это детище уже было мертво. Однако он надеялся, что для других оно живо. Не могли же остаться незамеченными такие вспышки ума и поэзии. И все-таки оно кануло в бездну молчания. Оливье сделал еще одну-две попытки. Не будучи связан ни с какой литературной группой, он неизменно наталкивался на то же молчание или, вернее, враждебность. Молодой автор ломал голову, но ничего понять не мог. В своей наивности он полагал, что новое произведение должно быть встречено с естественным доброжелательством, даже если оно и не вполне удалось. Людям следует быть благодарными тому, кто захотел дать им немного красоты, силы или радости. Он же встречал только равнодушие или насмешку. Вместе с тем Оливье был уверен, что не он один пережил то, о чем писал, что и другие тоже разделяют его мысли. Но он и не догадывался, что эти уважаемые господа просто-напросто не читали его и что они не имеют ни малейшего отношения к литературной критике. А если даже двум-трем из них и попадутся на глаза его строки и они посочувствуют ему, то он этого никогда не узнает, ибо они замкнулись в своем молчании. Эти люди не желали придерживаться определенных взглядов на искусство, так же как не желали голосовать на выборах в парламент; они не читали книги, если книга вызывала их возмущение, не ходили в театр на пьесу, если пьеса была им противна; но они предоставляли своим врагам голосовать, предоставляли выбирать этих врагов в парламент, способствовали скандальному успеху и шумному рекламирова-

нию произведений и идей, выражавших взгляды одного лишь наглого меньшинства.

Оливье не мог рассчитывать на поддержку со стороны своих единомышленников, ибо те не знали о его существовании, и в результате оказался совсем беззащитным перед враждебной толпой отвергавших его взгляды литераторов и лакействующих перед ними критиков.

Эти первые соприкосновения с литераторами мучительно ранили его. Он был чувствителен к критике, как старик Брукнер, который даже противился исполнению своих вещей, столько он натерпелся от злобных нападок прессы. Однако Оливье не нашел поддержки и у своих бывших университетских коллег, которые, в силу своей профессии, все же сохранили какое-то сознание истинных традиций французской мысли и которые могли бы его понять. Вообще это были превосходные люди, но они слишком привыкли к ярму дисциплины, слишком были поглощены работой; к тому же, несколько озлобленные своей неблагоприятной профессией, не могли простить Оливье того, что он попытался идти иным путем, чем они. Будучи добросовестными чиновниками, они склонны были признавать превосходство таланта, только когда он сочетался с превосходством по служебной линии.

При таком положении вещей возможны были три выхода: силой разрушить препятствия, пойти на унижительные компромиссы, или же примириться с тем, что ты пишешь только для себя. На первое, как и на второе, Оливье был неспособен; он избрал третье: через силу давал уроки, чтобы не умереть с голоду, и писал произведения, которые, не имея никаких шансов распуститься на свежем воздухе, становились все более слабыми, химическими и далекими от реальности.

И вот в это сумеречное существование, точно гроза, ворвался Кристоф. Он был в равной мере возмущен и гнусностью людей и терпением Оливье.

— Да у тебя что, вода в жилах или кровь? — воскликнул он однажды. — Как ты можешь переносить такую жизнь? Ты знаешь, насколько ты выше этого стада, а позволяешь им топтать себя?

— Что поделаешь, — отвечал Оливье, — я не умею

защищаться, мне противно бороться с теми, кого я презираю; они могут пустить в ход против меня любое оружие, а я не могу. Мне не только отвратительно было бы прибегать к низким средствам, я боялся бы причинить зло. Когда я был маленький, я глупейшим образом позволял товарищам колотить меня. И меня считали трусом, думали, что я боюсь побоев. А я гораздо больше боялся побить кого-нибудь, чем быть побитым. Однажды, когда один из моих мучителей преследовал меня и мне сказали: «Да проучи его как следует, дай ему хорошенько ногой в живот!» — я пришел в ужас. Пусть уж лучше меня бьют.

— Просто у тебя вода, а не кровь в жилах, — повторил Кристоф. — И потом еще эти твои дурацкие христианские идеи! И все это ваше религиозное воспитание во Франции, которое сводится к изучению катехизиса, выхолощенного евангелия и подсахаренного, бесхребетного Нового завета. Болтовня про гуманного боженьку, и всегда со слезой. А революция, Жан-Жак, Робеспьер, сорок восьмой год и, вдобавок, евреи? Съедай каждое утро добрый сочный, с кровью, кусок старой библии!

Оливье протестовал. К Ветхому завету он питал какую-то прирожденную антипатию. Это чувство возникло у него еще в детстве, когда он тайком перелистывал библию с иллюстрациями, которая имелась в их провинциальной библиотеке и которую никто не читал (детям было даже запрещено читать ее). Напрасная предосторожность! Оливье не мог долго читать эту книгу. Он закрывал ее рассерженный, огорченный; и какое он испытывал потом облегчение, погружаясь в «Илиаду», или «Одиссею», или в «Тысячу и одну ночь».

— Боги «Илиады» — это люди красивые, сильные, порочные; они мне понятны, я могу их любить или не любить; но, даже не любя, я все-таки их люблю; я в них влюблен. Я вместе с Патроком лобзаю прекрасные ноги окровавленного Ахилла. А бог библии — это старый еврей, маньяк, злобный безумец, который только и знает, что греметь, угрожать, воевать, точно бешеный волк, неистовствует в своем облаке. Я не понимаю его,

не люблю, от его вечных проклятий у меня голова трещит, а его свирепость мне противна:

Приговор моавитянам.

Приговор Дамаску.

Приговор Вавилону.

Приговор Египту.

Приговор пустыне моря.

Приговор долине видений.

Это сумасшедший, который вообразил себя судьей, обвинителем и палачом одновременно и выносит смертные приговоры цветам и камешкам во дворе своей тюрьмы. Задышаешься от воплей упорной ненависти, которыми полна эта кровавая книга: «крик гибнущих... крик наполнил землю моавитян; этот вопль дошел до Эглазiona, этот вопль дошел до Беара...»

Время от времени он отдыхает посреди этой бойни, посреди раздавленных младенцев, изнасилованных и заколотых женщин и, усевшись за трапезу, после разорения какого-нибудь города, смеется смехом старого солдафона из войска Иисуса Навина:

«И вождь воинства устроил пир своим народам из жирного мяса, из нежного тука, пир со старыми винами, старыми, хорошо очищенными... И меч господя обогрен был кровью, пресыщенный почетным туком онов...»

Но хуже всего — коварство, с каким этот бог посылает своего пророка, чтобы он сделал людей как бы слепыми, и тогда бог подвергнет их новым страданиям.

«Иди, ожесточи сердце этого народа, закрой глаза и уши его, чтобы потерял он понимание, чтобы не отвратился и не исцелился бы. — Доколе, о господи? — Доколе, покуда не останется жителей в домах и земля их не будет опустошена...»

Нет! В жизни не видал такого злого человека!

Я не так глуп, чтобы не понимать всей мощи библейского языка. Но не могу отделять мысль от формы, и если иногда восхищаюсь этим еврейским богом, то лишь так, как восхищался бы тигром. Даже Шекспиру, этому творцу чудовищ, не удалось создать подобного героя ненависти — ненависти святой и добродетельной. Эта книга просто ужасна. Ведь всякое безумие зарази-

тельно. А опасность здесь тем больше, что эта смертоносная гордыня притязает на какую-то очистительную силу. Меня просто дрожь берет, когда я думаю о том, что Англия веками всасывала подобный яд. И мне приятно сознавать, что нас разделяет ров нашего Ламанша. Я не могу считать вполне цивилизованным народ, который все еще находит для себя духовную пищу в библии.

— В таком случае рекомендую держаться от меня подальше, — заметил Кристоф. — Меня эта книга просто опьяняет. В ней львиная мощь. Сильные сердца от нее крепнут. Евангелие без противовеса Ветхого завета — пресное и даже вредное кушанье. Библия — это костяк народов, которые хотят жить. Нужно бороться, нужно ненавидеть.

— А я ненавижу ненависть, — сказал Оливье.

— Если бы ты ее хоть ненавидел! — отозвался Кристоф.

— Ты прав, у меня на это не хватает сил. Я не могу не признать правоты моих врагов. И повторяю про себя слова Шардена: «Кротости! Побольше кротости!»

— Вот чертов баран! — воскликнул Кристоф. — Но как ни упирайся, я заставляю тебя перескочить через ров и поведу в атаку с барабанным боем.

И он действительно взялся за дело. Однако начало его хлопот было не очень удачным. С первого же слова он раздражался и так защищал своего друга, что невольно вредил ему; а осознав содеянные ошибки, приходил в отчаяние от своей неумелости.

Оливье не оставался в долгу. Он тоже вступил в бой за Кристофа, хотя обычно избегал всякой борьбы, будучи наделен умом трезвым и ироническим, которому казалась смешной всякая крайность в словах и поступках. Когда вопрос шел о том, чтобы защищать Кристофа, Оливье своей резкостью превосходил даже самого Кристофа, уже не говоря о прочих. Он прямо терял голову. Но в любви надо уметь быть безрассудным. И вот это Оливье удавалось прекрасно. Как бы то ни было, он действовал искуснее Кристофа. Этот юноша,

непримиримый и неловкий во всем, что касалось его самого, умел вести тонкую политику и даже становился изворотливым ради своего друга; он с неистощимой энергией и удивительной изобретательностью вербовал ему сторонников и сумел пробудить к нему интерес музыкальных критиков и меценатов, хотя просить о себе не решился бы ни за что на свете.

Но несмотря на все их усилия, им все же не удалось избежать нищеты. Взаимная любовь заставляла их делать множество глупостей. Кристоф влез в долги, чтобы тайком от Оливье издать книжку его стихов, причем не было продано ни одного экземпляра.

А Оливье уговорил Кристофа дать концерт, на который почти никто не явился. Кристоф, глядя на пустой зал, утешал себя словами Генделя: «Отлично! Так моя музыка будет звучать еще лучше!» Но эта бравада не могла им вернуть истраченных денег! И они возвратились домой с тяжелым сердцем.

Среди всех этих трудностей единственным человеком, который пришел им на помощь, был еврей лет сорока, Таддэ Моох. У него был магазин художественных репродукций; он любил свое дело и вносил в него немало вкуса и ловкости; однако он любил столько вещей и помимо магазина, что нередко пренебрегал своей торговлей. Когда же он занимался ею, то лишь затем, чтобы применить новые технические усовершенствования или освоить новые способы репродукции, хотя все эти опыты, несмотря на их остроумие, удавались редко и стоили слишком дорого. Он очень много читал и был всегда в курсе новейших идей — в области философии, искусства, науки, политики; Моох обладал изумительным чутьем по части новых дарований, его как бы притягивало к ним магнитом. Он служил связующим звеном между друзьями Оливье, также державшимися особняком и работавшими в одиночку: ходил от одних к другим, и благодаря ему между всеми этими людьми, хотя они и не признавали этого, постепенно установился постоянный обмен мыслями.

Когда Оливье захотел познакомить с ним Кристофа,

тот сначала отказался: ему надоели все эти эксперименты с сынами Израиля. Однако Оливье со смехом продолжал настаивать, уверяя, что Кристоф так же плохо знает евреев, как и французов. И Кристоф согласился, но, увидев в первый раз Таддэ Мооха, он сделал гримасу. Моох был по внешнему виду даже слишком еврей — еврей, каким его изображают те, кто не любит евреев: маленький, лысый, кособокий, нос рыхлый, выпуклые косящие глаза, скрытые большими очками, все лицо заросло густой, клочкастой бородой, жесткой и черной, руки волосатые, длинные, ноги толстые, кривые, — словом, настоящий сирийский Ваал. Но в чертах его светилась такая доброта, что Кристоф был тронут. А главное, Моох держался очень просто. Никаких ненужных слов. Никаких преувеличенных похвал. Только иногда сдержанное одобрение. Но при этом чувствовалась постоянная готовность быть полезным: не дожидаясь просьбы, он уже спешил оказать услугу. Он приходил часто, даже слишком часто, но почти всегда — с доброй вестью для одного из друзей: то это был заказ на статью об искусстве или курс лекций для Оливье, то уроки музыки для Кристофа. Он никогда не засиживался, подчеркивая свою боязнь быть в тягость. Вероятно, он заметил, что, когда в дверях появлялось его бородатое лицо карфагенского идола (Кристоф прозвал его Молохом), музыкант не мог скрыть своего раздражения, но тут же оно сменялось горячей благодарностью к Мооху за его доброту.

Доброта — не редкость у евреев: из всех добродетелей это самая для них приемлемая, даже когда они и не проявляют ее на деле. Правда, у большинства она не идет дальше негативной или пассивной формы, являясь следствием их терпимости, безразличия, отращения к злым поступкам, насмешливой снисходительности. Доброта у Мооха была страстной и деятельной. В любую минуту он готов был служить кому-нибудь или чему-нибудь: беднякам единоверцам, русским эмигрантам, угнетенным всех стран, неудавшимся художникам, всем несчастным, всякому великодушному начинанию. Кошелек его был открыт для всех, и, как бы ни был тощ этот кошелек, Моох всегда находил в нем обол для

нуждающегося; а если не находил, заставлял других выкладывать свою лепту. Когда требовалось оказать кому-нибудь услугу, он не жалел ни трудов, ни усилий. Он все делал просто, даже чересчур просто. Напрасно только он так часто повторял, что он прост и искренен; самое замечательное, что он и был таким в действительности.

Кристоф, обуреваемый противоречивыми чувствами то досады, то симпатии к Мооху, однажды не выдержал; тронутый каким-то благодеянием Мооха, он схватил его за обе руки и с жестокой наивностью ребенка воскликнул:

— Какое несчастье... какое несчастье, что вы сврей!

Оливье вздрогнул и покраснел, как будто речь шла о нем самом. Он очень огорчился и всячески старался загладить обиду, нанесенную Мооху его другом.

Моох улыбнулся с грустной иронией и спокойно ответил:

— Гораздо большее несчастье быть человеком.

Кристоф решил, что Моох просто сострил. Однако пессимизм, крившийся в этих словах, был глубже, чем казалось Кристофу. Оливье же, с его обостренной чуткостью, уловил это. Под оболочкой того Мооха, какого они знали, таился совсем другой человек и, быть может, во многом ему совершенно противоположный. Внешние проявления его характера сложились в процессе долгой внутренней борьбы с его истинной природой. Этот человек, казавшийся столь простым, был полон противоречий. Когда он не следил за собой, было заметно, что ему хочется усложнять простое и придавать самым искренним своим чувствам оттенок какой-то манерной насмешливости. Этот человек, на вид такой скромный, иногда даже слишком скромный, таил в душе гордыню, которую сам отлично видел и за которую сурово себя казил. Его жизнерадостный оптимизм, его неутомимая деятельность, всегда направленная на то, чтобы помочь людям, прикрывали глубокий нигилизм, смертельное отчаяние, в котором он боялся себе сознаться. Моох как будто верил во многое: в человеческий прогресс, в светлое будущее еврейства, дух коего очистится, в великие

судьбы Франции — этого поборника обновления, он охотно отождествлял эти три миссии, но Оливье, которого трудно было провести, говорил Кристофу:

— В сущности он ни во что не верит.

Несмотря на весь свой здравый смысл и насмешливое спокойствие, Моох был неврастеником, не желавшим видеть свою внутреннюю опустошенность. На него находили приступы страха перед небытием; иногда вдруг, просыпаясь среди ночи, он стонал от ужаса. И жадно искал поводов для деятельности, стараясь зацепиться за эту лихорадочную активность, как тонущий за боек.

Дорого обходится людям принадлежность к древней расе. Они несут гнетущий груз прошлого, испытаний, изжившего себя опыта, разочарований ума и сердца — и на дне этого резервуара многовековой жизни скопился едкий осадок тоски и скуки... безмерной семитской тоски, не имеющей ничего общего с нашей арийской тоской, которая хотя и заставляет нас тоже немало страдать, но порождается все же вполне определенными причинами и исчезает вместе с ними: для нас она чаще всего только сожаление о том, чего мы не имеем. Но есть евреи, у которых самый источник жизни как будто заражен каким-то смертельным ядом. Им уже ничего не хочется, их ничто не влечет: ни честолюбие, ни любовь, ни наслаждения. В этих людях Востока, утративших корни, уже обессиленных многовековым расточением своей энергии, жаждущих атараксии, лишенных возможности обрести ее, живет только одно — не первоначальное цельное, а болезненно гипертрофированное мышление, бесконечное анализирование, заранее отнимающее всякую надежду на радость, парализующее всякую деятельность. Наиболее энергичные стараются взять на себя какую-нибудь роль, предпочитают разыгрывать ее, чем действовать из собственных побуждений. Любопытное явление, наблюдающееся у многих из них — и притом у наиболее интеллигентных, наиболее серьезных, — а именно: отсутствие подлинного интереса ко всем сторонам реальной жизни, кроме своей профессии или желания *быть актером*, играть в жизнь, ибо для них это единственная возможность жить!

Моох тоже был по-своему актером. Постоянными хлопотами он старался как-нибудь себя одурманить. Но если множество людей хлопочут ради личных, эгоистических целей, то он хлопотал ради счастья других. Его преданность Кристофу была трогательна и утомительна. Кристоф осаживал его, а потом жалел об этом. Но на Кристофа Моох никогда не сердился. Ничто не могло остановить его. Не потому, что он так уж любил Кристофа — он любил свою преданность, а не людей, которым был предан. Люди являлись для него лишь предлогом, чтобы делать добро, чтобы жить.

И он добился даже того, что Гехт опубликовал «Давида» и еще некоторые композиции Кристофа. Гехт ценил талант Кристофа, но не спешил создать ему известность. Когда Гехт увидел, что Моох готов напечатать их за собственный счет у другого издателя, он из самолюбия решил сделать это сам.

Именно Мооху пришло в голову — в критическую минуту, когда заболел Оливье и денег не было, — обратиться к Феликсу Вейлю, богатому археологу, жившему в том же доме, что и друзья. Моох и Вейль были знакомы, но мало симпатизировали друг другу — уж слишком они были разные: Моох, хлопотун, мистик и революционер, с «простонародными» манерами, которые он, пожалуй, еще утрировал, вызывал насмешки Вейля, невозмутимого и ироничного, с изысканной внешностью и консервативным складом ума. Правда, между ними было много общего: обоим в одинаковой мере недоставало подлинных стимулов к действию, и обоим поддерживала только их жизненная сила, стойкая и почти автоматическая. Но оба не хотели себе в этом сознаться: они были заняты только взятой на себя ролью, а роли их имели между собой мало общего. Поэтому Вейль встретил Мооха довольно холодно; когда последний попытался заинтересовать археолога творческими замыслами Оливье и Кристофа, он натолкнулся на иронию и скепсис. Постоянные увлечения Мооха то одной, то другой утопией вызывали насмешки еврейского общества, где его считали ловким попрошайкой. Но и в данном случае он, как обычно, не пал духом, продолжал настаивать, рассказал о дружбе, связывающей Кристофа и Оливье, и,

наконец, пробудил в Вейле интерес к ним. Моох понял это, и его доводы стали еще горячее.

Ему удалось коснуться чувствительной струнки Вейля. Старик археолог, одинокий, без друзей, видел в дружбе святыню, но его друг покинул его на жизненном пути; Вейль берег свое чувство глубоко в душе, как сокровище; когда он вспоминал о дружбе, он становился лучше. Он учредил несколько стипендий имени своего друга, посвятил его памяти несколько книг. То, что рассказал ему Моох о любви между Кристофом и Оливье, растрогало его. Все это напоминало ему его собственную историю. Друг, которого он потерял, был для него как бы старшим братом, товарищем его юности, наставником, которого он обожал. Это был один из тех молодых евреев, которых сжигают пылкий ум и великодушие, они страдают от окружающей их косной среды, они ставят себе цель возродить свой народ, а с помощью своего народа и весь мир. Они жгут свою жизнь с обоих концов и горят совсем недолго, как смоляной факел. Его огонь растопил апатию молодого Вейля. Пока был жив друг, Вейль шел с ним в ногу, озаренный тем же светом веры — веры в науку, в мощь человеческой мысли, в счастье-все будущее — светом, который излучала эта пророческая душа. И когда она покинула Вейля, он — слабый, насмешливый — не удержался на высотах идеализма и скатился в бесплодные пески Екклезиаста, которые таятся в каждом еврейском интеллекте и всегда готовы его засосать. Но Вейль не забыл часов, проведенных с другом в лучах света: он ревниво берег в душе их почти угасший отблеск. Он никому не говорил о нем, даже жене, хотя и любил ее: память о друге была для него священна. И вот старик, которого считали прозаичным и черствым, в конце своей жизни вспомнил нежные и горькие слова одного древнего индийского брамина:

«Ядовитое дерево жизни приносит два плода, более сладостных, чем вода из источника жизни: один — это поэзия, другой — дружба».

С этого дня он заинтересовался судьбой Кристофа и Оливье. Зная их гордость, он тайком взял у Мооха

только что вышедшую в свет книжку стихов Оливье; и хотя друзья ни о чем его не просили и даже не подозревали о его планах, добился для Оливье академической премии, которая при их стесненных обстоятельствах оказалась весьма кстати.

Когда Кристоф узнал, что эта неожиданная помощь пришла от человека, к которому он был склонен относиться недоброжелательно, он почувствовал укоры совести за то, что говорил о нем или думал, и, преодолев свою нелюбовь к визитам, отправился поблагодарить старика. Однако его доброе намерение не было вознаграждено. Юношеский энтузиазм Кристофа пробудил в старике Вейле обычную иронию, хотя он и пытался ее скрыть, и из их встречи ничего не вышло.

В тот день, когда Кристоф, испытывая одновременно и благодарность и досаду, возвращался после посещения Вейля к себе, кроме добряка Мооха, пришедшего, чтобы оказать Оливье какую-то новую услугу, он обнаружил еще журнальную статью, принадлежавшую перу Люсьена Леви-Кэра и написанную не в духе честной и открытой критики, а с оскорбительной снисходительностью, причем автор, пользуясь хитроумной игрой слов, забавлялся тем, что низводил Кристофа до уровня композиторов третьего и четвертого сорта, которых Кристоф не выносил.

— А ты замечаешь, — сказал Кристоф Оливье, когда Моох ушел, — что мы вечно имеем дело с евреями, с одними евреями? Черт побери, да уж не стали ли мы сами евреями? Успокой меня, пожалуйста, на этот счет! Точно мы их магнитом притягиваем! Они нам всюду попадаются на пути — и враги и союзники.

— Оттого, что они умнее других, — сказал Оливье. — Евреи у нас почти единственные люди, с кем свободный человек может говорить о новом, о живом. Остальные закидают в прошлое, в мертвечину. К несчастью, для евреев этого прошлого не существует, или во всяком случае оно иное, чем у нас. С ними мы можем говорить только о сегодняшнем, а с людьми моей национальности — только о вчерашнем. Посмотри, насколько евреи активны во всех областях жизни: в торговле, промыш-

ленности, педагогике, науке, искусстве, в делах благотворительности.

— Ну, об искусстве говорить не приходится, — отзывался Кристоф.

— Я не утверждаю, что все их дела и действия мне по душе: иногда я даже чувствую отвращение! Но они по крайней мере живые люди и способны понять живых людей. Мы не можем обойтись без них.

— Пожалуйста, не преувеличивай, — насмешливо возразил Кристоф. — Я сумею обойтись.

— Ты-то, может быть, и сумеешь. Но какой толк, если твоя жизнь и твое творчество останутся для всех неизвестными, как это, наверно, случилось бы, не будь их. Неужели ты воображаешь, что наши единоверцы придут нам на помощь? Да католицизм пальцем не шевельнет, чтобы спасти от гибели даже своих лучших сынов. Всякого, кто истинно религиозен, кто жизнь свою готов отдать для защиты господ бога, гнусная банда лицемеров, именующих себя католиками, готова объявить равнодушным к религии или даже враждебным ей, если только он осмелится отступить от устава католической церкви или откажется подчиниться авторитету Рима; деятельность таких людей замалчивают, их отдают на растерзание общим врагам. Как бы человек свободного ума ни был велик, если он христианин в душе, но не подчиняется требованиям христианского послушания, католикам уже нет дела до него, им неважно, что в нем, быть может, воплощены самые чистые черты их веры, истинно божественные черты. Он не принадлежит к послушному стаду, к секте слепых и глухих, не способных мыслить самостоятельно. Его отвергают, радуются, когда он страдает в одиночестве и, растерзанный врагами, призывает на помощь своих братьев, за чью веру гибнет. В современном католицизме есть сила убийственной инерции. Он охотнее простит своих врагов, чем тех, кто хочет разбудить его и вернуть ему жизнь. Что случилось бы с нами, мой бедный Кристоф, чего могли бы достичь мы, католики по рождению, но сбросившие с себя иго церкви, если бы нас не поддерживала кучка свободных протестантов и евреев? Сейчас в Европе евреи — самые живые проводники всего, что есть лучшего, и всего, что

есть худшего. Они разносят повсюду оплодотворяющую пылью мысли. Разве с самого начала твоей деятельности не среди евреев встретил ты и своих лучших друзей и своих злейших врагов?

— Это правда, — согласился Кристоф, — они ободряли меня, поддерживали, от них я услышал слова, которые воодушевляют человека в бою, ибо он начинает чувствовать, что понят. Конечно, из всех этих друзей верными мне остались очень немногие — их дружба вспыхнула и погасла, как солома. Но не в том дело! И такие вспышки среди ночного мрака — это уже немало! Ты прав, не будем неблагодарными!

— Особенно же не будем глупцами, — сказал Оливье. — Постараемся не искалечить окончательно нашу и без того уже больную цивилизацию, обламывая ее самые жизнеспособные ветви. Если, по несчастью, евреев изгонят из Европы, она настолько оскудеет мыслью и действием, что ей будет грозить полная немощь. Особенно в нашей стране, при том упадке, до которого дошли жизненные силы нации, их изгнание явилось бы для нас еще более опасным кровопусканием, чем изгнание протестантов в семнадцатом веке. Конечно, в настоящее время они занимают место, не соответствующее их действительной ценности. Они злоупотребляют теперешней моральной и политической анархией и даже сами немало способствуют ее росту как в силу своих природных влечений, так и оттого, что чувствуют себя в ней, как рыба в воде. Лучшие — вроде этого славного Мооха — вполне искренни, напрасно только они отождествляют судьбы Франции со своими еврейскими мечтами, которые нам чаще опасны, чем полезны. Однако их нельзя винить за то, что они мечтают пересоздать Францию по собственному образу и подобию. Это у них от любви к Франции. Если их любовь для нас опасна, кто мешает нам не пускать их дальше того места, которое они должны занимать, а место это — во втором ряду. Не потому, чтобы я считал их нацию хуже нашей (эти разговоры о расовом превосходстве просто глупы и отвратительны), но нельзя допускать, чтобы чужая нация, еще не слившаяся с нашей, утверждала, будто она

знает лучше нас, что нам нужно. Евреи чувствуют себя хорошо во Франции, — что ж, я очень рад! Но пусть не мечтают уподобить ее Иудее! Умное и сильное правительство, умеющее держать их в границах, сделало бы их одним из наиболее полезных орудий для возвеличения Франции и тем сказало бы услугу и им и нам. Они чересчур нервны, беспокойны и неустойчивы и нуждаются в твердом законе, который бы сдерживал их, а также в повелителе, решительном, но справедливом, который бы их укротил. Евреи — точно женщины: они превосходны, если держать их в узде; но господство, как первых, так и вторых, невыносимо; а те, кто подчиняется этому господству, просто смешны.

Несмотря на то, что взаимная любовь давала возможность Оливье и Кристофу проникать в душу друг друга, в каждом обнаруживались такие черты, которых другой никак не мог понять и которые даже отталкивали его. В первое время дружбы, когда каждый старается сохранить только то, что сходно в нем с другом, они этого не замечали. Но постепенно их национальные различия снова начали сказываться, и всей их нежности не всегда удавалось предвратить взаимные легкие обиды.

Они погрязали в недоразумениях. Душа Оливье была смесью веры, свободы, страсти, иронии и сомнения во всем, но формулы этой смеси Кристофу никак не удавалось постичь. А Оливье отчасти корбила в Кристофе некоторая душевная прямолинейность; когда Оливье, с высоты аристократизма древней нации с утонченным интеллектом, взирал на мощный и монолитный, но неуклюжий и тяжеловесный ум Кристофа, не способный к самоанализу и вечно вводимый в обман и другими и собой, он не мог не улыбаться. Сентиментальность Кристофа, его бурные излияния, его пылкость порой раздражали Оливье и казались даже несколько смешными, так же как и пресловутый культ силы и чисто немецкая вера в превосходство кулачного права — *Faustrecht*, в справедливости которых Оливье и его народ имели достаточно оснований усомниться,

А Кристоф не выносил в Оливье иронии, доводившей его иногда до бешенства; не выносил его резонерства, стремления к вечному анализу, какой-то аморальности ума, особенно удивительной при его неизменном стремлении к моральной чистоте и проистекавшей от широты интеллекта, который не хотел ничего отрицать и любил играть самыми противоположными идеями. Оливье взирал на жизнь как бы с точки зрения истории, словно перед ним разворачивалась некая панорама; в нем жила столь сильная потребность понимать решительно все, что он обычно видел в одно и то же время все «за» и «против» и защищал их по очереди, смотря по тому, какой из этих противоположных тезисов отстаивал собеседник, так что в конце концов запутывался в собственных противоречиях. Тем более сбивал он этим с толку Кристофа. Однако это не было вызвано ни желанием непременно возражать, ни влечением к парадоксам, а просто проистекало от настойчивого стремления к справедливости и здравому смыслу: его оскорбляла нелепая ограниченность любого предвзятого мнения, и он не мог оставаться равнодушным. Та резкая прямолинейность, с какою Кристоф осуждал безнравственных людей и безнравственные поступки, притом огрубляя факты, шокировала Оливье, который, будучи не менее чист, чем Кристоф, не обладал его стальной несгибаемостью — внешние влияния задевали его, затрагивали, заражали. Он протестовал против склонности Кристофа все преувеличивать и совершал сам ту же ошибку, только в обратном смысле. И что ни день — этот своеобразный склад ума побуждал его становиться не на сторону друзей, а на сторону противников. Тогда Кристоф сердился. Он упрекал Оливье за его софизмы, за его снисходительность. Оливье улыбался: он-то слишком хорошо знал, какое отсутствие иллюзий кроется в подобной снисходительности, знал, что Кристоф верит во многое, во что не верит он, Оливье, и со многим мирится. Но Кристоф, не глядя ни направо, ни налево, накидывался на своего друга, как дикий вепрь. Особенно бесила его так называемая «доброта» парижан.

— Главный аргумент для «прощения» негодяев, которым наши парижане так гордятся, — говорил он, —

сводится к тому, что эти негодяи и так несчастны оттого, что они негодяи; другой аргумент — что они не отвечают за свои поступки. Но, во-первых, неверно, будто творящий зло несчастен. Это один из предрассудков ходячей морали, который проповедают авторы дурацких мелодрам и представители тупого оптимизма, вроде того, каким простодушно кичатся Скриб и Капюс. (Скриб и Капюс — это ваши парижские знаменитости, а ваше буржуазное общество — все эти кутилы, лицемеры, наивные младенцы, слишком трусливые, чтобы смотреть в лицо собственной низости, — вполне заслужили таких писателей.) Негодяй отлично может быть счастливым человеком. Он имеет даже больше шансов, чтобы стать счастливым. Что же касается его мнимой безответственности, то вот тебе вторая глупость. Имейте же мужество признать, что если природа равнодушна к добру и злу и потому скорее даже зла, то человек может быть преступным и одновременно вполне здоровым. Добродетель отнюдь не явление природы. Она — создание человека. Так пусть же он и защищает ее! Человеческое общество строила горсточка сильных и великих. Их долг — охранять свое героическое творение от всякой сволочи с псыим сердцем.

По своей сути эти взгляды вовсе не были так уж далеки от взглядов Оливье; но в силу инстинктивного влечения к равновесию, когда Оливье слышал боевые речи Кристофа, он особенно остро чувствовал себя зрителем.

— Да ты не волнуйся, дружок, — говорил он Кристофу. — Предоставь миру умирать. Будем, как друзья у Декамерона, мирно дышать ароматом садов мысли, и пусть у подножья холма, заросшего кипарисом и увитого розами, Флоренцию опустошает чума.

Он по целым дням с увлечением старался развять искусство, науку, мысль, отыскивая движущие ими силы; он доходил иногда до пирронизма, согласно которому все, что существует, признается лишь плодом нашей фантазии, воздушным замком, чье существование не имеет даже того смысла, какое имеют геометрические фигуры, ибо последние необходимы для человеческого ума. Тут Кристоф приходил в бешенство.

— Но ведь машина работает хорошо! Зачем же разбирать ее на части? Ты рискуешь сломать ее. Чего ты этим добьешься? Что ты хочешь доказать? Что ничто есть ничто? Черт побери! Я и так это знаю! Именно потому, что небытие со всех сторон наступает на нас, я и борюсь! Ничего не существует? Я существую. Нет смысла действовать? Но я-то действую. Те, кому мила смерть, пусть умирают, раз им так хочется. А я живу, я хочу жить. На одной чаше весов — моя жизнь, на другой — мысль... Ну, так к черту мысль!

Он отдавался во власть своему гневу, и во время спора у него вырывались обидные слова. Но едва Кристоф успевал произнести их, как уже раскаивался. Он охотно взял бы их обратно, однако было уже поздно. Оливье отличался чрезвычайно уязвимым самолюбием, и его легко было обидеть: резкое слово, особенно из уст того, кого он любил, мучительно ранило молодого человека. Он не показывал этого из гордости, но замыкался в себе. С другой стороны, Оливье не мог не замечать у Кристофа тех внезапных вспышек бессознательного эгоизма, которым подвержены все большие художники. Бывали минуты, когда он чувствовал, что его жизнь не стоит в глазах Кристофа одной странички прекрасной музыки (да Кристоф и не пытался скрывать это). Оливье это понимал и соглашался с другом, но его охватывала печаль.

И потом в натуре Кристофа таились всевозможные трудно уловимые стихийные силы, тревожившие Оливье. Иногда они сказывались в неожиданных вспышках ядовитого и причудливого юмора. В иные дни Кристоф не желал разговаривать; или им овладевали приступы бесовского коварства, и он старался оскорбить Оливье; или вдруг исчезал, не показываясь весь день и возвращался только под утро. Однажды он отсутствовал в течение двух суток. Одному богу было известно, где он пропадал. Он и сам хорошенько не помнил. И действительно, его мощной натуре нестерпима была эта жизнь, эта душная, как курятник, квартирка, и минутами он готов был разнести в щепы все. Спокойствие Оливье нестерпимо его раздражало, и Кристофу хотелось причинить ему боль. Тогда он убегал из дому, старался

утомить себя до изнеможения. Он бродил по улицам Парижа и его предместий, бессознательно ища приключений, которые иногда и находил; он был бы даже рад какой-нибудь сомнительной встрече, лишь бы разрядиться и истратить избыток силы хотя бы в драке. Оливье же, при его хилом здоровье и физической слабости, не мог этого понять. Да и сам Кристоф не очень-то понимал. Опомнившись после своих скитаний, он чувствовал себя, как после мучительного сновиденья; ему было немного стыдно того, что он натворил и может натворить еще. Но когда вихрь безумия затихал, ему казалось, что он — широкое небо, омытое грозой, и, как оно, — спокоен, очищен от всякой скверны, хозяин своих чувств; обращался он с Оливье нежнее, чем когда-либо, и мучился сознанием той боли, которую причинил. Кристоф тогда не понимал, как могли возникать между ними мелкие ссоры. Не всегда он был виноват; и все-таки винил себя одного. Винил за ту страстность, с какою старался доказать свою правоту; говорил себе, что лучше ошибаться вместе с другом, чем быть правым за счет друга.

Недоразумения эти были особенно тяжелы, когда они возникали вечером и обоим предстояло провести ночь в разладе, который вызывал у них душевное смятение. Уже улегшись, Кристоф вскакивал и, набросав несколько слов, подсовывал записку под дверь Оливье, а на другой день, когда Оливье просыпался, просил у него прощения. Или даже среди ночи стучался к нему: он не мог дожидаться утра. Оливье тоже не спал. Юноша отлично знал, что Кристоф его любит и оскорбил невольно; но ему хотелось, чтобы Кристоф сам заявил об этом. И Кристоф говорил. Тогда все бывало забыто. Какое наступало восхитительное успокоение! И как крепко они потом спали!

— Ах, — вздыхал Оливье, — почему так трудно понимать друг друга?

— А зачем непременно всегда понимать? — отвечал Кристоф. — Я, лично, отказываюсь. Главное — нужно любить.

Эти маленькие обиды, которые они потом старались загладить с какой-то особой тревожной нежностью, де-

лали их, пожалуй, еще дороже друг для друга. В минуту ссоры Кристоф видел, как глаза Оливье словно стансуются глазами Антуанетты, и друзья проявляли тогда друг к другу чисто женскую заботливость и внимание. Кристоф каждый раз отмечал день рождения Оливье каким-нибудь новым, посвященным ему произведением, цветами, тортом, купленными неведомо как! (Ибо денег частенько не хватало даже на хозяйство.) А Оливье портил себе зрение, тайком переписывая по ночам партитуры Кристофа.

Но пока в их отношения не вмешалось третье лицо, нелады между ними не принимали серьезного характера. Рано или поздно это должно было случиться: слишком многие в нашем суетном мире вмешиваются в дела своих ближних, с тем чтобы их поссорить.

Оливье был знаком со Стивенсами, у которых некогда бывал и Кристоф, и тоже поддался обаянию Колетты. Кристоф не встретился с ним при маленьком дворе своей бывшей приятельницы лишь потому, что в те времена Оливье, удрученный смертью сестры, замкнулся в своем горе и никуда не ходил. Колетта, со своей стороны, не делала никаких усилий, чтобы его увидеть; ей очень нравился Оливье, но ей не нравились люди несчастные. Она уверяла, что слишком чувствительна и не выносит вида чужой печали. Поэтому она ждала, чтобы печаль Оливье прошла. Когда до нее дошли слухи, что он как будто исцелился и что ей не грозит опасность заразиться, она рискнула подать ему знак. Оливье не заставил себя просить. Он был одновременно и нелюдимым и светским, его легко было увлечь; к тому же он питал слабость к Коlette. Когда он сообщил Кристофу о своем намерении вновь посетить ее, Кристоф, слишком уважавший свободу друга, чтобы высказать какое-либо неодобрение, только пожал плечами и насмешливо сказал:

— Ну что ж, иди, мой мальчик, если тебе так хочется.

Однако сам не пошел. Он твердо решил больше не знаться с такими кокетками. Не потому, что был женоненавистником, — отнюдь нет. Он испытывал особую нежность к молодым женщинам, вынужденным трудиться,

к работницам, продавщицам, конторщицам, которые по утрам, полусонные, боясь опоздать, бегут в свои мастерские и конторы. Женщина казалась ему полноценной, только когда она была деятельна, старалась ни от кого не зависеть, зарабатывала свой хлеб и отстаивала свою независимость. Больше того, он считал, что только при такой жизни может открыться вся прелесть женщины, появиться живость и ловкость движений, пробудятся все ее чувства и воля, развернутся во всей полноте ее жизненные силы. Он терпеть не мог женщин праздных, ищущих лишь наслаждений, — они представлялись ему какими-то нечистыми животными, которые только и знают, что переваривать пищу да скучать, отдаваясь во власть нездоровых мечтаний. Оливье же, наоборот, обожал женщин, предающихся *far niente*¹, похожих на цветы, которые созданы только для того, чтобы радовать взор своей красотой и прельщать своим благоуханием. Он был больше артист, а Кристоф — человек.

Кристоф особенно любил натуры, противоположные Коlette, — тех, на чью долю выпало больше земных страданий. Его как бы связывали с ними узы братского сочувствия.

С тех пор, как Коlette узнала о дружбе Оливье с Кристофом, ей нестерпимо захотелось снова повидать его, так как она жаждала узнать все подробности его жизни. Молодая девушка была еще немного в обиде на Кристофа за ту пренебрежительную легкость, с какою он, казалось, забыл ее; и без всякого желания мстить — ведь месть всегда требует усилий — она с удовольствием подстроила бы ему какую-нибудь каверзу. Так, играя, покусывает кошка, чтобы привлечь к себе внимание. При своем умении обольщать она легко вызвала Оливье на откровенность. Трудно было найти человека, который был бы так проницателен, как Оливье, по отношению к людям, когда они находились далеко от него; но каким же он становился наивным и доверчивым в присутствии чьих-нибудь ласковых глаз! А Коlette обнаруживала такой искренний интерес к их отношениям с Кристофом, что он размяк, поведал ей историю их друж-

¹ ничегонеделанью (итал.).

бы и даже описал некоторые их дружеские стычки, казавшиеся ему теперь забавными и за которые он целиком винил себя. Он открыл ей также творческие замыслы Кристофа и сообщил некоторые из его суждений — притом отнюдь не лестных — о Франции и французах. Все эти сведения сами по себе не имели особого значения, но Колетта поспешила разболтать их, прибавила еще кое-что от себя, не только чтобы придать им большую пикантность, но и потому, что втайне злилась на Кристофа. И так как первым, кому она все это выложила, был, конечно, ее неизменный рыцарь Люсьен Леви-Кэр, не имевший никаких оснований хранить ее рассказы в тайне, то они получили широкую огласку, украсились попутно еще многими подробностями и приобрели оттенок иронической и довольно оскорбительной жалости в отношении Оливье, которого изображали как жертву Кристофа. Казалось бы, вся эта история мало кого могла интересовать, ибо обонх ее героев почти никто не знал; но таковы уж парижане — они всегда интересуются тем, что их не касается. В результате Кристоф в один прекрасный день услышал свои тайны из уст г-жи Руссен. Встретившись с ним в концерте, она спросила, правда ли, что он поссорился с бедненьким Оливье Жаненом, а затем принялась расспрашивать о его музыкальных работах, намекая на такие детали, которые, казалось, могли быть известны лишь ему и Оливье. И когда он спросил ее, откуда ей все это известно, она ответила, что от Люсьена Леви-Кэра, а он узнал это от Оливье.

Кристоф был сражен. Как всегда порывистый и безрассудный, он даже не задумался над тем, насколько правдоподобно это сообщение. Он понимал только одно: тайны, которые он доверил своему Оливье, выданы Люсьену Леви-Кэру. Он уже не мог больше слушать музыку и тотчас покинул концертный зал. Ему казалось, что все вокруг опустело; он твердил лишь: «Друг предал меня!»

Оливье был у Колетты. Кристоф заперся на ключ, чтобы Оливье не зашел к нему, как обычно, поболтать перед сном. Он услышал, когда Оливье, вернувшись, попытался открыть к нему дверь, а потом через замочную скважину пожелал ему спокойной ночи, но Кристоф не

шевелинулся. Он сидел в темноте на кровати, сжав голову руками, и все повторял: «Друг предал меня!» Так он просидел почти до утра. И тут только он понял, как сильно любит Оливье: он не мог гневаться на него за предательство, а только страдал. Ведь тот, кого любишь, имеет над тобой все права, даже право разлюбить тебя. На него нельзя сердиться, а можно лишь винить себя за то, что, верно, недостоин любви, раз он тебя оставил. И это непереносимо больно.

На другое утро, встретившись с Оливье, Кристоф ничего не сказал: всякие упреки казались ему отвратительными, даже упреки в том, что Оливье злоупотребил его доверием и отдал его тайны на посмеяние врагам; Кристоф не мог выдать из себя ни слова. Но лицо его было красноречивее всех слов — враждебное, ледяное. Оливье был потрясен; он ничего не понимал и робко попытался узнать, чем недоволен его друг; Кристоф резко отвернулся и промолчал. Оливье, оскорбленный в свою очередь, тоже смолк и молча предался своему горю. В этот день они больше не виделись.

Но даже если бы друг заставил его страдать в тысячу раз сильнее, Кристоф никогда не стал бы мстить и не стал бы защищаться: Оливье был для него существом священным. Однако негодование, которое он испытывал, должно было найти себе выход; и так как он не мог излить его на Оливье, то отыгрался на Люсьене Леви-Кэре. С присущей ему несправедливостью и горячностью Кристоф тотчас же свалил на него всю ответственность за вину Оливье; Кристоф испытывал нестерпимую ревность и боль при мысли, что господин подобного сорта мог похитить у него привязанность друга, подобно тому как раньше он уже разрушил его дружбу с Колеттой Стивенс. В довершение всего Кристофу в тот же день попала на глаза статья Леви-Кэра по случаю постановки «Фиделио». Критик говорил в ней о Бетховене ироническим тоном и игриво высмеивал героиню, уверяя, что она заслуживает премии Монтиона¹.

¹ Антуан-Оже де Монтион (1733—1820) — французский адвокат и государственный деятель, учредивший так называемую «премию за добродетель». — *Прим. ред.*

Кристоф видел лучше, чем кто-либо, нелепые стороны оперы и даже некоторые погрешности в музыке. Он и сам бывал иногда не слишком почитителен к общепризнанным корифеям. Но он и не притязал на непогрешимую последовательность и чисто французскую логику. Кристоф принадлежал к числу людей, которые сами охотно подмечают ошибки тех, кого любят, но не позволяют этого другим. Впрочем, одно дело критиковать большого мастера, даже самым резким образом, как это умел делать Кристоф, движимый слишком пламенной верой в искусство и даже, пожалуй, слишком нетерпимой любовью к славе своего кумира, когда не прощаешь ничего посредственного, и другое — критиковать его, лишь бы попасть в тон низменным вкусам публики, как это делал Леви-Кэр, и смешить галерку за счет великого художника. Кроме того, каковы бы ни были оценки Кристофа, существовала музыка, которой он втайне стводил особое место и которой не позволял касаться, — та музыка, которая была не просто музыкой, а больше и лучше ее — музыкой, созданной великой благодетельной душой, источником утешения, силы и надежды. Такова была музыка Бетховена. И то, что какой-то пошляк смеет поносить ее, выводило Кристофа из себя. Это был уже не вопрос искусства, а дело чести; речь шла обо всем, что придает жизни ценность: о любви, героизме, пылкой добродетели — здесь все ставилось на карту, и нельзя было допускать никаких посягательств на эту музыку, как нельзя в своем присутствии допускать, чтобы оскорбляли почитаемую и любимую женщину, — оскорбитель вызывает ненависть, и его убивают. А в данном случае оскорбителем являлся человек, которого из всех людей на земле Кристоф презирал больше всех!

Судьбе было угодно, чтобы в тот же вечер они встретились лицом к лицу.

Не желая оставаться наедине с Оливье, Кристоф против обыкновения отправился на вечер к Руссэнам. Его попросили сыграть. Он сел за рояль с неохотой. Через несколько минут, уже поглощенный музыкой, он случайно поднял глаза и заметил в нескольких шагах от себя, среди группы гостей, Люсьена Леви-Кэра,

насмешливо наблюдавшего за ним. Кристоф оборвал игру на половине такта. И, встав, повернулся спиной к роялю. Наступило недовкое молчание. Удивленная, с натянутой улыбкой, г-жа Руссэн подошла к Кристофу; она не знала — может быть, пьеса уже кончилась, — и осторожно спросила:

— Что же вы не продолжаете, господин Крафт?

— Я кончил, — сухо отозвался он.

Но едва он произнес эти слова, как понял совершенную им оплошность; однако, вместо того чтобы обраться, он еще больше обозлился. Не обращая внимания на иронические взгляды слушателей, он ушел в дальний угол гостиной, откуда мог наблюдать за Леви-Кэром, и уселся там. Его сосед, старый генерал с водянисто-голубыми глазами и ребячливым выражением розового и сонного лица, счел своим долгом похвалить оригинальность сыгранной пьесы. Кристоф поклонился и что-то недовольно пробурчал в ответ. Генерал, однако, продолжал говорить чрезвычайно вежливо, с той же кроткой и невыразительной улыбкой: он хотел бы знать, каким образом Кристоф умудряется запоминать наизусть целые страницы нот. А Кристоф спрашивал себя, не спихнуть ли ему несносного старичка с дивана. Он старался расслышать слова Леви-Кэра, ища повода, чтобы на него накинуться. Вот уже несколько минут, как Кристоф чувствовал, что сейчас совершит глупость, но ничто на свете не могло бы его остановить. А тем временем Леви-Кэр своим тонким, писклявым голосом разъяснял группе дам скрытые побуждения великих музыкантов и их помыслы. Среди наступившего молчания Кристоф услышал, как он игриво намекает на дружбу Вагнера с королем Людовиком.

— Довольно! — заорал Кристоф, ударив кулаком по стоявшему рядом столику.

Все обернулись, пораженные. Леви-Кэр встретился взглядом с Кристофом и, слегка побледнев, сказал:

— Вы ко мне обращаетесь?

— К тебе, собака! — отозвался Кристоф.

И вскочил.

— Ты не можешь не пачкать все, что есть в мире

великого! — продолжал он в бешенстве. — Вон отсюда, шут, или я швырну тебя в окно!

И направился к нему. Дамы попятились с испуганными восклицаниями, произошло некоторое замешательство. Кристофа окружили. Люсьен Леви-Кэр привстал было, затем снова опустился в кресло, приняв ту же небрежную позу. Он подозревал вполголоса проходившего мимо слугу и вручил ему свою визитную карточку; затем продолжал беседовать, как ни в чем не бывало; однако веки его нервно вздрагивали, и он, растерянно моргая, украдкой поглядывал на окружающих. Руссэн же, решительно став перед Кристофом и держа его за лацканы фрака, подталкивал музыканта к двери. Охваченный яростью и стыдом, Кристоф, опустив голову, разглядывал широкий пластрон белой рубашки хозяина дома и пересчитывал брильянтовые запонки на нем; он чувствовал на своем лице отрывистое дыхание толстяка.

— Послушайте, дорогой мой, послушайте, — говорил Руссэн, — что это на вас нашло? Разве так поступают! Нужно, черт возьми, владеть собой! Вы забыли, где вы? Или вы спятили?

— Будь я проклят, если когда-нибудь переступлю ваш порог! — сказал Кристоф вырываясь. И направился к двери.

Гости из осторожности расступились перед ним. В прихожей слуга подошел к нему с подносом: на нем лежала визитная карточка Леви-Кэра. Кристоф, не понимая, в чем дело, взял ее, прочел вслух, потом, задыхаясь от гнева, принялся шарить по карманам, извлек оттуда самые разнообразные предметы и в числе их три-четыре грязных и смятых карточки.

— Нате! Нате! Нате! — буркнул он и швырнул их на поднос с такою силой, что одна упала на пол.

Затем вышел.

Оливье ни о чем не подозревал. Кристоф взял себе секундантами первых попавшихся знакомых: музыкального критика Теофиля Гужара и одного немца, доктора Барта, приват-доцента швейцарского университета, с которым он встретился как-то вечером в пивной и завязал

знакомство, хотя доктор не слишком ему нравился. Но с ним Кристоф мог вспоминать свою родину. В результате переговоров с секундантами Люсьена Леви-Кара было решено стреляться на пистолетах. Кристоф в равной мере не умел владеть ни одним из видов оружия, и Гужар посоветовал ему отправиться в тир, чтобы предварительно взять несколько уроков стрельбы. Кристоф отказался и в ожидании завтрашнего дня снова засел за работу.

Однако он был рассеян. Точно в тяжелом сне, смутная, но настойчивая мысль неотступно сверлила ему мозг: «Неприятно... очень неприятно... Но что же? Ах да, эта завтрашняя дуэль... Вздор! Обычно стреляют в воздух... А все-таки бывает... И тогда что? Вот в этом-то все и дело... Этот мерзавец нажмет пальцем — и одним движеньем может вычеркнуть меня из числа живых... Ах, вздор! Да, завтра, может быть послезавтра, я уже буду лежать в этой вонючей земле. Ну, не все ли равно, здесь или где-нибудь в другом месте! Что это? Неужели я трус? Нет, но было бы слишком гнусно, если из-за какой-то глупости погибнет целый мир мыслей, которые зреют во мне... К черту эту современную дуэль, в которой будто бы шансы противников равны! Хорошо равенство, когда жизнь негодяя ценится наравне с моею! Почему нам не дают драться дубинками и кулаками? Одно удовольствие! Но холодно-кровный расстрел! И эта скотина, разумеется, умеет стрелять, а я никогда пистолета в руках не держал. Секунданты правы — нужно подучиться... Он хочет меня убить? Ну, так я его убью!»

Кристоф вышел на улицу. В нескольких шагах от дома, где он жил, находился тир. Кристоф попросил дать ему пистолет и объяснить, как с ним обращаться. Первым выстрелом он чуть не убил заведующего тиром; выстрелил еще два-три раза, но все так же безуспешно. Тогда он развезлился. Дело шло все хуже и хуже. Несколько молодых людей, находившихся тут же, начали смеяться. Он не обращал на них внимания. Он был так равнодушен к их насмешкам и с такой решимостью старался добиться своего, что, как это часто бывает, зрители скоро заинтересовались этим неловким, но тер-

пеливым упрямцем. Кто-то стал давать ему советы. И Кристоф, обычно столь резкий, выслушал их, как пскорный ребенок: он старался сдержать нервную дрожь руки; напрягался, сдвинув брови; по лицу его лил пот; он не произносил ни слова; время от времени в нем снова вспыхивал гнев; потом он опять принимался за стрельбу. Два часа пробыл Кристоф в тире. И через два часа уже попадал в цель. Это упорство, подчинявшее себе непокорное тело, потрясло зрителей и внушило им невольное уважение. Насмешники частью разошлись, частью смолкли, но никак не могли оторваться от захватившего их зрелища. Когда Кристоф уходил, они дружески раскланялись с ним.

Вернувшись домой, Кристоф застал у себя добряка Мооха, который в тревоге дожидался его. Мооху уже было известно о столкновении Кристофа с Леви-Кэром; он хотел узнать причину их ссоры. Несмотря на недомолвки Кристофа, не желавшего обвинять Оливье, Моох в конце концов догадался. Как человек хладнокровный и к тому же хорошо знавший обоих друзей, он понял, что Оливье неповинен в том маленьком предательстве, в котором его обвинял Кристоф. Он расследовал всю эту историю и без труда установил, что все зло произошло от сплетен Колетты и Леви-Кэра. Тогда он поспешно вернулся к Кристофу с неоспоримыми доказательствами, воображая, что таким образом можно предотвратить дуэль. Однако произошло как раз обратное: узнав, что из-за Леви-Кэра он усомнился в своем друге, Кристоф еще больше обозлился. Чтобы отделаться от Мооха, заклинавшего его не драться, он обещал тому все, что угодно. Но решение его осталось неизменным. Теперь он даже был рад: он будет стреляться, защищая Оливье, а не себя.

Замечание, брошенное одним из секундантов, когда экипаж катил по дороге через лес, вдруг насторожило Кристофа. Он попытался отгадать их мысли и понял, что они к нему глубоко равнодушны. Доктор Барт считывал, в котором часу он освободится и успеет ли, вернувшись, закончить работу, начатую им в отделе

рукописей Национальной библиотеки. Из трех спутников Кристофа он больше всех был озабочен исходом дуэли из чисто германского самолюбия. Гужар не интересовался ни Кристофом, ни другим немцем и беседовал с доктором Жюльеном на скабрзные медицинские темы. Это был молодой врач из Тулузы; он некогда жил дверь в дверь с Кристофом и занимал у него то спиртовку, то зонтик, то кофейные чашки и все предметы неизменно возвращал в негодном для употребления виде. Взамен он бесплатно лечил Кристофа, испытывал на нем новые препараты и забавлялся его наивностью. Под внешностью невозмутимого кастильского идаляго жила неистребимая страсть к зубоскальству. Сейчас врачу страшно нравилось это приключение, казавшееся ему нелепым, и он заранее представлял себе все промахи неловкого Кристофа. Он находил очень приятной прогулку в экипаже по лесу и притом за счет добряка Крафта. Видимо, эта мысль преобладала у всего трио: инцидент сводился для них к веселой загородной поездке, вдобавок еще даровой. Ни один не относился к этой дуэли серьезно. Впрочем, они спокойно приготовились к любым случайностям.

На место условленной встречи они приехали первыми. Рядом был скрытый в лесной чаще грязноватый ресторанчик, куда парижане приезжали покурить и смыть пятна со своей чести. Изгороди были сплошь из цветущего шиповника. В тени дубов с бронзовой листвой стояли столики. За одним сидело трое велосипедистов: набеленная женщина в штанах и черных носочках и двое мужчии в фланелевых костюмах, одуревшие от жары и издававшие время от времени только какое-то хрюканье, точно они уже давно разучились говорить.

Приезд Кристофа вызвал в публике некоторое оживление. Гужар, который давно знал и этот ресторанчик и хозяев, заявил, что все берет на себя. Барт увлек Кристофа в беседку и заказал пива. Необычайно теплый воздух был полон жужжания пчел. Кристоф чуть не забыл, для чего сюда приехал. Барт, выливая себе в стакан остатки пива, сказал после минутного молчания:

— Я знаю, что я сделаю!

Он выпил и продолжал:

— У меня еще останется время: успею съездить в Версаль.

До них доносился голос Гужара, раздраженно торговавшегося с хозяйкой относительно цены за место для дуэли. Жюльен не терял времени: проходя мимо велосипедистов, он шумно восхитился голыми икрами дамы; воспоследовал поток непристойных восклицаний, причем Жюльен не отставал от остальных. Барт сказал вполголоса:

— Французы отвратительны. Пью за твою победу, брат.

Он коснулся стаканом стакана Кристофа. А Кристоф грезил, — гармонично жужжали насекомые, и в голове его проносились обрывки музыкальных фраз. Его клонило ко сну.

Подъехал второй экипаж, под колесами заскрипел песок аллеи. Кристоф увидел Леви-Кэра с обычной улыбкой на бледном лице, и гнев снова овладел им. Он встал, Барт тоже.

Леви-Кэр, в тесном высоком воротничке, был одет с изысканностью, еще более подчеркивавшей небрежность одежды его противника. За ним из экипажа вышел граф Блох, спортсмен, известный своими любовными похождениями, коллекцией старинных дароносиц и ультрароялистскими взглядами; затем Леон Муэ — на него сейчас также была мода, — ставший депутатом благодаря своей литературной деятельности и литератором благодаря своему политическому честолюбию, — молодой, лысый, бритый, испитой, желчный, с птичьей головкой, длинноносый и круглоглазый; и, наконец, доктор Эммануэль, с тонким семитским лицом, приветливый и равнодушный, член Медицинской академии и директор одной из больниц, прославившийся как теоретик своими учеными трудами, а как врач — своим скептицизмом; он выслушивал с ироническим сочувствием жалобы своих пациентов и ничего не предпринимал, чтобы их вылечить.

Вновь прибывшие любезно раскланялись. Кристоф едва приподнял шляпу, но с досадой отметил угодность своих секундантов и их заискивающую любезность по отношению к секундантам Леви-Кэра. Жюльен был

знаком с Эммануэлем, а Гужар с Муэ, и они подошли к прибывшим, подобострастно улыбаясь. Муэ встретил их холодно и вежливо, а Эммануэль — с обычной насмешливой бесцеремонностью. Что касается графа Блоха, оставшегося подле Леви-Кэра, то он быстрым взглядом окинул сюртуки и белье представителей противного лагеря, а затем, почти не разжимая губ, стал перебрасываться короткими ироническими замечаниями с Леви-Кэром. Оба держались корректно и невозмутимо.

Леви-Кэр, сохраняя полнейшее спокойствие, ожидал знака графа, руководившего поединком. Он считал эту дуэль простой формальностью. Будучи сам превосходным стрелком и отлично зная, насколько неопытен его противник, он не задумался бы использовать свои преимущества и постарался бы попасть в Кристофа лишь в том случае (весьма, впрочем, маловероятном), если бы секунданты не соблюли равенства условий для обоих дуэлянтов. Леви-Кэр отлично понимал, что нельзя сделать большей глупости, чем превратить в жертву врага, которого гораздо безопаснее устранить без шума. Тем временем Кристоф сбросил куртку, расстегнул ворот рубашки на мощной шее и стоял в ожидании, опустив сильные руки, наклонив голову, впившись исподлобья жестким взглядом в Леви-Кэра; он собрал воедино всю свою энергию, каждая черта его лица совершенно явно выражала беспощадную волю к убийству; и граф Блох, наблюдавший за ним, невольно подумал, что цивилизация сделала, к счастью, все возможное, чтобы свести на нет опасности дуэли.

После того как противники обменялись выстрелами, — разумеется, без всякого результата, — секунданты бросились их поздравлять. Честь была удовлетворена. Но не Кристоф. Он все еще стоял на месте, держа в руке пистолет, и никак не мог поверить, что все уже кончилось. Он охотно согласился бы остаться здесь, как вчера в тире, до тех пор, пока чья-нибудь пуля не попадет в цель. Когда до него дошли слова Гужара, предлагавшего ему пожать руку своему противнику, который с рыцарским великодушием уже сделал несколько шагов ему навстречу, улыбаясь своей неизменной улыбкой, — вся эта комедия возмутила его. В бешенстве отбро-

сил он свое оружие, оттолкнул Гужара и ринулся на Леви-Кэра. Его едва удалось удержать от продолжения поединка с помощью кулаков.

Секунданты схватили его, а Леви-Кэр удалился. Кристоф вырвался и, не слушая их шуток и упреков, крупными шагами направился в лес — он разговаривал вслух с самим собой и яростно жестикулировал. Кристоф не заметил, что оставил на месте поединка пиджак и шляпу. Он углубился в лес. До него доносились голоса секундантов, со смехом звавших его; потом им надоело, и они махнули на него рукой: по стуку удалявшихся экипажей он понял, что они уехали. Он остался один среди безмолвных деревьев. Его ярость улеглась. Он бросился наземь и зарылся лицом в траву.

Вскоре к ресторанчику подъехал Моох. Он с утра гонялся за Кристофом. Ему сказали, что его друг ушел в лес. Моох отправился на поиски, но тщетно он обшаривал кусты и звал Крафта; только уже возвращаясь обратно, он услышал его пение; Моох пошел на голос и, наконец, обнаружил музыканта на маленькой лужайке: задрав ноги, Кристоф катался по траве, как теленок. Увидев Мооха, Кристоф весело окликнул его, назвал «своим старым Молохом», заявил, будто насквозь изрешетил противника, заставил старика играть с ним в чехарду и прыгать; прыгая, он награждал Мооха звучными шлепками. Несмотря на свою неуклюжесть, добродушный Моох веселился, пожалуй, не меньше, чем Кристоф. Затем они под руку вернулись в ресторан и на ближайшей станции сели в поезд.

Оливье пребывал в полном неведении относительно происшедшего. Его удивила внезапная нежность Кристофа. Он никак не мог понять причины всех этих перемен. Лишь на другой день он узнал из газет, что Кристоф дрался на дуэли, и чуть не заболел, представив себе опасность, которой подвергался его друг. Он спросил, из-за чего была дуэль. Кристоф не хотел говорить. Наконец, после долгих приставаний он заявил смеясь: — Из-за тебя.

Но больше Оливье ничего не добился от Кристофа. Все рассказал ему Моох. Оливье, охваченный негодованием, порвал с Колеттой и умолял Кристофа простить

его неосторожность. Но Кристоф, как всегда неисправимый, привел ему старинную французскую поговорку, хитроумно перефразировав ее, чтобы позлить Мооха, который сидел тут же, счастливый счастьем примирившихся друзей:

— Мой малыш, это тебе впредь наука:

От бабы ленивой да болтливой,
От еврея хитрого,
От друга двуличного,
От врага давнишнего,
От вина прокисшего
*Libera nos, Domine*¹.

Дружба между Кристофом и Оливье возобновилась. И оттого, что они чуть было не утратили ее, их близость стала им еще дороже. Малейшие недоразумения исчезли: даже несходство в характерах казалось им теперь милым. Кристоф как бы вмещал в своей душе душу двух родин, гармонически слившихся друг с другом. Он чувствовал, что его сердце полно и богато; и это блаженное изобилие изливалось, как обычно, ручьем музыки.

Оливье восхищался. При своем неудержимом скептицизме он уже готов был утверждать, что обожаемая им музыка сказала свое последнее слово. Его преследовала нездоровая мысль, что на известной ступени развития любой прогресс роковым образом сменяется упадком, и он ожидал со страхом, что это прекрасное искусство, ради которого он любил жизнь, вдруг иссякнет, исчезнет, как вода, впитанная землей. Кристоф смеялся над этими малодушными опасениями. Из духа противоречия он утверждал, что еще ничего не было сделано до него и все еще впереди. Оливье приводил ему в пример французскую музыку, которая как будто достигла предельного совершенства и утонченности, и дальше идти ей некуда. Кристоф пожимал плечами.

— Французская музыка? Да ее еще и не было... А ведь сколько прекрасного вы можете сказать миру! И если вы сами еще не поняли этого, значит вы просто не музыканты. Ах, будь я французом!

¹ Избави нас, господи! (лат.)

И он начал перечислять все, что мог бы написать француз.

— Вы держитесь за жанры, которые созданы не для вас, и не делаете ничего, что соответствует вашему гению. Вы — народ, рожденный для изящного, для светской поэзии, для красоты жестов, движений, поз, моды, одежды, а у вас больше не пишут балетов, тогда как могли бы создать неподражаемое искусство поэтического танца. Вы — народ умного смеха, а вы больше не пишете комических опер или предоставляете этот жанр самым низкопробным музыкантам. Ах, будь я французом, я бы оркестровал Рабле, творил бы эпопеи-буфф... У вас лучшие в мире романисты, а вы не сочиняете романов в музыке (ибо фельстоны Гюстава Шарпантье я таксовыми не считаю). Вы не используете свой дар психологического анализа, проникновения в характеры. Ах, будь я французом, я бы писал музыкальные портреты! Хочешь, я сделаю тебе набросок с той девушки, которая сидит вон там в саду под сиренью? Я бы переложил Стендаля для струнного квартета. Вы — первая демократия в Европе, и у вас нет народного театра, нет народной музыки. Ах, будь я французом, я бы переложил на музыку вашу Революцию: четырнадцатое июля, десятое августа, Вальми, Федерацию, я всю жизнь народную переложил бы на музыку! Нет, конечно, не в фальшивом стиле Вагнеровых декламаций. Я хочу симфоний, хоров, танцев. Никаких речей! Хватит с меня. Молчите, слова! Писать широкими мазками огромные симфонии с хорами, необъятные пейзажи, гомеровские и библейские эпопеи, землю, огонь, воду, сияющее небо, жар сердец, зов инстинктов, судьбы целого народа, утверждать торжество Ритма, этого властителя вселенной, который подчиняет себе миллионы людей и гонит их армии на смерть... Музыка всюду, музыка во всем. Будь вы музыкантами, у вас была бы особая музыка для каждого вашего общественного праздника, для ваших официальных церемоний, для ваших рабочих корпораций, для ваших студенческих союзов, семейных торжеств. Но прежде всего, будь вы музыкантами, вы писали бы чистую музыку, музыку, которая ничего не хочет сказать, музыку, которая гонится только на то, чтобы согреть

душу, облегчать дыхание, жизнь. Создавайте солнце! Sat prata!¹ (Кажется, так по-латыни?) Довольно с вас дождей. У меня насморк делается от вашей музыки. Света не видно: пора опять зажечь фонари... Вы теперь жалуетесь на итальянские роccheie², которые наводняют ваши театры, переманивают вашу публику и выгоняют вас из вашего собственного дома! А кто виноват? Публика устала от вашего сумеречного искусства, от ваших неврастенических гармоний, от вашего педантического контрапункта. Она идет туда, где жизнь — пусть самая грубая, но жизнь! Почему вы отстраняетесь от нее? Ваш Дебюсси — большой мастер, но он вреден вам. Он еще больше убаюкивает вас. А вас нужно хорошенько встряхнуть.

— Ты хочешь навязать нам Штрауса?

— Отнюдь. Он бы вас окончательно разрушил. Нужно иметь желудок моих соотечественников, чтобы переварить его излишества. И даже они не выдерживают их. «Саломея» Штрауса! Действительно, шедевр!.. Не хотел бы я быть ее автором! Я вспоминаю, как мой бедный дедушка и дядя Готфрид рассказывали мне с почтением и трогательной любовью о прекрасном искусстве звуков! Владеть этими божественными силами и так злоупотребить ими! Метеор, поджигающий дома! Изольда в образе еврейской проститутки! Мучительная и скотская похоть, жажда убийства, насилия, порока, преступлений — вот угроза, которая таится в бездне германского декадентства! А у вас — в вашем французском декадентстве — спазмы сладострастного самоубийства. У нас — зверь, у вас — добыча! Где же человек?.. Ваш Дебюсси — гений хорошего вкуса; Штраус — дурного. Первый очень слащав. Второй очень неприятен. Первый — это серебристый пруд, заросший осокой и издающий тлетворный аромат, второй — грязный поток. Ах, как он отдает низкопробной итальянщиной и неомейерберовщиной; какие отбросы чувств несет эта пена! Гнусный шедевр! Саломея, дочь Изольды... Интересно, чьей матерью станет Саломея?

¹ Довольно лугов! (лат.)

² свинства (итал.).

— Да, — сказал Оливье, — я хотел бы жить на полвека позднее. Ведь конь мчится к пропасти, и это должно так или иначе кончиться, остановится ли он, или сорвется вниз. Тогда мы вздохнем свободно. К счастью, земля не перестанет цвести, будет музыка или ее не будет. На что нам это бесчеловечное искусство? Запад сжигает себя. Скоро... Скоро... Я вижу другие огни, они поднимаются из глубин Востока.

— Ах, оставь, пожалуйста, твой Восток! — сказал Кристоф. — Запад еще не сказал своего последнего слова. Напрасно ты думаешь, что я от него стрекаюсь! С меня хватит еще на века. Да здравствует жизнь! Да здравствует радость! Да здравствует битва с нашей судьбой! Да здравствует любовь, от которой ширится сердце! Да здравствует дружба, которая согревает нашу веру, — дружба, которая сладостнее любви! Да здравствует день! Да здравствует ночь! Слава солнцу! *Laus Deo*¹, богу мечты и действия, богу, сотворившему музыку! Осанна!

Тут он сел за свой стол и начал записывать все, что приходило ему в голову, уже забыв свою длинную речь.

В ту пору Кристоф был в полном расцвете и равновесии всех своих сил и способностей. Он мало придавал значения эстетическим спорам о ценности той или иной музыкальной формы и рассудочным поискам нового; ему даже не приходилось делать никаких усилий, чтобы находить сюжеты для своей музыки. Все годилось. Поток музыки лился непрерывно, и Кристоф даже не знал, какие именно чувства он выражает. Он был счастлив — вот и все, счастлив оттого, что мог излить себя в этом потоке, счастлив, что слышит в себе биение вселенской жизни.

Эта радость, эта душевная полнота сообщались и окружающим.

Дом, с огороженным со всех сторон садиком, был тесен для Кристофа. Правда, из сада калитка вела в

¹ Слава богу (лат.).

монастырский парк с широкими аллеями и вековыми деревьями; но все это было прекрасно, слишком прекрасно, и долго это длиться не могло. Как раз напротив его окна строился шестиэтажный дом, который должен был скоро все заслонить и окончательно замуровать Кристофа. Он имел удовольствие слышать каждый день с утра до вечера, как скрежещут блоки, как рабочие долбят камень, прибавляют доски. Он вскоре обнаружил здесь своего приятеля — кровельщика, с которым некогда познакомился на крыше. Они издали обменивались кивками, выражавшими взаимное расположение. Встретив его однажды на улице, Кристоф даже повел кровельщика в винный погребок, где они вместе выпили, чем Оливье был весьма удивлен и даже несколько шокирован. А Кристофа забавлял смешной жаргон кровельщика, его неистощимое благодушие. Тем не менее он проклинал и своего знакомого и всю компанию этих муравьев, возводивших перед ним заслон, который лишал его дневного света. Оливье не жаловался: он готов был довольствоваться и стенами вместо горизонта, — это напоминало ему печь Декарта, откуда стесненная мысль тем стремительнее рвется в свободные небеса. Но Кристофу необходим был воздух. Зажатый в этом тесном углу, он тем охотнее общался с окружающими его людьми. Он впивал в себя их души, перекладывал на музыку. Оливье уверял, что Кристоф похож на влюбленного.

— Ах, если бы это было так! — отвечал Кристоф. — Я бы ничего не видел, ничем бы не интересовался, кроме моей любви.

— Тогда что же с тобой?

— Просто я здоров, и у меня прекрасный аппетит.

— Какой ты счастливый, Кристоф, — вздыхал Оливье. — Уступи нам хоть немного своего аппетита.

Здоровье так же заразительно, как и болезнь. И Оливье на себе испытал этот благодетельный закон. Именно силы ему больше всего и не хватало. Он удалялся от общественной жизни, потому что ее грубость и вульгарность возмущали его. При широком уме и незаурядных художественных данных он был слишком утончен, чтобы стать большим мастером. Крупные художники не испытывают отвращения к жизни; основной

закон для каждого здорового существа — это воля к жизни; и когда это существо — гений, она особенно могущественна, ибо гений живет гораздо интенсивнее обыкновенного человека. Оливье бежал от жизни, предпочитая плавать в море поэтических вымыслов, бестелесных, бесплотных, нереальных; он принадлежал к числу тех представителей избранной интеллигенции, которые в поисках красоты устремляются либо в далекое прошлое, либо в царство фантазии! Как будто волшебный напиток жизни не был сегодня таким же опьяняющим, каким был когда-то! Но усталые души избегают непосредственного соприкосновения с жизнью; они терпят ее, только когда она укрыта туманом миражей, созданных отдаленностью прошлого и отзвучавшими словами тех, кто давно исчез. Дружба Кристофа помогала Оливье выбраться из мрачного преддверия искусства. И солнце уже проникало в темные закоулки его души.

Инженер Эльсберже также заразился оптимизмом Кристофа. Однако в его привычках не было заметно никакой перемены; и нечего было рассчитывать на то, что в его характере, наконец, появится предприимчивость и он уедет из Франции искать счастья в другой стране. Это значило бы требовать слишком многого. Все же его апатия начинала проходить; в нем снова проснулся вкус к изысканиям, к лекциям, к своим научным работам, которые он давно забросил. Эльсберже очень удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что он обязан Кристофу этим возрождением интереса к своей профессии; и больше других удивился бы, конечно, сам Кристоф.

Из всех жильцов дома Кристоф быстрее всего сошелся с молодой четой, жившей на третьем этаже. Проходя мимо их квартиры, он не раз прислушивался к доносившимся оттуда звукам рояля, на котором г-жа Арно, оставшись в одиночестве, играла с большим вкусом. Однажды он послал им билеты на свой концерт. Арно горячо поблагодарили его. С тех пор он стал иногда заходить к ним по вечерам. Однако ни разу не удалось ему во время этих посещений послушать игру хозяйки: она была слишком робка, чтобы сесть за рояль при посторонних, а узнав, что ее слышно с лестницы, стала вообще

играть под сурдинку. Но Кристоф, придя к ним, сам сел за рояль; потом они долго разговаривали о музыке. Супруги Арно вносили в эти беседы восхищавшую Кристофа юношескую пылкость. Он раньше даже не представлял себе, что французы могут так сильно любить музыку.

— Ведь ты встречался до сих пор только с музыкантами, — возражал ему Оливье.

— Я отлично знаю, — отвечал Кристоф, — что музыканты меньше всего любят музыку; но, пожалуйста, не уверяй меня, что во Франции такие люди, как ты и Арно, — обычное явление.

— Таких тысячи.

— Значит, это просто эпидемия, последняя мода?

— Нет, не мода, — заметил Арно. — «Если кто-нибудь, внимая сладостной гармонии инструментов или нежным звукам человеческого голоса, не радуется, не возмущается и не трепещет с головы до ног, восхищенный и как бы ставший вне себя, это верный знак того, что душа у него лживая, порочная и развращенная и следует его остерегаться, как рожденного под недоброй звездой...»

— Знаю, откуда это, — заявил Кристоф, — из моего друга Шекспира.

— Нет, — мягко возразил Арно, — это сказал наш Ронсар, который жил до Шекспира. Как видите, для Франции это довольно старая мода.

Но еще больше, чем любви французов к музыке, Кристоф удивлялся тому, что и любят-то они примерно ту же музыку, что и немцы. В среде парижских музыкантов и снобов, которых он только и видел до сих пор, считалось хорошим тоном относиться к немецким мастерам, как к знатым иностранцам, и, восхищаясь ими, все же держать их на расстоянии; здесь охотно иронизировали над тяжеловесностью Глюка и варварством Вагнера; им противопоставлялась французская утонченность. И Кристоф, ознакомившись ближе с французской манерой исполнения, в конце концов усомнился, да понимают ли вообще во Франции немецкую музыку. Однажды он вернулся с постановки Глюка просто возмущенный: эти ловкачи-французы ухитрились поддурманить грозного старца! Они принарядили его, украсили бантами, обло-

жили ватой его суровые ритмы, уснастили его музыку импрессионистскими полутонами, изощренной порочностью! Бедный Глюк! Что осталось от его горячего красноречия, душевной чистоты, неприкрытых мук? Неужели французы неспособны почувствовать все это? — думал тогда Кристоф. А теперь он открыл в сердце своих новых друзей глубокую и нежную любовь к самому сокровенному, что было в германской душе, в старых *Lieder*, в немецких классиках. И он спросил: так, значит, неправда, что эти немцы им чужды и что француз может любить только мастеров своей нации?

— Неправда! — горячо запротестовали они. — Это наши критики берут на себя смелость писать от нашего имени. И так как они сами раболепствуют перед модой, то утверждают, что и мы следуем их примеру. Но нам до них так же мало дела, как и им до нас. Это просто шуты гороховые, которые берутся учить нас тому, что следует считать французским и что нет. Нас, французов старой Франции! Они объясняют нам, что наша Франция — это Рамо или Расин, а не кто-либо другой! Как будто Бетховен, Моцарт или Глюк не приходили посидеть и у нашего камелька, не проводили бессонных ночей у постели наших близких, не страдали вместе с нами, не воскрешали наших надежд! Как будто они не стали своими в нашей семье! Если говорить начистоту, то уж скорее какой-нибудь французский художник, столь превозносимый нашими парижскими критиками, чужд нам.

— Правда заключается в том, — сказал Оливье, — что если для искусства и существуют границы, это не столько преграды национальные, сколько преграды классовые. Я не знаю, существует ли особое французское искусство и особое немецкое, но я знаю, что есть искусство богатых и искусство тех, у кого нет богатства. Глюк — великий человек из буржуазной среды, он принадлежит к нашему классу. А некий французский композитор, которого я не хочу называть, к нему не принадлежит; и хотя он родился в семье буржуа, он стыдится нас, отрекается от нас; а мы, мы отрекаемся от него.

Оливье был прав. Чем больше Кристоф узнавал французов, тем больше поражался сходству между честными французами и честными немцами. Чета Арно напоминала ему дорогого старого Шульца с его любовью к искусству, такой чистой, такой бескорыстной, с его самозабвенной преданностью всему прекрасному. И он полюбил их в память Шульца.

Убедившись в нелепости моральных преград между честными людьми разных национальностей, Кристоф увидел также, насколько нелепы преграды, возникающие между честными людьми одной и той же национальности, но разных взглядов. Благодаря ему, хотя и без его стараний, два человека, казавшиеся особенно чуждыми друг другу и неспособными к взаимопониманию — аббат Корнель и г-н Ватлэ, — познакомились и сошлись ближе.

Кристоф брал у обоих книги и с бесцеремонностью, шокировавшей Оливье, передавал книги одного — другому. Аббат Корнель этим не возмущался: он умел проникать в людские сердца и, незаметно для своего молодого соседа, угадал в душе Кристофа всю глубину его великодушия и даже неведомой самому музыканту религиозности. Сближение началось с взятой у г-на Ватлэ книжки Кропоткина, которую — правда, по разным причинам — любили все трое. Однажды аббат и г-н Ватлэ случайно встретились у Кристофа. Сначала Кристоф опасался, как бы его гости не наговорили друг другу каких-нибудь колкостей. Но те, наоборот, были друг с другом чрезвычайно любезны. Они беседовали на самые безобидные темы: о своих путешествиях, о встречах с людьми. И открыли друг в друге сердце, исполненное снисхождения, евангельской кротости и несбыточных надежд, хотя особых оснований для надежд у них не было. И между ними возникла взаимная, чуть ироническая симпатия, но симпатия очень сдержанная. Никогда не касались они сути своих верований. Виделись редко и не искали встреч, но когда встречались, то оба испытывали удовольствие.

Оказалось, что аббат обладал большей внутренней независимостью, чем г-н Ватлэ. Кристоф никак этого не

ожидал. Перед ним понемногу раскрывалось величие религиозного и свободного мышления аббата, его мощный и светлый мистицизм, лишенный всякой горячности, понизывавший все помыслы священника, все поступки его повседневной жизни, все его представления о вселенной и побуждавший его жить во Христе, как, согласно его вере, Христос жил в боге.

Он ничего не отрицал — ни одной из сил, действующих в жизни. Для него все писания, древние и современные, религиозные и светские, от Моисея до Бертело, были достоверными, божественными, были проявлением бога. Священное писание являлось только одним из наиболее ярких образцов такого рода, подобно тому как церковь была наиболее высокой избранницей объединившихся в боге братьев; но ни Писание, ни церковь не замыкали дух в косной истине. Христианство было для него живым Христом. История мира была только историей неуклонного роста и расширения идеи божьей. Разрушение Иерусалимского храма, гибель языческого мира, неудача крестовых походов, пощечина Бонифация VIII, Галилей, бросивший нашу землю в беспредельные пространства, мощь бесконечно малых частиц по сравнению с большими, конец королевской власти и конкордатов, — все это на время сбивало с пути сознание людей. Одни с отчаянья цеплялись за то, что было обречено на гибель, другие хватались за какую-нибудь случайную доску и плыли по воле волн. Аббат Корнель только спрашивал себя: «Что сейчас исповедуют люди? Что помогает им жить?» — ибо верил: «Где жизнь, там и бог». Вот почему он почувствовал симпатию к Кристофу.

Со своей стороны и Кристоф с радостью слушал прекрасную музыку, какой полна возвышенная религиозная душа. Она будила в нем отдаленные и глубокие отзвуки. Случилось так, что вследствие его постоянного стремления живо отзываться на всё — у сильных натур подобные реакции — это инстинкт жизни, инстинкт самосохранения, как бы тот удар весла, который восстанавливает равновесие и дает лодке новое направление, — омерзительный парижский сенсуализм и неудержимый рост скептицизма вот уже два года как воскресили бога в сердце Кристофа. Не то чтобы он поверил в него. Он

отрицал бога. Но он был полон им. Аббат Корнель говорил ему, улыбаясь, что, подобно доброму великану, его патрону, он, сам того не ведая, несет бога в себе.

— Почему же я не вижу его? — спрашивал Кристоф.

— Вы — как миллионы других людей: вы видите его каждый день, хотя и не подозреваете, что это он. Бог открывается под самыми различными формами: одним — в повседневной жизни, как святому Петру в Галилее; другим (например, вашему другу Ватлэ) — как святому Фоме, в осызаемых ранах и в бедах, которые нужно исцелять; вам — в величии вашего идеала: «*Noli me tangere*»¹. Наступит день — и вы узнаете его.

— Никогда я не отрекусь от своих взглядов, — отвечал Кристоф. — Я свободный человек!

— А с богом вы еще свободнее! — спокойно отвечал священник.

Но Кристоф не допускал, чтобы из него можно было сделать христианина помимо его воли. Он защищался с наивной горячностью, как будто тот или иной ярлык, наклеенный на его мысли, мог что-либо изменить. Аббат Корнель слушал его с легкой, едва уловимой, чисто пастырской иронией и с большой добротой: у него был неиссякаемый запас терпения, вошедшего, как и вера, в его плоть и кровь. Испытания, постигавшие современную церковь, закалили его; хотя они повергли его в искреннюю печаль и заставили пережить мучительные душевные потрясения, они не затронули глубин его веры. Конечно, тяжело было сознавать, что начальники притесняют тебя, что епископы следят за каждым твоим шагом, что свободомыслящие стараются воспользоваться твоими взглядами и борются твоим же оружием против твоей веры, что ты не понят и преследуем и твоими единовверцами и врагами твоей религии. Противиться невозможно, ибо нужно покоряться. Но покоряться искренно тоже невозможно, ибо знаешь, что старшие ошибаются; поэтому нельзя молчать. И нельзя говорить — из страха быть понятым неправильно. Тем более, если иметь в виду другие души, за которые отвечаешь, которые ждут от

¹ Не прикасайся ко мне (лат.).

тебя совета, помощи и чьи страдания ты видишь. Аббат Корнель страдал вдвойне — за них и за себя, но все-таки смирялся. Что значат в сравнении с многовековой историей церкви нынешние испытания? Однако, замыкаясь в безмолвной покорности, он как-то захирел, становился робким, боялся высказывать свои взгляды, а это затрудняло ему каждый шаг, и он все больше погружался в оцепенение. Он с грустью замечал это, но не боролся. Знакомство с Кристофом явилось для него огромной поддержкой. Тот юношеский пыл, тот дружеский и простодушный интерес, с каким отнесся к аббату его сосед, его вопросы, подчас даже слишком прямолинейные, действовали на аббата целительно. Кристоф уговаривал его возвратиться в общество живых.

Обер, электромонтер, встретился с аббатом у Кристофа. Увидев священника, он сделал невольный жест удивления. Ему трудно было скрыть свою неприязнь. Даже справившись со своим чувством, он продолжал испытывать какую-то неловкость в присутствии этого мужчины в юбке, этого непонятого существа. Все же влечение к разговорам с людьми воспитанными и образованными взяло верх над его неприязнью к духовенству.

Обера удивила та приветливость, какая установилась между Ватлэ и аббатом Корнелем; он был не менее поражен тем, что видит перед собой священника-демократа и революционера-аристократа. Это опрокидывало все его привычные представления. Обер тщетно искал, к каким бы категориям их отнести, ибо ему необходимо было классифицировать людей, чтобы понимать их. А к какой рубрике причислить мирное свободолюбие этого священника, который читал Анатоля Франса и Ренана и отзывался о них спокойно, метко и справедливо? В вопросах познания аббат взял себе за правило больше доверять людям науки, чем представителям власти. Он чтил власть, но считал, что наука — это более высокая ступень, ибо плоть, дух, милосердие и образуют три основных ступени божественной лестницы — лестницы Иакова. Разумеется, Обер, с его простодушием, даже не подозревал о возможности такой системы взглядов.

А аббат Корнель мягко говорил Кристофу, что Обер напоминает ему французских крестьян. Он как-то

присутствовал при одном весьма характерном эпизоде: молодая англичанка спрашивала у крестьян дорогу. Она говорила по-английски. Крестьяне слушали и не понимали. Потом они заговорили по-французски. И теперь она их не понимала. Тогда они поглядели на нее с состраданием, покачали головой и заметили, принимаясь за прерванную работу:

— Вот жалость-то! А еще такая красавица!

В первое время Обер, смущенный ученостью и изысканными манерами аббата и г-на Ватлэ, молчал, упиваясь их беседами. Понемногу он сам стал принимать участие в разговорах, уступая ребяческому желанию послушать и себя. И принялся выкладывать свои туманные идеи. Оба вежливо слушали и про себя улыбались. Восхищенный Обер этим не ограничился: он воспользовался, а потом и злоупотребил неисчерпаемым терпением аббата Корнеля и прочел ему свою писанину. Священник покорно слушал; ему было не очень скучно: ведь он слушал не столько слова, сколько человека. А когда Кристоф выразил ему свое соболезнование, он заметил:

— Пустяки! То ли приходится слышать!

Обер был благодарен г-ну Ватлэ и аббату Корнелю; и все трое, не слишком заботясь о том, чтобы уяснить себе в конце концов взгляды друг друга, прониклись взаимной привязанностью, хорошенько даже не зная почему. И были удивлены, заметив, что так близки. Никогда они не думали, что это возможно. Кристоф соединил их.

Он обрел чистых сердцем союзников в лице троих детей — двух девочек Эльсберже и приемной дочки г-на Ватлэ. Кристоф сделался их другом. Ему было жаль детишек — уж очень одиноко они жили. Постоянно рассказывая девочкам Эльсберже о неведомой маленькой соседке, он внушил им неудержимое желание познакомиться с нею. И теперь они сигнализировали друг другу в окно, обменивались торопливыми словами на лестнице. И в конце концов, при поддержке Кристофа, добились того, что им разрешили встречаться в Люксембургском саду. Кристоф, обрадованный успехом своей политики, решил присутствовать при их первой встрече; однако они держались смущенно и неестественно, не зная, что им

делать с этим неожиданным счастьем. Но Кристоф мгновенно растопил лед, придумал игры, заставил их бегать, догонять друг друга и сам бегал с таким увлечением, словно и ему было десять лет. Гуляющие с удивлением поглядывали на рослого малого, который бегал, кричал и прятался за деревьями от трех ловивших его девочек. Однако родители, с их обычной недоверчивостью, были весьма мало склонны к тому, чтобы встречи в Люксембургском саду повторялись слишком часто (ибо там было трудно следить за детьми). Тогда Кристоф устроил так, что майор Шабран, проживавший в квартире первого этажа, предложил детям играть тут же в саду, при доме.

С Шабраном Кристофа свел случай, который обычно идет навстречу тому, кто умеет им воспользоваться. Рабочий стол Кристофа стоял у окна. Однажды ветер унес несколько исписанных нотных листов в сад. Кристоф побежал за ними без шляпы, в чем был. Он думал, что ему откроет кто-либо из слуг. Но дверь отворила молодая девушка. Несколько смущенный, он объяснил ей цель своего посещения. Она улыбнулась и пригласила зайти; они вместе отправились в сад. Кристоф собрал свои листки и поспешил ретироваться. Девушка пошла проводить его, и тут они столкнулись с отставным офицером, который возвращался домой. Майор с удивлением взглянул на чудного гостя. Молодая девушка, смеясь, представила ему Кристофа.

— Ах, так это вы музыкант? — сказал офицер. — Очень рад! Мы с вами собратья.

Он пожал Кристофу руку. Затем они поговорили с дружелюбной иронией о концертах, которыми угощали друг друга: Кристоф на рояле, майор на флейте. Кристоф хотел уйти. Шабран удержал его; и они пустились в бесконечные рассуждения о музыке. Вдруг офицер предложил:

— Зайдемте ко мне. Посмотрите мои пушки.

Кристоф последовал за ним, удивляясь, зачем майору понадобилось знать его мнение о французской артиллерии. А тот, торжествуя, показал ему свои музыкальные каноны¹. Это были настоящие пьесы-ребусы, которые

¹ По-французски слово «канон» означает «пушка», а также «канон». — *Прим. ред.*

можно было играть с конца к началу или в четыре руки, причем один играл страничку сверху вниз, а другой — снизу вверх. Бывший воспитанник Политехнического института с детства чувствовал влечение к музыке. Однако больше всего любил он в музыке замысловатые эксперименты: она представлялась ему (ибо отчасти и была такою) блистательной игрой ума; и он ставил себе и решал задачи на всевозможные музыкальные построения — одно причудливее и бесцельнее другого. Разумеется, служба не позволяла ему отдавать много времени удовлетворению этой страсти, но, с тех пор как Шабран вышел в отставку, он целиком отдался ей; он вкладывал в эти занятия ту же энергию, с какой некогда преследовал в африканской пустыне племена негритянских царьков или ускользал от их засад. Кристоф нашел забавными его шарады и, в свою очередь, предложил еще более сложную. Офицер был в восторге; они начали состязаться в изобретениях и забрасывали друг друга музыкальными головоломками. Когда они наигрались всласть, Кристоф поднялся к себе. Но на следующее же утро он получил от соседа новую задачу, настоящий ребус, над которым майор просидел чуть не всю ночь; Кристоф ответил, и так продолжалось до тех пор, пока композитор, которому игра уже до смерти надоела, не объявил себя побежденным; офицер был в восторге, он считал этот успех как бы реваншем, взятым над Германией. Затем майор пригласил Кристофа на завтрак. Прямота Кристофа, заявившего, что музыкальные творения самого Шабрана отвратительны, и пришедшего в ужас, когда тот принялся терзать на своей фисгармонии какое-то *анданте* Гайдна, окончательно покорили майора. С тех пор они беседовали довольно часто, но уже не о музыке. Кристофа мало интересовали нелепые рассуждения Шабрана на этот счет, он предпочитал разговор на военные темы. А майор был рад. Несчастному старику ничего другого не оставалось, как развлекать себя музыкой, но в глубине души он тосковал.

Он охотно пускался в рассказы о своих африканских походах. Это были невероятные приключения, достойные Писарро и Кортеса. Перед изумленным Кристофом воскресла эта удивительная и варварская эпопея, о которой он решительно ничего не знал и относительно которой

сами французы были полными невеждами, хотя в течение почти двух десятилетий горсть французских завоевателей сражалась в дебрях Черного материка с отчаянным героизмом, смелой изобретательностью и сверхчеловеческой энергией: эти люди, затерянные там и лишенные самых элементарных средств для ведения войны, были окружены армиями чернокожих и притом вынуждены действовать вопреки трусливому обществу и трусливому правительству; тем не менее они завоевали для Франции и наперекор Франции страну, обширнее ее самой. От всего этого на Кристофа веяло радостной мощью и запахом крови. Перед ним возникали образы современных кондотьеров, героев-авантюристов, что так мало вязалось с теперешней Францией и о чем Франция не могла думать без краски стыда: она старалась поскорее набросить на них покрывало забвения.

Когда майор возвращался к этим воспоминаниям, голос его звучал браво; он вел свой рассказ с грубоватым добродушием и сообщал подробные сведения (причудливо переплетая их с эпическими повествованиями) об особенностях почвы, о бесконечных пустынях и об охотах, когда человек в этой беспощадной борьбе был то охотником, то дичью. Кристоф слушал его, смотрел на него и испытывал сострадание к этому прекрасному животному человеческой породы, обреченному на бездействие, вынужденному искать исход для своей энергии в бессмысленных забавах. Он недоумевал, каким образом офицер мог примириться со своей участью, и однажды спросил его об этом. Вначале майор был, видимо, не очень склонен открывать свои обиды совершенно чужому человеку. Но в конце концов все французы — болтуны, особенно когда речь идет о взаимных обвинениях.

— А какого черта мне там делать, — ответил он, — в их теперешней армии? Моряки стали писаками. Пехотинцы — социологами. Они делают решительно все, только не воюют. Они даже не готовятся к войне, а готовятся к тому, чтобы больше никогда не воевать, и занимаются философией войны... Философия войны! Игра псбитых ослов, которые рисуют себе, как их побьют в следующий раз. А мне с болтунами не по

пути. Лучше уж засесть дома и отливать музыкальные пушки!

Из стыдливости он не открыл своих главных горестей: не стал рассказывать о том, как офицеры по вине наушников стали коситься друг на друга, об унижительной необходимости подчиняться наглым приказаниям зловердных и невежественных политиканов, о страданиях армии, которую используют для несения гнусных полицейских обязанностей, для конфискации церковного имущества, подавления рабочих стачек, о том, как их заставляли служить корыстным и мстительным интересам правящей партии — этих мелких буржуа, радикалов и антиклерикалов — против всей остальной страны, уж не говоря об отвращении старого «африканца» к новым колониальным войскам, которых правительство в подавляющем большинстве набирает из худших элементов нации, потакая эгоизму тех, кто не желает участвовать в почетном и рискованном деле укрепления обороны «большой Франции» — Франции, лежащей за морями.

Кристоф не собирався вмешиваться в эту французскую междоусобицу: это его не касалось. Но он сочувствовал бывшему офицеру. Как бы Кристоф ни относился к войне, он понимал, что армия должна создавать солдат — для того она и существует, — так же как яблоня должна приносить яблоки; и примешивать сюда политиков, эстетов, социологов — большая ошибка. И все-таки ему было непонятно, как мог этот энергичный, решительный человек уступить место другим. Не бороться с врагами — значит быть худшим врагом самому себе. Но, видно, во всех сколько-нибудь достойных французах есть эта своеобразная склонность к отказу, к самоотречению. Кристоф обнаружил это свойство в иной, более трогательной, форме и у дочери майора.

Ее звали Селиной. У нее были тонкие, тщательно расчесанные, стянутые в узел волосы, открывавшие высокий выпуклый лоб и заостренные ушки, худые щеки, прелестный подбородок, какой бывает у деревенских красоток, чудесные темные глаза — умные, доверчивые, очень кроткие и близорукие, толстоватый нос, родинка в уголку верхней губы, молчаливая улыбка, от которой на лице появлялась милая гримаска и нижняя губка слегка вы-

ступала вперед. Селина была добра, деятельна, остроумна, но удивительно равнодушна ко всякого рода умственным интересам. Она почти не читала, не знала ни одной новой книги, никогда не ходила в театр, никогда не путешествовала (чтобы не раздражать отца, который когда-то путешествовал слишком много), не участвовала в светской благотворительности (отец критиковал подобные начинания), не пыталась заняться какой-нибудь наукой (отец издевался над учеными женщинами) и почти не покидала своего садика, замкнутого четырьмя высокими стенами и напоминавшего огромный колодезь. Вместе с тем Селина не скучала, развлекалась, как могла, и бодро мирилась со своей судьбой. От Селины и от того мира, который бессознательно создает себе каждая женщина, веяло чем-то шарденовским: та же теплая тишина; внимательные лица и спокойные (немного застывшие) позы людей, занятых своим обычным делом, дышали поэзией будней, когда в один и тот же час повторяются заранее известные мысли и движения, которые любишь от этого не менее глубоко и нежно. Здесь чувствовалась та безмятежная ограниченность прекрасных душ, которую бывают иногда наделены некоторые представители буржуазной среды: их добросовестность, честность, правдивость, их спокойный труд, спокойные и все же поэтические радости, здоровое изящество, опрятность моральная и физическая; все отдавало здесь хорошо выпеченным хлебом, запахом лаванды, откровенностью, добротой, мирной жизнью предметов и людей, мирной жизнью старых домов и умиленных душ. Кристоф, чья сердечная доверчивость будила в людях ответное доверие, подружился с Селиной. Они беседовали довольно непринужденно; он даже начал задавать ей вопросы, на которые она, к своему удивлению, отвечала; молодая девушка поведала ему то, что не открывала бы никому другому.

— Это потому, — пояснил Кристоф, — что вы меня не боитесь. Нам не грозит опасность полюбить друг друга: для этого мы слишком хорошие друзья.

— Любезно, нечего сказать! — отвечала она смеясь.

Ее здоровая натура, так же как и натура Кристофа, испытывала отвращение к так называемой «влюбленной

дружбе», которой обычно ищут люди непрямые и привыкшие лукавить со своими чувствами. Кристоф и Селина были просто добрыми товарищами.

Однажды он спросил ее, как это она может целыми вечерами сидеть неподвижно в саду на скамейке, не прикасаясь к лежащему на коленях рукоделю. Она покраснела и стала уверять, что вовсе не часами, а если и сидит так, то всего несколько минут, да и то изредка — всего четверть часика, чтобы «досказать себе историю».

— Какую историю?

— Историю, которую я себе рассказываю.

— Вы рассказываете себе истории! Расскажите мне!

Нет, он слишком любопытен. Но во всяком случае не она героиня этих историй.

Он очень удивился:

— Вот охота! По-моему, естественнее рассказывать себе свою собственную историю, но приукрашенную: представлять себе, что живешь более счастливой жизнью.

— Ну нет, — отозвалась Селина, — от этого можно прийти в отчаяние.

Она снова покраснела, понимая, что приоткрыла потаенный уголок своей души. Затем продолжала:

— И потом, когда я в саду и меня овеваает ветер, я счастлива. Сад кажется мне живым. А когда ветер дует мне в лицо, он столько мне рассказывает — ведь он мчится издалека.

Кристоф, невзирая на сдержанность Селины, презревал в ее душе грусть, таившуюся за веселым спокойствием и постоянной занятостью, которою она, однако, себя не обманывала, ибо хлопотала без цели. Почему же она не старалась сбросить с себя это иго? Ведь она была прямо создана для жизни деятельной и осмысленной!

Она ссыалась на привязанность к отцу, который и слышать не хотел о разлуке с нею. Напрасно Кристоф возражал, уверяя ее, что человек столь сильный и энергичный, как майор, в ней не нуждается, что при такой закалке он может остаться один и не имеет права принести ее в жертву. Но Селина защищала отца и, следуя поговорке, что «и ложь бывает во спасение», уверяла

Кристофа, будто бы не отец, а она сама не в силах с ним расстаться. В известной мере это было, пожалуй, правдой. И ей, и ее отцу, и всем их близким казалось, что так суждено от века и не может быть иначе. У нее был женатый брат, считавший вполне естественным, что она жертвует собой и остается подле отца. А брат был занят только своими детьми. Он относился к ним с ревнивой любовью и преследовал их своей мелочной опекой. Эта любовь являлась для него и для его жены своего рода веригами, добровольно надетыми и сковывавшими все их действия: глядя на них, можно было подумать, что с рождением детей всякая личная жизнь кончается и что нужно навсегда отказаться от возможности идти вперед, — этот человек, деятельный, умный, еще молодой, высчитывал, сколько лет ему осталось до выхода в отставку. Брат и его жена, будучи превосходными людьми, поддались обессиливающей атмосфере семейных привязанностей, которые во Франции, при всей их глубине, душат человека, сжимают его, словно тисками. Они оказывают тем более гнетущее действие, что французская семья обычно состоит из отца, матери и одного или двух детей, и в результате получается какая-то зябкая, пугливая, сосредоточенная на себе любовь, похожая на скупца, зажавшего в руке горсть золота.

Неожиданное обстоятельство усилило интерес Кристофа к Селине, и он еще раз убедился, насколько тесен для француза круг его привязанностей, насколько эти люди боятся жить и брать то, что им принадлежит по праву.

У инженера Эльсберже был брат, на десять лет моложе его, тоже инженер. Честный малый, каких много в буржуазных семьях, и притом с некоторыми художественными наклонностями. Такие юноши мечтают заниматься искусством, но боятся скомпрометировать себя в глазах буржуазного общества. На самом деле проблема эта не так уж сложна, и большинство художников в наши дни решает ее без всякого риска для себя. Но прежде всего нужно хотеть, а не все способны даже на это усилие: они не вполне уверены, что действительно хотят того, что им хочется; и, по мере того как их положение в буржуазном обществе становится все более прочным, они

сливаются с этим обществом без шума и возмущения. Стань они просто добродетельными буржуа, вместо того чтобы сделаться плохими художниками, их и корить бы не за что. Но первые разочарования нередко оставляют в их душе тайное недовольство, некое *qualis artifex pereo* (какой великий артист погибает)¹, прикрывающееся тем, что условно называется философией, и отравляющее им жизнь, пока время и новые заботы не сотрут следов былой горечи. Так же случилось и с Андрэ Эльсберже. Его влекла литература, но брат, крайне прямолинейный в своих взглядах на жизнь, настаивал, чтобы и младший пошел по пути науки. Андрэ был умен и очень способен к наукам, впрочем и к литературе тоже. Он не был вполне уверен, что сможет сделаться литератором, но что станет буржуа — это он знал слишком хорошо; и вот, сначала временно (а известно, к чему это ведет), он покорился воле брата. Он поступил в Политехнический институт, сдав приемные экзамены без большого блеска, окончил его далеко не блестяще и стал работать инженером — добросовестно, но без всякого интереса к своему делу. Разумеется, в нем заглохли и те небольшие художественные задатки, которыми он был наделен от природы: говорил он теперь о своих несбывшихся мечтах только с иронией.

— К тому же, — обычно добавлял Андрэ (Кристоф узнавал в его рассуждениях пессимизм Оливье), — жизнь, право же, не стоит того, чтобы мучиться из-за неудавшейся карьеры. Одним плохим поэтом больше или меньше...

Братья Эльсберже любили друг друга; у обоих был один и тот же душевный склад, но они не ладили. Оба были в свое время дрейфусарами. Однако Андрэ, увлекавшийся синдикализмом, стал антимилитаристом; Эли же был патриотом.

Иногда Андрэ посещал Кристофа, не заходя к брату. Кристоф удивлялся этому, ибо они с Андрэ никакой особой симпатии друг к другу не питали. Последний, сидя у него, открывал рот только затем, чтобы пожаловаться

¹ Слова, которые перед смертью якобы изрек римский император Нерон, считавший себя великим артистом. — *Прим. ред.*

на кого-нибудь или на что-нибудь, а это было очень утомительно; когда же говорил Кристоф, Андрэ его не слушал. В конце концов Кристоф уже не стал скрывать, что посещения Андрэ ему тягостны. Однако Андрэ с этим не считался и как будто даже не замечал отношения Кристофа. Наконец, Кристоф разгадал тайну: однажды он увидел, что гость не слушает его, а высунувшись в окно, занят тем, что происходит в саду. Кристоф сказал ему об этом, и Андрэ довольно охотно признался, что да, он знаком с мадемуазель Шабран и отчасти из-за нее бывает у Кристофа. Затем, разговорившись, признался, что издавна питает к молодой девушке дружеские чувства, а может быть, и нечто большее: семья Эльсберже уже много лет связана узами знакомства с семьей майора. Вначале они были очень близки, но политика разлучила их, и с тех пор они не встречаются. Кристоф не скрыл от Андрэ, что считает это глупым. Неужели нельзя придерживаться тех взглядов, каких хочется, и вместе с тем уважать друг друга? Андрэ запротестовал, уверяя Кристофа в своем свободомыслии, но тут же выделил два-три вопроса, на которые, по его мнению, терпимость не распространяется и смотреть на них следует только так, как смотрел он, Андрэ Эльсберже. Первым он назвал знаменитое дело Дрейфуса. Затем Андрэ, как всегда бывает в таких случаях, понес чепуху. Кристоф знал эту манеру и не пытался спорить, но спросил: неужели дело Дрейфуса так никогда и не кончится и, как проклятие, будет тяготеть до скончания века над нами и над детьми наших детей и наших правнуков? Андрэ рассмеялся и, не ответив Кристофу, принялся растроганно восхвалять Селину Шабран, обвиняя в эгоизме ее отца, находившего вполне естественным, что дочь всю себя посвятила ему.

— Почему же вы не женитесь на ней, раз вы ее любите и она вас любит? — спросил Кристоф.

Андрэ с грустью пояснил, что Селина — клерикалка. Кристоф спросил, что это значит. Молодой человек ответил: это значит — исполнять религиозные обряды и покоряться какому-то божеству и его жрецам.

— Да вам-то что?

— А то, что моя жена должна принадлежать мне целиком.

— Как? Вы стали бы ревновать вашу жену даже к ее убеждениям? Значит, вы еще больший эгоист, чем ее отец!

— Вам легко говорить со стороны! Разве вы женились на женщине, которая не любит музыки?

— Я пытался!

— Но как жить вместе, если взгляды различны?

— Да оставьте вы в покое эти ваши взгляды! Ах, бедный друг мой! Какое значение имеют идеи, когда любишь! И какое мне дело, любит музыку любимая мной женщина или не любит? Она сама для меня музыка! Когда человеку посчастливится, как вам, найти милую девушку, которую он полюбил и которая полюбила его, да пусть она верит во все, что ей угодно, и вы верьте во все, что вам угодно! В конечном счете все ваши идеи стоят одна другой; на свете одна истина — она в том, чтобы любить друг друга.

— Вы рассуждаете, как поэт. И не видите жизни. Я знаю слишком много браков, в которых люди очень страдали от расхождения во взглядах.

— Значит, они любили недостаточно сильно. Надо выбирать, что важнее.

— Одного желанья мало. Если бы я и захотел жениться на мадемуазель Шабран, я бы не смог.

— Интересно знать — почему?

Андрэ заговорил о своих колебаниях. Прочного положения у него до сих пор нет; состояния нет; здоровье неважное. Имеет ли он право жениться? Ведь это огромная ответственность. Не рискует ли он сделать несчастной и ту, которую любит, и себя самого, не говоря уже о детях? Не лучше ли подождать или совсем отказаться?

Кристоф пожал плечами.

— Хороша любовь. Нечего сказать! Если она вас любит, она будет счастлива посвятить вам свою жизнь. Что же касается детей, то вы, французы, смешной народ! Вы хотите пустить их в жизнь, только уверившись, что сделаете из них пузатых рантье, которым не придется страдать. Да какого черта! Это же вас не касается; ваше дело — произвести ребенка на свет, привить ему любовь

к жизни и мужество, чтобы защищать ее. А там... пусть живут, пусть умирают — это участь всех. Неужели лучше не жить совсем, чем бояться жизни со всеми ее удачами и неудачами?

Непоколебимая уверенность, которой веяло от Кристофа, невольно заражала и его собеседника, но не могла убедить. Он отвечал:

— Да, может быть...

Однако дальше этого не шел. Казалось, он, подобно другим французам, поражен бессилием и не способен ни желать, ни действовать.

Кристоф начал борьбу с той косностью, которую обнаруживал вновь и вновь у большинства своих друзей французов, притом в странном сочетании с усердной и подчас лихорадочной деятельностью. Почти все, кого он встречал в среде буржуазии, были чем-нибудь недовольны. Почти все испытывали отвращение к калифам на час, к их растленным взглядам. Почти во всех жило горестное и гордое сознание того, что предатели покушаются на самую душу нации. И тут играла роль не личная неприязнь, не горечь побежденных людей и побежденных классов, лишившихся власти и возможности активно участвовать в жизни, не обида деятелей, не находящих уже применения своей энергии, и не обида старой аристократии, удалившейся в свои поместья и прячущейся от постороннего ока, как насмерть раненный лев. Это было чувство морального возмущения, глухое, глубокое, всеобщее; оно ощущалось повсюду — в армии, в суде, в университетских кругах, в канцеляриях, во всех жизненно-важных частях правительственного механизма. Но все эти люди не предпринимали ничего и заранее капитулировали, повторяя:

— Все равно ничего не поделаешь.

И, трусливо уклоняясь от печальных размышлений, искали прибежища в семейной жизни.

Если бы еще они отстранились только от участия в политической деятельности! Но даже в своем повседневном существовании каждый из этих честных людей старался действовать, как можно меньше. Они терпели

унизительное соседство негодяев: презирали их, но бороться с ними воздерживались, считая это бесполезным. Почему, например, спрашивал себя Кристоф, его знакомые художники и музыканты так легко мирятся с наглостью газетных Скарамушей, диктующих им свои законы? Среди этих последних имелось немало форменных ослов, невежество которых *in omni re scibili*¹ было общеизвестно, и все же они считались непогрешимыми авторитетами именно *in omni re scibili*. Они даже не давали себе труда самолично писать свои статьи и книги, а держали в качестве секретарей голодных оборванцев, готовых душу продать, если таковая имелась, за хлеб и женщину. В Париже все это ни для кого не составляло тайны. И все-таки они продолжали царить и обращались свысока с людьми искусства. Кристоф, читая некоторые их статьи, чуть не вопил от бешенства.

— Ах, подлецы! — восклицал он.

— Кого это ты так? — спрашивал Оливье. — Опять каких-нибудь прохвостов с Ярмарки на площади?

— Нет. Честных людей. Подлецы занимаются тем, чем им и надлежит заниматься: лгут, громят, воруют, убивают. А других, которые умеют только презирать, но со всем мирятся, — этих я ненавижу в тысячу раз сильнее. Если их собратья по перу, если честные и знающие критики, на спине которых кривляются эти арлекины, не потакали бы им из робости, из страха себя скомпрометировать, из низменных соображений кумовства или по тайному сговору с врагом, чтобы избежать его ударов, — если бы честные не позволяли подлецам щеголять их покровительством и дружбой, смехотворность этого наглого засилия скоро стала бы всем ясна, и власть подлецов рухнула бы. Посмотри, та же дряблость во всем. Мне иногда двадцать человек говорят о ком-нибудь, что он негодяй. И все-таки каждый величает его «дорогим коллегой» и жмет ему руку. Негодяев на свете слишком много, говорят обычно эти честные. Нет, слютяев слишком много. Слишком много трусов среди честных.

— Но что же, по-твоему, делать?

— Наведите у себя порядок! Чего вы ждете? Чтобы

¹ обо всех вещах познаваемых (лат.).

господь бог занялся вашими делами? За примерами недалеко ходить. Уже три дня, как выпал снег. Улицы завалены сугробами. Ваш Париж стал болотом. А вы чем заняты? Ругаете вашу администрацию, которая не убирает эту грязь. Но сами-то вы что делаете? Ровно ничего! Стоите, скрестив руки. Никто не решается расчистить тротуар хотя бы перед собственным домом! Никто не исполняет своего долга — ни государство, ни частные лица; все валят друг на друга — и ладно. За долгие века монархического воспитания вы до того привыкли ничего не делать по собственной инициативе, что только ротозейничаете, ожидая чуда. А единственное возможное чудо — это если бы вы, наконец, решились действовать. Видишь ли, мой миленький Оливье, ума и добродетелей у вас хоть отбавляй, а вот горячей крови не хватает. И у тебя первого. Не ум у вас болен, не душа: поражена сама жизнь. Она уходит от вас.

— Что поделаешь? Нужно ждать, пока она вернется.

— Нужно хотеть, чтобы она вернулась. А для этого нужно прежде всего впустить в дом свежий воздух. Если не желаете выходить из дому, то пусть хоть в доме воздух будет чист. А он у вас заражен миазмами Ярмарки. Ваше искусство и ваша мысль — это на две трети подделка. И вы уже настолько пали духом, что вам даже в голову не приходит возмутиться, вы почти ничему не удивляетесь. Кое-кто из вас, честных людей, в своей запуганности доходит до того, что начинает убеждать себя, будто виноват он, а правы шарлатаны. Разве в редакции твоего «Эзопа» — хотя вы там все и уверяете, что вас не обманешь, — разве я не встречал и там несчастных молодых людей, внушающих себе, что они любят тот или иной жанр искусства, хотя на самом деле вовсе его не любят? Они одурманивают себя без всякого удовольствия, просто из тупого чувства стадности. Лгут, а сами умирают от скуки!

Кристоф проносился среди этих нерешительных людей, как ветер, сотрясающий спящие деревья. Он не старался привить им свои взгляды. Он вдыхал в них энергию независимого мышления. Он говорил:

— Вы слишком смиренны. Ваш главный враг — это

неврастения и скепсис. Можно, должно быть терпимым и человечным. Но сомневаться в том, что считаешь истинной и добром, недопустимо. Во что веришь, то и защищай. Как бы ни были ничтожны наши силы — отступать непозволительно. Самый ничтожный человек в этом мире должен исполнять некий долг — так же как и самый великий. И, кроме того (хоть он и не сознает этого), ему также дана некая власть. Не думайте, что ваш одинокий бунт бесполезен! Чистая совесть, дерзающая утверждать себя, — это сила. За последние годы вы не раз были свидетелями того, как и государство и общество оказывались вынужденными считаться с мнениями честного человека, не имевшего иного оружия, кроме моральной силы, которую они, благодаря его упорству, должны были признать.

Зачем, спросите вы, делать такие усилия, зачем бороться, зачем? Ну так знайте же: затем, что Франция умирает, что умирает Европа и наша цивилизация, это прекрасное здание, созданное человечеством ценой многовековых страданий, рухнет в бездну, если мы не будем бороться. Родина в опасности, наша европейская родина, и больше всего ваша родина, ваша маленькая французская родина. Ваше равнодушие убивает ее. Она умирает с каждой из ваших угасающих энергий, в ваших мыслях, которые смиряются, в ваших бесплодных усилиях, в каждой капле вашей крови, застойной, бесполезной... Вставайте! Нужно жить! А уж если суждено вам умереть, так умерьте стоя.

Но самое трудное состояло даже не в том, чтобы побудить людей к действию, а в том, чтобы побудить их к действию сообща. И тут их невозможно было сдвинуть с места. Они вечно косились друг на друга. И лучшие оказывались самыми упрямыми. Кристоф видел этому пример в их же доме. Г-н Феликс Вейль, инженер Эльсберже и майор Шабран относились друг к другу с давней молчаливой враждебностью. А между тем все трое, вопреки ярлыкам различных партий и национальностей, хотели одного и того же.

Господину Вейлю и майору было бы нетрудно сговориться. В силу контраста, нередко встречающегося у

представителей интеллигенции, г-н Вейль, не расстававшийся со своими книгами и живший исключительно в мире мысли, страстно увлекался вопросами военной стратегии. «В нас есть всего понемногу», — говорил полувейер Монтедь, распространяя на всех людей то, что справедливо лишь по отношению к людям определенного духовного склада, к которым принадлежал и Вейль. Старый интеллигент Вейль благоговел перед Наполеоном. Он обложился рукописями и мемуарами, в которых оживали видения об этой парадной военной эпопее. Подобно многим его современникам, он был ослеплен далекими лучами этого солнца славы. Он заново проделывал наполеоновские кампании, давал сражения, обсуждал военные операции; Вейль принадлежал к тем доморощенным стратегам, которыми кишит академия и университет и которые по сей день толкуют Аустерлиц и исправляют ошибки Ватерлоо. Он первый высмеивал эпидемию, именуемую «наполеонит», и всячески иронизировал по этому поводу; однако сам он продолжал опьяняться легендарными историями, словно дитя играми; от некоторых эпизодов у него навертывались слезы на глаза. Но стоило ему заметить эту свою слабость, как он начинал хохотать и обзывать себя старым дураком. Говоря по правде, его культ Наполеона вытекал не столько из патриотических чувств, сколько из склонности к драматическим выдумкам и чисто платонической любви к действию. Все же он был отличным патриотом и привязан к Франции гораздо сильнее, чем многие коренные французы. Французские антисемиты совершают глупость и оказывают родине плохую услугу, подрывая своими оскорбительными подозрениями любовь к Франции живущих в ней евреев. Помимо того, что каждая семья через одно-два поколения естественно привязывается к той земле, на которой она осела, у евреев есть особые причины, чтобы любить народ, представляющий на Западе наиболее передовые идеи интеллектуальной свободы. Их привязанность тем сильнее, что сами они в течение столетия немало потрудились над созданием этой свободы и свобода эта является отчасти делом их рук. Так как же им было не защищать ее от угроз феодальной реакции? А стараться порвать связь этих приемных детей Франции с усыно-

вившей их страной — как того желала шайка преступных болванов — значило играть на руку врагу.

Майор Шабран принадлежал к числу безрассудных патриотов, которых прежде всего сбивает с толку пресса, расписывая каждого французского иммигранта как тайного врага, и они, невзирая на врожденное гостеприимство, готовы подозревать, ненавидеть и отрицать историческую необходимость быть великодушным, забывая о том, что они сами нация, в которой слились многие нации. Так, Шабран считал себя обязанным игнорировать жильца первого этажа, хотя с удовольствием бы с ним познакомился. Г-н Вейль также охотно побеседовал бы с офицером; но, зная о его национализме, Вейль втайне презирал его.

Еще меньше причин интересоваться г-ном Вейлем было у Кристофа. Но он не терпел несправедливости. Поэтому и ломал копыя за Вейля, когда на него напал Шабран.

Однажды, когда Шабран, как обычно, громил существующий порядок вещей, Кристоф сказал ему:

— Вы сами виноваты. Вы все умываете руки. Когда дела во Франции идут не так, как вашей душе угодно, вы торжественно отступаете. Можно подумать, что для вас высшая доблесть — признать себя побежденными. Где это видано, чтобы люди с таким восторгом проигрывали битвы. Послушайте, майор, вы же сами были на войне, — ну разве так сражаются?

— Не о сражениях речь, — ответил майор, — против Франции никто не сражается. В таких схватках надо убеждать, спорить, соперничать на выборах, иметь дело со всякой сволочью, — это не для меня.

— Вы слишком брезгливы! В Африке еще и не то бывало!

— Честное слово, там было не так противно. И там всегда можно заткнуть глотку кому надо. Да и потом, чтобы сражаться, нужны солдаты. И у меня были мои стрелки. Здесь же я один.

— Честных людей не так уж мало.

— А где они?

— Да везде.

— Тогда какого же черта они прячутся?

— Они поступают, как вы, они ничего не делают и говорят, что сделать ничего нельзя.

— Назовите мне хоть одного.

— Трех назову, и даже в нашем доме.

Кристоф назвал г-на Вейля (майор даже издал какое-то восклицание) и Эльсберже (майор подпрыгнул).

— Этот еврей? Эти дрейфусары?

— Дрейфусары? — переспросил Кристоф. — Ну так что же?

— Это они погубили Францию.

— Они любят ее не меньше, чем вы.

— Тогда это сумасшедшие, опасные сумасшедшие.

— Неужели нельзя отдавать должное своим противникам?

— Я прекрасно могу понять лояльных противников, которые сражаются честным оружием. Доказательство — что я беседую с вами, господин немец. Я уважаю немцев, хотя и желал бы рано или поздно воздать им сторицей за то, что они нас так поколотили. Но другие, внутренние враги, нет, это не одно и то же: они пользуются бесчестным оружием, вредной идеологией, растлевающим гуманизмом.

— А вы напоминаете средневековых рыцарей той поры, когда они впервые увидели огнестрельное оружие. Что поделаешь! Война тоже эволюционирует.

— Допустим! Но тогда не будем лгать — заявим во всеуслышанье, что это война.

— Представьте себе, что общий враг угрожает Европе, разве вы не объединитесь с немцами против него?

— Мы так и сделали в Китае.

— Посмотрите же вокруг. Разве в нашей стране, разве во всех наших странах героический идеализм народов не находится под угрозой? Разве все они не попали в руки политических и идейных авантюристов? Разве перед лицом общего врага вам не следовало бы протянуть руку тем из ваших противников, которые хоть чего-нибудь стоят и обладают хоть какой-то моральной силой? Как может человек, подобный вам, так мало считаться с реальностью? Пусть эти люди отстаивают другой

идеал, не ваш! Но идеал — это сила, вы не можете этого отрицать; в борьбе, которую вы недавно вели, вы были побеждены именно потому, что у ваших противников был идеал; и, вместо того чтобы растрачивать себя попусту, не лучше ли, опираясь на свои и чужие идеалы, биться бок о бок против врагов всякого идеала, против эксплуататоров родины, против растлителей европейской цивилизации?

— А ради чего? Давайте уточним: ради торжества наших противников?

— Когда вы были в Африке, вы не спрашивали, за кого вы сражаетесь, — за короля или за республику. Вероятно, многие из вас и не думали о республике.

— Плевать нам было на нее.

— Так-так! А Франции это было на благо. Вы побеждали для нее и для себя. Ну вот! Поступайте так же и теперь! Расширьте фронт сражения! Бросьте мелкие политические и религиозные распри. Все это вздор. Будет ли ваша нация старшей дочерью церкви или Разума, это неважно. Но пусть она живет! Хорошо все то, что одухотворяет, дает жизненную силу. Существует только один враг: сластолюбивый эгоизм — он грязнит и иссушает источники жизни. Славьте силу, свет, творческую любовь, радость жертвы. И никогда не перекладывайте на другого то, что вы должны делать сами. Действуйте! Действуйте! Объединяйтесь! Смелее!

И он принялся барабанить на рояле первые такты симфонического марша из бетховенской «Симфонии с хорами».

— Знаете что, — вдруг прервал он себя, — будь я французским композитором — Шарпантье или Брюно (черт бы его побрал!), я бы соединил вас всех в хоровой симфонии: «К оружию, граждане!» Интернационал. Да здравствует Генрих Четвертый! Боже, защити Францию! Словом, все травы Ивановой ночи... (вот послушайте, что-нибудь в этом роде...) Я состряпал бы такую похлебку, что у вас глаза на лоб полезли бы, такое бы придумал... Во всяком случае не хуже того, чем вас пичкают ваши композиторы! Согрел бы вам кишки как следует, и, ручаясь, вы бы у меня зашагали!

И он звонко расхохотался.

Майор тоже засмеялся.

— Вы славный малый, господин Крафт, жалко, что вы не из наших.

— Наоборот, я ваш! Везде та же борьба. Сомкнем ряды!

Майор соглашался. Но все оставалось попрежнему. Тогда Кристоф упрямо переводил разговор на Вейля и Эльсберже. А офицер, не менее упрямый, повторял все те же возражения против евреев и дрейфусаров.

Кристоф огорчился. Оливье сказал ему:

— Не расстраивайся. Один человек не может сразу изменить дух целого общества. Это было бы слишком уж хорошо! Но ты и так много делаешь, сам того не подозревая.

— Что же я делаю? — спросил Кристоф.

— Ты — Кристоф.

— А какая польза от этого другим?

— Очень большая. Будь таким, какой ты есть, милый Кристоф. А о нас не беспокойся.

Но Кристоф не успокоился. Он продолжал спорить с майором Шабраном и иногда доходил до резкостей. Селину это забавляло. Она присутствовала при их разговорах, безмолвно склоняясь над шитьем. Молодая девушка не вмешивалась в споры, но она как будто стала веселее: глаза ее блестели ярче, точно стены вокруг нее раздвинулись и ей легче было дышать. Она принялась за чтение, стала чаще выходить, круг ее интересов расширился. И однажды, когда отец ее раскипятился по поводу Эльсберже, он увидел на ее лице улыбку; он спросил, что она думает на этот счет. Девушка спокойно ответила:

— Я думаю, что господин Крафт прав.

Шабран, пораженный, сказал:

— Ну, знаешь... В конце концов, прав он или не прав, нам и так хорошо. И совершенно незачем знакомиться с этими людьми. Верно, девочка?

— Нет, папа, нужно, — ответила она, — это доставило бы мне удовольствие.

Офицер умолк, сделав вид, что не слышит. Кристоф влиял на него гораздо сильнее, чем майор желал показать. Устой и нетерпимость суждений не мешали ему быть прямым и великодушным. Он любил Кристофа, любил его искренность и душевное здоровье и часто жалел,

что Кристоф немец. И хотя он раздражался в спорах с ним, но сам искал этих споров, и доводы Кристофа оказывали на него свое действие. Конечно, он ни за что бы в этом не сознался. Однажды Кристоф застал майора углубленным в чтение какой-то книги, которую тот не пожелал ему показать. Когда Селина, провожая Кристофа, осталась с ним наедине, она промолвила:

— Вы знаете, что он читал? Книгу господина Вейля.

Кристоф обрадовался:

— И как он ее находит?

— Он говорит: «Вот скотина...» Но не может оторваться.

Увидевшись снова с майором, Кристоф ни словом не обмолвился относительно книги. Тот сам спросил музыканта:

— Почему это вы больше не пристаёте ко мне с вашим иудеем?

— Оттого, что не стоит, — отозвался Кристоф.

— Почему не стоит? — взъерошился офицер.

Кристоф не ответил и ушел посмеиваясь.

Оливье оказался прав. Не словами человек влияет на других, а всем своим существом. Есть люди, которые излучают вокруг себя какое-то умиротворение — так действуют их жесты, взгляды, безмолвное прикосновение их ясной и безмятежной души. Кристоф излучал жизнь. Она проникала в других тихо-тихо, как теплое дуновение весны проникает сквозь древние стены и запертые окна застывшего за зиму дома, она воскрешала сердца, уже, казалось, иссохшие и мертвые, — так долго их подтачивали страдания, слабость, одиночество. Велика ты, власть души над душой! И об этом не подозревает ни тот, кто воздействует, ни тот, кто поддается воздействию. А между тем жизнь вселенной связана с приливами и отливами, которыми управляет таинственная сила притяжения.

Двумя этажами ниже Кристофа и Оливье жила, как уже упоминалось, тридцатипятилетняя женщина, г-жа Жермен, овдовевшая два года назад и потерявшая в прошлом году свою восьмилетнюю дочку. Она жила со свекровью. У них никто не бывал. Из всех жильцов дома

г-жа Жермен меньше всего сталкивалась с Кристофом; они изредка встречались, но ни разу не заговорили друг с другом.

Вдова была высокая худощавая женщина, стройная, с красивыми черными, но тусклыми и невыразительными глазами, в которых иногда вспыхивал мрачный и суровый огонь, подчеркивавший восковую желтизну лица, впалые щеки, судорожно сжатый рот. Старая г-жа Жермен была очень набожна и проводила в церкви целые дни. Молодая женщина ревниво замыкалась в своем трауре. Она решительно ничем не интересовалась; окружала себя реликвиями и фотографиями своей девочки и так часто смотрела на них, что перестала ее видеть: мертвые изображения убивают живой образ. И вот она уже не видела дочки, но упорствовала. Г-жа Жермен хотела во что бы то ни стало думать только о ней. И в конце концов, как бы довершая дело смерти, теряла способность думать вообще. Тогда молодая женщина каменела без слез, чувствуя, как жизнь уходит из нее, как леденеет душа. Религия не приносила ей утешения. Она выполняла обряды, но без любви, а следовательно, и без живой веры. Она давала деньги на заупокойные службы, но не участвовала в делах благотворительности; вся религия сводилась для нее к одной-единственной мысли: свидеться с дочерью. А до остального — что ей за дело? Бог? Какое отношение она имеет к богу? Только бы свидеться! Но она далеко не была уверена в этом свидании. Она хотела верить — хотела упорно, исступленно и все-таки сомневалась. Она не выносила вида других детей и думала:

«Почему вот эти не умерли?»

В том же квартале жила девочка, и ростом и походкой напоминавшая ей дочь. Когда г-жа Жермен видела ее спину и две косички, она, задрожав, спешила за нею следом; а когда девочка оборачивалась и мать видела, что это не она, ей хотелось задушить ребенка. Она постоянно жаловалась на детей Эльсберже, очень тихих и сдержанных, ибо они были воспитаны в строгости, и утверждала, будто они шумят у нее над головой; и как только бедные дети начинали топотать у себя в комнате, она посылала наверх прислугу и требовала тишины. Кристоф, воз-

вращаясь однажды с девочками, был поражен суровым взглядом, который она бросила на них.

Как-то летним вечером, когда эта живая покойница, замороженная пустотой небытия, сидела в темноте у окна своей комнаты, она услышала игру Кристофа. Он имел обыкновение в этот час грезить за роялем. Музыка раздражала ее, нарушая спокойствие оцепенения, в которое она была погружена. С гневом захлопнула она окно. Но звуки преследовали ее и в самом дальнем углу комнаты. Г-жа Жермен возненавидела музыку. Ей хотелось запретить Кристофу играть, но по какому праву? И вот каждый вечер в определенный час она стала ждать с нетерпеливым раздражением, чтобы раздались звуки рояля, и если Кристоф запаздывал, раздражение ее росло. Против воли она слушала музыку до конца; а когда звуки смолкали, оказывалось, что привычная апатия куда-то исчезла. Как-то вечером, когда г-жа Жермен сидела, забившись в угол неосвещенной комнаты, и слушала доносившуюся сквозь закрытые ставни далекую музыку, она вдруг задрожала, и в ней вновь забил источник слез. Она открыла окно; и с тех пор слушала, плача, игру Кристофа. Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивалась в ее иссохшее сердце и оживляла его. Она снова видела небо, звезды, летнюю ночь; и перед ней снова начинал брезжить, как едва уловимый рассвет, какой-то интерес к жизни, какое-то смутное и непривычное сочувствие к людям. А ночью, впервые после многих месяцев, образ ее девочки снова предстал ей во сне. Ибо самый верный путь, приближающий нас к дорогим умершим, — это не смерть, а жизнь. Они живут нашей жизнью и с нашей смертью умирают.

Госпожа Жермен не искала встреч с Кристофом. Но когда он шел по лестнице с девочками, она пряталась за дверь, чтобы услышать их ребячий лепет, от которого у нее сердце переворачивалось.

Однажды г-жа Жермен, собираясь куда-то, услышала топот маленьких ножек, — девочки спускались по лестнице чуть шумнее, чем обычно, и голос одной из них говорил сестре:

— Да тише ты, Люсетта, ты же помнишь: Кристоф говорил, там эта тетя, у которой горе!

Другая пошла на цыпочках и ответила совсем шепотом. Тогда г-жа Жермен не выдержала: она распахнула дверь, обняла детей и стала бурно целовать их. Они испугались. Одна из девочек закричала. Г-жа Жермен отпустила их и вернулась к себе.

С тех пор всякий раз, завидев их, она с насильственной, словно вымученной улыбкой (г-жа Жермен совсем отвыкла улыбаться) бросала два-три отрывистых ласковых слова, а оробевшие девочки испуганно что-то шептали в ответ. Они все еще боялись этой дамы, боялись даже больше, чем раньше; и теперь, проходя мимо ее двери, пускались бежать в страхе, как бы она не поймала их. А она пряталась, чтобы посмотреть на них. Ей было стыдно. Казалось, она крадет у своей умершей девочки частицу той любви, на которую только та имела право, все права. Г-жа Жермен бросалась на колени и просила у нее прощения. Но теперь, когда инстинкт жизни и любви был пробужден, он оказался сильнее ее, и она ничего не могла с собой поделать.

Однажды, когда Кристоф возвращался, он заметил в доме необычное волнение. Ему сообщили, что внезапно умер от приступа грудной жабы г-н Ватлэ. Кристофа охватило горячее сочувствие — не столько при мысли о несчастном Ватлэ, сколько о девочке, оказавшейся в полном одиночестве. Г-н Ватлэ, видимо, не имел никаких родственников, и были все основания предполагать, что он оставил дочь без средств к жизни. Шагая через две ступеньки, Кристоф поднялся на верхний этаж. Дверь в квартиру покойного была открыта. Возле умершего находились аббат Корнель и девочка, которая, заливаясь слезами, звала своего папу; привратница тщетно старалась ее успокоить. Кристоф взял девочку на руки и обратился к ней с ласковыми словами. Она с отчаяньем вцепилась в него; когда же он попытался унести ее из квартиры, девочка уперлась, и Кристофу пришлось остаться с ней. Сидя у окна в надвигавшихся сумерках, Кристоф тихонько укачивал ее на руках. Понемногу девочка затихала и, все еще всхлипывая, наконец уснула. Кристоф положил ее на кровать и неловко попытался развязать шнурки ее башмачков. Наступала ночь. Дверь квартиры так и забыли запереть. Вдруг прошуршало

платье. Возникла какая-то тень. В последних отсветах дня Кристоф узнал лихорадочно горевшие глаза соседки в трауре. Остановившись на пороге, она едва выговорила сдавленным голосом:

— Я пришла... Пожалуйста... Отдайте ее мне!

Кристоф взял ее руку. Г-жа Жермен плакала. Немного успокоившись, она села в ногах кровати и, помолчав, сказала:

— Позвольте мне остаться с ней...

Кристоф поднялся к себе вместе с аббатом Корнелем. Священник, слегка смущенный, стал извиняться за свое появление у Ватлэ. Он надеялся, смиренно сказал аббат, что умерший простит его: ведь он явился не как священнослужитель, а как друг.

Когда Кристоф на другое утро спустился в квартиру покойного, девочка сидела, обняв за шею г-жу Жермен с той простодушной доверчивостью, с какой эти маленькие создания сейчас же привязываются к тем, кто сумел их привлечь. Она согласилась последовать за своей новой покровительницей... Увы! Она уже успела забыть приемного отца и привязаться к своей повсей маме. Надолго ли... Понимала ли это г-жа Жермен, будучи вся во власти эгсизма своей любви? Может быть. Но не все ли равно? Главное — любить. Счастье в этом...

Недели через три после похорон г-жа Жермен увезла девочку в деревню, далеко от Парижа. Кристоф и Оливье присутствовали при отъезде. На лице молодой женщины они подметили выражение невиданной раньше затаенной радости. Она не обращала на них никакого внимания. Однако в последнюю минуту все-таки заметила Кристофа, протянула ему руку и сказала:

— Вы меня спасли.

— Что она, с ума сошла? — спросил удивленный Кристоф, когда они поднимались к себе.

Через несколько дней он получил по почте фотографическую карточку незнакомой девочки — она сидела на скамеечке, аккуратно сложив ручонки на коленях, и смотрела перед собой светлыми и задумчивыми глазками. Внизу было написано: «Моя маленькая покойница благодарит вас».

Так на всех этих людей повеяло дыханием новой жизни. Там, в мансарде, на шестом этаже, жил человек в сердце которого пылал очаг горячей человечности, и лучи его постепенно согревали весь дом.

Однако Кристоф не замечал этого. Все шло слишком медленно, казалось ему.

— Ах, — вздыхал он, — неужели невозможно связать узами братства всех честных людей, хотя бы они и были самых разных верований, принадлежали к разным классам и не желали знать друг друга? Неужели нет никакого средства?

— Что поделаешь! — отвечал Оливье. — Для этого нужна та внутренняя радость, которая порождает и взаимную терпимость и настоящую симпатию, — радость оттого, что ты живешь нормальной, гармонической жизнью, радость оттого, что находишь полезное применение своей энергии, чувствуешь, что служишь чему-то великому. А для этого нужно жить в стране, находящейся в расцвете своего величия или (что еще лучше) на пути к величию. И потом (одно от другого неотделимо) нужна такая власть, которая сумела бы пустить в дело все силы народа, власть умная и твердая, стоящая выше партий. Стоять же выше партий может только такая власть, которая черпала бы свою мощь в самой себе, а не в человеческих толпах, не пыталась бы опереться на анархическое большинство, но была бы авторитетом для всех, благодаря своим заслугам, — ну, скажем, какой-нибудь генерал, одержавший ряд побед, или диктатура во имя общественного блага, идейная гегемония... И не только это. Тут решает не просто наша воля. Нужно, чтобы представился случай, и нужны люди, умеющие воспользоваться им; нужна удача и нужен гений. Будем ждать и надеяться. Силы есть: сила веры, науки, силы труда старой Франции и Франции новой, самой великой из всех Франций... Какой толчок это дало бы, будь произнесено заветное слово, магическое слово, при звуке которого устремились бы вперед, объединившись, все силы народа! Но это слово произнесем не ты и не я. А кто его скажет? Победа? Слава? Нужно терпение! Главное, чтобы все, что есть крепкого в нации, сплотилось воедино, не разрушалось бы, до срока не изверилось бы. Счастье и гений

приходят лишь к тем народам, которые сумеют заслужить их веками терпения, труда и веры.

— Как знать, — сказал Кристоф. — Они часто приходят гораздо раньше, чем можно думать, и тогда, когда их меньше всего ожидают. Вы слишком много возлагаете надежд на силу времени. Нет, готовьтесь уже сейчас! Препоящите бедра свои. Пусть ноги ваши будут обуты. И посох — в руке... Ибо вы не можете знать, не пройдет ли господь сегодня ночью мимо вашей двери.

И он действительно в ту ночь прошел совсем близко. И тень от крыла его коснулась порога их дома.

В результате незначительных с виду событий отношения между Францией и Германией резко обострились. За какие-нибудь три дня обычная добрососедская приветливость сменилась тем вызывающим тоном, который предвещает войну. Это не удивляло никого кроме тех, кто воображал, что миром управляет разум. Но и таких оказалось во Франции немало; и они были поражены, когда увидели, как в печати по ту сторону Рейна со дня на день усиливаются яростные галлофобские выпады. Некоторые газеты — а такие имелись в обеих странах — присваивали себе монополию патриотизма и, выступая от имени народа, диктовали правительству его политику (иногда, впрочем, по тайной договоренности с этим же правительством); в Германии подбные газеты выступили с оскорбительным ультиматумом. Конфликт возник между Германией и Англией; и Германия не признавала, что Франция имеет право принимать или не принимать в нем участие; обнаглевшие немецкие газеты принуждали Францию стать на сторону Германии и угрожали, что в противном случае ей придется первой расплачиваться за войну. Они старались принудить ее к союзничеству страхом и заранее обращались с ней как с побитым и уже смирившимся вассалом, — говоря короче, как с Австрией. В этом сказывалась мания величия немецкого империализма, опьяненного своими победами, и абсолютная неспособность государственных деятелей Германии понять другие нации, к которым они прикладывали одну и ту же

мерку, годную лишь для самих немцев и гласившую: сила — вот высший аргумент. Разумеется, древняя нация, имевшая за собой долгие века славы и господства в Европе, которых Германия никогда не знала, реагировала на столь грубый вызов совсем иначе, чем ожидали немцы: уснувшая было гордость Франции вновь пробудилась; страна встрепенулась от корней до вершины; у самых равнодушных вырвался крик гнева.

Массы немецкого народа были ни при чем, в этих провокациях: честные люди всех стран хотят одного — жить в мире; а в Германии они особенно миролюбивы, добросжелательны, стремятся ладить со всеми и склонны скорее восхищаться другими и подражать им, чем с ними сражаться. Но как раз мнения честных людей не спрашивают; а они не настолько смелы, чтобы сами его высказать. Те, кто не имеет ни привычки, ни мужества действовать на общественной арене, обречены стать игрушкой в руках власть имущих. Они звонкое и бессмысленное эхо, повторяющее и злобные вопли прессы, и вызовы, бросаемые вожаками; оно может звучать и как «Марсельеза» и как «Стража на Рейне».

Для Кристофа и Оливье происшедшее явилось страшным ударом. Они так привыкли любить друг друга, что уже не понимали, почему и между их странами нет такой же любви. Причины этой внезапно пробудившейся упорной враждебности ускользали от обоих, особенно от Кристофа, который как немец не имел уж никаких оснований для неприязни к народу, побежденному его народом. Он был возмущен нестерпимым высокомерием некоторых своих соотечественников и в известной мере разделял негодование французов по поводу полученного ими дерзкого вызова в духе манифеста герцога Брауншвейгского¹, но вместе с тем ему было непонятно, почему бы Франции в конце концов не согласиться стать союзницей Германии: казалось, обе страны имеют столько веских причин для объединения, столько общего во взглядах и столько им предстоит осуществить совместно великих задач, что

¹ Имеется в виду оскорбительный для французского народа манифест герцога Брауншвейгского, командовавшего войсками интервентов во время Французской революции. — *Прим. ред.*

просто досадно видеть эту упорную и бесплодную вражду между ними. Как и все немцы, он считал Францию главной виновницей происходящих недоразумений, и хотя соглашался, что ей тяжело мириться с пережитым поражением, тем не менее с его точки зрения для Франции все это было только вопросом самолюбия, которое должно смириться во имя более высоких интересов цивилизации и самой Франции. Никогда не давал он себе труда разобраться в проблеме Эльзас-Лотарингии. В школе его научили смотреть на аннексию этих областей как на акт справедливости, благодаря которому, после многовекового иноземного ига, исконная немецкая земля вернулась в состав немецкого отечества. Поэтому он точно с неба упал, узнав, что его друг считает эту аннексию преступлением. Кристоф еще ни разу не говорил с Оливье на эту тему, настолько он был уверен в их единодушии; и вот Оливье, беспристрастный и свободомыслящий Оливье, вдруг заявляет ему без горячности, без гнева, но с глубокой печалью, что великий народ еще может отказаться от мести за такое преступление, но не может признать его справедливым, не уронив своей чести.

Им было очень трудно понять друг друга. Исторические причины, приводимые Оливье в доказательство того, что Франция имеет право вернуть себе Эльзас как латинскую землю, не произвели никакого впечатления на Кристофа. Ведь существовали не менее убедительные доказательства обратного: история снабжает политику всеми аргументами, в которых та нуждается для защиты любой точки зрения. Кристофа гораздо больше волновала не французская, а чисто человеческая сторона этого вопроса: дело не в том, являются эльзасцы немцами или нет, а в том, что они не хотят быть немцами — только это и должно приниматься в расчет. Кто вправе сказать: этот народ принадлежит мне, ибо он брат мой? Если брат отрекается от брата, хотя бы и неправильно, вина падает на того, кто не сумел заставить полюбить себя, и он не имеет никакого права принудительно связывать судьбу брата со своей. После сорока лет насилий, явных и тайных обид, несмотря на услуги, которые, возможно, были даже оказаны эльзасцам справедливой и умной немецкой администрацией, они все же на-

стаивали на своем нежелании быть немцами. И когда их воля, наконец, не выдержала и была сломлена, ничто уже не смогло изгладить из их памяти страданий многих поколений, изгнанных с родной земли или — что было еще тяжелее — не имевших возможности покинуть ее, вынужденных сгибаться под ненавистным игом и видеть, как отнимают у них землю и порабащают их народ.

Кристоф простодушно признался, что никогда не подходил к вопросу с такой стороны, и был этим очень смущен. Честный немец обычно вносит в спор ту добросовестность, которой иной раз не хватает страстному и самолюбивому латинянину, как бы он ни был искренен. Кристоф не считал нужным ссылаться на примеры подобных преступлений, совершавшихся во все исторические эпохи, всеми народами. Он был слишком горд, чтобы искать столь унижительных оправданий; он знал, что чем выше поднимается в своем развитии человечество, тем отвратительнее выглядят подобные преступления, ибо вокруг становится светлее. С другой стороны, он понимал, что если бы победительницей оказалась Франция, она выказала бы себя едва ли более умеренной, чем Германия, и что к цепи преступлений прибавилось бы еще одно звено. Так грозил затянуться на века трагический конфликт, способный привести к гибели лучшие завоевания европейской цивилизации.

Но как ни мучителен был этот вопрос для Кристофа, еще мучительнее он оказался для Оливье. Дело заключалось не только в братоубийственной войне между двумя нациями, созданными для того, чтобы объединиться, — даже в самой Франции одна часть нации готсвилась бороться против другой. Уже в течение ряда лет пацифистские и антимилитаристские теории широко распространялись как самыми благородными, так и самыми недостойными представителями нации. Государство, с той болезненной близорукостью, которую оно вносило во все, что не задевало непосредственно интересов политиканов, давно уже предоставило им свободу действия и не думало о том, что, быть может, менее рискованно открыто поддерживать самые опасные теории, чем предоставить им созреть в крови народа и тем самым заранее проиграть войну, которая еще только готовилась. Паци-

фистские теории не могли не волновать свободные умы, мечтавшие о братской Европе и объединении усилий ради создания жизни, более справедливой и человеческой. И они же были на руку трусливому эгоизму всяких подонков, не желавших рисковать своей шкурой ради кого бы и чего бы то ни было. Этими идеями был заражен и Оливье, а также многие из его друзей. Раз или два Кристофу пришлось присутствовать у себя дома при разговорах, которые просто поразили его. Добряк Моох, который был пропитан гуманистическими иллюзиями, сверкая глазами, кротко заявлял, что войне нужно помешать и что самое лучшее средство для этого — поднять солдат на мятеж: пусть стреляют в своих командиров! Он уверял, что успех обеспечен. Инженер Эли Эльсберже с упрямой резкостью отвечал ему, что если война разразится — ни он, ни его друзья не двинутся к границе, пока не сведут счеты с внутренним врагом. Андреэ Эльсберже становился на сторону Мооха. Однажды Кристоф оказался свидетелем ужасной сцены, разыгравшейся между братьями. Один брат кричал другому, что его нужно расстрелять. Невзирая на шутиливый тон, каким произносились эти страшные слова, было ясно, что оба способны осуществить свою угрозу. Кристоф с удивлением наблюдал эту странную нацию, испокон веков готовую ради абстрактной идеи на самоубийство. Сумасшедшие. Сумасшедшие, несмотря на всю свою логику. Каждый видит только собственную идею и твердо решает дойти до конца, не желая поступиться ничем. И, конечно, они взаимно уничтожают друг друга. Гуманисты воюют с патристами, патриоты с гуманистами. А тем временем приходит враг, топчет землю родины и попирает гуманность.

— Но все-таки, — спрашивал Кристоф у Андреэ Эльсберже, — вы сговорились с пролетариями других стран?

— Надо же кому-нибудь начать. Пусть это будем мы. Мы всегда были первыми. Нам и надлежит подать сигнал!

— А если другие не откликнутся?

— Откликнутся.

— У вас есть какое-нибудь соглашение? Заранее намеченные планы?

— На что нам соглашения? Мы сильнее всякой дипломатии.

— Но ведь это вопрос не идеологии, а стратегии. Если вы хотите убить войну, пользуйтесь ее же приемами. Выработайте план действий в обеих странах. Организуйте одновременное выступление ваших сторонников во Франции и в Германии. Назначьте день и час. А если вы рассчитываете на случай, ничего хорошего не получится. С одной стороны, случай, с другой — огромные организованные силы, и вы будете раздавлены, можете не сомневаться.

Однако Андрэ Эльсберже не слушал. Он пожимал плечами и довольствовался неопределенными угрозами по адресу врага: достаточно, заявлял он, бросить горсть песка в соответствующую шестерню, и машина сломается.

Но одно дело — теоретические споры и другое дело — применять свои взгляды на практике, особенно если надо решать немедленно. Страшный час, когда сердце чувствует, что тебя уносит волной! Ты воображаешь, что свободен, что ты хозяин своих мыслей. И вот события захватывают тебя и увлекают за собой, твоей воле противостоит чья-то неведомая воля. И тогда ты узнаешь, кто твоей хозяин: та незримая сила, законы которой управляют океаном человечества.

Умы самые непреклонные, самые уверенные в себе, видели, как их вера таяла, шаталась, трепетала перед выбором, и нередко, к собственному удивлению, избирали совсем другой путь, чем тот, который намечали себе. Иные из наиболее пылких противников войны вдруг чувствовали, как в них неожиданно просыпалась страстная гордость и любовь к своему отечеству. Кристоф видел, что социалисты и даже революционные синдикалисты разрываются между этими противоречивыми чувствами и обязанностями. В первые часы конфликта, когда Кристоф еще не верил в серьезность происходящего, он как-то сказал Андрэ Эльсберже с чисто немецкой бестактностью, что вот настало время претворить в жизнь его теории, если он не желает, чтобы Германия захватила Францию. Андрэ привскочил и с гневом ответил:

— Только попробуйте! Сволочи! Не сумели сами заткнуть рот вашему кайзеру и сбросить с себя ярмо, не смотря на вашу любимую социалистическую партию, в которой четыреста тысяч членов, да на три миллиона

избирателей! Ну так мы это сделаем! Только посмейте захватить нас! Мы вас сами захватим!

По мере того как тянулось ожидание, всеми овладевала лихорадка. Андрэ терзался. Знать, что твои верования правильны, и не быть в состоянии защищать их, чувствовать, что и ты заражен той моральной эпидемией, во время которой в народах распространяется неодолимая сила массового безумия и дыхание войны! Все, окружавшие Кристофа, да и он сам оказались во власти этого безумия. Люди избегали друг друга, перестали разговаривать.

Но терпеть долго эту неизвестность было невозможно. Вихрь действия волей-неволей отбрасывал колеблющихся в тот или иной лагерь. И в один прекрасный день, когда ожидался ультиматум, когда в обеих странах все пружины действия были напряжены и этим действием было готовящееся убийство, Кристоф вдруг заметил, что каждый уже сделал свой выбор. Все враждовавшие друг с другом партии инстинктивно стали на сторону ненавистной или презираемой ими власти, представлявшей Францию. Эстеты, мастера разлагающегося искусства, вставляли в игристые новеллы свое патриотическое *credo*. Евреи твердили о необходимости защищать священную землю праотцев. При одном упоминании слова «знамя» взор Гамильтона¹ увлажнялся. И все это совершенно искренно — всех коснулась зараза. Андрэ Эльсберже и его друзей-синдикалистов — не меньше других, даже, пожалуй, больше: загнанные в тупик обстоятельствами, связанные с ненавистной им партией, они все-таки решились выступить, но с угрюмым бешенством, с пессимистической яростью, превращавшей их в свирепое орудие военных действий. Рабочий Обер, разрывавшийся между наносным гуманизмом и инстинктивным шовинизмом, чуть голову не потерял. После нескольких бессонных ночей он, наконец, нашел всепримиряющую формулу: Франция и есть воплощение человечества. С этой минуты он перестал разговаривать с Кристофом. Да и двери почти всех обитателей дома закрылись перед ним. Даже добрейшие Арно уже не приглашали его к себе. Они попрежнему

¹ См. книгу пятую — «Ярмарка на площади». — Р. Р.

занимались музыкой, окружали себя предметами искусства, стараясь забыть о том, что волновало всех. И всё равно думали. Каждый в отдельности, встречая Кристофа, сердечно пожимал ему руку, но торопливо, украдкой. А если в этот же день Кристоф встречал их снова, но вместе, они проходили мимо, смущенные, не останавливаясь, и ограничивались поклоном. Наоборот, люди, не говорившие друг с другом годами, снова сблизились. Однажды вечером Оливье знаком подозвал Кристофа к окну и указал ему на чету Эльсберже, разговаривавшую в саду с майором Шабраном.

Кристофа не удивил этот переворот в умах — он был слишком занят собственными переживаниями. В нем что-то закипало, и ему никак не удавалось справиться с собой. Оливье, который, казалось, должен был иметь больше причин для тревоги, был куда спокойнее. Точно он один имел иммунитет от этой эпидемии. Как ни угнетала его близость надвигающейся войны и внутренних раздоров, которые он, несмотря на все, считал неотвратимыми, Оливье сознавал величие двух враждебных мировоззрений, чье столкновение было рано или поздно неизбежно, и знал, что Франции предстоит стать опытным полем для человеческого прогресса и что новые идеи расцветут лишь тогда, когда будут политы ее кровью. Что касалось его, то он не намерен был участвовать в схватке и при мысли об этой взаимной резне двух цивилизаций готов был провозгласить вслед за Антигоной: «Я создан для любви, а не для ненависти». Для любви и для понимания, которое та же любовь, только в иной форме. Одной его нежной привязанности к Кристофу было бы достаточно, чтобы понять свой долг. И в этот час, когда миллионы существ готовы были возненавидеть друг друга, он чувствовал, что долг и счастье двух людей, подобных ему и Кристофу, в том, чтобы среди надвигающейся бури сохранить нерушимыми свою любовь и разум. Он вспоминал, как Гёте отказался разделить то чувство очистительной ненависти, которым дышало движение, поднявшее в 1813 году Германию против Франции.

Кристоф все это понимал и все-таки был неспокоен. Он, который в некотором смысле дезертировал из Германии и не мог туда вернуться, он, который так глубоко

проникся общеевропейскими идеями великих немцев XVIII века, столь дорогих его другу Шульцу, и так ненавидел дух новой милитаристической и меркантильной Германии, — он чувствовал, как в нем просыпается ураган страстей; и не знал, в какую сторону его понесет этот ураган. Он ничего не говорил Оливье, но каждый день с тревогой ждал новостей. Втайне от Оливье Кристоф собирал свои вещи, укладывал чемодан. Он не рассуждал. Надвигавшееся было сильнее его. Оливье следил за ним с беспокойством, догадываясь о внутренней борьбе, происходившей в душе друга, и не решался его расспрашивать. В эти дни они испытывали потребность сблизиться еще теснее: их любовь еще никогда не была так сильна; но они избегали говорить друг с другом, боясь вдруг обнаружить такое расхождение во взглядах, которое могло бы лечь между ними преградой. Нередко их глаза встречались с выражением тревожной нежности, словно они были накануне вечной разлуки. И оба подавленно молчали.

А между тем на крыше дома, строившегося по ту сторону двора, в эти горькие дни, под дождем, налетавшим порывами, рабочие забивали последние гвозди, и прятель Кристофа, болтливый кровельщик, смеясь, кричал ему издали:

— А дом-то я все-таки достроил!

К счастью, гроза прошла так же внезапно, как и началась. Официальные правительственные ноты, словно барометр, возвестили наступление ясной погоды. Злобные газетные шавки вынуждены были опять забиться в свои конуры. За какие-нибудь несколько часов всеобщее напряжение упало. Стоял летний вечер. Кристоф, запыхавшись, прибежал сообщить Оливье радостную весть. Он сиял и едва переводил дух. Оливье смотрел на него с чуть грустной улыбкой и не решался задать другу мучивший его вопрос. Он сказал:

— Ну что ж, ты теперь видел, как все эти люди, которые никак не могли сговориться, вдруг соединились?

— Да, видел, — весело ответил Кристоф. — Ну и шутники вы. Ругаете друг друга, а по сути дела вы все заодно.

— Ты как будто доволен этим, — заметил Оливье.

— Почему бы и нет? Оттого, что их единодушие достигнуто за мой счет? Чепуха! У меня силы хватит! И потом все-таки хорошо чувствовать, как этот поток тебя уносит, как в душе просыпаются демоны...

— А у меня они вызывают ужас. По мне уж лучше вечное одиночество, чем единодушие моего народа, купленное такой ценой.

Оба умолкли, и ни тот, ни другой не решался коснуться смущавшего их предмета. Наконец, Оливье сделал над собой усилие и сдавленным голосом спросил:

— Скажи откровенно, Кристоф: ты собирался уехать?

Кристоф ответил:

— Да.

Оливье не ждал иного ответа, и все же сердце его сжалось. Он продолжал:

— Кристоф, неужели ты бы мог...

Кристоф провел рукой по лбу и ответил:

— Не будем говорить об этом, я больше не хочу об этом думать.

А Оливье с болью повторял:

— И ты стал бы сражаться против нас?

— Не знаю, я не задавал себе этого вопроса.

— Но в глубине души ты уже решил?

Кристоф ответил:

— Да.

— Против меня?

— Против тебя — никогда. Ты мой. Где я, там и ты.

— Но против моей родины?

— За мою родину.

— Это ужасно, — сказал Оливье. — Я, как и ты, люблю свою родину. Люблю свою дорогую Францию; но могу ли я убить ради нее свою душу? Могу ли ради нее пойти против своей совести? Это все равно, что пойти против Франции. А как мог бы я ненавидеть, не чувствуя ненависти, или разыгрывать комедию ненависти и при этом не лгать? Современное государство совершило гнусное преступление, под бременем которого оно само

погибнет, — в тот день, когда оно потребовало, чтобы его железному закону подчинилось свободное сообщество людей, объединенных в духе, сущность которого — понимание и любовь. Пусть кесарь остается кесарем, но пусть не притязает стать богом! Пусть отнимает у нас деньги, жизнь, но наши души ему не подвластны: ему не удастся залить их кровью. Мы пришли в этот мир, чтобы зажечь свет, а не гасить его. Каждому свое! Если кесарю угодно воевать — пусть держит для этого армию, как в старину, такую армию, для которой война — ремесло. Я не настолько глуп, чтобы тратить время на бесплодное нытье, когда мне угрожает сила. Но я принадлежу не к армии силы, а к воинству духа; в его рядах вместе с тысячами моих братьев я представляю Францию. Пусть кесарь, если хочет, завоевывает весь мир, — мы завоевываем истину.

— Чтобы ее завоевать, — сказал Кристоф, — нужно побеждать, нужно жить. Истина — это не отвердевший догмат, который выделяется и образуется мозгом, как сталактиты — сводами пещеры. Истина — это жизнь. И не в своем мозгу должны вы искать ее, а в сердцах других людей. Объединитесь с ними, исповедуйте какие угодно взгляды, но окунайтесь каждый день в живую воду человечности. Нужно жить жизнью других, принимать свой удел и любить его.

— Наш удел — быть тем, что мы есть. Не от нас зависит — мыслить или не мыслить, даже если мыслить опасно. Мы поднялись на такую ступень цивилизации, откуда повернуть вспять уже нельзя.

— Да, вы подошли к самому краю возвышенности, к той критической точке, которой ни один народ не может достигнуть, не испытав желания броситься вниз. И религия и инстинкт ослабели в вас. Остался один только интеллект. Но на нем вы сломаете себе шею! Вас ожидает смерть.

— Смерть ожидает все народы: это неизбежно, столетием раньше, столетием позже.

— А ты этими веками не пренебрегай. Вся наша жизнь складывается из дней. Нужно жить черт его знает в каком отвлеченном мире, чтобы мечтать об абсолюте, тогда как надо отдаваться пролетающему мгновению.

— Что же делать! Факел сгорает в своем пламени. Нельзя быть и перестать быть.

— А нужно.

— Великое прошлое — это великое дело.

— Великое только в том случае, если и сейчас еще есть великие люди, способные оценить его.

— А разве ты не предпочел бы быть одним из древних греков, которые уже умерли, чем принадлежать к тем народам, которые ныне прозябают?

— Я предпочитаю быть живым Кристофом.

Оливье замолчал, хотя мог бы возразить еще многое. Но не это ему было важно. Во все время их спора он думал только о Кристофе. И потому он сказал вздохнув:

— Ты любишь меня меньше, чем я тебя.

Кристоф с нежностью взял его руку.

— Милый Оливье, — сказал он, — я люблю тебя больше моей жизни. Но, прости, я люблю тебя не больше Жизни вообще, этого солнца наших народов. Я ненавижу мрак, в который меня тащит ваш мнимый прогресс. Ваш отказ от действия прикрывает ту же бездну. Живое только действие, даже когда оно убивает. В этом мире нам дано лишь выбирать между пожирающим нас пламенем и тьмою. Несмотря на всю сладостную меланхолию грез, предшествующих сумраку, мне не нужен этот покой, предвестник смерти. Молчание бесконечных пространств внушает мне ужас. Так будем же бросать в костер все новые охапки! Еще! Еще! А если нужно — и меня самого туда же вместе с ними! Я не хочу, чтобы огонь погас! Если он погаснет, нам конец, конец всему, что существует.

— Я узнаю твой голос, — сказал Оливье. — Он звучит из глубин древнего варварства.

Затем снял с полки книгу индийского поэта и прочел высокий призыв бога Кришну:

— «Встань и сражайся решительно и смело. Равнодушный к радости и муке, к удаче и неудаче, к победе и поражению, сражайся изо всех своих сил»...

Кристоф выхватил у него книгу и прочел дальше:

— «Нет в мире ничего, что принуждало бы меня к действию, ибо нет ничего, что не было бы моим; и все

же я не бегу от действия. Если бы я не действовал без отдыха и срока, подавая людям пример, которому они должны следовать, все погибли бы. Если бы я на единый миг перестал действовать, я вверг бы вселенную в хаос и был бы убийцей жизни».

— Жизнь, — повторил Оливье, — что такое жизнь?

— Трагедия, — отвечал Кристоф. — Урра!

Буря утихала. С тайным страхом все старались как можно скорее забыть ее. Никто, казалось, уже не помнил о происшедшем. И все-таки — помнили, судя по той радости, с какою вернулись опять к милой обыкновенной жизни, всю ценность которой чувствуешь, только когда она под угрозой. И как всегда после перенесенной опасности, люди набросились на эту жизнь, стремясь насытиться ею вдвойне.

Кристоф с удесятеренным воодушевлением снова отдался творчеству. Он увлек с собой и Оливье. Как бы в отместку мрачным мыслям они принялись сочинять вместе эпоску на темы из Рабле. Эпоска была пропитана тем сочным материализмом, который обычно следует за периодами нравственной депрессии. К прославленным героям Рабле — Гаргантюа, брату Жану, Панургу, — Оливье, под влиянием Кристофа, прибавил новый персонаж — крестьянина Пасьянса — простодушного, хитрого пройдоху; его лупят, обворовывают — он терпит; у него сманивают жену, грабят поля — он терпит и упорно продолжает обрабатывать землю; его угоняют на войну, бьют все, кто ни попало, — он терпит, ждет, смеясь над подвигами своих господ и их ударами, и только приговаривает: «Не вечно же это будет продолжаться» — он предвидит конец, когда все полетит вверх тормашками и заранее беззвучно хохочет своим широко раскрытым ртом. И действительно, в один прекрасный день Гаргантюа и брат Жан ступили в воду. Пасьянс от души пожалел их, спас тонувшего Панурга и сказал: «Я знаю, что ты мне еще наделаешь пакостей, но я не могу обойтись без тебя: ты разгоняешь мою желчь, смешаешь меня».

На текст этой поэмы Кристоф написал симфонические картины с хорами, с героико-комическими битвами, буйными гульбищами, вокальными буффонадами, мадригалами в духе Жанекена, с бурей на море, звенящим островом и его колоколами, и в заключение — пасторальную симфонию; она была полна ароматом лугов, ликованием веселых флейт и гобоев и народными песнями. Друзья работали с радостным подъемом. Бледнолицый худышка Оливье точно окунался в поток целительной силы. Через их мансарду проносились вихри радости... Творить из глубин своего сердца вместе с сердцем друга! Объятие двух возлюбленных не было более сладостным и жгучим, чем эта близость двух душ. Слияние было столь полным, что у них иногда одновременно вспыхивала одна и та же мысль. Кристоф писал музыку для какой-нибудь сцены, а Оливье потом сочинял для нее слова. Кристоф увлекал его по пути своего мощного творческого порыва. Его дух осенял и оплодотворял дух Оливье.

К счастью творчества присоединялась радость победы. Гехт, наконец, решился выпустить в свет «Давида», и его партитура, появление которой было заранее объявлено, сейчас же вызвала отклик за границей. Один видный дирижер-вагнерианец, друг Гехта, живший в Лондоне, заинтересовался произведением Кристофа; он дирижировал в нескольких концертах с немалым успехом, и этот успех продолжался в Германии, где его исполнил еще один дирижер — поклонник Крафта. Дирижер стал переписываться с Кристофом, попросил прислать другие его сочинения, предложил свои услуги, упорно пропагандировал его. В Германии произошло вторичное открытие «Ифигении», некогда там освистанной. Кристофа объявили гением. Романтические детали его биографии немало способствовали интересу к нему. «Франкфуртерцейтунг» первая поместила восторженную статью. Другие газеты последовали ее примеру. Тогда спохватился ксе-кто из французов, вспомнив, что среди них живет великий композитор. Один из организаторов парижских концертов попросил Кристофа дать его музыкальную эпопею на темы Рабле, хотя она еще не была закончена; а Гужар предчувствуя восхождение нового светила, заговорил

таинственными намеками о некоем гении, которого он открыл среди своих друзей. Он написал статью, превознося «Давида» и совершенно забыв о том, что в прошлом году посвятил ему лишь несколько ругательных строк. И никто из окружающих также об этом не вспомнил. Сколько людей в Париже в свое время поносили Вагнера и Франка, а теперь восхваляли их, чтобы уничтожить новых композиторов, которых будут восхвалять завтра!

Для Кристофа этот успех был неожиданностью. Он знал, что рано или поздно победит, но не думал, что этот день так близок; кроме того, он не доверял столь скоропелому признанию, пожимал плечами и просил оставить его в покое. Кристоф понял бы успех «Давида» в прошлом году, когда вещь была написана; но теперь он уже ушел далеко вперед, поднялся еще на несколько ступеней. С каким удовольствием он сказал бы людям, которые восторгались в его присутствии этим уже отжившим для него произведением:

«Не приставайте ко мне с этой дрянью! Она мне противна. Да и вам тоже».

И снова отдавался своей новой работе, слегка раздосадованный тем, что его оторвали. Все же втайне он был доволен. Ведь первые лучи славы так сладостны. Побегать — это благо, это здоровье. Это — точно распахнувшееся окно, через которое в комнату вливается первое дыхание весны. Как ни старался Кристоф относиться свысока к своим прежним композициям и особенно к «Ифигении», все же теперь, когда немецкие критики расхваливали, а театры наперебой требовали у него эту убогую стряпню, принесшую ему некогда столько горестей, — Кристоф воспринимал это как своего рода реванш за прошлое. Он получил письмо, в котором директор Дрезденского театра извещал его, что был бы весьма счастлив поставить его вещь в будущем сезоне.

В тот самый день, когда Кристоф получил это предложение, открывавшее перед ним, после стольких лет нужды, возможность более обеспеченной жизни и сулившее, наконец, победу, пришло еще одно письмо.

Была середина дня. Кристоф умывался, весело переговариваясь с Оливье, который находился в соседней комнате, когда привратница сунула под дверь письмо. Почерк матери... А он как раз хотел ей написать и радовался, что может сообщить о своем успехе. Он вскрыл письмо: всего несколько строк!.. И как дрожала ее рука!

«Мой дорогой мальчик, я чувствую себя очень скверно. Если бы это было возможно, я бы очень хотела повидать тебя еще раз. Целую,

Мама».

Кристоф застонал. Оливье в испуге бросился к нему. Не в силах произнести ни слова, Кристоф молча указал на лежавшее перед ним письмо. Он продолжал стонать, не слушая Оливье, который мгновенно пробежал письмо глазами и попытался успокоить друга, затем Кристоф метнулся к своей кровати, где лежал пиджак, торопливо оделся и, не пристегивая воротничка (пальцы не слушались его), вышел. Оливье догнал его на лестнице: что он собирается делать? Уехать с первым поездом? Но до вечера поездов нет. Лучше ждать дома, чем на вокзале. А денег у него хватит? Они обыскали карманы — у обоих набралось всего около тридцати франков. Сейчас сентябрь. Никого из их друзей в Париже не было, уехали и Гехт и Арно. Обратиться не к кому. Кристоф, сам не зная, что говорит, заявил, что часть пути он пройдет пешком. Оливье упросил его подождать хотя бы час и обещал достать нужную сумму. Кристоф покорился; он неспособен был думать ни о чем. Оливье поспешил в ломбард — впервые в жизни: сам он предпочел бы любые лишения, только бы не закладывать ничего из вещей, столь дорогих для него по воспоминаниям; но вопрос шел о Кристофе, и нельзя было терять ни минуты. Оливье заложил свои часы, за которые ему дали гораздо меньше, чем он ожидал. Пришлось вернуться домой, взять несколько книг и отнести к букинисту. Очень жаль. Но в эту минуту он не думал о книгах. Все его мысли были о Кристофе и его горе. Возвратившись, он застал Кристофа на том же месте, в полной прострации. С теми тридцатью франками, которые у них были, сумма, собранная Оливье, оказалась более чем достаточной. Но Кристоф

был слишком подавлен, он не стал даже спрашивать, каким образом Оливье раздобыл деньги и оставил ли он себе достаточно, чтобы прожить во время его отсутствия. Оливье об этом тоже не подумал: он отдал Кристофу все, что у него было. Ему пришлось заботиться о своем друге, точно о ребенке. Он проводил его на вокзал и расстался с ним, только когда поезд тронулся.

Кристоф, глядя широко раскрытыми глазами перед собой, в надвигавшуюся ночь, думал:

«Застану ли я ее?»

Он знал, что уж если мать позвала его, значит медлить невозможно. И его лихорадочное волнение точно подгоняло содрогавшийся от быстрого хода курьерский поезд. Он горько упрекал себя за то, что покинул Луизу. И вместе с тем понимал, что всякие упреки бесполезны, — в его ли власти изменить ход событий?

Все же однообразный стук колес и покачиванье вагона постепенно успокоили его и укротили душевное смятение, подобно тому как мощный ритм обуздывает бурные волны музыки. Перед Кристофом проходила вся его жизнь, начиная с мечтаний далекого детства: увлечения, надежды, разочарования, утраты и — ликующая сила, упоенность страданием, радостью, творчеством, жажда обнять и прижать к сердцу всю жизнь с ее блеском и ее величественными тенями, ибо эта жизнь была душой его души, его сокровенным богом. Теперь, на расстоянии, все прояснялось. Порывы изменчивых желаний, смятение мыслей, ошибки, заблуждения, яростные битвы — все вставало перед ним в образе водоворотов и вихрей, уносимых великим потоком к вечной цели. Он постигал теперь скрытый смысл этих лет, полных испытаний; каждое испытание было преградой, которую сносила своим напором все более полноводная река; и каждый раз из более узкой долины она изливалась в более широкую; кругозор раздвигался, дышалось свободнее. Река пробила себе дорогу между холмами Франции и германской равниной, заливая луга, подмывая подножье холмов, вбирая в себя воды обеих стран. Так она текла — не для того, чтобы разделить их, но чтобы соединить; в ней они сочетались. И Кристоф впервые понял свое предназначение — оно состояло в том, чтобы вливать, подобно

артерии, в два враждующих народа все жизненные силы, шедшие от обоих берегов.

Перед Кристофом, в самый мрачный час его жизни, открылась удивительная ясность, покой, неожиданный свет... Затем видение исчезло, и в памяти осталось только скорбное и нежное лицо его старенькой мамы.

Когда он приехал в маленький немецкий городок, день едва брезжил. Надо было остерегаться, чтобы его не узнали, так как ему все еще угрожал арест. Но на вокзале на него решительно никто не обратил внимания; городок еще спал, дома были заперты, улицы безлюдны; стоял тот серый предутренний час, когда ночные огни уже гаснут, а дневного света еще нет, когда сон особенно сладок и на сновидениях лежит бледный отблеск восхода. Молоденькая служанка открывала ставни какой-то лавочки, напевая старинную немецкую песню. Кристофа душило волнение. О, родина! Возлюбленная... Он готов был целовать землю, по которой ступал. Слушая эту простодушную песню, согревавшую ему сердце, Кристоф почувствовал, как был несчастен вдали от родины и как он ее любит. Он шел, едва переводя дыхание. Когда он увидел родной дом, то вынужден был остановиться и зажать рот рукой, чтобы не закричать. В каком состоянии найдет он ту, которая здесь живет и которую он покинул? Отдышавшись, он почти бегом поспешил к двери. Она была приотворена. Кристоф толкнул ее. Никого... Старая деревянная лестница заскрипела под его ногами. Он поднялся наверх. Казалось, дом пуст. Дверь в комнату матери была заперта.

Кристоф, с бьющимся сердцем, взялся за ручку. Он был не в силах открыть...

Луиза лежала одна и чувствовала, что это конец. Второй ее сын — Рудольф — поселился в Гамбурге, третий — Эрнст — уехал в Америку и не подавал о себе вестей. Никто не интересовался умирающей, только одна из соседок заглядывала два раза в день — узнать, не нужно ли ей что-нибудь; присаживалась на несколько минут возле кровати и снова уходила, занятая собственными делами; особой точностью соседка не отличалась

и часто опаздывала. Луиза считала вполне естественным, что люди ее забывают, как считала вполне естественным, что ей стало худо. Она привыкла страдать, и терпенье у нее было ангельское. Ее мучила боль в сердце, бывали припадки удушья, когда ей казалось, что она умирает: глаза выкатывались, руки судорожно сжимались, по лицу струился пот. Но Луиза не жаловалась, ибо знала, что так и должно быть. Она была готова к смерти и уже причастилась. Одно только тревожило ее — что бог сочтет ее недостойной войти в его рай. Все остальное она терпеливо принимала.

Дальний угол ее каморки был обращен в алтарь воспоминаний: на стене алькова, возле изголовья, она развесила фотографии тех, кто был ей дорог, — трех своих мальчуганов, своего мужа, которого любила в воспоминаниях любовью первых дней супружества, старого дедушки и своего брата Готфрида; в ее сердце продолжала жить трогательная привязанность ко всем, кто был хоть сколько-нибудь добр к ней. На простыне, у самого лица, она приколола последнюю карточку Кристофа, а его последние письма лежали у нее под подушкой. Она любила порядок и безукоризненную чистоту и страдала от того, что в комнате недостаточно аккуратно прибрано. Больная внимательно прислушивалась ко всем доносившимся к ней с улицы шорохам и шумам, ибо по ним определяла время. Ведь она слышала их уже столько лет! Вся ее жизнь прошла в этом тесном уголке! Она думала о своем дорогом Кристофе. Как мучительно ей хотелось, чтобы он сейчас был здесь, подле нее! Но даже то, что его не было здесь, Луиза принимала со смирением. Она была уверена, что там, на небесах, встретится с ним. Она закрывала глаза — и уже видела его. Погруженная в прошлое, больная проводила целые дни в забытьи...

Вот Луиза в старинном доме на берегу Рейна... День праздничный... Чудесный летний день. Окно открыто. Белая дорога, солнце. Поют птицы. Мельхиор и дедушка, сидя на крыльце, болтают, покуривают и громко хохочут. Луизе их не видно, но она так рада, что муж именно сегодня дома, а дедушка в хорошем настроении. Она в комнате нижнего этажа и стряпает обед — отличный обед: она вложила в него всю душу. И даже готовит сюрприз:

торт с каштанами. Она заранее предвкушает радостные возгласы малыша. Малыш, где-то он сейчас? Да, наверху. Она слышит, как он упражняется на рояле. Она не понимает его музыки, но для нее — счастье слышать это знакомое журчанье, зная, что он тут, послушно сидит за инструментом... Какой ясный день! Как весело звенят бубенчики проехавшей по дороге повозки! Ах, господи! Жаркое-то! Неужели пригорело, пока она смотрела в окно? Луиза боится, как бы дедушка, которого она так любит и перед которым все же робеет, не рассердился и не начал бранить ее... Нет, слава богу, все в порядке! Вот обед готов и стол накрыт. Она зовет Мельхиора и дедушку. Они весело отзываются. А малыш? Он перестал играть. Уже несколько мгновений, как его рояль умолк, а она и не заметила. Кристоф!.. Что он делает? Ни звука. Вечно он запаздывает к обеду! Она торопливо поднимается по лестнице... Кристоф!.. Молчанье. Она распахивает дверь комнаты, в которой сын обычно занимается. Никого. Комната пуста, рояль закрыт... У Луизы от страха сжимается сердце. Куда он пропал? Окно стоит настежь. Господи! Вдруг он выпал из окна! Луиза в смятении. Она высовывается наружу... Кристоф!.. Нигде нет. Она ищет во всех комнатах. А снизу дедушка кричит ей: «Иди же, не беспокойся, придет». Она не хочет спускаться вниз; она знает, что он здесь... Спрятался нарочно, чтобы напугать. Ах, злой мальчишка! Да, так и есть, скрипнула половица; он тут, за дверью. Но ключа в двери нет. Ключ! Она торопливо шарит в ящике, ищет среди других ключей. Этот, этот... нет, не то... А! вот он наконец! Но ключ не лезет в замок. Руки Луизы дрожат. Она торопится. Нужно торопиться. Зачем? Она не знает, но чувствует, что нужно. Если она не будет спешить, она не успеет. Она слышит дыхание Кристофа за дверью. Ах, этот ключ! Наконец-то! Дверь открывается. Луиза радостно вскрикивает. Это он! Сын бросается к ней на шею... Ах ты, злой, добрый, любимый мальчик!

Она открыла глаза. Он здесь, перед нею.

Кристоф уже с минуту смотрел на нее, на ее изменившееся до неузнаваемости, исхудавшее и в то же время

отекшее лицо; выражение немого страдания стало еще более жалким, когда на этом лице появилась улыбка... Сердце у Кристофа разрывалось...

Мать увидела его. Она не удивилась и улыбнулась неизъяснимо доброй улыбкой, но была не в силах ни раскрыть объятия, ни вымолвить слово. Он бросился ей на шею, поцеловал ее, она поцеловала его; крупные слезы текли по ее щекам. Она прошептала:

— Постой...

Кристоф увидел, что мать задыхается.

Оба затихли. Только рука ее тихонько гладила его по голове, а слезы так и лились из ее глаз. Он целовал ей руки и, рыдая, зарылся лицом в простыни.

Когда приступ прошел, она попыталась заговорить. Она с трудом находила нужные слова, путалась, и он едва понимал ее. Но не все ли равно? Они любили друг друга, видели, могли друг до друга дотронуться — это было главное. Он с негодованием спросил, почему ее оставляют одну. Мать попыталась найти оправдание для соседки:

— Не может она все время быть тут: у нее своя работа есть...

Слабым, срывающимся голосом, проглатывая слог, она торопливо что-то наказала ему насчет своей могилы. Затем попросила Кристофа передать двум его братьям, которые, видно, забыли о ней, как она их любит.

Вспомнила и про Оливье. Она знала о его привязанности к Кристофу и попросила сына сказать, что посылает его другу свое благословение (затем тут же робко поправилась, заменив эти слова более скромными) — «свою почтительную любовь».

Она снова начала задыхаться. Кристоф, поддерживая мать, посадил ее в кровати. Лицо Луизы покрылось испариной. Она силилась улыбнуться, говоря себе, что желать ей больше нечего, ведь ее рука лежит в руке сына.

Внезапно Кристоф почувствовал, как эта рука судорожно сжалась. Рот открылся. Мать посмотрела на сына с беспредельной нежностью — и скончалась.

Вечером того же дня приехал Оливье. В эти трагические часы, — а он слишком хорошо знал на собственном опыте, как они тяжелы, — друг Кристофа не мог оставить его одного. Боялся он также и опасностей, которым подвергал себя Кристоф, вернувшись в Германию. Оливье хотел быть с ним, чтобы охранять его. Но не было денег на поездку. Проводив Кристофа и вернувшись с вокзала, он решил продать несколько оставшихся у него фамильных драгоценностей. Так как ломбард в этот час был уже заперт, а Оливье непременно хотел уехать с первым же поездом, он решил пойти к ближайшему скупщику случайных вещей, но на лестнице встретил Мооха. Узнав о планах Оливье, Моох был искренно огорчен, что тот сразу не обратился к нему, и заставил взять у него нужную сумму. Моох был в полном отчаянии оттого, что Оливье заложил часы и продал книги, желая достать денег на поездку Кристофа, — ведь он, Моох, был бы так счастлив оказать им услугу. Желая во что бы то ни стало помочь, он даже предложил Оливье поехать вместе с ним. Оливье едва удалось его отговорить.

Приезд Оливье был благодеянием для Кристофа. Подавленный горем, он провел весь день наедине с усопшей. Приходила соседка, кое-что прибрала, затем ушла и уже не возвращалась. Часы текли, а Кристоф все сидел, погруженный в оцепенение смерти. Он был так же неподвижен, как и покойница; он не сводил с нее глаз, не плакал, не размышлял; он был сам подобен мертвецу... Чудо дружбы, совершенное Оливье, вернуло ему способность плакать и жить.

Getrost! Es ist der Schmerzen werth die Leben,
So lang...

mit uns ein treues Auge weint.

(Мужайся! Наша жизнь еще страданий стоит,
Покуда...

очи друга с нами плачут.)

Они обнялись и никак не могли разомкнуть объятия. Потом сели около Луизы и начали беседовать вполголоса... Спустилась ночь... Кристоф, опершись о кровать, делился с Оливье воспоминаниями детства, и, как они ни были бессвязны, в них всюду присутствовал

образ матери. Иногда он на несколько минут умолкал, потом снова продолжал рассказывать. Наконец, он умолк совсем, разбитый усталостью, закрыв лицо руками. Оливье подошел и увидел, что Кристоф заснул. Тогда он решил бодрствовать один. Но и его в конце концов сморил сон, и он задремал, положив голову на спинку кровати. Луиза кротко улыбалась и, казалось, была счастлива, что бодрствует возле этих двух спящих детей.

Рано утром их разбудил громкий стук в дверь. Кристоф пошел открывать. Это был сосед, столяр: он явился предупредить Кристофа, что его выдали и что, если он хочет избежать ареста, нужно немедленно уезжать. Но Кристоф отказался: он не расстанется с матерью до тех пор, пока не проведет ее на место вечного успокоения. Оливье умолял его уехать с первым же поездом, клялся, что заменит его подле покойницы; уговорил его выйти из дому; и, боясь, что Кристоф передумает, сам повел его на вокзал. Кристоф упирался, он не желал уезжать, не повидав хотя бы великой реки, вблизи которой прошло все его детство и чьи мощные звуки точно в морской раковине навсегда остались жить у него в душе. Несмотря на опасность, которой Кристоф подвергался, показываясь в городе, Оливье пришлось уступить. Они прошли по набережной Рейна, с мощным спокойствием мчавшего свои волны между низкими берегами, чтобы умереть среди песков Севера. Смутно проступал сквозь туман огромный стальной мост, опустивший в серую воду две своих арки, две половинки колес гигантской колесницы. В утренней мгле терялись далекие очертания лодок — они плыли против течения по речным излучинам, поблескивавшим среди лугов. Кристоф был погружен в свои мечты. Оливье заставил его очнуться и, взяв под руку, отвел на вокзал. Кристоф не противился: он шел, как лунатик. Оливье посадил его в поезд, они условились встретиться завтра на первой французской станции, чтобы Кристофу не возвращаться одному в Париж.

Поезд отошел, а Оливье вернулся в дом Луизы и уви-

дел у входа двух жандармов, поджидавших Кристофа. Они решили, что перед ними Кристоф. А Оливье не спешил с выяснением ошибки, благоприятствовавшей бегству Кристофа. Впрочем, жандармы не так уж были разочарованы, они не обнаружили особого рвения в поисках беглеца, и Оливье даже показалось, что исчезновение Кристофа не слишком огорчило полицию.

Оливье остался до следующего утра, когда должны были состояться похороны. На них присутствовал также сын-коммерсант, Рудольф: он пробыл от поезда до поезда. Этот самоуверенный господин степенно проводил гроб на кладбище и тут же уехал, не сказав Оливье ни слова, не спросив о брате, даже не поблагодарив за все, что друг Кристофа сделал для их матери. Оливье провел еще несколько часов в этом городе, в котором не знал никого из живых, но в котором обитало столько близких ему видений прошлого: маленький Кристоф, те, кого он любил, те, из-за кого он страдал, и дорогая Антуанетта... Что осталось от всех этих людей, когда-то здесь живших? От семьи Крафтов, которая разбредась по свету?.. Только любовь к ним, жившая в сердце чужеземца.

Под вечер Оливье нашел Кристофа на пограничной станции, где они условились встретиться. Это была просто деревушка среди лесистых холмов. Они не стали дожидаться следующего псезда на Париж, а решили пройти часть пути пешком — до ближайшего города. Оба чувствовали необходимость остаться наедине. Они зашагали через безмолвный лес; лишь издали доносились до них тяжелые удары топора. Затем выбрались на прогалину на вершине холма. Внизу, где была еще немецкая земля, лежал тесный дол, и они увидели домик лесничего с красной крышей, и лужок, напоминавший зеленое лесное озеро. А вокруг — океан темносиних окутанных мглой лесов. Туман волнами скользил между ветвями елей. Прозрачная дымка стирала резкость очертаний, смягчала яркость красок. Все было неподвижно. Ни шума шагов, ни человеческого голоса. Редкие капли дождя падали, звеня, на позолоченную медь буков, уже тронутых осенью.

Между камнями журчала струйка ручейка. Кристоф и Оливье остановились и замерли. Каждый вспоминал о своих утратах. Оливье думал:

«Антуанетта, где ты?»

А Кристоф:

«На что мне успех теперь, когда ее уже нет?»

И каждый услышал в ответ голос своих дорогих покойниц, утешавших его:

«Любимый наш, не оплакивай нас. Не думай о нас. Думай о нем...»

Они обменялись взглядом, и каждый почувствовал уже не собственную боль, а боль друга. Они взялись за руки. Обоих охватила светлая печаль. Медленно, хотя не было ни единого дуновения, пелена тумана растаяла; небо снова расцвело голубизной. Как трогательна кротость земли после дождя! Она обнимает нас с прекрасной и любящей улыбкой; она говорит нам:

«Отдохни. Все хорошо...»

Кристофу становилось легче. Эти два дня он жил только воспоминаниями, словно в него проникла душа дорогой мамы, — он видел вновь эту смиренную жизнь, однообразные, одинокие дни, которые проходили в тишине дома, где уже не было детей, но где каждая минута была полна только мыслями о детях, покинувших ее, бедную, больную, но мужественную старуху; вспоминал ее спокойную веру, мягкий юмор, веселое смирение, жертвенность... И еще думал обо всех смиренных душах, которые он знал. Как близки они были ему в эти минуты! Теперь, когда самые трудные годы остались позади, годы изнуряющей борьбы среди накаленного Парижа, где в яростных схватках перемешивались идеи и люди, где они только что пережили тот трагический час, когда уже повеяло вихрем смертоносного бреда, бросающего друг против друга обезумевшие народы, — теперь Кристоф понял, как он устал от этой лихорадочной и бесплодной жизни, от столкновения людских эгоизмов, от всех этих избранников человечества, честолюбивых и тщеславных, возомнивших, что они соль земли, тогда как они лишь ее дурной сон. И вся его любовь устремилась к тем миллионам простых душ, которые есть в каждом народе и которые безмолвно пылают, как

чистые светочи добра, веры, самопожертвования, как подлинное сердце мира.

«Да, я узнаю вас. Это вы, наконец-то я нашел вас вновь, вы мне кровно близки, вы — мои! Как блудный сын я покинул вас, погнался за призраками и тенями, мелькающими на пути. Я возвращаюсь к вам — примите же меня. Мы с вами — единое существо, живые и умершие.

Где я, там и вы со мной. Отныне я ношу тебя в себе, о мать, носившая меня! И все вы — Готфрид, Шульц, Сабина, Антуанетта — все вы во мне. Вы — мое богатство. Мы вместе пойдем дальше. Я буду вашим голосом. Соединив наши силы, мы достигнем цели...»

Луч солнца скользнул между мокрыми ветвями деревьев, медленно ронявших капли. С лужка под горой были слышны детские голоса — три девочки, взявшись за руки, плясали около домика и пели старинную немецкую песню. И, как запах розы, западный ветер доносил издали, из Франции, звон колоколов...

«О мир, божественная гармония, музыка освобожденной души, где сливаются воедино боль и радость, смерть и жизнь, народы-враги и народы-друзья. Я тебя люблю, я тебя зову, ты станешь моим, мир, ты придешь!»

Покрывало ночи опустилось на землю. Кристоф, очнувшись от своих мыслей, увидел дышавшее верностью лицо друга, улыбнулся ему и обнял его. Они молча углубились в лес, и Кристоф прокладывал путь Оливье.

Taciti, soli e senza compagnia,
n'andavan l'un dinnanzi, e l'altro dopo,
come i frati minor vanno per via¹.

¹ Безмолвны, одиноки и без свиты,
Мы шли путем, неведомым для нас,
Друг другу вслед, как братья минориты.

Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXIII.

Книга восьмая
ПОДРУГИ

Перевод
Н. КАСАТКИНОЙ

Хотя за границей известность Кристофа росла, им с Оливье жилось немногим лучше, чем прежде. Время от времени возникали перебои с деньгами и приходилось туже стягивать пояс. Раздобыв денег, друзья спешили вознаградить себя и ели за двоих. Но в конце концов такой режим порядком изматывал.

Сейчас как раз была полоса оскудения. Кристоф полночи просидел за скучнейшей работой — он доканчивал переложение какой-то музыкальной пьесы по заказу Гехта; лег он только на рассвете и спал крепким сном, наверстывая упущенное. Оливье ушел рано утром: у него был урок на другом конце города. Часов около восьми позвонил привратник, принесший почту. Обычно он не дожидался, чтобы открыли, и подсовывал письма под дверь. А тут он упорно стучал.

Кристоф пошел открывать, сонный и сердитый; он не стал слушать ухмылявшегося привратника, который толковал про какую-то статью в газете, взял, но не просмотрел письма, закрыл, но не запер дверь и лег досыпать.

Через час его опять разбудили шаги — на этот раз уже в самой комнате; вскочив спросонья, он с изумлением увидел, что в ногах кровати стоит какой-то незнакомый господин и церемонно приветствует его. Это был репортер, который обнаружил, что дверь отперта, и, не долго думая, вошел. Кристоф в ярости прыгнул с кровати.

— Какого черта вам тут нужно? — закричал он.

Схватив подушку, он собрался запустить ею в непрошенного гостя, тот увернулся и поспешил объясниться. В качестве репортера газеты «Насьон» он желал бы

проинтервьюировать г-на Крафта по поводу статьи, напечатанной в «Гран журнал».

— Какой статьи?

— Неужели вы не читали? — Газетчик предложил ознакомить его с содержанием статьи.

Кристоф улегся снова. Не будь он таким сонным, он непременно выставил бы этого субъекта за дверь, а тут он смирился и стал слушать. Зарывшись в подушку, он закрыл глаза и сделал вид, что засыпает. Он и в самом деле не замедлил бы уснуть. Но тот, человек настойчивый, зычным голосом принялся читать статью. С первых же слов Кристоф насторожился. В статье говорилось о г-не Крафте как о талантливейшем музыканте нашего времени. Кристоф перестал разыгрывать роль спящего, выругался от удивления и сел в постели.

— Что это на них нашло? Они, верно, спятили, — сказал он.

Воспользовавшись этим, репортер прервал чтение и забросал Кристофа вопросами. Кристоф отвечал не думая. Он взял газету и растерянно уставился на свой портрет посреди первой страницы, но прочесть статью ему так и не удалось — в комнату вошел второй репортер. Кристоф разозлился не на шутку. Он потребовал, чтобы оба газетчика немедленно очистили помещение. Но они покорились лишь после того, как наспех обследовали обстановку комнаты, фотографии на стенах, а главное физиономию чудака, который как был, в одной рубашке, хохоча и бранясь, выталкивал их за плечи и, когда довел до порога, запер за ними дверь на засов.

Но в этот день все словно сговорились мешать ему. Не успел он умыться, как в дверь опять постучали условным стуком, известным лишь самым близким друзьям. Кристоф отпер, увидел перед собой третьего незнакомца и собрался было без дальних слов выставить его, но незнакомец уперся, заявив, что он и есть автор статьи. Попробуйте-ка выставить человека, который провозгласил вас гением! И Кристоф с хмурым видом выслушал излияния своего почитателя. Он поражался этой внезапной известности, свалившейся на него, как снег на голову, и решил уже, что вчера исполняли какой-нибудь шедевр, который он создал, сам того не подозревая. Но не успел

спросить. Репортеру было поручено во что бы то ни стало сию же минуту доставить его в редакцию газеты, потому что главный редактор — сам великий Арсен Гамаш — желал его видеть; автомобиль дожидался внизу. Кристоф попробовал отнекиваться, но по наивности расчувствовался от ласковых слов и в конце концов согласился.

Через десять минут он был представлен властелину, перед которым все трепетало. Это был крепко сбитый человек лет пятидесяти, приземистый, плотный, головастый, краснолицый, с подстриженной ежиком седой щетиной; говорил он безапелляционным тоном, отрывисто и высокопарно, временами переходя на косноязычную скороговорку. Своей необъятной самоуверенностью он принудил весь Париж признать его авторитет. По натуре наивный и хитрый, увлекающийся и самовлюбленный эгоист, он одинаково ловко ворочал делами и вертел людями, отождествляя свои интересы с интересами Франции и даже всего человечества. Собственная выгода, процветание его газеты и *salus publica*¹ представлялись ему явлениями одного порядка, тесно связанными между собой. Он был убежден, что всякий наносящий ущерб ему наносит ущерб Франции, и, чтобы уничтожить своего личного врага, он, не задумываясь, произвел бы государственный переворот. Впрочем, он был способен и на добрые поступки. Иной раз в приливе послеобеденного прекраснодушия он не прочь был, в подражание богу отцу, извлечь из праха какого-нибудь горемыку, дабы воочию показать свое всемогущество, из ничего создать нечто, как он создавал министров, а при желании мог бы венчать и развенчивать королей. Не было области, на которую не простиралось бы его влияние. Когда ему приходила фантазия, он создавал гениев.

В этот день он «создал» Кристофа.

Невольным зачинщиком всей шумихи оказался Оливье.

Оливье, палец о палец не ударяя для себя самого, остро ненавидел рекламу и бежал от журналистов, как от

¹ общественное благо (лат.).

чумы, но в корне менял взгляды, когда дело касалось его друга. Он напоминал примерную жену и любящую мамашу из числа честных мещанок, которая готова торговать собой, лишь бы пристроить на теплое местечко своего оболтуса-сынка.

Сотрудничая в журналах и встречаясь с множеством критиков и любителей музыки, Оливье пользовался всяким удобным случаем, чтобы поговорить о Кристофе, и с некоторых пор не без удивления замечал, что его слушают. Вокруг чувствовалась атмосфера любопытства, в литературных и светских кругах ходили какие-то таинственные толки. Что дало для них повод? Быть может, отклики некоторых газет на недавнее исполнение вещей Кристофа в Англии и Германии? Более определенных причин как будто не было. Но для Парижа характерны люди с тонким нюхом, которые чувствуют, чем пахнет в столице, и вернее метеорологической обсерватории на башне Сен-Жак могут предсказать, какой ветер подует завтра и что он с собой принесет. В этом городе-гиганте, нервно реагирующем на все, насыщенном электричеством, таятся невидимые токи славы, скрытая известность предшествует явной, салоны полны глухих толков, будто *nescio quid majus nascitur Iliade*¹; все это в определенный миг прорывается рекламной статьей, оглушительным трубным гласом, доводящим до слуха самых тугоухих имя нового кумира.

Случается, что лучшие, ближайшие друзья новоявленной знаменитости обращаются в бегство от этих хвалебных фанфар, хотя иногда сами же дали им повод.

Так, Оливье был причастен к статье в «Гран журнал». Он воспользовался несомненным интересом к Кристофу и постарался разжечь этот интерес интригующими подробностями. Из боязни скандала он остерегался сводить Кристофа с журналистами, но по просьбе «Гран журнал» ухитрился за столиком кафе устроить встречу ничего не подозревавшего Кристофа с одним из репортеров. Такого рода предосторожности лишь сильнее возбуждали любопытство и придавали Кристофу больше интереса. Оливье еще не знал, что такое реклама, и не

¹ рождается нечто более великое, чем «Илиада» (лат.).

рассчитал, что, пустив в ход этот грандиозный механизм, он уже не в силах будет направить и сдержать его.

Он был совершенно уничтожен, когда по дороге на урок прочел статью в «Гран журнал». Такого удара обухом он не предвидел. А главное не ожидал, что это будет так скоро. Он думал, что газета, прежде чем писать, соберет все сведения и постарается несколько лучше ознакомиться с тем предметом, о котором намерена говорить. Святая простота! Когда газета берет на себя труд открыть нового гения, она прежде всего старается присвоить его и отнять у собратьев честь открытия. Поэтому ей надо торопиться, и где уж тут разбираться в том, что хвалишь. Редкий случай, чтобы автор пожаловался, — раз им восхищаются, значит его вполне поняли.

В начале статьи газета плела несусветный вздор о бедности Кристофа, выставляла его жертвой германского деспотизма, апостолом свободы, вынужденным бежать из императорской Германии сюда, во Францию, в прибежище свободных душ (великолепный предлог для шовинистических разглагольствований!), а дальше обрушивалась умопомрачительными славословиями на его творчество, о котором не знала ровно ничего, если не считать нескольких пошленьких песенок из времен первых его опытов еще в Германии, но как раз и сам Кристоф стыдился их и рад был бы уничтожить. Не зная произведений Кристофа, автор статьи отыгрывался на его замыслах — вернее, на тех, какие ему приписывал. По двум-трем словам, оброненным случайно Кристофом и Оливье или даже каким-нибудь Гужаром, который хвастал полной осведомленностью, бойкий автор ухитрился создать образ Жан-Кристофа — «гениального композитора, певца демократии и республиканца чистейшей воды». При этом он не преминул лягнуть современных французских композиторов — досталось главным образом наиболее самобытным и независимым за то, что они не помышляют о демократии. Исключение было сделано для одного-двух человек, чьи политические воззрения признавались безупречными. К несчастью, того же нельзя было сказать об их музыке. Но это мелочь. Да и вообще главное было не в похвалах им и даже Кристофу, а в нападках на остальных. Когда в Париже читаешь

статью, где кого-нибудь хвалят, не мешает задать себе вопрос: «А кого тут ругают?»

Оливье краснел от стыда, проглядывая газету. Он думал:

«И все это дело моих рук!»

Он еле довел урок до конца и тут же бросился домой. Каков же был его ужас, когда он узнал, что Кристофа увели журналисты! Он не стал завтракать, решив дожидаться Кристофа. Но тот все не возвращался. Тревога Оливье нарастала с каждым часом.

«Каких только глупостей они не выудят из него!» — думал он.

Кристоф вернулся около трех часов, настроенный очень игриво. Он завтракал с Арсеном Гамашем, и в голове у него стоял легкий туман от выпитого шампанского. Он не понимал, о чем тревожится Оливье, настойчиво выпытывавший, что Кристоф говорил и делал.

— Что делал? Превосходно позавтракал. Давно я так вкусно не ел.

И принялся перечислять, что подавали на завтрак.

— А вина... Самые разнообразные... Я все перепробовал.

Оливье перебил его и стал допрашивать, кто был за столом.

— Кто был? Не помню. Был Гамаш — славный толстяк, душа нараспашку; еще был Клодомир, автор статьи, милейший человек; потом трое или четверо не известных мне журналистов, все очень веселые, добрые и все замечательно относятся ко мне. Словом, чудесные люди.

Оливье, повидимому, не был в этом убежден. Кристофа удивила его сдержанность.

— Ты что? Не читал статьи?

— В том-то и дело, что читал. А ты сам внимательно прочел ее?

— Прочел... Вернее, проглядел... Некогда было.

— Так вот, прочти как следует.

Кристоф начал читать. И с первых же строк прыснул.

— Ну и дурень! — заметил он смеясь. — Э, ничего! Все критики друг друга стоят. Ни один ничего не смыслит.

Однако чем дальше он читал, тем больше злился, — уж очень все это было глупо и его же выставляло в смешном свете. Подумать только — «композитор-республиканец»! Но это еще не самое страшное. А вот что они противопоставляют его «республиканское искусство» — «пропахшей ладаном музыке» великих мастеров, его предшественников, тогда как он был вскормлен их духовным богатством, — это уж слишком...

— Ах болваны! С ними того и гляди прослывешь идиотом!

И потом, зачем же ради него поносить талантливых французских композиторов, которые ему самому могли нравиться в большей или меньшей степени (скорее в меньшей, чем в большей), но, без сомнения, превосходно владели своим ремеслом. А хуже всего, что ему бесцеремоннейшим образом приписывали гадкие чувства по отношению к его родине! Нет, этого нельзя так оставить...

— Я сейчас же напишу им, — сказал Кристоф.

— Нет, не надо, — воспротивился Оливье, — ты слишком раздражен. Лучше завтра, на свежую голову.

Кристоф заупрямился. Когда ему хотелось высказаться, он не мог ждать до завтра. Он только обещал, что даст Оливье прочитать письмо. Это оказалось излишним. После того как текст был должным образом отредактирован, причем Кристоф считал для себя самым главным опровергнуть навязанное ему мнение о Германии, он побежал опустить письмо в почтовый ящик.

— Ну, теперь все улажено, — сказал он, вернувшись, — письмо будет напечатано завтра.

Оливье с сомнением покачал головой. Отнюдь не успокоившись, он испытующе заглянул в глаза Кристофу и спросил:

— Ты ничего не сболтнул лишнего за столом?

— Да нет же, — смеясь, ответил Кристоф.

— Наверняка?

— Говорю тебе — нет, трусишка.

У Оливье немного отлегло от сердца. Зато теперь стало беспокойно Кристофу. Он припомнил, что говорил без умолку, не задумываясь, сразу же почувствовав себя, как дома. Ему и в голову не приходило быть настороже: все присутствующие так старались показать ему свое

сердечное расположение. Да они и в самом деле были к нему расположены. Люди всегда расположены к тем, кому благодетельствуют. А Кристоф так искренно веселился, что заражал своим весельем и остальных. Он вел себя с такой добродушной бесцеремонностью, отпускал такие сочные шутки, столько ел, с такой быстротой, ничуть не хмелея, поглощал спиртные напитки, что внушил уважение Арсену Гамашу; тот сам был не промах поесть и по своей примитивной, грубой, здоровой натуре глубоко презирал хилых людишек, парижских заморышей, которые боятся съесть и выпить лишнее. О людях он судил за столом. И потому высоко оценил Кристофа. Тут же на месте он предложил переделать его «Гаргантюа» в оперу и поставить в «Гранд опера». В ту пору среди парижских буржуа считалось, что инсценировать «Осуждение Фауста» или девять симфоний — это высшее достижение искусства. Кристофа рассмешила такая нелепая мысль, он с трудом удержал Гамаша, который хотел немедленно отдать по телефону соответствующее распоряжение в дирекцию «Гранд опера» или в министерство изящных искусств. (Если верить Гамашу, там у него сидели свои люди.) Это предложение напомнило Кристофу, в каком странном обличье в свое время была преподнесена его симфоническая поэма «Давид», и он пустился рассказывать о спектакле, который устроил депутат Руссэн для первого дебюта своей любовницы¹. Гамаш терпеть не мог Руссэна и слушал с удовольствием, а Кристоф, воодушевленный щедрыми возлияниями и сочувствием слушателей, стал припоминать другие случаи, не всегда подлежащие оглашению, причем его собеседники не упускали ни одной подробности. В отличие от них Кристоф все забыл, едва встав из-за стола. А тут, когда Оливье стал допытываться, многое всплыло у него в памяти, и по спине пробежала дрожь, ибо он был достаточно умудрен опытом, чтобы, не обольщаясь, предвидеть дальнейший ход событий: хмель прошел, и ему явственно представилось, как его неосторожные признания будут искажены в хронике злопыхательской бульварной газетки, а его выпады по вопросам искусства превращены в полемическое оружие.

¹ См. «Ярмарку на площади». — Р. Р.

Что же касается написанного им опровержения, то на этот счет у него было не больше иллюзий, чем у Оливье: отвечать сотруднику газеты — значит зря переводить чернила; последнее слово всегда остается за газетой.

Как Кристоф предвидел, так все и сбылось — точка в точку. Болтовню его напечатали, а опровержение нет. Гамаш велел только передать ему, что отдает должное его душевному благородству, что такая шепетильность делает ему честь, но предпочел сохранить проявление этой шепетильности в строгой тайне; и ложные взгляды, приписанные Кристофу, продолжали распространяться, вызывая резкую критику в парижских газетах, а когда они дошли до Германии, там возмутились, как мог музыкант-немец таким недостойным образом отзываться о своей родине.

Кристоф решил, что придумал способ поправить дело, и в ответ на вопросы репортера другой газеты рассыпался в изъявлениях любви к *Deutsches Reich*¹, где, по его словам, люди ничуть не менее свободны, чем во Французской республике. А так как репортер представлял консервативную газету, он не замедлил приписать Кристофу антиреспубликанские высказывания.

— Час от часу не легче! — воскликнул Кристоф. — Да какое отношение имеет моя музыка к политике?

— У нас так уж водится, — ответил Оливье. — Ты только посмотри, как люди рвут на части Бетховена. Одни делают из него якобинца, другие церковника, для этих он «папаша Дюшен»², для тех — царедворец.

— Эх, дал бы он им всем пинка в зад!

— Ну вот ты и дай.

Кристоф был бы очень не прочь, но он таял от первого приветливого слова. Оливье ни на минуту не знал покоя, оставляя его одного. Кристофа попрежнему осаждали репортеры, и, сколько он ни обещал, что будет держать себя в узде, устоять он не мог и в приливе умиления доверчиво выкладывал все, что приходило ему в голову. Являлись к нему и репортеры женского пола, рекомендовались его почитательницами и выспрашивали о

¹ Германскому государству (нем.).

² Так в 1790 году назвал свою газету вождь левых якобинцев Эбер. — *Прим. ред.*

его любовных похождениях. Другие пользовались случаем, чтобы в связи с Кристофом позлословить о ком-то еще.

Возвращаясь домой, Оливье замечал, что Кристоф чем-то озабочен.

— Опять натворил глупостей? — спрашивал он.

— Как всегда, — отвечал пристыженный Кристоф.

— Неисправимый ты человек!

— Меня на цепи надо держать... Но теперь кончено: больше этого не будет.

— Да, да, до следующего раза...

— Нет, на этот раз окончательно.

На другой день Кристоф торжествующе заявил Оливье:

— Опять тут приходил один. Я его выставил вон.

— Незачем впадать в крайности, — сказал Оливье, — с ними надо быть осторожным. «Это злобные твари...» Тронь их, они тебя ударят. Им ничего не стоит отомстить тебе. Каждое оброненное тобой словечко они истолкуют по-своему.

Кристоф схватился за голову.

— О господи!

— Что еще?

— А то, что я сказал, когда захлопывал за ним дверь.

— Что именно?

— Наполеоновское словцо.

— Наполеоновское?..

— Ну, не его, так кого-то из его приближенных...¹

— Сумасшедший! Оно будет напечатано на первой странице.

Кристоф содрогнулся. Но в газете на следующий день было напечатано описание его квартиры, куда репортер не попал, и интервью, которого он не получил.

По мере распространения сведения все приукрашались. В иностранных газетах они сдобривались всякими нелепостями. После того как французы в своих статьях сообщили, что Кристоф ради куска хлеба аранжировал

¹ Намек на цензурное слово, которым во время сражения при Ватерлоо наполеоновский генерал Камброн ответил на предложение сдаться. — *Прим. ред.*

музыкальные произведения для гитары, он прочел в какой-то английской газете, что ему случалось ходить по дворам с гитарой.

На глаза ему попадались не только хвалебные отзывы. Отнюдь нет! Достаточно было покровительства «Гран журналъ», чтобы на Кристофа ополчились другие газеты. Они не могли допустить, что кто-то из их собратьев открыл гения, которого они проглядели. Одни злословили вовсю. Другие жалели Кристофа. Гужар, досадуя, что его обскакали, напечатал статью, чтобы, как он выразился, восстановить истину. Он панибратским тоном говорил о своем старом приятеле — Кристофе, о том, как руководил первыми его шагами в Париже; конечно, Кристоф очень даровитый музыкант, но — кому как не другу знать это! — с большими срывами, с пробелами в образовании, без всякой самобытности и с непомерной гордыней. Плохую услугу оказывают ему те, кто поощряет эту гордыню, доходя в своих похвалах до смешного, тогда как Кристофу нужен мудрый, знающий, справедливый наставник, доброжелательный, строгий и т. д. (словом, точная копия самого Гужара). Композиторы, те кисло улыбались, подчеркивая полнейшее презрение к музыканту, который пользуется поддержкой прессы, и, делая вид, что им отвратительно *servum pecus*¹, отклоняли дары Артаксеркса, ничего им не предлагавшего. Одни поносили Кристофа, другие нападали на Оливье (это были преимущественно его коллеги). Они радовались случаю отплатить ему за то, что он держался непримиримо и не подпускал их к себе — по правде говоря, больше из любви к одиночеству, чем из презрения к кому бы то ни было. Но для людей горчайшая обида узнать, что можно обойтись без них. Кое-кто даже намекал, что Оливье небезвыгодны статейки в «Гран журналъ». Находились и охотники защитить Кристофа от Оливье: они сокрушались по поводу того, что Оливье, не щадя тонкой душевной организации художника-мечтателя — Кристофа, недостаточно вооруженного для жизни, — бросает его в самую сутолоку Ярмарки на площади, где тот неизбежно погибнет. Из их слов выходило,

¹ стадо рабов (лат.).

что Кристоф — неразумный младенец, которого надо водить за ручку. Те, кто курит ему дешевый фимиам, говорили они, губят его будущее, а ведь он, хоть и лишен таланта, но своим упорством и трудолюбием заслуживает лучшей участи. Жаль человека! Почему не дали ему поработать еще несколько лет в безвестности?

Оливье мог бы сколько угодно твердить им:

«Чтобы работать, нужно есть. А кто даст ему хлеба?»

Это бы их не остановило. Они ответили бы с невозмутимым спокойствием:

«Это мелочь. Нужно терпеть. Неужели нельзя потерпеть?»

Понятно, такой стоицизм проповедовали люди светские и вполне обеспеченные.

Так, один миллионер ответил наивному человеку, который просил у него помощи для нуждающегося художника:

— Помилуйте, сударь, ведь и Моцарт умер от нужды.

Эти люди сочли бы крайне бестактным возражение Оливье, что Моцарт предпочел бы не умирать и что Кристоф твердо намерен жить.

В конце концов Кристофу надоели эти лакейские сплетни. Неужели они никогда не кончатся? — думал он. Однако через две недели все затихло. Но отныне он стал известностью. Услышав его имя, никто не говорил: «Это автор «Давида» и «Гаргантюа», а каждый спешил сказать: «Ах да, о нем писали в «Гран журнал».

Это была слава.

Оливье ощущал ее по количеству писем, которые получал Кристоф, а рикошетом и он сам: тут были предложения либреттистов, устроителей концертов, излияния друзей, объявившихся за последнее время, из коих многие недавно еще были врагами, приглашения от женщин. Для газетных анкет Кристофу задавали самые разнообразные вопросы: о падении рождаемости во Франции, об идеале в искусстве, о дамских корсетах, о наготы на сцене, не считает ли он, что Германия идет к упадку, что музыки больше не существует и т. д. и т. д. Они вдвоем хохотали над всем этим, но смех смехом, а Кристоф, по

природе дикарь, тут вдруг вздумал принимать приглашения на званые обеды! Оливье глазам своим не верил.

— Как? Ты? — спрашивал он.

— Да, я, — посмеиваясь, отвечал Кристоф. — Ты думал, тебе одному можно бывать у шикарных дам? Как бы не так, голубчик! Теперь мой черед развлекаться.

— Развлекаться?! Что ты, милый мой!

Все дело было в том, что Кристоф слишком засиделся дома и ему вдруг неудержимо захотелось новых впечатлений. Кроме того, он с непривычки простодушно наслаждался атмосферой славы. Впрочем, ему бывало нестерпимо скучно на этих вечерах, и «свет» казался ему донельзя глупым. Но, возвращаясь домой, он нарочно, назло говорил Оливье обратное. Раз побывав в каком-нибудь доме, он вторично туда не шел и под самым нелепым предлогом бесцеремоннейшим образом отклонял повторные приглашения. Оливье возмущался. А Кристоф хохотал до упаду. Он бывал в обществе вовсе не для того, чтобы поддержать свою популярность, а только чтобы пополнить запасы, которые поставляла ему жизнь — коллекцию человеческих взглядов и жестов, оттенков голоса, весь материал — формы, звуки, краски, — необходимый художнику для обогащения его палитры. Не одной музыкой жив музыкант. Интонация человеческой речи, ритм движений, гармония улыбки дают ему больше музыкальной пищи, чем симфония какого-нибудь собрата. Правда, надо сознаться, что в светских гостиных музыка лиц и душ так же бесцветна и однообразна, как и музыка профессионалов.

Каждый вырабатывал себе свои приемы и раз навсегда застыл на них. Улыбка хорошенькой женщины так же трафаретно завлекательна, как парижская песенка. Мужчины еще пошлее женщин. Под разлагающим воздействием «света» воля катастрофически быстро слабеет, тускнеет и сглаживается самобытность характера. Кристоф был потрясен количеством неживых и отживающих людей, которых он встречал в мире искусства. Вот, например, молодой талантливый композитор в расцвете творческих сил; успех выбил его из колеи, убаюкал, превратил в ничто, и ему теперь хочется только блаженствовать и дремать, вдыхая аромат низкопробной лести, которым

его того и гляди удушат. А вот в другом углу гостинной образец того, чем этот молодой музыкант станет через двадцать лет — напomaженный старец, маститый, прославленный, богатый, член всех академий, достигший вершины на своем поприще; ему, казалось бы, нечего бояться, не с кем считаться, а он пресмыкается перед всем и перед всеми, дрожит перед общественным мнением, перед властью, перед прессой, не смеет высказать свои мысли, да и не мыслит уже вовсе, не существует и только красуется, — осел, несущий собственные мощи. За каждым из этих художников или мыслителей, которые были или могли быть великими, непременно скрывалась женщина, подтачивавшая их силы. Женщины все были одинаково опасны — глупые и умные, любящие и себялюбивые; и лучшие были хуже всех: они еще вернее душили талант в тисках своей неразумной любви, с самыми благими намерениями приручали его, приспособляли к своим вкусам, подравнивали, приглаживали, корнали, опрыскивали духами, пока не доводили до уровня своей убогой чувствительности, маленького тщеславия, до посредственности своей и своего круга.

Хотя Кристоф только мимоходом побывал в их кругу, он успел почуять опасность. Каждой, естественно, хотелось заполучить его для своей гостинной, в свое распоряжение; и Кристоф чуть было не клюнул на приманку ласковых слов и многообещающих улыбок. Если бы он не обладал несокрушимым здравым смыслом и не видел на чужом примере, во что современные Цирцеи превращают людей, ему вряд ли удалось бы уйти невредимым. Но он вовсе не жаждал сделаться лишним гуском в стаде этих прелестных пастушек. Опасность была бы много больше, если бы они не проявляли такой настойчивости. Теперь же, когда всякому и всякой стало ясно, что среди них объявился гений, они по своему обыкновению любимыми способами старались загубить его. У людей такого сорта всегда одна мысль: при виде цветка — пересадить его в горшок; при виде птицы — запереть ее в клетку; при виде свободного человека — превратить его в угодливого пошляка.

У Кристофа на миг закружилась голова, но он быстро овладел собой и послал их всех к черту.

Судьба — насмешница. Люди беспечные еще могут проскользнуть между петлями ее сетей, но осторожных, искушенных скептиков она не упустит ни за что. Так, жертвой парижских соблазнов пал не Кристоф, а Оливье.

Он оказался в выигрыше от успехов друга. Отблеск славы Кристофа упал и на него. Две-три фразы о нем как о человеке, открывшем Кристофа, принесли молодому поэту большую известность, чем все его писания за шесть лет. Поэтому, приглашая Кристофа, многие приглашали и его, и он сопровождал друга, чтобы незаметно следить за ним. Должно быть, он был слишком поглощен этой задачей и потому не уследил за самим собой. Любовь пришла и увлекла его.

Она была юная девушка, худенькая и хорошенькая; легкие белокурые волосы мелкими волнами вились над ее узким и гладким лбом, брови у нее были тонкие, а веки тяжеловатые, глаза голубые, как прёлески, изящный носик с трепещущими ноздрями, чуть вдавленные виски, своенравный подбородок, выразительный, чувственный рот с приподнятыми уголками, пармиджаниновская улыбка еще ничего не ведающего юного фавна. У нее была длинная и гибкая шея, тонкая талия, худошавая и стройная фигурка и что-то тревожно-радостное в выражении юного лица, окутанного волнующей и поэтической тайной пробуждения весны — *Frühlingserwachen*. Звали ее Жаклина Ланже. Ей еще не исполнилось двадцати лет. Она была из богатой, культурной, свободомыслящей католической семьи. Отец ее — инженер, неглупый, толковый человек с изобретательским складом ума, восприимчивый к новым идеям, — создал себе положение собственным трудом, политическими связями и браком. Он женился по любви и по расчету (в этой среде брак по любви немыслим без денежного расчета) на красивой женщине, истой парижанке, из банковских кругов. Деньги остались, а любовь прошла. Но искорки ее все же сохранились. Уж очень она была когда-то пылкой и с той и с другой стороны; однако супруги не ставили верность во главу угла. У каждого были свои дела, свои развлечения, и они превосходно ладили, как два добрых приятеля, думающих только о себе, — не считались с моралью, но остерегались огласки.

Дочь была связующим звеном и вместе с тем предметом скрытого соперничества между родителями, потому что оба любили ее ревнивой любовью. Каждый видел в ней себя со своими самыми милыми сердцу недостатками, только облагороженными обаянием юности, и каждый исподтишка старался отнять ее у другого. Девочка сразу же почуяла это с невинной хитрецей, свойственной юным существам, которые и без того склонны считать, что мир вращается вокруг них, — она непрерывно толкала обоих на соперничество в проявлении родительских чувств. Не было прихоти, которую не удовлетворил бы отец, если мать отказала в ней; а мать в досаде, что ее опередили, спешила превзойти мужа в баловстве. Девочку портили самым непростительным образом; счастье ее, что в ней не было дурных задатков, не считая эгоизма, присущего почти всем детям, но у слишком богатых и балованных детей достигающего болезненных размеров из-за отсутствия препятствий, из-за отсутствия цели.

При всей любви к дочери родители ни за что не поступились бы ради нее своими привычками и вкусами. Удовлетворив все бесчисленные прихоти девочки, они на целый день оставляли ее одну. У нее было достаточно времени для размышлений. И она не теряла его даром. Не по годам смысленная и осведомленная (при ней не стеснялись вести любые разговоры), она в шесть лет рассказывала куклам про любовь, причем действующими лицами были муж, жена и любовник. Разумеется, все это было вполне невинно; но с той минуты, как она угадала за словами намек на чувство, рассказы про любовь стали относиться уже не к куклам, а к ней самой. В натуре ее была заложена неосознанная чувственность, которая вибрировала где-то глубоко, подобно звону невидимых колоколов, доносящемуся издали, из-за грани горизонта. Не поймешь, что это такое. Временами это набегало волною с порывами ветра, неведомо откуда, обволакивало, бросало в краску, перехватывало дыхание. Было и страшно, и радостно, и непонятно. А потом это так же внезапно затихало. Ни звука больше. Разве что смутный гул, еле уловимый отголосок, тающий в голубой дали. Знаешь только, что это где-то там, по ту сторону

гор, и что туда надо идти как можно скорее, — там счастье. Ах, только бы дойти!

Но поскольку туда еще было далеко, откуда-то являлись самые фантастические представления о том, что там ждет. Ум девочки был всецело поглощен догадками. У нее была подруга Симона Адан, ее сверстница, и они часто вместе обсуждали этот важный вопрос. Каждая вносила собственные домыслы, опыт своих двенадцати лет, сведения, почерпнутые из подслушанных разговоров и тайком проглоченных книжек. Они становились на цыпочки, цеплялись за выступы, силясь заглянуть через старую стену, за которой было скрыто будущее. Но как они ни изошрялись и ни воображали, будто что-то видят сквозь щели, — они не видели ровно ничего. Фривольная мечтательность и парижский скепсис сочетались в них с подлинной чистотой. Они говорили чудовищные вещи, сами того не подозревая, и усматривали нивесть что в самых простых вещах. Жаклина беспрепятственно шарила повсюду, совала носик во все отцовские книги. К счастью, от дурных знакомств ее ограждали собственная чистота и инстинкт по-настоящему целомудренной девочки: малейшее вольное слово или описание вызывали у нее отвращение; она сразу же бросала книгу и обходила сомнительные знакомства, как напуганная кошечка лужу грязь, ничуть не запачкавшись.

Романы вообще не привлекали ее: в них все было слишком трезво и сухо. Но когда она читала стихи — разумеется, любовные, — сердечко ее билось от волнения и надежды найти в них разгадку тайны. Стихи в какой-то мере приближались к ее детскому восприятию. Они не показывали явлений, а пропускали их сквозь призму желания или сожаления; они, как и она, словно заглядывали через щели в старой стене. Но знали они гораздо больше: они знали все, что требовалось знать, и облекали это в такие нежные, таинственные слова, которые надо вскрывать очень, очень бережно, чтобы добраться до... Увы, добраться ни до чего не удавалось, но все время чудилось, что вот-вот доберешься...

Любопытствующие искательницы не отчаивались. Они шепотом, замирая, читали друг другу стихи Альфреда де Мюссе или Сюлли-Прюдома, в которых им

чудились бездны разврата; они переписывали эти стихи; доискивались скрытого смысла даже в тех строфах, где его подчас и не было вовсе. Эти маленькие тринадцатилетние женщины, целомудренные и бесстыдные, ничего не знавшие о любви, не то в шутку, не то всерьез рассуждали о любви и страсти; и на промокательной бумаге, под отеческим оком учителя, очень кроткого и вежливого старичка, записывали в классе стихи вроде тех, которые он однажды перехватил и, прочтя, чуть не умер на месте:

О, дайте, дайте вас в объятия заключить,
Любовь безумную в лобзаниях ваших пить,
По капле, медленно!..

Они учились в фешенебельной школе, популярной среди высшего круга, где преподавали университетские профессора. Здесь нашлось, к чему приложить их любовные мечты. Почти каждая девочка была влюблена в кого-нибудь из преподавателей. Только бы он был молод и относительно недурен собой. Они трудились, как самые примерные девочки, лишь бы угодить своему кумиру. Какие проливались слезы, если плохую отметку за сочинение ставил он, именно он! Когда же он их хвалил, они краснели, бледнели, бросали на него благодарные, кокетливые взгляды. А уж если он беседовал с кем-нибудь отдельно и что-то объяснял или одобрял — это был верх блаженства. Чтобы их очаровать, вовсе не требовалось быть орлом. Когда на уроке гимнастики учитель подсаживал Жаклину на трапецию, девочку даже в жар бросало. И как же они старались друг перед дружкой! Как втайне терзались ревностью! Как умильно строили глазки, чтобы отбить своего героя у выскочки-соперницы! Стоило ему на уроке раскрыть рот — и все мигом хваталось за карандаши и перья. Понять они не старались — главное было не упустить ни слова. Они усердно писали и в то же время украдкой, любопытным взглядом следили за своим божеством, за каждым его движением, и кто-нибудь, Жаклина или Симона, шептал:

— Представляешь, как бы ему пошел галстук в синюю крапинку!

Потом они стали выбирать себе кумиров в духе олеографий, сентиментальных дамских стишков, картинок в модных журналах — влюблялись в музыкантов, певцов, актеров, живых и мертвых, в Муне-Сюлли, Самюэля Дебюсси; переглядывались с незнакомыми молодыми людьми в концерте, в светской гостиной, на улице и тут же мысленно сочиняли любовные приключения — лишь бы все время увлекаться, любить, иметь предлог для любви. Жаклина и Симона все поверяли друг другу — вернейшее доказательство, что по-настоящему они ничего не чувствовали, а также лучший способ оградить себя от истинного чувства. Зато их состояние становилось чем-то вроде хронической болезни, и хотя они первые смеялись над собой, но сами же ревностно культивировали эти настроения и взвинчивали друг друга. Симона — большая фантазерка и вместе с тем более благоразумная — была необузданнее в своих выдумках. А Жаклина — более непосредственная и более страстная — скорее способна была осуществить любую фантазию. Раз двадцать она собиралась натворить отчаянных глупостей, но только собиралась, как и бывает обычно в отрочестве. У этих жалких зверюшек (какими все мы были) случаются минуты такого безумия, когда одни чуть не бросаются в объятия смерти, а другие — в объятия первого встречного. По счастью, у большинства дело не идет дальше намерений. Жаклина сочинила вчерне десяток пылких посланий людям, которых знала только по виду; но послала, и то без подписи, лишь восторженное письмо одному критику, уроду, пошляку, самовлюбленному и ограниченному сухарю.

Она влюбилась в него из-за трех строчек, в которых усмотрела бездну чувства. Затем она вспылала страстью к знаменитому актеру; он жил по соседству, и всякий раз, проходя мимо его парадного, она думала:

«Что, если войти!»

Однажды она расхрабрилась и добралась до того этажа, где была его квартира, но тут же бросилась наутек. О чем бы она стала с ним говорить? Ей нечего, ну, просто нечего было ему сказать. Она его не любила, и сама превосходно это знала. Ее увлечения наполовину были сознательным самообманом, а наполовину извечной,

чудесной и глупой потребностью любить. Жаклина была из породы очень рассудительных и не заблуждалась на этот счет, что не мешало ей безумствовать. Безумец, сознающий свое безумие, опасен вдвойне.

Она часто бывала в обществе. Ее обаяние привлекало молодых людей, многие влюблялись в нее. Она же никого не любила и кокетничала со всеми, не заботясь о том, какую может причинить боль. Хорошенькая девушка превращает любовь в жестокую забаву. Ей кажется естественным, что ее любят, но считается она только с тем, кого любит сама. Она даже склонна думать, что любить ее — само по себе великое счастье. В ее оправдание надо сказать, что она понятия не имеет о том, что такое любовь, хотя целый день мечтает о любви. Принято считать, что светская девица-парижанка, воспитанная в оранжерейной атмосфере, осведомленнее деревенской девушки; это совершенно неверно. Правда, книги и разговоры сосредоточивают ее внимание на любви, и от безделья это превращается чуть не в навязчивую идею; случается, что такая девица заранее наизусть знает всю драму, от слова до слова, а потому никак не чувствует ее. В любви, как в искусстве, надо не читать то, что говорили другие, а говорить то, что чувствуешь сам; тому же, кто спешит говорить, не имея, что сказать, грозит опасность никогда ничего не сказать.

Итак, Жаклина, подобно большей части молодежи, дышала пылью чувств, пережитых другими, от которой ее постоянно лихорадило, горели руки, пересыхало в горле и которая заслоняла действительность от ее воспаленных глаз. Ей казалось, что она все постигла, и она старалась все постичь. В доброй воле недостатка не было. Она читала, слушала и многое схватывала — то тут, то там, на лету, урывками, из разговоров и книг. Она даже пыталась читать в самой себе. Она была лучше своей среды, искреннее.

На нее имела благотворное, но слишком кратковременное влияние одна женщина — сестра ее отца, старая дева лет сорока — пятидесяти. У Марты Ланже, не смотря на правильные черты, лицо было какое-то унылое

и невыразительное; ходила она всегда в черном, отличалась сдержанностью, даже скупостью жестов и движений, говорила мало, почти шепотом. Она не привлекла бы ничьего внимания, если бы не ясный взгляд умных серых глаз и добрая улыбка на скорбно искривленных губах.

В доме брата она появлялась в те дни, когда у них никого не было. Брат питал к ней почтение, но скучал в ее присутствии. Г-жа Ланже не скрывала от мужа, что посещения золовки ей не слишком приятны. Однако они считали необходимым из приличия приглашать ее раз в неделю к обеду и старались не слишком показывать, что делают это только по обязанности. Брат говорил о себе — тема, никогда не терявшая для него интереса. Его жена думала о чем-то постороннем и улыбалась по привычке, отвечая наобум. Все шло гладко, по всем правилам вежливости. И родственные чувства выражались особенно горячо, если тетка из деликатности уходила раньше, чем ожидали; а чарующая улыбка г-жи Ланже становилась совсем лучезарной в те минуты, когда ее отвлекали особенно приятные воспоминания. Тетя Марта все это замечала, от ее внимания не ускользало почти ничего; а в доме брата она наблюдала много такого, что корбило или огорчало ее, но она не показывала и виду: к чему? Она любила брата, гордилась его умом, его успехами, как и вся их семья, считавшая, что не зря они терпели лишения ради блестящей карьеры, сделанной старшим сыном. Но только сестра не обольщалась насчет брата. Она была не глупее его, устойчивее в нравственном смысле, мужественнее (столько французских женщин несравненно выше мужчин!) — она видела его насквозь; и когда брат спрашивал ее мнение, она высказывалась с полной откровенностью. Впрочем, он уже давно перестал спрашивать! Он считал, что благоразумнее не знать или закрывать глаза (так как знал все не хуже ее). Она замыкалась в себе из гордости. Никого не интересовал ее внутренний мир. Помимо всего прочего, окружающим было спокойнее не вникать в него. Марта жила одна, почти нигде не бывала, у нее имелся небольшой круг друзей, и то не очень близких. Она могла бы создать себе положение с помощью брата и благодаря собственному дарованию, но не сделала этого. В одном из крупных

парижских журналов были напечатаны две-три ее статьи — исторические и литературные портреты, обратившие на себя внимание сжатостью, четкостью и яркостью изложения. Этим она ограничилась. Ей ничего бы не стоило завязать знакомство с рядом выдающихся людей — они проявляли к ней интерес, и сама она, вероятно, не прочь была сойтись с ними поближе. Но она не приложила к этому никаких стараний. Иногда, взяв билет в театр, где играли хорошую, любимую ею вещь, она оставалась дома, и если у нее была возможность совершить приятное путешествие, отказывалась от этой возможности. В ней удивительным образом сочетались стоицизм и неуравновешенность. Последняя ни в малейшей степени не влияла на ясность мыслей. Изъязн был в ее жизни, но не в мышлении. На сердце наложило печать давнее горе, о котором знала она одна. А еще глубже скрыта от всех и от нее самой была печать судьбы — болезнь, уже подтачивавшая ее изнутри. Но супруги Ланже видели только ее светлый взгляд, который временами даже смущал их.

Жаклина почти не замечала тетки, пока была весела и беспечна, а другой она в годы детства и не бывала. Но с приближением возраста, когда потихоньку назревают телесные и душевные перемены, а с ними — тревога, отвращение, страх, порывы беспросветной тоски, в эти минуты нелепого и жестокого смятения, — по счастью недолгого, — когда девочке казалось, будто она гибнет, умирает, тонет, не смея крикнуть: «Спасите!» — тут одна только тетя Марта очутилась возле нее и протянула ей руку помощи. А как далеки были остальные! Как чужды оказались и отец и мать, любящие, но эгоистичные, слишком довольные собой, чтобы заниматься детскими горестями четырнадцатилетней куколки! Тетка же угадывала эти горести и страдала им. Словами она ничего не выражала. Она просто улыбалась, и когда Жаклина поднимала глаза, ее взгляд встречался через стол с добрым взглядом Марты. Девочка чувствовала, что та понимает ее, и искала у тетки прибежища. Марта молча гладила голову Жаклины.

Девочка рассказывала ей обо всем, как на духу. Если на сердце у нее бывало тяжело, она шла к тетке как

к старшему другу и знала, что, когда бы она ни пришла, ее неизменно встретит понимающий, снисходительный взгляд и перельет в нее немного душевного спокойствия. О своих выдуманных влюблениях ей было стыдно говорить тете Марте: она чувствовала, что все это неправда. Правдой, единственной правдой было смутное, неосознанное томление, которое она и поверяла тете.

— Как бы мне хотелось быть счастливой, тетя! — вздыхала она иногда.

— Бедная детка! — улыбаясь, говорила Марта.

Жаклина клала голову на колени тети и, целуя гладившие ее руки, спрашивала:

— А я буду счастлива? Скажи, тетя, буду я счастлива?

— Не знаю, душенька. Это ведь и от тебя немного зависит. Когда хочешь, всегда можешь быть счастливой.

Жаклину это не убедило.

— А ты сама счастлива?

Марта грустно улыбнулась.

— Да.

— Правда? В самом деле счастлива?

— Ты не веришь?

— Верю. Только...

Жаклина замялась.

— Ну что?

— Я хочу быть счастливой по-иному, чем ты.

— Глупенькая! Надеюсь, оно и будет по-иному, — сказала Марта.

— А так я бы просто не могла, — заявила Жаклина, решительно тряхнув головой.

— Мне тоже сперва казалось, что я не могу. Жизнь многому учит.

— Не хочу я учиться, — вскипела Жаклина. — Я хочу быть счастливой, как мне хочется.

— Если бы тебя спросили: как именно, — ты не знала бы, что ответить!

— Нет, я отлично знаю, чего мне хочется.

Ей хотелось многого, но назвать она могла только одно, и это одно звучало постоянным припевом ко всему, что бы она ни говорила.

— Главное, я хочу, чтобы меня любили.

Марта молча шила. Немного погодя она сказала:

— На что тебе любовь, если сама ты не любишь?

Жаклина недоуменно воскликнула:

— Странная ты, тетя! Ну, конечно же я говорю о том, что я люблю сама. Остальное меня не касается.

— А если ты ничего не полюбишь?

— Этого не бывает. Люди всегда, всегда любят!

Марта с сомнением покачала головой.

— Не любят... хотя и любить, — сказала она. — Способность любить — величайшая благодать божия. Моли бога, чтобы он ее тебе даровал.

— А если меня не будут любить?

— Даже если не будут. Это еще большее счастье.

Личико у Жаклины вытянулось.

Надув губы, она сказала:

— Этого я не хочу. Что тут приятного?

Марта ласково засмеялась, посмотрела на Жаклину, вздохнула и снова принялась за шитье.

— Бедная детка! — повторила она.

— Почему ты все время говоришь: бедная, бедная? — забеспокоилась Жаклина. — Не хочу я быть бедной! Я очень, очень хочу быть счастливой.

— Потому-то я и говорю: бедная детка!

Жаклина надулась. Но ненадолго. Добродушный смех Марты обезоруживал ее. Она целовала тетю, все еще притворяясь, будто сердится. В эти годы грустные предсказания на будущее, на далекое будущее втайне даже льстят немножко. На большом расстоянии горе предстает в поэтическом свете, а страшнее всего кажется серенькая жизнь.

Жаклина не замечала, что тетя Марта становится все бледнее. Правда, она видела, что тетя почти совсем уже не выходит из дому, но ее и всегда дразнили домохозяйкой. Раз или два девочка столкнулась с выходившим от нее врачом.

— Ты больна? — спросила она тетку.

— Нет, так, пустяки, — ответила Марта.

Но вот тетя Марта даже перестала бывать у них на еженедельных обедах. Жаклина явилась к ней с гневными упреками.

— Мне это трудно, деточка, — мягко сказала Марта,

Но Жаклина даже слушать не желала. Пустые отговорки, и больше ничего.

— Подумаешь, какой труд прийти к нам на два часа раз в неделю. Просто ты меня не любишь. Ты только и любишь, что сидеть в своем углу.

Но когда она дома с гордостью рассказала о своей выходке, отец отчитал ее:

— Не беспокой тетю! Разве ты не знаешь, что она, бедняжка, серьезно больна?

Жаклина побледнела и дрожащим голосом спросила, что с тетей. Родители не хотели говорить. В конце концов она узнала, что у тети Марты рак желудка и жить ей осталось считанные месяцы.

Жаклина не могла прийти в себя от ужаса. Успокаивалась она немного только при виде тети Марты с ее неизменной спокойной улыбкой, казавшейся теперь на этом прозрачном лице отблеском внутреннего света. Девочка твердила себе:

«Нет, не может этого быть, они ошиблись, она бы не была так спокойна...»

И продолжала верить тете свои детские тайны, а та слушала еще внимательнее, чем прежде. Только иногда она выходила из комнаты посреди разговора, не показывая, однако, вида, что страдает; когда приступ боли проходил, она возвращалась с невозмутимым лицом. Она не позволяла даже заикаться об ее состоянии, всячески скрывала его; должно быть, ей хотелось от себя самой отвести мысли о болезни, — недуг, точивший ее, был страшен и отвратителен, и она старалась не видеть его, сосредоточивала все усилия на том, чтобы прожить спокойно хоть последние месяцы. Развязка приближалась быстрее, чем ожидали. Вскоре Марта отказалась принимать кого бы то ни было, кроме Жаклины. И посещения Жаклины поневоле становились все короче. Наконец, наступил день разлуки. Марта, уже много недель не покидавшая постели, со словами ласки и утешения отпустила навеки своего юного друга. И осталась умирать одна.

Жаклина пережила несколько месяцев настоящего отчаяния. Смерть Марты совпала с самым острым периодом того душевного смятения, которое только тетя

умела облегчить. Девочка чувствовала себя бесконечно одинокой. Ее могла бы поддержать вера. Казалось бы, в этой поддержке недостатка быть не должно: ее с детства приучали молиться богу, мать усердно соблюдала обряды. Но в том-то и дело, что мать соблюдала, а тетя Марта не соблюдала. Сравнение напрашивалось само собой. От детских глаз не ускользала фальшь, на которую позднее уже не обращаешь внимания: дети тонко подмечают и слабости и противоречия. Жаклина видела, что мать и другие люди, называвшие себя верующими, так же боятся смерти, как если бы они не верили вовсе. Нет, какая уж это поддержка... Сюда еще добавился личный опыт, протест, возмущение бестактностью духовника... Она продолжала исполнять обряды, но уже не веруя, просто из благовоспитанности. В религии она видела ту же пустоту, что и в светской жизни. Единственным спасением ей представлялись воспоминания о покойнице, и она с головой уходила в них. Во многом могла она себя упрекнуть по отношению к той, которую частенько забывала в своем детском эгоизме, а теперь из того же эгоизма тщетно старалась воскресить. Она идеализировала образ тетки и под влиянием прекрасного примера ее жизни, исполненной мудрости, отрешенной от мирской суеты, готова была возненавидеть свет, где все ничтожно и лживо. Она во всем теперь видела одно лицемерие; ей стали противны легкомысленные сделки с совестью, хотя раньше они только позабавили бы ее. Она находилась в том состоянии повышенной чувствительности, когда все причиняет боль, когда душа как будто обнажена. У нее открылись глаза на многое, чего она в беспечности своей раньше не замечала. Один случай особенно больно ранил ее сердце.

Как-то днем она была в гостини. К ее матери пришел визитер — модный художник, франтоватый, напыщенный, частый гость у них в доме, но не из числа близких друзей. Жаклина почувствовала, что ее присутствие нежелательно, и именно поэтому решила остаться. Г-жа Ланже немного нервничала, в голове у нее стоял легкий туман от мигрени или от порошков против мигрени, которые заменяют нашим дамам конфеты и окончательно сводят на нет их птичьи мозги. Поэтому она не

очень следила за своими словами и по рассеянности назвала художника: «любимый».

Но сразу же спохватилась. Он тоже не подал виду, и оба продолжали чинно беседовать. Жаклина в это время разливала чай; она была так поражена, что чуть не уронила чашку. Ей почудилось, что те двое многозначительно улыбаются за ее спиной. Она обернулась и успела перехватить их недвусмысленный взгляд, хотя они сразу же отвели глаза. Открытие потрясло ее. Она, девушка, получившая свободное воспитание, часто слышавшая об интрижках такого рода и сама со смехом говорившая о них, испытала мучительную боль, обнаружив, что ее мать... Ее мама — нет, это ведь совсем другое дело! С присущей ей склонностью к преувеличениям, Жаклина впала в новую крайность. Раньше она ничего не подозревала. Теперь же подозревала все. Каждую мелочь в поведении матери она старалась истолковать как улику. Конечно, легкомыслие г-жи Ланже давало достаточный повод для любых толкований, но Жаклина еще все раздувала. Ей захотелось больше сблизиться с отцом. Кстати, он всегда был ей ближе и привлекал ее остротой ума. Ей захотелось еще крепче любить его, жалеть. Но отец, повидимому, ничуть не нуждался в жалости; и возбужденное воображение девушки пронизала страшная, страшнее первой, догадка, что отцу все известно, но он предпочитает ничего не знать, лишь бы ему самому дали волю, — остальное его не трогает.

Жаклина решила, что для нее все погибло. Презирать родителей она не смела. Она их любила. Но жить тут больше не желала. Дружба с Симоной Адан не могла ей быть поддержкой. Жаклина сурово порицала слабости своей прежней подруги, не щадила она и себя. Она страдала от того дурного и недостойного, что видела в себе, и судорожно цеплялась за воспоминание о светлом образе тети Марты. Но и это воспоминание тускло. Жаклина чувствовала, что дни, набегая волна за волной, смывают самый его след. И тогда все будет кончено. Она сделается такой, как все, погрязнет в трясине... Нет, во что бы то ни стало вырваться из этого болота! «Спасите! Спасите меня!»

В эти дни болезненного отчуждения, страстного протеста, трепетного ожидания, когда она простирала руки к неведомому спасителю, произошла ее встреча с Оливье.

Госпожа Ланже не преминула пригласить Кристофа, который в ту зиму был модным композитором. Кристоф пришел и по обыкновению не очень старался показать себя в выгодном свете. Тем не менее г-жа Ланже нашла его обворожительным: те считанные месяцы, пока он был в моде, ему все разрешалось, в нем все восхищало. Жаклина не разделяла материнского восхищения; одно то, что Кристофа превозносили определенные люди, уже настораживало ее. А главное, ее корбило от грубоватых манер, громкого голоса Кристофа, от его веселости. В своем теперешнем положении она считала радость жизни вульгарной и воображала, что ей могут нравиться только меланхолические, сумеречные души. А в Кристофе все было слишком светло. Но однажды в беседе с ней он заговорил об Оливье; у него была потребность приобщать друга ко всему приятному, что с ним случалось. Говорил он так красноречиво, что Жаклина, втайне взволнованная тем, что на свете есть душа, созвучная ей, постаралась, чтобы пригласили и Оливье. Он откликнулся не сразу, так что Кристоф и Жаклина вполне успели дорисовать его портрет, когда, наконец, явился оригинал. Для Жаклины он полностью слился с воображаемым портретом.

Он пришел, но говорил мало. Да ему и незачем было говорить. Его умный взгляд, улыбка, мягкость в обращении, излучаемое им спокойствие и без того уже пленили Жаклину. Контраст с Кристофом еще подчеркивал достоинства Оливье. Жаклина ничем не выдала своего впечатления, боясь зарождающегося чувства; она попрежнему разговаривала только с Кристофом, но разговор шел об Оливье. Кристоф так был рад поговорить о друге, что не замечал, как приятна эта тема Жаклине. Говорил он и о себе, и Жаклина слушала с готовностью, но без всякого интереса, а сама незаметно переводила беседу на те события его жизни, в которых участвовал Оливье.

Внимание Жаклины было небезопасно для такого доверчивого молодого человека, как Кристоф. Незаметно для себя он начал увлекаться, охотно бывал у Ланже,

тщательно одевался; и чувство, хорошо ему знакомое — нежная и радостная истома, — снова примешивалось ко всем его мыслям. Оливье тоже влюбился с первого дня, но думал, что его не замечают, и молча страдал. Кристоф растревлял его страдания, когда по дороге домой, захлебываясь, рассказывал о своих разговорах с Жаклиной. Оливье и в голову не приходило, что он мог понравиться Жаклине. Хотя длительное общение с Кристофом прибавило ему оптимизма, он попрежнему не верил в себя, не верил, что его могут полюбить, смотрел на себя слишком трезвым взглядом: ну, кто же достоин быть любимым в силу собственных заслуг, а не волшебных чар снисходительной любви?

Однажды, когда их обоих пригласили на вечер к Ланже, Оливье почувствовал, что ему будет слишком тяжело видеть равнодушие Жаклины и, сославшись на усталость, сказал, чтобы Кристоф шел один. Ничего не подозревавший Кристоф с легким сердцем отправился в гости. Он радовался в своем простодушном эгоизме, что Жаклина будет всецело занята им. Но, узнав, что Оливье не придет, Жаклина насупилась, была явно разочарована и раздосадована; ей ничуть не хотелось нравиться Кристофу, она не слушала, отвечала невпопад; он увидел, как она подавила нервный зевок, и упал духом. А Жаклине хотелось плакать. В конце концов она внезапно исчезла посреди вечера и больше не появлялась.

Кристоф ушел, совсем сбитый с толку. Всю дорогу он пытался понять эту неожиданную перемену, и вдруг перед ним блеснул луч истины. Дома Оливье поджидал его и делано равнодушным тоном спросил, как он провел вечер. Кристоф рассказал о своей неудаче. Во время его рассказа лицо Оливье заметно прояснилось.

— Ты же был утомлен! Почему ты не лег? — спросил Кристоф.

— Я чувствую себя гораздо лучше и бодрее, — ответил Оливье.

— Оно и заметно, тебе очень помогло то, что ты не пошел, — насмешливо сказал Кристоф.

Он лукаво и ласково посмотрел на друга, ушел к себе и, очутившись один в своей комнате, залился

беззвучным смехом; он смеялся до слез, приговаривая про себя:

«Ах, негодница! Водила меня за нос. А он-то как меня обманывал. Ловко же они притворялись!»

С этой минуты он вырвал из сердца всякие личные помыслы о Жаклине и, как заботливая наседка ревниво оберегает цыпленка, стал по-матерински оберегать роман юных влюбленных. Не показывая виду, что ему известна их тайна, и не выдавая одного другому, он незаметно помогал и Жаклине и Оливье.

Он счел священным долгом изучить характер Жаклины, чтобы узнать, будет ли Оливье счастлив с нею. Но по своей неловкости только раздражал девушку, задавая ей самые нелепые вопросы о ее вкусах, нравственных понятиях и так далее.

«Вот дурень! Он-то зачем вмешивается!» — со злостью думала Жаклина и, не отвечая, поворачивалась к нему спиной.

А Оливье весь сиял, видя, что Жаклина больше не обращает внимания на Кристофа. И Кристоф сиял, видя, как счастлив Оливье. При этом он гораздо шумнее выражал свою радость, чем Оливье. И так как ему, казалось бы, не из-за чего было радоваться, Жаклина, не подозревая, что Кристоф лучше ее самой разгадал их любовь, находила его несносным и не понимала, как может Оливье дружить с таким бестактным, назойливым человеком. Добряк Кристоф, видя все это, из озорства старался подразнить Жаклину, а потом вдруг устранялся, под предлогом работы отклонял приглашения Ланже, чтобы влюбленные могли побыть наедине.

Однако будущее внушало ему немалые опасения. Он считал себя в значительной мере ответственным за предстоящий брак и мучился этим; он не заблуждался относительно Жаклины, и многое пугало его; прежде всего ее богатство, воспитание, среда, а главное ее непостоянство. Она напоминала ему Колетту. Конечно, он признавал, что Жаклина правдивее, способна искреннее увлечься; в этой юной девушке было страстное, почти героическое желание жить настоящей трудной жизнью.

«Но желать еще мало», — думал Кристоф, припоминая острое слово старика Дидро: «Надо силу иметь!»

Он собирался предостеречь Оливье. Но, видя, какую радость излучают глаза друга, когда тот приходил от Жаклины, Кристоф не решался заговорить. Он думал:

«Бедные дети так счастливы! Зачем омрачать их счастье?»

В своей любви к Оливье Кристоф мало-помалу стал разделять его иллюзии. Он спокойно смотрел в будущее и под конец убедил себя, что Жаклина именно такова, какой ее считает Оливье и какой она хочет считать себя сама. У нее были благие намерения. Она любила Оливье за то, что он был так непохож на нее и на всех людей ее круга: за бедность, за твердость нравственных устоев, за неумение вести себя в обществе. Она любила такой цельной и чистой любовью, что ей хотелось тоже быть бедной, а иногда... да, да, иногда ей даже хотелось стать дурнушкой, чтобы не сомневаться, что ее любят не за красоту, а за любовь, которой полно ее сердце, изголодавшееся по любви... Порой она бледнела в его присутствии, у нее дрожали руки. Она силилась смеяться над своим волнением, делала вид, будто занята чем-то посторонним и почти не замечает Оливье; говорила ироническим тоном. Потом вдруг обрывала разговор на полуслове и убегала к себе в комнату; там, за запертой дверью, за спущенными занавесками, она сидела, стиснув колени, крепко прижав к сердцу скрещенные на груди руки, чтобы обуздать его бурное биение; подолгу сидела она так, вся сжавшись, затаив дыхание, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть счастье малейшим движением, и молча вбирала в себя свою любовь.

Теперь уже и Кристоф жаждал успеха Оливье, по-матерински заботился о его наружности, тоном знатока подавал советы насчет костюма, повязывал — и как повязывал! — ему галстук. Оливье все сносил терпеливо, а отделившись от Кристофа, заново перевязывал галстук на лестнице. Он улыбался про себя, но был глубоко тронут этой самоотверженной дружбой. Впрочем, любовь делала его робким, неуверенным, и он не раз советовался с Кристофом, рассказывал, как провел время у Ланже. Кристоф волновался не меньше его и иногда по целым ночам изыскивал способы расчистить путь к счастью друга.

Объяснение между Оливье и Жаклиной, решившее их судьбу, произошло в парке при вилле Ланже, в дачной местности близ Парижа, на опушке Иль-Аданского леса.

Кристоф приехал вместе с Оливье, но, обнаружив в доме фисгармонию, сел играть и предоставил влюбленных самим себе. По правде говоря, они вовсе этого не желали. Они боялись остаться наедине. Жаклина была молчалива и насторожена. Уже в предыдущий раз Оливье почувствовал в ней перемену, неожиданную холодность; во взгляде ее мелькало отчужденное, злое, почти что неприязненное выражение. Его это совсем обескуражило. Он не решался объяснить: слишком страшно было ему услышать от любимой жестокие слова отказа. Он весь задрожал, увидев, что Кристоф уходит: ему казалось, что только присутствие друга может его оградить от неизбежного удара.

Жаклина любила Оливье ничуть не меньше. Она любила его даже сильнее, и именно это и настраивало ее враждебно. Раньше она играла любовью, мечтала о любви, и вот теперь любовь была тут, перед ней, точно бездна, раскрывшаяся у ее ног, а она отшатывалась в ужасе, задавая себе недоуменный вопрос:

«Зачем? Что это значит?»

Она смотрела на Оливье тем взглядом, от которого ему становилось больно, и думала:

«Кто этот человек?»

И не знала.

«Почему я люблю его?»

И этого не знала.

«А люблю ли?»

—

Этого она тоже не знала. Ничего не знала. Знала только одно: что любовь завладела ею, заполонила ее, что она отдаст все — волю, независимость, себялюбие, мечты о будущем — и все поглотит это чудовище. И девушка внутренне возмущалась, минутами почти что ненавидела Оливье.

Они дошли до дальнего конца парка — до фруктового сада, отгороженного стеной высоких деревьев. Они медленно шли по дорожкам, окаймленным кустами смородины, с которых свисали грозди красных и янтарных

ягод, и грядами клубники, наполнявшими воздух благоуханием. Стоял июнь месяц, но от частых гроз похолодало. День был серенький, ветер гнал по небу клубы тяжелых, низко нависших туч. Мощное дуновение этого далекого ветра не достигало земли: ни один листок не шевелился. Беспредельная грусть окутывала природу и сердца влюбленных. А с другого конца сада, из приотворенных окон невидимого дома долетали звуки фисгармонии — звуки ми-бемоль-минорной фуги Иоганна Себастьяна Баха. Жаклина и Оливье присели рядом на закраину колодца, оба бледные, безмолвные. И Оливье увидел, что по щекам Жаклины катятся слезы.

— Вы плачете? — дрожащими губами прошептал он.

И у него из глаз тоже покатились слезы.

Он взял ее руку. Белокурая головка склонилась ему на плечо. Она больше не пыталась сопротивляться; она была побеждена; и какая в этом была отрада! Они тихонько плакали, слушая музыку под колышущимся балдахином тяжелых туч, которые в своем беззвучном движении чуть не задевали верхушки деревьев. Оба думали о том, что им пришлось выстрадать, а может быть, — кто знает? — и о том, сколько им еще суждено страдать. Бывают мгновения, когда музыка навеивает всю скорбь, какая соткана судьбой вокруг целой человеческой жизни...



Немного погодя Жаклина отерла слезы, взглянула на Оливье, и вдруг они поцеловались. О, несказанный, трепетный восторг! Блаженство, такое сладостное и глубокое, что оно даже причиняет боль.

Жаклина спросила:

— Ваша сестра была похожа на вас?

Оливье вздрогнул от неожиданности.

— Почему вы заговорили о ней? — сказал он. — Вы были с ней знакомы?

— Мне рассказывал Кристоф... Вы очень горевали?

Оливье молча кивнул: он был слишком взволнован, чтобы говорить.

— У меня тоже было большое горе, — сказала Жаклина.

Она заговорила о своем умершем друге — о тете Марте, рассказала, едва сдерживая рыдания, как плакала по ней, чуть не умерла от горя.

— Вы поможете мне? — молящим голосом закончила она. — Поможете мне жить, стать хорошей и хоть немножко похожей на нее? И ее, мою тетю Марту, вы тоже будете любить?

— Мы будем любить их обеих, как они любят друг друга.

— Ах, если бы они были с нами!

— Они с нами.

Оливье и Жаклина сидели, тесно прижавшись друг к другу, сдерживая дыхание, и слышали, как бьются их сердца. Моросил мелкий дождик. Жаклина поежилась.

— Пойдемте домой, — сказала она.

Под деревьями было почти темно. Оливье поцеловал мокрые волосы Жаклины; она подняла голову, и он впервые почувствовал на губах прикосновение любимых губ, — горячих, чуть потрескавшихся полудетских губ. У обоих туманилось сознание.

Не доходя до дома, они опять остановились.

— Как мы были раньше одиноки! — сказал он.

Кристофа он уже забыл.

Потом они все-таки вспомнили о нем. Музыка умолкла. Они вошли в дом. Кристоф сидел, облокотясь о фисгармонию, положив голову на руки, и мысленно тоже перебирал свое прошлое. Услышав, как отворяется дверь, он встрепенулся и обратил к ним свое доброе лицо, озарившееся задумчивой и нежной улыбкой.

По их глазам он прочел, что произошло, пожал им обоим руки и сказал:

— Сядьте и слушайте.

Они сели, а он начал играть, изливая в звуках все, что было у него на сердце, всю свою любовь к ним.

Когда он кончил, все трое долго молчали. Потом Кристоф встал и посмотрел на них. У него был такой

ласковый взгляд, он казался настолько взрослее и сильнее их! Жаклина впервые поняла ему цену. Он обнял их обоих и сказал Жаклине:

— Вы ведь будете крепко любить его? Будете крепко любить друг друга, правда?

Чувство глубокой благодарности охватило их. Но Кристоф сразу же заговорил о другом, засмеялся, подошел к окну и выпрыгнул в сад.

Все последующие дни он уговаривал Оливье сделать официальное предложение родителям Жаклины. Оливье не решался, предвидя отказ. Кристоф настаивал также, чтобы он занялся подысканием себе места. Допустим, родители согласятся выдать за него Жаклину, не может же он принять ее приданое, если сам не будет в состоянии заработать на жизнь? Оливье был с этим согласен, хотя и не разделял до комизма отрицательного отношения Кристофа к женитьбе на богатой. В голове у Кристофа крепко засела мысль, что богатство — смерть для души. Он не прочь был повторить ответ нищего мудреца богатой вертихвостке, которую беспокоило, что ждет ее в загробной жизни:

«Как, сударыня! У вас есть миллион, а вам вдобавок понадобилась еще и бессмертная душа?»

— Остерегайся женщины, — полушутя, полусерьезно говорил он Оливье. — Остерегайся женщины, а тем паче женщины богатой. Не отрицаю, женщина может любить искусство, но она губит художника. Богатая женщина — это отравка для того и для другого. Богатство — это болезнь, и женщина переносит ее еще хуже, чем мужчина. Богач, как правило, существо неполноценное... Ты смеешься? Надо мной смеешься? А как по-твоему? Разве богач знает, что такое жизнь? Разве он соприкасается с суровой действительностью? Разве ему бьет в лицо жестокое дыхание нужды, запах хлеба, добытого своим трудом, и вспапанной своими руками земли? Да он ничего не понимает, не видит ничего и никого... Когда я был совсем маленьким, меня раза два возили на прогулку в придворном экипаже. Коляска катилась среди лугов, где я знал каждую травинку, по любимым моим местам, где я

резвился один. Так вот, из коляски я ровно ничего не видел. Все милые сердцу картины природы становились сразу такими же прилизанными и вылощенными, как те олухи, которые сопровождали меня. Не только крахмальные души загораживали от меня зелень лугов. Достаточно было ощущать эти движущиеся подмости, поднимавшие меня над природой. Я хочу чувствовать, что земля мне мать, а для этого мне надо упираться ногами в ее чрево, как младенцу, который рождается на божий свет. Богатство разрывает узы, соединяющие человека с землей и связующие между собой всех сынов земли. Как же тут остаться художником? Устами художника говорит земля. Богач не может быть великим художником. Чтобы творить при таких неблагоприятных условиях, ему понадобилось бы во сто крат больше таланта. И если бы ему это даже удалось, он все-таки был бы тепличным растением. Что ни говори о великом Гёте, какие-то частицы его души отмерли, богатство убило в нем самые чувствительные нервы. А у тебя-то ведь закваска не гётевская, тебя богатство поглотит окончательно, — тем более богатая жена. Гёте хоть этого удалось избежать. Мужчина один еще может противостоять этой напасти. В нем так могуч животный инстинкт, такой запас здоровой, черноземной силы привязывает его к земле, что один он кое-как способен уцелеть. Но женщина беззащитна против этой отравы и губит ею других. Она с наслаждением вдыхает раздушенный смрад богатства и уже не может без него обходиться. Женщина, сохранившая в богатстве здоровую душу, — такое же чудо, как гениальный миллионер... И, кроме того, я не терплю выроdkов. А человек, который имеет больше, чем ему нужно на жизнь, — выродок. Это злокачественный нарост, высасывающий соки из других людей.

Оливье смеялся.

— Что поделаешь? — говорил он. — Не могу же я разлюбить Жаклину, потому что она богатая, или заставить ее отказаться от богатства из любви ко мне.

— Раз ты не можешь спасти ее, спасай себя. Тем самым ты и ее спасешь. Сохрани нравственную чистоту. Трудись,

Оливье вовсе не требовались советы Кристофа: в вопросах порядочности он был, пожалуй, еще щепетильнее своего друга. Выпадов Кристофа против денег он, разумеется, не принимал всерьез, потому что сам когда-то был богат; он не презирал богатства и находил, что оно очень идет к хорошему личику Жаклины. Но ему была нестерпима мысль, что в его любви могут заподозрить хоть намеки на корысть. Он подал ходатайство о зачислении в учебное ведомство. Пока что он мог рассчитывать только на скромную должность преподавателя в провинциальном лицее. Такой свадебный подарок не очень-то порадует Жаклину. Оливье робко заговорил с ней об этом. Сперва она не желала признать его доводы — приписывала их болезненному самолюбию, влиянию Кристофа. Ей это все казалось смешным — разве не естественно, когда любишь, разделять с любимым равно как богатство, так и бедность, и что за мелочное чувство — нежелание принять из рук любимого помощь, хотя ему это только приятно. Тем не менее она одобрила намерение Оливье — оно соблазняло ее именно своей непривлекательной, аскетической стороной: это даст ей возможность удовлетворить свою жажду нравственного подвига. В своем благородном возмущении окружающей средой, порожденном скорбью утраты и подогретом любовью, она дошла до отрицания всего, что в ее натуре противоречило такому жертвенному пылу; напрягая всю свою волю, точно натянутую тетиву, она стремилась к высокому идеалу чистой, трудной жизни, озаренной счастьем... И тяготы и убожество предстоящего существования — все только радовало ее. Как это будет хорошо!

Госпожа Ланже была слишком занята собою, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг; с некоторых пор она занималась исключительно своим здоровьем, тратила все время на лечение мнимых болезней, обращалась к одному врачу, меняла его на другого; каждый в течение двух недель был ее спасителем с большой буквы; потом наступал черед следующего. Она по целым месяцам жила в дорогих лечебницах и свято выполняла самые пустяковые предписания. А про дочь и мужа даже не вспоминала.

Господин Ланже был более внимателен и что-то уже заподозрил. Отцовская ревность открыла ему глаза. Он любил Жаклину сложной и вместе с тем чистой любовью, которую многие отцы тайне питают к дочерям; в это чувство входит острое и благоговейное любопытство по отношению к существу, в котором видишь себя, свою плоть и кровь, но которое родилось женщиной. В тайниках сердца много таких темных и светлых пятен, но в них предпочтительно не вглядываться. До сих пор г-на Ланже забавляло наблюдать за тем, как его дочурка кружит головы юношам: ему нравилось, что она именно такая — кокетливая, увлекающаяся и в то же время рассудительная (совсем в него). Но, увидев, что дело принимает серьезный оборот, он забил тревогу. Сперва он только подсмеивался над Оливье в присутствии Жаклины, затем критика его стала более язвительной. Однажды Жаклина заметила смеясь:

— Не говори о нем так дурно, папа; тебе же будет нехорошо, если я вздумаю выйти за него замуж.

Отец поднял крик, обозвал ее безумицей. Это был лучший способ довести ее до полного безумия. Он заявил, что она не выйдет за Оливье. Она заявила, что выйдет. Иллюзии рассеялись. Отец понял, что его мнение в счет не идет. В своем отцовском эгоизме он даже мысли подобной не допускал и был глубоко возмущен. Он поклялся, что отныне не пустит на порог ни Оливье, ни Кристофа. Это только озлобило девушку, и в одно прекрасное утро, не успев Оливье отворить дверь, как в комнату вихрем влетела Жаклина, бледная, как полотно, и решительно заявила:

— Увезите меня! Родители не хотят, а я хочу. Вы должны меня скомпрометировать!

Оливье растерялся, расчувствовался и даже не пытался спорить. По счастью, Кристоф был дома. Обычно он не отличался благоразумием. А тут постарался уразуметь их, предсказывая, какой поднимется шум и как они оба будут от этого страдать. Сердито кусая губы, Жаклина сказала:

— Ну что ж, мы тогда покончим с собой.

Этот довод не только не отпугнул Оливье, а, наоборот, убедил его. Кристоф с превеликим трудом добился

от влюбленных безумцев согласия повременить — прежде чем прибегнуть к таким отчаянным средствам, надо испробовать все остальные: Жаклина должна вернуться домой, а он, Кристоф, сам пойдет к г-ну Ланже и постарается уговорить его.

Станный это был ходатай! Он так начал свою речь, что г-н Ланже чуть сразу же не выставил его вон, но, почувствовав комизм положения, решил дослушать смеха ради. Однако серьезный тон Кристофа, его искренность и убежденность мало-помалу оказали свое действие; г-н Ланже, правда, не хотел сдаваться и время от времени вставлял насмешливые замечания. Но Кристоф все пропускал мимо ушей, — только при самых язвительных колкостях останавливался на миг и внутренне ошетинивался, затем продолжал говорить. Подчеркивая свои слова ударами кулака по столу, он сказал:

— Смею вас уверить, что этот разговор не доставляет мне ни малейшего удовольствия; некоторые ваши замечания мне трудно стерпеть, но я считал своим долгом поговорить с вами. Забудьте обо мне — я тут ни при чем, и взвесьте мои слова.

Господин Ланже слушал; когда речь зашла о намерении покончить с собой, он пожал плечами и делано расхохотался, но видно было, что его это встревожило: он был слишком умен, чтобы не принять всерьез подобную угрозу, — он знал, что надо помнить о неуравновешенности влюбленных девушек. Когда-то одна из его любовниц, избалованная хохотушка, которую он не считал способной на подобный шаг, у него на глазах выстрелила в себя из револьвера, но умерла не сразу; он как сейчас видел во всех подробностях эту страшную сцену. Да, от таких сумасбродных девчонок можно ждать чего угодно. У него сжалось сердце... «Ей так хочется? Хорошо, пусть так и будет. Сама пожалеет, дурочка!» Конечно, он мог бы пуститься на хитрость, на словах дать согласие, выиграть время и постепенно отвлечь Жаклину от Оливье. Но это стоило бы усилий, которые он не хотел или не мог тратить; кроме того, он был человек слабый и, однажды решительно сказав Жаклине «нет», очень не прочь был поправить свою резкость и сказать «да». В конце концов можно ли все предугадать?

Пожалуй, девчонка права. Самое главное — любить друг друга. Г-н Ланже знал, что Оливье — юноша серьезный, не лишенный дарования. И он дал согласие на брак.

Накануне свадьбы Оливье и Кристоф не ложились до поздней ночи. Им не хотелось потерять ни одной минуты уходящего от них дорогого прошлого. Но оно уже стало прошлым. Такими бывают грустные прощания на вокзальной платформе, когда бесконечно тянутся последние минуты, оставшиеся до отхода поезда: провожающие стоят, смотрят, говорят, но душа молчит, друг уже не здесь. Кристоф попытался разговаривать и оборвал беседу на полуслове; заметив рассеянный взгляд Оливье, он сказал с улыбкой:

— Как ты уже далеко!

Оливье смущенно оправдывался. Ему самому было грустно, что он не может сосредоточиться на этих последних мгновениях, когда они еще вместе. Но Кристоф пожал ему руку и сказал:

— Ничего! Не насилуй себя. Я очень рад. Мечтай, мой мальчик.

Они стояли рядом у окна и, облокотясь на подоконник, смотрели в темноту сада. После долгого молчания Кристоф обратился к Оливье:

— Ты убегаешь от меня? И рассчитываешь, что тебе удастся улизнуть? Ты думаешь о своей Жаклине. Погоди, я тебя поймаю. Я тоже думаю о ней.

— Друг ты мой, — сказал Оливье, — а я-то ведь о тебе думал, даже...

Он запнулся.

, — Даже несмотря на то, что мне это было очень трудно, — смеясь, закончил за него Кристоф.

Кристоф прихорошился и даже прифрантился к свадьбе.

Ни безразличный к религии Оливье, ни восставшая против нее Жаклина не пожелали венчаться в церкви.

Кристоф написал симфоническую пьесу для исполнения в мэрии, но отказался от этого замысла, когда представил себе церемонию гражданского брака, казавшуюся ему такой нелепой. Чтобы иначе относиться к такого рода

обряду, надо быть полностью лишенным и веры и внутренней свободы. Если уж истинный католик идет на такое вольнодумство, то никак не для того, чтобы на месте священнослужителя увидеть чиновника. Между богом и свободой совести нет места ни для какой государственной религии. Государство регистрирует, но соединять не его дело.

Присутствуя на свадьбе Оливье и Жаклины, Кристоф не пожалел о своем решении. Оливье слушал с рассеянным, немного насмешливым видом. Мэр расточал низкопробную лесть молодым, богатой родне, сановным свидетелям. Жаклина не слушала вовсе: она украдкой показывала язык Симоне Адан, с которой поспорила, что «ни капельки не будет волноваться во время свадьбы», и теперь явно выигрывала пари. Она не вдумывалась в происходящее — ее только забавляло, что она выходит замуж. Остальные позировали для публики; а публика смотрела во все глаза. Г-н Ланже чувствовал себя в своей стихии; несмотря на искреннюю любовь к дочери, его больше всего интересовало, кто из знакомых приехал и не забыл ли он кого-нибудь пригласить. Один Кристоф был растроган за всех: за родителей, за новобрачных, за мэра; он не сводил глаз с Оливье, а тот даже не оглянулся.

Вечером молодые уехали в Италию. Кристоф и отец Жаклины провожали их на вокзал и видели, что они довольны, ни о чем не жалеют и не скрывают, как им не терпится поскорее уехать. Оливье казался подростком, а Жаклина совсем девочкой. Сколько трогательной и милой грусти в таких проводах! Отцу немножко горько, что его дочурку увозит чужой мужчина, муж! Увозит навсегда. А те оба упоены ощущением свободы. Перед ними больше нет преград, ничто их не держит, — кажется, что они достигли вершины: теперь, когда владеешь всем, не страшно умереть, ничего не страшно... Позднее убеждаешься, что это лишь один из этапов: дорога идет дальше, все в гору, и мало кто доходит до следующего этапа...

Поезд умчал их в темноту. Кристоф и г-н Ланже возвращались вместе. Кристоф сказал с лукавым простодушием:

— Овдовели мы с вами!

Господин Ланже засмеялся. Они распрощались, и каждый отправился к себе домой. Обсид было грустно. Но к грусти примешивалось умиление. Сидя один у себя в комнате, Кристоф думал:

«Лучшая часть моего «я» счастлива».

В спальне Оливье все было попрежнему. Друзья решили, что пока Оливье не вернется и не устроится на новой квартире, его обстановка и все дорогие ему вещи останутся у Кристофа. Казалось, и сам он еще здесь. Кристоф посмотрел на карточку Антуанетты, поставил ее перед собой на стол и спросил:

— Ты довольна, дорогая?

Он писал Оливье часто — пожалуй, слишком часто. А в ответ получал редкие письма, небрежные и все более не похожие на прежнего Оливье. Кристоф был разочарован. Но убеждал себя, что иначе быть не могло, и не сомневался, что дружба их останется неизменной.

Одиночество не тяготило его. Даже наоборот: он бы предпочел еще меньше общаться с людьми. Опека «Гран журнал» стала действовать на него раздражающе. Арсен Гамаш имел поползновение считать себя собственником открытых им гениев: ему казалось вполне закономерным приобщать их славу к своей, подобно Людовику XIV, который собрал вокруг своего престола Мольера, Лебрена и Люлли. Кристоф находил, что его покровитель из «Гран журнал» обладает не менее самодержавными замашками и является не меньшей помехой искусству, чем автор «Гимна Эгиру», ибо журналист, будучи столь же невежественным, как император, столь же безапелляционно судил об искусстве — все не угодное ему просто не имело права на существование, объявлялось плохим, вредным и уничтожалось в интересах общества. Смешное и страшное зрелище, когда и не понявшие культуры дельцы берутся руководить не только политикой и финансами, но и духовной жизнью, предлагают художнику собачью конуру, ошейник и кормушку, а в случае отказа могут натравить на него сотни болванов из числа своей угодливой своры! Но Кристоф

не принадлежал к тем, кто поддается дрессировке. Он не мог допустить, чтобы какой-то хам указывал ему, что должно и чего не должно делать в музыке, и недвусмысленно дал понять, что искусство требует более основательной подготовки, чем политика. Точно так же он без церемоний отказался положить на музыку бездарное либретто, которое, с благословения хозяина, попытался всучить ему один из главных приспешников газеты. Это положило начало его размолвке с Гамашем.

Кристоф отнюдь не огорчился. Едва выйдя из неизвестности, он жаждал вернуться в прежнее состояние. «Будучи на виду, человек теряет себя и растворяется в других». Слишком многим было до него дело. Ему вспомнились слова Гёте:

«После того как писатель обратил на себя внимание произведением незаурядным, публика всеми способами мешает ему написать второе такое же... Таланту не дают углубиться в себя, вовлекают его в мирскую суету, потому что каждый рассчитывает урвать себе частицу».

Он замкнулся от внешнего мира и вновь сблизился кой с кем из старых друзей. Он побывал у Арно, который почти забыл последнее время. Г-жа Арно полдня проводила одна, и у нее было время вникать в чужие горести. Она поняла, какую пустоту ощутил Кристоф после отъезда Оливье, и, поборсв свою застенчивость, пригласила его обедать. Если бы у нее хватило духу, она даже предложила бы ему присмотреть за его хозяйством; но на это она не отважилась и хорошо сделала — Кристоф не любил, чтобы его опекали. Однако от обеда он не отказался и мало-помалу привык проводить вечера у Арно.

Чета Арно жила все так же дружно, но к прежней атмосфере немного грустной, почти болезненной взаимной привязанности прибавилось что-то будничное, серое. Сам Арно переживал полосу угнетения, которую приписывал усталости от преподавательского труда — труда изматывающего, сегодня такого же, как вчера, точно колесо, когда оно вертится на месте, не останавливаясь ни на миг и не двигаясь вперед. При всем своем терпении бедняга Арно дошел чуть не до отчаяния. Ему претили разные несправедливости, а собственное самопожертвование казалось бессмысленным. Г-жа Арно ободряла его

ласковым словом; с виду она была так же уравновешенна, как прежде, хотя заметно поблекла. Кристоф в ее присутствии говорил ее мужу о том, какое счастье иметь такую рассудительную жену.

— Да, она у меня умница, ее трудно вывести из себя, — отвечал Арно. — Это и ее и мое счастье. Если бы она тяготилась нашей жизнью, я бы, пожалуй, не выдержал.

Госпожа Арно краснела и молчала. Потом своим обычным ровным голосом начинала говорить о чем-нибудь постороннем. Посещения Кристофа, как всегда, были благотворны. Они несли с собой свет. А его, в свою очередь, согревало общество этих сердечных людей.

У него появился еще один друг — женщина. Вернее, он сам отыскал ее, потому что она хоть и мечтала познакомиться с ним, однако ни за что не сделала бы первого шага. Это была девушка лет двадцати пяти с небольшим, музыкантша, с отличием окончившая консерваторию по классу фортепиано; звали ее Сесиль Флэри. Она не могла похвастать ни высоким ростом, ни стройностью. У нее были густые брови, большие, красивые, подернутые влагой глаза, толстоватый и красноватый, вздернутый на конце, утиный носик, толстые, мягкие и добродушные губы, тяжелый, упрямый подбородок и довольно низкий широкий лоб; волосы были стянуты на затылке пышным узлом. Руки у нее были крепкие, а кисть, как полагается пианисту, крупная, с отставленным большим пальцем и подушечками на концах. Весь ее облик оставлял впечатление грубоватой силы и крестьянского здоровья. Она жила с матерью, которую обожала; старушка нисколько не интересовалась музыкой, но, слыша бесконечные разговоры на эту тему, тоже стала говорить о музыке и знала все, что творится в музыкальном мире. У Сесиль была несладкая жизнь. Целые дни она бегала по урокам, изредка давала концерты, которые пишущая братия обходила полным молчанием. Возвращалась она поздно, пешком или в омнибусе, до смерти усталая, но жизнера-

достная; не унывая долбила гаммы, сама мастерила себе шляпки, любила поговорить, посмеяться и часто пела для собственного удовольствия.

Жизнь не избаловала ее, и она умела ценить немудреные развлечения и скромное благополучие, достигнутое собственным трудом, умела радоваться малейшему, едва заметному успеху на своем поприще или в своем творчестве. Да, если в этом месяце ей удалось заработать на пять франков больше, чем в предыдущем, или наконец-то получилась та шопеновская фраза, над которой она билась несколько недель, она была вполне довольна. К своей работе, отнюдь не чрезмерной, вполне соответствующей ее возможностям, она относилась как к полезному физическому упражнению. Игра, пение, уроки давали ей приятное ощущение правильной, размеренной затраты энергии, обеспечивая в то же время средний достаток и скромный успех. Она отличалась прекрасным аппетитом, хорошо ела, хорошо спала и никогда не хворала.

Обладая трезвым, рассудительным, непритязательным и вполне уравновешенным умом, она ничем не терзалась, жила настоящей минутой, не допекала себя тем, что было, и тем, что будет. А так как она была наделена крепким здоровьем и, повидимому, ограждена от неожиданных ударов судьбы, то и чувствовала себя почти всегда счастливой. Ей нравилось упражняться на фортепиано — так же как нравилось хозяйничать, разговаривать о домашних делах или просто бездельничать. Нельзя сказать, чтобы она не думала о завтрашнем дне, она была расчетлива и предусмотрительна, но она умела жить каждой данной минутой. Ее не волновали высокие идеалы; единственное ее стремление — идеалом его никак не назовешь — довольно мещанское и мирное, незаметно направляло все ее поступки, все мысли и заключалось в том, чтобы спокойной любовью любить каждое свое дело, все, что ни делаешь. По воскресеньям она ходила в церковь. Но религия почти не занимала места в ее жизни. Она восхищалась натурами увлекающимися, вроде Кристофа, фанатиками или гениями, но не завидовала им: как бы она могла вместить их страстное волнение, их талант?

Каким же образом она понимала их музыку? Она и сама затруднилась бы это объяснить, но твердо знала, что понимает. Несокрушимое физическое и духовное равновесие давало ей преимущество перед другими исполнителями. Избыток жизни, когда собственные страсти молчат, — превосходная почва, где чужие страсти распускаются пышным цветом. Эти грозные страсти, терзавшие своего творца, не потрясали ее: она передавала всю их мощь, не испытывая на себе действия их стравы, и ощущала только подъем сил, а потом приятную усталость. Окончив игру, она вставала — вся потная, разбитая, — спокойно улыбалась и была довольна.

Кристоф услышал однажды вечером, как она играет, и поразился, а по окончании концерта поспешил пожать ей руку. Ее тронуло его внимание — зал был не очень полон, да и вообще она не успела пресытиться похвалами. В свое время у нее не хватило пронырливости, чтобы примкнуть к определенной музыкальной клике, не хватило хитрости, чтобы окружить себя почитателями, она не старалась щеголять техникой, не сригинальничала в трактовке классических произведений, не присваивала себе право собственности на того или другого великого композитора — на Иоганна Себастьяна Баха или Бетховена, не подводила никаких теорий под свое исполнение, а попросту играла так, как чувствовала, и потому на нее не обращали внимания и критики не знали ее — ведь никто не сказал им, что она играет хорошо, сами же они никогда бы до этого не додумались.

Кристоф стал часто встречаться с Сесиль. В этой здоровой и спокойной девушке привлекало его как загадка сочетание силы с вялостью. Кристоф не мог примириться с тем, что ее так плохо знают, и сказал, что попросит своих приятелей из «Гран журнал» написать о ней. Хотя Сесиль и была не прочь, чтобы ее похвалили, она уговорила Кристофа не хлопотать. Ей не хотелось бороться, затрачивать усилия, возбуждать зависть; важнее всего жить спокойно. О ней не пишут — тем лучше! Сама она была чужда зависти и первая восхищалась мастерством других исполнителей. Она не знала честолюбивых желаний. Для этого у нее было слишком ленивое воображение. Она либо занималась ка-

ким-нибудь определенным делом, либо не делала ровно ничего, — даже не мечтала и ночью в постели, когда не спала, не думала ни о чем. У нее не было болезненного стремления непременно выйти замуж, — стремления, отравляющего жизнь многим девушкам, которые дрожат, как бы не остаться в старых девах. Когда ее спрашивали, разве ей не хочется найти хорошего мужа, она ствечала:

— Только и всего? А почему не пятьдесят тысяч годового дохода? Надо довольствоваться тем, что имеешь. Встретится подходящий — тем лучше! А нет — обойдемся и без него. Когда не дают пирога, можно и в хорошем хлебе находить вкус. Особенно после того, как долго пришлось сидеть на черстве!

— А мало ли людей, у которых и хлеб-то не каждый день бывает, — вторила ей старушка-мать.

У Сесиль были основания критически относиться к мужчинам. Отец ее, умерший несколько лет назад, был человек слабый и нерадивый, причинивший много зла жене и детям. Брат сбился с пути; никто толком не знал, что он делает; изредка он появлялся и требовал денег; его боялись и стыдились и каждый миг ждали самой страшной вести о нем, а все-таки любили. Однажды с ним столкнулся Кристоф. Он был в гостях у Сесиль; на парадном позвонили; мать пошла отворить. В соседней комнате начался громкий разговор, минутами переходивший в крик. Сесиль было явно не по себе; наконец, она не вытерпела, тоже вышла и оставила Кристофа одного. Спор не утихал, в незнакомом голосе зазвучали угрожающие нотки. Кристоф счел своим долгом вмешаться: он открыл дверь и едва успел разглядеть еще молодого, немного сутулого мужчину, стоявшего к нему спиной; но тут Сесиль бросилась к Кристофу, умоляя его не входить, и сама вышла вместе с ним. Они снова сели и долго молчали. В комнате рядом посетитель еще покричал немного, потом ушел, хлопнув дверью. Тогда Сесиль вздохнула и сказала Кристофу:

— Да... это мой брат.

Кристофу все стало ясно.

— Вот что! — сказал он. — Понимаю... У меня тоже есть такой...

Сесиль с нежным сочувствием взяла его руку:

— Такой? У вас тоже?

— Да, — ответил он. — У каждого свои семейные радости.

Сесиль засмеялась, и они переменили тему разговора. Нет, семейные радости отнюдь не привлекали ее, и в замужестве она видела мало заманчивого: мужчины недорого стоят. В независимой жизни, на ее взгляд, было куда больше преимуществ: ее мать ведь долгие годы вздыхала об утраченной свободе! Зачем же добровольно терять эту свободу? Единственно, о чем Сесиль грезила наяву, — это когда-нибудь впоследствии — бог знает когда! — поселиться в деревне. Но она даже не старалась представить себе во всех подробностях эту жизнь: утомительно думать о таких туманных перспективах; лучше спать или заниматься своим делом...

Не довольствуясь воздушными замками, она пока что снимала на лето дачку в окрестностях Парижа; там они жили вдвоем с матерью. Езды туда было двадцать минут поездом, но стояла дача уединенно, довольно далеко от станции, посреди пустырей, которые именовались полями; а Сесиль часто возвращалась из города поздно вечером. Однако ей не было страшно: она не верила в опасность. Правда, у нее был револьвер, который она постоянно забывала дома. Да и вряд ли она умела им пользоваться.

Когда Кристоф бывал у Сесили, он обязательно усаживал ее за рояль. Он любил слушать, как она передает музыкальное произведение, особенно когда он сам подсказывал ей интерпретацию. Случайно он обнаружил, что у нее великолепный голос, — до этого она никогда не занималась пением. Кристоф требовал, чтобы она упражнялась, заставлял ее петь старинные немецкие песни или свои собственные вещи; она увлеклась пением и делала успехи, поражавшие ее так же, как Кристофа. Она была необычайно талантлива. Судьба каким-то чудом заронила искру музыкального дарования в эту девушку, дочь мелких парижских буржуа, полностью лишенных артистического чутья. Филомела, как прозвал ее Кристоф, иногда говорила с ним о музыке, но исключительно в практическом плане, без всяких сентиментов:

казалось, ее интересует только техника пения и фортепианной игры. Чаще всего, когда они бывали вместе и не занимались музыкой, они разговаривали на самые обыкновенные темы: о хозяйстве, о кухне, о домашних делах. Кристоф не вытерпел бы и минуты такого разговора с буржуазной дамой, а с Филомелой вел его как ни в чем не бывало.

Так они проводили вдвоем целые вечера, искренно любя друг друга самой спокойной и, пожалуй, самой холодной любовью. Как-то раз, когда он пришел обедать и поздно засиделся у них, разразилась жестокая гроза. Несмотря на ливень и ветер, Кристоф все-таки собрался уходить, надеясь попасть на последний поезд. И тут Сесиль сказала ему:

— Куда же вы пойдете? Уедете завтра утром.

Ему постелили в крохотной гостиной; тоненькая перегородка отделяла его от спальни Сесиль; двери не запирались. Лежа в кровати, он слышал, как скрипит ее кровать, слышал ровное дыхание молодой женщины. Через пять минут она уже спала; он не замедлил последовать ее примеру, и даже тень волнения ни на миг не коснулась их.

Одновременно у него стали появляться новые, неизвестные друзья, которых привлекало его творчество. Они жили по большей части либо вне Парижа, либо очень уединенно, и вряд ли им суждено было когда-либо встретиться с ним. Даже самый вульгарный успех имеет свою положительную сторону: художника узнают тысячи хороших людей, и пусть этому способствуют дурацкие газетные статьи, но без них он остался бы навсегда неизвестен. С некоторыми из своих далеких почитателей Кристоф завязал дружеские отношения. Это были одинокие молодые люди, которые вели трудную жизнь, всем существом стремились к какому-то не вполне ясному идеалу, и знакомство с Кристофом и его творчеством утоляло их жажду братской дружбы. Это были скромные провинциалы, которые, услышав его *Lieder*, писали ему, как некогда старик Шульц, и чувствовали свою тесную связь с ним. Это были неудачливые музыканты — среди прочих один композитор, — которые не только не

могли добиться успеха, но не умели даже воплотить свои мысли в образы и были теперь счастливы, что это сделал за них Кристоф; однако дороже всех ему были, пожалуй, те, что писали, не называя себя, а потому не стеснялись говорить откровенно, и простодушно изливали свои чувства, как перед старшим братом, подающим им руку помощи. Кристоф с грустью думал, что он никогда не узнает этих чудесных людей, которых ему было бы так радостно полюбить; и, случалось, он целовал какое-нибудь безымянное послание, как тот, кто писал его, целовал страницы *Lieder* Кристофа; и каждый думал в свой черед: «Милые строчки, сколько радости вы мне дарите!»

Так, согласно непреложному ритму, управляющему вселенной, вокруг Кристофа, как вокруг всякого гения, собиралась тесная семья, которая, питаясь его творчеством, в свою очередь дает пищу ему и, мало-помалу разрастаясь, образует единую собирательную душу, светоносный мирок, где средоточием является он, — некую духовную планету, совершающую свой путь в пространстве и слитным хором вторящую гармонии сфер.

По мере того как между Кристофом и его невидимыми друзьями завязывались таинственные узы, в его творческом сознании совершался переворот: оно раздвигало свои пределы, становилось общечеловеческим. Кристофа уже не удовлетворяла музыка как монолог, как разговор с самим собой, а тем паче как хитроумный фокус для узкого круга профессионалов. Ему хотелось, чтобы его музыка была средством общения с другими людьми. Обособленное искусство не может быть жизненным. В горчайшие часы одиночества Иоганна Себастьяна Баха связывала с другими людьми вера, и ее он выражал в своем искусстве. Гендель и Моцарт, в силу обстоятельств, писали для публики, а не для самих себя. Даже Бетховену приходилось считаться с толпой. И это благотворно. Нужно, чтобы человечество время от времени напоминало гению:

«Что в твоём искусстве предназначено для меня? Ничего? Так ступай прочь!»

Это принуждение прежде всего полезно самому гению. Разумеется, есть великие художники, выражающие

только себя. Но истинно велики те, чье сердце бьется для всех. Кто хочет узреть бога живого лицом к лицу, должен искать его не в пустынных высотах своей мысли, а в любви человеческой.

Современным художникам была чужда эта любовь. Они творили для самовлюбленной нигилистической верушки, сторванной от общественной жизни, вменявшей себе в заслугу то, что она не разделяет предубеждений и желаний остального человечества или же превращает их в игрушку. Велика заслуга — выключить себя из жизни, лишь бы не походить на других! Такие пусть и умирают! А мы, мы идем в ногу с живыми, мы пьем от сосцов земли, мы вскормлены самым заветным, самым священным для рода человеческого — любовью к семье и к родной почве. В эпоху наибольшей свободы юный властелин итальянского Возрождения Рафаэль прославлял материнство своими трансверинскими мадоннами. А кто теперь создаст нам в музыке «Мадонну в креслах»? Кто создаст музыку на каждый час жизни? У вас во Франции нет ничего, ровно ничего. Когда вы хотите дать своему народу песни, вам остается только присваивать музыку немецких композиторов прошлого. Французским художникам надо начинать сначала или все переделывать сверху донизу...

Кристоф переписывался с Оливье, который обосновался теперь в одном из провинциальных городков. С помощью писем он старался вновь наладить то содружество, которое было так плодотворно, пока они жили вместе. Он надеялся, что Оливье создаст для него поэтические песенные тексты, созвучные повседневным мыслям и делам, наподобие старинных немецких *Lieder*, в основу которых были бы положены отрывки из священного писания, из индусских поэм, коротенькие религиозные или правоучительные картинки природы, стихи, выражающие чувство любви и чувство привязанности к семье, поэзию утра, вечера и ночи, доступную простым и здоровым сердцам. «Для песни довольно четырех или шести строк, выраженных просто, без витиеватых ходов и сложных гармоний. К чему мне ваши эстетские ухищрения? Полюбите мою жизнь, помогите мне полюбить и прожить ее. Напишите для меня «Часы Франции»,

«Большие и малые часы». А потом вместе поищем для них самое ясное музыкальное выражение. Как чумы будем избегать того условного кастового жаргона, каким в наши дни говорят многие французские композиторы. Надо иметь мужество говорить языком человеческим, а не артистическим. Оглянись на наших отцов. Их возвращению к общенародному музыкальному языку обязаны мы искусством классиков конца XVIII века. У Глюка, у творцов симфоний и современных им создателей песни мелодическая фраза порой по-мещански обыденна по сравнению с искусной и утонченной мелодией Иоганна Себастьяна Баха и Рамо. Своим обаянием и популярностью в народе великие классики обязаны тем, что они корнями своими уходят глубоко в родную почву. Они оттапливались от простейших музыкальных форм, от Lied¹, от Singspiel²; ароматом этих скромных цветочков повседневной жизни пронизаны ранние годы Моцарта и Вебера. Следуйте их примеру. Сочиняйте песни для всех. А на их основе воздвигайте уж потом квартеты и симфонии. Зачем сразу устремляться ввысь? Пирамиду не строят с вершины. Ваши современные симфонии — это мозг без тела. Обретите плоть, отвлеченные умы! Нужны целые поколения музыкантов-тружеников, которые по-братски слились бы со своим народом. Музыкальное искусство не создается в один день».

Кристоф не только руководствовался этими взглядами в музыке; он убеждал Оливье внести их в литературу.

— Современные писатели, — говорил он, — стараются изображать редкостные человеческие экземпляры или случаи, типичные для категории вырожденцев, стоящих вне пределов великого сообщества здоровых и деятельных людей. Но раз они добровольно выбросили себя из жизни, порви с ними и ступай к людям, к обычным людям, изображай обычную жизнь: она глубже и беспредельнее моря. Самый ничтожный из нас носит в себе бесконечность. Бесконечность заключена в каждом человеке, который не боится быть просто человеком — в

¹ песен (нем.).

² пьес с музыкальным сопровождением (нем.).

любовнике, в друге, в женщине, что муками платит за гордость и счастье материнства, в том, кто жертвует собой и о чьей жертве никто никогда не узнает. Это и есть могучий поток жизни, который течет от одного к другому, от одного к другому. Пиши о простой жизни вот такого простого человека, напиши безбурную повесть сменяющих друг друга дней и ночей — таких одинаковых и таких разных, с первого дня создания мира рожденных одной матерью. Пиши ее просто. Не старайся щеголять вычурным слогом, на что растрачивают себя современные художники. Ты обращаешься ко всем. Говори же, как все. Нет слов благородных или грубых, а есть люди, которые точно или не точно выражают то, что им нужно выразить. Целиком отдавайся всему, что ты делаешь: думай то, что думаешь, и чувствуй то, что чувствуешь. Пусть ритм твоего сердца согревает твои писания. Стиль — это душа.

Оливье соглашался с Кристофом, но при этом подпускал легкую насмешку:

— Конечно, такое произведение прекрасно; только оно вряд ли дойдет до тех, кому предназначено: критика удушит его на полпути.

— Узнаю моего милого французского буржуа, — отвечал Кристоф. — Главная его забота: что подумает о его книге критика! Критики, дружок, занимаются только тем, что констатируют победу или поражение. Сумей быть победителем. Я-то ведь обошелся без них! Научись обходиться и ты...

Но Оливье уже научился обходиться и без многого другого. Без искусства, без Кристофа, без всего на свете. Сейчас он думал только о Жаклине, и Жаклина думала только о нем.

Эгоизм любви создавал вокруг них пустоту: они неосмотрительно сжигали все свои запасы, ничего не оставляя на будущее.

Опьянение первой поры, когда у двух любящих, слившись воедино, одна мысль — раствориться друг в друге. Они соприкасаются, они ощущают друг друга каждой

частицей тела и души, они пытаются проникнуться друг другом. Они вдвоем — целая вселенная, не подвластный никаким законам любовный хаос, где перемешанные между собой стихии еще не осознали, в чем их различие, и жадно стремятся поглотить друг друга. Все восхищает любящего в любимом, ведь любимый — это тоже я сам. На что им весь мир? Как у мифического андрогина, грезящего во сне о гармонии сладострастия, их глаза тоже закрыты для мира, ибо мир в них...

Дни и ночи, как переплетение все тех же грез; часы, что проносятся, точно пушистые белые облака, оставляя лишь лучистый след перед ослепленным взором; мягкое дуновение, обволакивающее весенней истомой; солнечное тепло двух тел; пронизанный светом цветущий приют любви; целомудренное бесстыдство, неистовство, объятия, вздохи, радостный смех, слезы радости — что сохраняется от вас, пылинки счастья? Даже сердце с трудом припоминает вас: ведь когда были вы, время не существовало.

Один день похож на другой... Мирная заря... Тела вместе вынырнули из бездны сна; глаза раскрылись одновременно и посмотрели друг на друга; улыбающиеся губы, смешав свое дыхание, слились в поцелуе... Юная свежесть утренних часов, девственно чистый воздух умеряют жар разгоряченных тел... Сладостная лень нескончаемых дней, в которых звенит отголосок ночного сладострастия... Летние сумерки, мечтания вдвоем среди лугов, на бархатных полянках, под шелест высоких серебристых тополей... Мечтательное возвращение рука об руку прекрасным летним вечером, под сияющим небом к ложу любви. Ветер шуршит ветками кустарника. На ясной глади небес колышется белый пушок от серебряной луны. Вот упала и угасла звезда, и сердце дрогнуло — беззвучно умер целый мир. По дороге мимо них мелькают редкие тени, торопливые и безмолвные. В городе звонят колокола, возвещаая завтрашний праздник. Влюбленные остановились на мгновение; она прижалась к нему; они стоят, не произнося ни слова... Ах, если бы жизнь могла остановиться, как это мгновение! Жаклина говорит, вздохнув:

— Почему я так тебя люблю?

После нескольких недель путешествия по Италии они обосновались в одном из городов на западе Франции, куда Оливье был назначен преподавателем. Они почти ни с кем не встречались, ничто их не занимало. Во время обязательных визитов это их непозволительное равнодушие проявлялось так наглядно, что у одних оно вызывало обиду, у других улыбку. Слова скользили мимо, не задевая их. Своим высокомерно дерзким, присущим молодоженам, видом они как бы говорили:

«Ничего вы все не понимаете...»

На миловидном личике Жаклины, задумчивом и немного сердитом, в счастливом и рассеянном взгляде Оливье можно было прочесть:

«До чего же вы нам надоели! Когда мы, наконец, будем одни?»

Впрочем, они не стеснялись в обществе и вели себя так, будто они одни. Посторонние ловили их взгляды, которые переговаривались между собой о чем-то, не имевшем никакого отношения к общей беседе. Они видели друг друга, даже не глядя, и улыбались, зная, что думают об одном и том же. Избавившись от светских обязательств и очутившись вдвоем, они радостно визжали и резвились, как малые дети. Казалось, им лет по восьми.

В разговоре они дурачились. Давали друг другу забавные прозвища. Она называла его Олив, Оливэ, Олифан, Фанни, Мами, Мим, Мино, Кауниц, Козима, Кобур, Пано, Нако, Понетт, Нака и Кано. Она играла в маленькую девочку, но в то же время хотела быть для него всем: матерью, сестрой, женой, возлюбленной, любовницей.

Она делила с ним не только радости, а, как и собиралась, делила также его труды: это тоже была игра. На первых порах она взялась за дело с жаром. Для нее — женщины, привыкшей к праздности, — работа была в новинку; казалось, ей нравился самый неблагодарный труд: выписка цитат в библиотеках, перевод скучнейших книг — все это входило в ее планы очень честной, серьезной жизни, всецело посвященной благородным идеалам и совместной работе. Все шло отлично, пока обоих озаряла любовь, потому что Жаклина думала

об Оливье, а не о том, что ей приходится делать. И удивительно: что бы она в ту пору ни делала, было сделано хорошо. Она свободно разбиралась в самых отвлеченных сочинениях, которые были бы ей не под силу в другое время, — любовь как бы возносила ее над землей; сама она этого не замечала; точно сомнамбула, которая блуждает по крышам, она безмятежно, ни на что не оглядываясь, преследовала свою заветную и радостную мечту...

Но вот постепенно она стала замечать крыши; это ее не смутило; она только с удивлением подумала: «Что я делаю тут наверху?» — и спустилась на землю. Работа казалась ей теперь скучной. Она убеждала себя, что работа — помеха для любви. Должно быть, сама любовь уже ослабела. Но это ни в чем не проявлялось. Наоборот, они теперь минуты не могли прожить друг без друга. Они отгородились от мира, заперлись от всех и нигде больше не бывали. Они ревновали друг друга к знакам внимания со стороны чужих, ревновали даже к собственным занятиям, ревновали ко всему, что отвлекало их от взаимной любви. Переписка с Кристофом становилась все реже. Жаклина его не любила: он был для нее соперником, он олицетворял целую полосу в прошлом Оливье, когда еще не было Жаклины, и чем больше места в жизни Оливье занимал Кристоф, тем решительнее — хоть и бессознательно — старалась она отвоевать у него это место. Без особого расчета она исподволь отдаляла Оливье от друга, высмеивая повадки Кристофа, его наружность, его письма, его творческие замыслы; делала она это без злобы, без всякой хитрости, — советницей ей служила добрая мать природа. Оливье забавляли ее замечания; он не видел в них ничего дурного; ему казалось, что он попрежнему любит Кристофа; но любил он уже просто Кристофа Крафта, а для дружбы этого недостаточно; он не замечал, что мало-помалу перестает понимать Кристофа, утрачивает интерес к его идеям, к тому героическому идеализму, который объединял их... Для молодого сердца обаяние любви так сильно, что рядом с ней не устоит никакая вера. Тело любимой, ее душа, которой любуешься как цветком этой благословенной плоти, заменяют все науки,

все верования. И теперь уже с улыбкой сожаления смотришь на то, перед чем преклоняются другие и перед чем сам преклонялся когда-то, — изю всей могучей, полнокровной жизни с ее суровой борьбой видишь только цветок, живущий всего один день, и считаешь его бесмертным... Любовь поглотила Оливье. Вначале его еще хватало на то, чтобы выражать свое счастье в изящных стихах; а потом и это показалось ему лишним — к чему похищать время у любви? Жаклина тоже, как и он, не желала видеть иного смысла в жизни, подтачивала самое дерево жизни, тот ствол, вокруг которого плющом обвивается любовь и без которого любовь погибает. Так оба они в своем счастье отрекались от самих себя.

Увы! К счастью привыкаешь слишком быстро! Когда в жизни нет иной цели, кроме себялюбивого счастья, жизнь вскоре становится бесцельной. Счастье входит в привычку, как наркотик, без него уже нельзя обойтись! А обходиться надо! Счастье — это лишь одно из биений вселенского ритма, один из полюсов, между которыми качается маятник жизни, — остановить маятник можно, только сломав его.

Они познали «ту скуку блаженства, которая доводит до сумасбродства». Блаженные часы текли теперь медленнее, томительнее, блекли, как цветок без воды. Небо было попрежнему безоблачно; но уже не чувствовалось утренней свежести. Все замерло; природа молчала. Они были одни, как им хотелось. Откуда же эта тяжесть на сердце?

Какое-то смутное ощущение пустоты, беспредметная тоска, не лишенная прелести, с недавних пор тревожила их. Они становились болезненно впечатлительными. В настороженной тишине нервы были напряжены и, точно листья, трепетали от каждого неожиданного толчка. Жаклина то и дело плакала без всякого повода, и хотя уговаривала себя, что плачет от любви, это не всегда было верно. После двух-трех лет беспокойных мечтаний, предшествовавших браку, всем порывам внезапно пришел конец; мечты осуществились даже выше всяких ожиданий; впредь делать было нечего, да и то, что она

делала прежде, тоже, пожалуй, было ни к чему, и теперь внезапная пауза порождала внутреннее смятение, которое казалось ей необъяснимым и тем более удручающим. Она не признавалась себе самой в своем состоянии, приписывала его нервной усталости, силилась над ним смеяться; но смех ее был не менее тревожен, чем слезы. Тогда она решила быть мужественной и опять взялась за работу. Однако после первых же попыток ей стало непонятно, как могла она заинтересоваться такими бессмысленными занятиями, и Жаклина с гадливостью отбросила их. Она попробовала было возобновить светские знакомства, но так же безуспешно: привычка успела пустить корни, отучить ее от тех пустых встреч и разговоров, которые в «свете» считаются обязательными; Жаклине они показались теперь нелепыми, и она вернулась к прежнему одиночеству вдвоем, сделав из своих неудачных попыток вывод, что в жизни по-настоящему хороша только любовь. Некоторое время она и правда как будто была влюблена сильнее, чем когда-либо; на самом же деле ей только хотелось, чтобы это было так.

Оливье, натура менее страстная и более привязчивая, был лучше огражден от таких терзаний; он лишь время от времени ощущал какой-то неясный страх. К тому же тяготы повседневного труда и неблагодарной профессии до известной степени спасали его любовь. Но, как человек очень чуткий, он всем сердцем отзывался на малейшее волнение в сердце любимой, и скрытая тревога Жаклины передавалась ему.

Однажды под вечер они гуляли за городом. Они заранее радовались этой прогулке. Все кругом веселило взгляд. Однако с первых же шагов томительная, угрюмая тоска навалилась на них, сковала их холодом. Говорить было невозможно. И когда они все-таки пытались говорить, каждое слово гулко отзывалось в душевной пустоте. Они завершили прогулку машинально, ничего не видя и не чувствуя. И вернулись домой с тяжелым сердцем. Ночь уже совсем надвинулась, в квартире было пусто, холодно и темно. Они не сразу зажгли свет, чтобы не видеть друг друга. Жаклина вошла к себе в спальню и, не снимая шляпы и пальто, молча села у окна. А Оливье уселся в соседней комнате, облокотившись на

стол. Дверь между обеими комнатами осталась открытой; они были так близко, что могли слышать дыхание друг друга. Оба сидели в полумраке и горько, безмолвно плакали, зажимая рот рукой, чтобы приглушить рыдания.

Наконец, Оливье не выдержал и позвал:

— Жаклина...

Глотая слезы, Жаклина откликнулась:

— Что?

— Поди ко мне.

— Сейчас.

Она сбросила пальто, пошла умыться глаза. Он тем временем зажег лампу. Через несколько минут она вернулась. Они не смотрели друг на друга. Каждый знал, что другой плакал. И оба были безутешны, потому что знали, о чем плакали.

Настало время, когда они уже не могли скрыть друг от друга свое смятение.

А так как им не хотелось признаться себе в истинной причине, они стали искать другую и без труда нашли, взвалив всю вину на скуку провинциальной жизни и на окружающую среду. От этого им стало легче. Г-н Ланже не очень удивился, узнав из письма дочери, что ей надоело быть подвижницей. Он пустил в ход свои политические связи и добился для зятя места в Париже.

Когда пришло радостное известие, Жаклина запрыгала от восторга и снова почувствовала себя счастливой. Теперь, перед разлукой, скучный городок стал им вдруг дорог — столько в нем было рассеяно воспоминаний их любви! Напоследок они целыми днями бродили по следам этих воспоминаний. Их паломничество было овеяно нежной грустью. Все эти мирные дали видели их счастье. И внутренний голос шептал им:

«Ты знаешь, с чем расстаетесь. А знаешь ли ты, что тебя ждет?»

Накануне отъезда Жаклина расплакалась. Оливье спросил, о чем она плачет. Она не хотела говорить. Тогда они взяли листок бумаги и стали писать, как обычно делали, когда их пугало звучание слов:

«Оливье, любимый...»

«Жаклина, любимая...»

«Мне грустно уезжать...»
«Откуда?..»
«Оттуда, где мы друг друга любили...»
«Куда?»
«Туда, где мы будем старее».
«Где мы будем вдвоем».
«Но уже так любить не будем».
«Будем все сильнее».
«Как знать?»
«Я знаю».
«А я желаю».

Внизу страницы каждый нарисовал кружок, обозначающий поцелуй. И Жаклина отерла слезы, засмеялась и нарядила Оливье в костюм фаворитов Генриха III: нацепила на него свою шляпу и белую пелерину со стоячим воротником, похожим на брыжи.

В Париже они увидели тех, кого не так давно покинули. Но увидели их уже иными. Узнав о приезде Оливье, вихрем примчался Кристоф. Оливье обрадовался не меньше его. Однако с первого же взгляда оба ощутили неожиданную неловкость. Они попытались подавить ее, но тщетно. Как ни был ласков Оливье, что-то в нем все-таки изменилось; и Кристоф это чувствовал. Ничего не поделаешь — женившийся друг уже не может быть прежним другом. На душу мужа теперь наложила свою печать душа жены. Кристоф ощущал это во всем: в неуловимом блеске глаз Оливье, в незнакомой складке возле рта, в новых оттенках голоса и оттенках мысли. Оливье не сознавал всего этого и только удивлялся, почему Кристоф стал совсем другим за время разлуки. Он не думал, конечно, что изменился Кристоф, понимая, что перемена произошла в нем самом, и приписывал ее возрасту; ему казалось неестественным, что годы не оказали такого же влияния на Кристофа, что Кристоф застыл на тех же взглядах, которые некогда были дороги и ему самому, а теперь представлялись ребяческими и устарелыми; в действительности же они были не по вкусу чужой душе, незаметно заполонившей его душу. Особенно ясно чувствовалось это, когда при разговоре

присутствовала Жаклина, — тогда между Оливье и Кристофом вставала пелена иронии, застилая им глаза. Они всячески скрывали друг от друга свои ощущения. Кристоф исправно навещал супругов. Жаклина с невинным видом подпускала ему шпильки, вставляла язвительные и колкие замечания. Он все терпел. Но возвращался домой опечаленный.

Первые месяцы в Париже были относительно счастливым временем для Жаклины, а значит, и для Оливье. Вначале она усиленно хлопотала, устраивая свое жилье. На одной из старинных улиц Пасси они нашли премиальную квартиру окнами в палисадник. Выбор мебели и обоев занимал Жаклину несколько недель. Она вкладывала в это столько стараний и даже страсти, как будто от тона обивки или формы старинного поставца зависело спасение ее души. Затем она возобновила общение с родителями, с друзьями. Весь этот год она была настолько поглощена любовью, что совершенно забыла их, и теперь каждая встреча была поистине откровением, тем более, что не только ее душа примешалась к душе Оливье, но и к ней пристала какая-то частица его души, а потому она смотрела на старых знакомых новыми глазами. Ей показалось, что они значительно выиграли. Сперва Оливье от этого не проиграл. Они выгодно оттеняли его, а он — их. Поскольку спутник ее жизни был натурой углубленной, сотканной из лирических полутонов, Жаклина находила теперь больше удовольствия в обществе светских людей, которые думают лишь о том, чтобы наслаждаться, блистать и пленять, а соблазнительные, но опасные пороки этих светских людей, которых она знала тем лучше, что сама принадлежала к их числу, заставляли ее особенно ценить верное сердце друга. Она забавлялась такого рода сопоставлениями, упорствовала в этой игре, чтобы оправдать свой выбор. И доигралась до того, что временами переставала понимать, почему сделала именно этот выбор. К счастью, такие настроения длились недолго, а потом ее мучили угрызения совести, и она бывала очень нежна с Оливье, но тут же возобновляла сравнения. Когда это занятие вошло в привычку, оно перестало быть забавным, и сравнения сделались менее безобидными. Оба противополо-

ложных мира уже не служили друг другу взаимным дополнением, а начали войну. Жаклина задавала себе вопрос: почему Оливье не обладает теми достоинствами и даже отчасти недостатками, которые нравились ей теперь в ее парижских приятелях? Вслух она этого не говорила, но Оливье чувствовал на себе критический взгляд своей юной подружки; его это тревожило и оскорбляло.

Однако любовь все еще давала ему власть над Жаклиной, и молодая чета могла бы и дальше жить уютной и согласной трудовой жизнью, если бы не изменились их материальные обстоятельства и не нарушили ее непрочного равновесия.

«*Quivi trovammo Pluto il gran nemico...*»¹

Скончалась сестра г-жи Ланже, бездетная вдова богатого коммерсанта. Весь ее капитал достался семейству Ланже. Состояние Жаклины увеличилось больше чем вдвое. Когда наследство было получено, Оливье вспомнил все, что Кристоф говорил о деньгах.

— Нам так было хорошо, — сказал он. — А вдруг от этого будет хуже.

Жаклина посмеялась над ним.

— Дурачок! От этого никогда не бывает хуже, — возразила она, — да в нашей жизни ничего и не изменится.

С виду действительно все осталось попрежнему. Насколько попрежнему, что спустя некоторое время Жаклина начала жаловаться на недостаток средств — явное доказательство происшедшей перемены. И в самом деле, хотя доходы их увеличились вдвое и даже втрое, все уходило неизвестно куда. Оставалось только удивляться, как они раньше сводили концы с концами. Деньги таяли, их поглощали бесчисленные новые траты, которые сразу становились привычными и обязательными. Жаклина завязала знакомство с модными портными; она рассчитала домашнюю портниху, которая обшивала ее, когда она была еще ребенком. Прошло время грошовых шляпок, которые мастерились из ничего и все же были

¹ «Нам Плутос, враг великий, встал навстречу» (итал.) — Да н те, «Божественная комедия», «Ад», песнь VI. — *Прим. ред.*

к лицу; прошло время платьиц, не безупречных в смысле шика, но носивших отпечаток ее собственного изящества. С каждым днем улетучивалось ласковое тепло домашнего уюта, которое излучалось от всего окружающего. Поэзия испарилась. Уют становился мещанским.

Они переменили квартиру. Прежняя — та, которую устраивали так заботливо и радостно, — показалась тесной и убогой. Вместо скромных комнаток, где все было таким родным, где в окна дружески кивало тоненькое деревцо, они теперь сняли большую, роскошную, удобно распланированную квартиру, к которой не лежало и не могло лежать сердце, где им было до смерти тоскливо. Старое, привычное убранство заменили новой, чужой для них мебелью. Воспоминаниям уже не было места. Первые годы супружеской жизни оказались вытесненными из сознания. Когда двое любящих рвут нити, связующие их с прошлым, озаренным любовью, они накликают на себя большую беду. Образы этого прошлого — лучшая защита от разочарования и враждебности, которые неизбежно приходят на смену первоначальному чувству... Возможность не стесняться в расходах сближала Жаклину и в Париже и во время путешествий (разбогатев, они стали часто путешествовать) с кругом богатых и праздных людей, в обществе которых она испытывала своего рода презрение к остальному человечеству, к тем, кто трудится. С присущей ей поразительной способностью приспособления она мгновенно уподобилась этим бесплодным, тронутым червоточинной существам. Всякое противодействие было бесполезно. Она сразу же возмущалась, раздражалась, называла «мещанской пошлостью» убеждение, что можно и должно быть счастливой, исполняя домашние обязанности и довольствуясь *aurea mediocritas*¹. Она теперь уже не понимала, как могла еще недавно жертвовать собой во имя любви.

А Оливье был слишком слаб для борьбы. Он тоже переменился. Бросив преподавание, он не имел теперь определенных обязанностей и только писал, отчего равновесие его жизни нарушилось. Раньше он огорчался,

¹ золотой серединой (лат.).

что не может всецело отдаться искусству. Теперь он всецело принадлежал искусству и чувствовал себя потеряннным в этих заоблачных сферах. Когда искусство не уравновешено ремеслом, когда оно не имеет опоры в серьезной практической деятельности, когда его не подхлестывает необходимость работать изо дня в день ради хлеба насущного, тогда искусство утрачивает свою силу, свою связь с жизнью. Оно становится тепличным растением, предметом роскоши. Оно перестает быть тем, чем оно бывает у великих художников — по-настоящему великих, — священным плодом человеческого труда... Оливье томился бездействием и все чаще задавал себе вопрос: «К чему?» Ему некуда было торопиться. Он подолгу мечтал с пером в руке, слонялся, не знал, куда себя девать. Он потерял связь с представителями своего класса, с теми, кто терпеливо и трудно прокладывает себе путь в жизни. Он попал в другой мир, где ему было не по себе и где ему все-таки нравилось. Человек слабый, покладистый и любопытный, он с интересом наблюдал этот мир, не лишенный привлекательности, но какой-то легковесный; и сам не замечал, что мало-помалу уподобляется ему и становится менее тверд в своих убеждениях.

Разумеется, он менялся не так быстро, как Жаклина. Женщина обладает опасной способностью преобразаться сразу и целиком. Такое мгновенное умирание и возрождение пугает тех, кто ее любит. Однако для существа, в котором кипит жизнь и у которого недостает воли, чтобы держать себя в узде, вполне естественно сегодня быть одним, а завтра другим. Оно подобно текучей воде. Кто любит его, должен следовать за ним или увлечь его в свое русло. В том и другом случае неизбежно надо меняться. Это страшное и вместе с тем самое верное испытание любви, но без него не узнаешь ей цену. А равновесие любви очень хрупко, особенно в первые годы совместной жизни, и порой достаточно малейшего изменения в одном из супругов, чтобы все рухнуло. Что же сказать о внезапной перемене материального положения или среды! Нужно быть очень сильным или очень равнодушным, чтобы устоять.

Жаклина и Оливье не были ни равнодушными, ни сильными. Они видели друг друга в новом свете; и облик близкого человека становился чужим. Когда им случилось сделать это печальное открытие, они избегали друг друга, щадя свою любовь, потому что они все еще любили друг друга. Оливье находил прибежище в работе — постоянная, хоть и не обязательная, работа успокаивала его. У Жаклины не было и этого; у нее не было никакого дела. Она бесконечно долго валялась в постели или часами сидела полуодетая за туалетным столом, не шевелясь, о чем-то задумавшись; и глухая тоска сгущалась капля за каплей, как ледяной туман. Она была не в силах отвлечься от неотступной мысли о любви. Любовь! Самое чудесное, что есть в жизни человеческой, когда беззаветно приносишь себя в дар любимому. И самое никчемное, неверное, когда она лишь погоня за счастьем... Другой цели в жизни Жаклина себе не представляла. Иногда в благом порыве она пыталась принять участие в других людях, в их горестях, но безуспешно. Чужие страдания непреодолимо отталкивали ее, расстраивали ей нервы. Чтобы успокоить свою совесть, она раза два-три попыталась совершить что-то похожее на доброе дело, — результаты были самые жалкие.

— Вот видите, — говорила она Кристофу. — Хочешь сделать добро, а делаешь зло. Лучше уж воздержаться. Должно быть, у меня нет к этому призвания.

Кристоф смотрел на нее и вспоминал одну из своих случайных подруг, гризетку: это была черствая женщина, не способная на искреннюю привязанность, но как только она видела чужое страдание, у нее вспыхивало материнское чувство к человеку, который был ей вчера безразличен или вовсе незнаком. Ее не отталкивали самые неприятные заботы — ей даже доставляло особое удовольствие делать то, что требует наибольшего самоотвержения. И все это бессознательно — повидимому, она находила в этом исход для смутных, не имевших случая воплотиться, стремлений к чему-то высшему; ее душа, бесчувственная в обычной жизни, воскресала в эти редкие минуты, — утолив в меру своих сил чье-то страдание, она была так счастлива, так внутренне ликовала, что радость ее казалась даже неуместной. Доброта этой

женщины, черствой по натуре, и черствость доброй по существу Жаклины — что это: порок или добродетель? Нет, только вопрос душевной гигиены. И первая была здоровее.

Жаклину угнетала мысль о страдании. Физической боли она предпочла бы смерть. Она предпочла бы смерть утрате одного из источников радости — красоты или молодости. Ей казалось жесточайшей несправедливостью, что кто-то может быть счастливее, чем она, что на ее долю не выпало все то счастье, на которое, по ее убеждению, она имеет право (а она была убеждена в существовании счастья, верила в него без рассуждений, как верят в бога). Она не только верила в счастье, — она считала его высшей добродетелью. Быть несчастным — все равно, что быть калекой. И она строила свою жизнь в соответствии с этим убеждением. Подлинная ее натура выглянула из-за тех покровов идеала, в которые она целомудренно и пугливо куталась девушкой. В противовес былсму идеализму она теперь смотрела на жизнь трезвым и холодным взглядом. Правильно было лишь то, что соответствовало общественному мнению и житейским удобствам. Она усвоила навыки матери: ходила в церковь, соблюдала обряды — аккуратно и равнодушно. Она уже не терзалась сомнениями, есть ли в этом хоть крупица истины, — у нее были терзания посерьезней, и она со снисходительной усмешкой думала о своем ребяческом бунте против религии. Впрочем, теперешняя рассудочность была так же искусственна, как прежний идеализм. Она себя принуждала. На деле же она не была ни ангелом, ни демоном. Она была обыкновенной скучающей женщиной.

А скучала она ужасно и, скучая, не могла даже найти себе оправдания в том, что Оливье ее не любит, или что она сама ненавидит его. Ей казалось, что она заперта, замурована заживо, что у нее нет будущего; она мечтала о новом, непрерывно обновляющемся счастье, — детские мечтания, совсем уж бессмысленные при ее неумении быть счастливой. Ее супружеская жизнь была похожа на жизнь многих других супругов, пребывающих в праздности, — у них есть все основания чувствовать себя счастливыми, а они постоянно чем-то терзаются.

Сколько их видишь вокруг — богатых, имеющих прелестных детей, крепкое здоровье, неглупых, способных понимать красоту; ничто не мешает им быть деятельными, творить добро, украшать жизнь себе и другим людям. Они же все время стонут, что не любят друг друга, а любят кого-то еще или не любят никого, вечно заняты собой, своими душевными или сексуальными эмоциями, какими-то своими особыми правами на счастье, борьбой своих эгзистических притязаний и вечно спорят, спорят, спорят, разыгрывают комедию большой любви, больших страданий и под конец начинают верить, что это трагедия. Кто скажет им:

«Ничего в вас нет исключительного. Неприлично жаловаться, имея столько возможностей быть счастливыми!»

Кто отнимет у них богатство, здоровье, все эти чудесные дары, которых они недостойны! Кто наденет ярмо нищеты и настоящих тягот на этих рабов, которые не способны быть счастливыми и которых сводит с ума свобода! Если бы им в поте лица пришлось зарабатывать свой хлеб, они с радостью поехали бы его, а если бы страдание показало им свой грозный лик, они не посмели бы разыгрывать гнусную комедию страданий...

Но, как бы то ни было, они страдают, они больны. Можно ли их не пожалеть? Беденькая Жаклина была так же неповинна в том, что отдалялась от Оливье, как и он — в том, что не мог ее удержать. Она была такою, какой ее сделала природа, и не знала, что брак — это вызов природе, а бросив природе вызов, надо приготовиться к тому, что она его примет, надо храбро вступить в бой, на который сам же напросился. Жаклина поняла, что совершила ошибку, досадовала на себя, и эта досада превращалась в озлобление против всего, что ей было дорого, против взглядов Оливье, которые она разделяла. Умная женщина в минуты озарения лучше, чем мужчина, понимает извечные вопросы, но ей трудно удержаться на уровне их. Мужчина же, раз обратившись к этим вопросам, служит им всю жизнь. Для женщины они являются утешой в жизни — она питается ими, но не решает их. Ее сердце и ум непрерывно нуждаются в новой пище, которой она не находит в себе.

И когда женщина не верит и не любит, она должна разрушать, если только ей не дарована величайшая из добродетелей — спокойствие.

В свое время Жаклина горячо верила в возможность союза, основанного на общих стремлениях. Считала счастьем вместе бороться, вместе трудиться, творя одно дело. Но в это дело, в эти стремления она верила до тех пор, пока они были позлащены солнцем любви; по мере того как закатывалось солнце, они превращались для нее в мрачные, голые скалы на фоне пустынного неба; она не находила в себе сил продолжать подъем: к чему карабкаться на вершину? Что найдешь там, по ту сторону? Какой чудовищный обман!.. Жаклина не могла понять, как это Оливье поддается химерам, поглощающим всю его жизнь; она мысленно твердила себе, что он неумен и далек от жизни. Ей было трудно дышать в этой атмосфере, и в силу инстинкта самосохранения она защищалась нападая. Она силилась обратить в прах враждебные ей верования того, кто еще был ей дорог, она пускала в ход весь арсенал насмешки и сладострастия, обволакивая Оливье путами своих желаний и мелочных забот, стараясь, чтобы он стал сколком с нее, хотя сама она перестала понимать, чего хочет и что собой представляет! Ее унижало, что Оливье не преуспел в жизни, а справедливо это или несправедливо — она уже не задумывалась, придя к убеждению, что в конечном итоге успех отличает талантливого человека от неудачника. Это недоверие угнетало Оливье, отнимая у него душевные силы. Однако он боролся добросовестно, как боролись и будут бороться многие другие, по большей части терпя поражение в этой неравной борьбе, где эгоистический инстинкт жены находит опору против духовного эгоизма мужа в его слабости, в его разочарованиях и в его здравом смысле, — этикетка, которой он прикрывает свое малодушие и усталость от жизни. Жаклина и Оливье были в этом единоборстве все-таки выше большинства. Он никогда бы не отрекся от своих убеждений в противовес тысячам мужчин, которые, уступая объединенному натиску лени, суетности и любви, предадут свою бессмертную душу. Если бы Оливье пошел на это, Жаклина стала бы его презирать. Но сама, в

своем ослеплении, старалась разрушить его силу, которая была и ее силой, их общим спасением; руководствуясь инстинктивной хитростью, она всячески подрывала именно те дружеские отношения, на которые эта сила опиралась.

После того как было получено наследство, Кристофу стало не по себе в обществе молодой четы. Не зря, разговаривая с ним, Жаклина подчеркивала свой снобизм и пошловатую практическую сметку, — ее лукавый маневр достиг цели. Не выдержав, Кристоф начинал говорить резкости и получал такой же резкий отпор. Однако это никогда не привело бы к ссоре двух друзей, — слишком сильна была их привязанность. Оливье ни за что на свете не пожертвовал бы Кристофом. Но он не мог навязывать Кристофа Жаклине, ибо это бы огорчило ее, — любовь делала его безвольным. Кристоф видел, что происходит в Оливье, как он страдает, и сам облегчил ему выбор, устранившись добровольно. Он понял, что, оставаясь с ними, ничем не поможет Оливье, — скорее причинит ему вред, и первый выдвинул доводы, в силу которых им следует расстаться, а Оливье по слабости принял эти несостоятельные доводы, догадываясь, что Кристоф приносит себя в жертву, и терзаясь раскаянием.

Кристоф не сердился на него. Правильно говорят, думал он, что жена — половина мужа. Ибо женатый мужчина уже полмужчины.

Кристоф попробовал построить свою жизнь по-другому — без Оливье, но, как он ни старался, как ни уговаривал себя, что разлука их временная, — при всем его оптимизме ему нередко бывало очень грустно. Он отвык от одиночества. Конечно, пока Оливье жил в провинции, он тоже был одинок, но тогда он обольщал себя надеждой, что друг хоть и далеко, однако когда-нибудь все же вернется. Теперь друг вернулся и стал более далеким, чем прежде. У Кристофа вдруг отняли привязанность, которой были заполнены многие годы его жизни, и он словно потерял главный стимул к деятельности. С тех пор как он подружился с Оливье, у него вошло в привычку посвящать друга во все свои мысли и дела.

Работа не могла заполнить пустоту. Кристоф привык, чтобы образ друга сопутствовал ему и в работе. А теперь, когда Оливье охладил к нему, Кристоф словно утратил равновесие: чтобы восстановить это равновесие, ему нужна была другая привязанность.

Госпожа Арно и Филомела попрежнему любили его. Но в данную минуту их спокойной дружбы было недостаточно.

Тем не менее обе женщины, очевидно, угадывали горе Кристофа и втайне соболезновали ему. Кристоф был очень удивлен, когда однажды вечером к нему вдруг пришла г-жа Арно. До сих пор она ни разу не решалась навестить его и теперь была явно взволнована. Кристоф не обратил на это внимания, приписав ее волнение робости. Она села, не произнося ни слова. Желая успокоить ее, Кристоф стал показывать ей свое жилище; разговор зашел об Оливье — все здесь напоминало о нем. Кристоф говорил о друге весело, просто, ни намеком не касаясь того, что произошло. Но г-жа Арно все знала и, с невольной жалостью взглянув на Кристофа, спросила:

— Вы теперь почти не встречаетесь?

Он решил, что она пришла его утешать и рассердился: он не любил, чтобы вмешивались в его дела.

— Когда хотим, тогда и встречаемся, — ответил он.

— Я вовсе не собиралась быть навязчивой, — покраснев, сказала она.

Он пожалел о своей резкости и взял руки г-жи Арно.

— Простите! — сказал он. — Я не хочу, чтобы его осуждали. Бедняга! Он страдает не меньше меня... Да, мы совсем не встречаемся.

— И он вам не пишет?

— Нет, — немного смущенно ответил Кристоф.

— Какая грустная штука — жизнь! — немного помолчав, заметила г-жа Арно.

Кристоф вскинул голову.

— Нет, не грустная, — возразил он. — В жизни бывают грустные минуты.

— Люди любили друг друга, потом разлюбили. Кому это было нужно? — с затаенной горечью вновь заговорила г-жа Арно.

— А все-таки любили, — ответил Кристоф.

— Вы жертвовали собой ради него, — настаивала она. — Хотя бы наши жертвы шли на пользу тем, кого мы любим. Но ведь он тоже несчастлив!

— Я и не думал жертвовать собой, — рассердился Кристоф. — А если и жертвовал, значит мне так нравилось. Нечего об этом толковать. Каждый делает то, что должен делать. Иначе уж наверняка будешь несчастен! Дурацкое слово — «жертва»! Какие-то английские пасторы в своем душевном убожестве примешали сюда понятие протестантской скорби, чопорной и унылой. Выходит, что жертва хороша, только когда она неприятна... К черту! Если жертва для вас горе, а не радость, не приносите ее, — значит, вы ее не стоите. Мы жертвуем собой не ради кого-то, а ради самих себя. Раз вы не способны ощущать счастье самопожертвования — ну и бог с вами! Вы недостойны жить на свете.

Госпожа Арно слушала Кристофа, не решаясь взглянуть на него. Потом вдруг поднялась и сказала:

— До свидания.

Тогда он решил, что она пришла чем-то поделиться с ним, и поспешил сказать:

— Простите меня! Я думаю и говорю только о себе. Посидите еще, хорошо?

— Нет, мне некогда... Благодарю вас...

Она ушла.

Некоторое время они не встречались. Она не подавала признаков жизни, а он не бывал ни у нее, ни у Филомелы. Он их очень любил, но боялся, что с ними придется говорить на грустные темы. И, кроме того, их спокойное, серенькое существование, разреженный воздух, которым они дышали, не подходил ему сейчас. Ему нужно было видеть новые лица, найти себя в новом увлечении, в новой любви.

Чтобы отвлечься, он после долгого перерыва стал бывать в театрах. Театр всегда представлялся ему любопытной школой для композитора, который стремится уловить и запечатлеть голоса страстей.

Как и в начале своего пребывания в Париже, Кристоф не слишком увлекался французскими пьесами. Помимо того, что его не прельщала их неизменно пошлая и откровенная тематика, вращающаяся вокруг психологии и физиологии любви, язык французской драматургии казался ему нестерпимо фальшивым, особенно в пьесах, написанных стихами. Ничего общего с живым языком народа, с его духом. Проза представляла собой, в лучшем случае, язык светских хроникеров, а в худшем — бульварных газетчиков. Поэзия же вполне оправдывала язвительное замечание Гёте:

«Поэзия хороша для тех, кому нечего сказать».

В сущности это была та же проза, многословная и манерная; изобилие образов, неумело, без всякой логики чувства втиснутых в ткань вещи, производило на любого искреннего человека впечатление фальши. Кристофу эти драмы в стихах претили не меньше, чем итальянские оперы со слащавыми завываниями и замысловатыми фиоритурами. Гораздо больше его интересовали актеры. Недаром драматурги старались подладиться к актерам. «Питать надежду, что пьеса будет разыграна с успехом, можно, лишь сообразуя характеры действующих лиц с пороками комедиантов». Положение почти не изменилось с тех пор, как Дидро писал эти строки. Исполнители служили моделью для произведений искусства. Едва только актер добивался успеха, как он уже заводил себе свой театр, своих угодливых закройщиков-драматургов, которые кроили пьесы по его мерке.

Из всех этих законодательниц литературных мод Кристофа интересовала лишь Франсуаза Удон. Париж увлекался ею уже года два. Разумеется, и у нее был свой театр, свои поставщики ролей; однако, играла мадемуазель Удон не только в пьесах, которые для нее мастерили; репертуар ее, довольно пестрый, простирался от Ибсена до Сарду, от Габриэля д'Аннунцио до Дюмасына, от Бернарда Шоу до Анри Батайля. Она отваживалась заглядывать в царственные аллеи классического стиха и даже бросалась в бурливый поток шекспировских творений. Но там ей было неуютно. Что бы она ни играла, она играла себя, себя одну, всегда и во всем...

Это была ее слабость и ее сила. До тех пор, пока она, как таковая, как Франсуаза Удон, не привлекла к себе внимания публики, игра ее не имела никакого успеха. Но как только заинтересовались ею самой, все, что она играла, стало казаться замечательным. По правде говоря, у нее были все основания рассчитывать, что зрительный зал, глядя на нее, забудет, как ничтожна пьеса, в которую она вдохнула жизнь. И Кристофа волновала не столько пьеса, сколько загадка этой женщины, которая умела преображаться физически, воплощая чью-то неведомую душу.

У нее был красивый, четкий профиль, немного трагического склада. Черты ее лица были по-парижски тонки, в духе Жана Гужона, и могли принадлежать юноше. Нос — короткий, но правильный. Красивый рот с нежными, печально изогнутыми губами. Изящно очерченные, по-отрочески худощавые щеки, в которых было что-то трогательное, словно отражение душевной муки. Подбородок волевой. Лицо бледное — из тех лиц, что приучены быть невозмутимыми, но помимо воли в каждой их черточке сквозит и трепещет душа. Волосы и брови у нее были очень тонкие, глаза переменчивые, изжелта-черные, принимавшие то зеленоватый, то золотистый оттенок — глаза кошки. Она и всеми своими повадками напоминала кошку — внешне бесстрастная, всегда словно дремавшая с открытыми глазами, недоверчиво настороженная, с внезапными, порой жестокими, нервными вспышками. Она казалась выше и худощавее, чем на самом деле; у нее были пышные плечи, изящные руки, длинные и тонкие пальцы. Одевалась и причесывалась она скромно и строго, без артистической небрежности и крикливой элегантности некоторых актрис — это была тоже кошачья черта, врожденный аристократизм, хотя вышла она из низов и по существу оставалась неисправимой дикаркой.

Ей было лет около тридцати. Кристоф услышал о ней у Гамаша: там ею восхищались в бесцеремонных выражениях, как женщиной свободных нравов, умной и смелой, с железной волей и ненасытным честолюбием, но резкой, капризной, взбалмошной, несдержанной, которая

прошла через много рук, прежде чем достигла теперешнего успеха, и не перестает за это мстить.

Однажды Кристоф собрался навестить Филомелу. Подойдя к медонскому поезду, он открыл дверцу своего купе и увидел уже расположившуюся там Франсуазу. Она казалась взволнованной, расстроенной, и появление Кристофа было ей явно неприятно. Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в противоположное окно. Но Кристофа поразило страдальческое выражение ее лица, и он устоял на нее с простодушным и нескромным участием. Франсуазу это рассердило; она метнула на него свирепый взгляд, значения которого он не понял. На первой же остановке она вышла и пересела в другой вагон. Только тут — с опозданием — он догадался, что она попросту сбежала от него, и огорчился.

Через несколько дней он возвращался в Париж по той же дороге и сидел на станционной платформе в ожидании поезда. Появилась она и села рядом на единственную скамью. Он хотел встать. Она сказала:

— Сидите.

Они были одни. Он извинился, что принудил ее в тот раз перейти в другое купе: он непременно ушел бы сам, если бы догадался, что мешает. Она ограничилась тем, что подтвердила с насмешливой улыбкой:

— Правда, вы ужасно назойливо смотрели на меня.

— Простите. Я не мог иначе... У вас был такой страдальческий вид, — сказал он.

— Ну и что же? — спросила она.

— Это получилось помимо моей воли. Да если бы вы увидели, что кто-то тонет, разве вы не протянули бы ему руку?

— Я? Даже не подумала бы, — ответила она. — Скорее помогла бы тонуть.

Она сказала это не то в шутку, не то с горечью, но, заметив его озадаченный вид, рассмеялась.

Подожел поезд. Только в последнем вагоне были свободные места. Она вошла первая. Кондуктор торопил их. Кристоф не хотел повторения недавней сцены и собрался поискать другое место.

— Входите, — сказала она.

Он вошел. Она добавила:

— Сегодня мне это безразлично.

Они разговорились. Кристоф с большой горячностью пытался втолковать ей, что нельзя быть равнодушным к окружающим и что люди могут друг другу помочь хотя бы утешением...

— На меня утешения не действуют, — сказала она.

Кристоф стал возражать; тогда она добавила со своей обычной дерзкой усмешкой:

— Роль утешителя очень выигрышна.

Он понял не сразу. А когда понял, когда решил, что она подозревает его в личной заинтересованности, меж тем как ему искренно жаль ее, он с негодованием вскочил, распахнул дверцу и собрался прыгнуть, хотя поезд уже тронулся. Ей стоило труда удержать его. Он сердито сел на место и закрыл дверцу как раз, когда поезд входил в туннель.

— Вот видите, — сказала она. — Вы могли погибнуть.

— Наплевать, — ответил он.

Он не желал с ней больше разговаривать.

— Мир очень глупо устроен, — сказал он. — Люди мучают друг друга, мучаются сами; а когда хочешь помочь человеку, он тебя в чем-то подозревает. Вот гадость! Это не люди, а какие-то уроды.

Она, смеясь, пыталась его успокоить. Положила ему на руку свою затянутую в перчатку ручку и, ласково уговаривая, назвала его имя.

— Как, вы знаете меня? — удивился он.

— А кто кого не знает в Париже? Мы ведь одним миром мазаны. И напрасно я с вами так говорила. Я вижу, вы славный малый. Успокойтесь же. Дайте руку. Ну, помирились?

Они пожали друг другу руки и стали беседовать по-дружески.

— Я не виновата, — объяснила она. — Слишком горький у меня опыт, и теперь я не верю никому.

— Меня тоже часто обманывали, — отвечал Кристоф. — А я продолжаю верить людям.

— Сразу видно, что вы родились простофилей.

Он рассмеялся.

— Правда, мне немало пришлось проглотить разочарований. Но я не смущаюсь. Желудок у меня вынос-

ливый. Мне случалось справляться и с более крупным зверьем — с голодом, с нуждой, а иногда и с мерзавцами, которые портили мне кровь. Все это только пошло мне на пользу.

— Вам хорошо, — сказала она, — вы — мужчина.

— А вы — женщина.

— Это не бог весть что.

— Это красота, а может быть, и сама доброта, — ответил он.

Она засмеялась:

— *Это!* А что с этим делают люди?

— Надо защищаться.

— Тогда доброты ненадолго хватит.

— Значит, ее и было немного.

— Возможно. А главное — не к чему страдать. Все, что слишком, — иссушает душу.

Он собрался было пожалеть ее, но вспомнил, какой отпор встретили недавно его соболезнования.

— Вы опять скажете, что роль утешителя выигрышна.

— Нет, больше не скажу, — ответила она. — Я чувствую, что вы по-настоящему добрый и искренний. Спасибо. Только не говорите мне ничего. Вы не знаете... Благодарю вас.

Поезд подходил к Парижу. Они расстались, не обменявшись ни адресами, ни приглашениями.

Месяца через два она сама пришла к Кристофу.

— Я пришла потому, что мне необходимо поговорить с вами. После нашей встречи я изредка вспоминала вас.

Она уселась.

— Только на минутку. Я вас не задержу.

Он начал что-то говорить. Она его прервала:

— Погодите немножко.

Они помолчали. Потом она сказала улыбаясь:

— Я дошла до предела. Теперь мне лучше.

Он попытался расспросить ее.

— Нет, не надо! — сказала она.

Она осмотрелась по сторонам, задерживая взгляд на отдельных предметах и по-своему оценивая их; наконец, увидела фотографию Луизы.

— Это мама? — спросила она.

— Да.

Она взяла карточку и пристально, ласковым взглядом всмотрелась в нее.

— Милая старушка! Вы — счастливый!

— Увы, она умерла.

— Ничего не значит, все-таки она была у вас.

— А у вас?

Но она нахмурила брови, отклоняя эту тему. Она не желала никаких расспросов.

— Лучше поговорим о вас. Расскажите мне... Ну, что-нибудь о вашей жизни...

— Вам это ни к чему...

— А все-таки расскажите...

Кристоф не хотел рассказывать, но поневоле отвечал на ее вопросы, потому что она умела спрашивать. И рассказал именно то, что его мучило, — историю своей дружбы, охлаждение Оливье. Она слушала с улыбкой, в которой было и сочувствие и насмешка. Внезапно она спросила:

— Который час? Господи! Я уже два часа сижу здесь! Простите... Но, право же, легче стало на душе... Мне хотелось бы приходить к вам, — добавила она. — Не часто. Иногда... Мне это поможет. Но я боюсь докучать вам, отнимать у вас время. Ну, хоть ненадолго... Изредка...

— Хотите, я буду приходить к вам, — предложил он.

— Нет, нет, ко мне не надо. Лучше у вас...

Но она долго не приходила.

Где-то на вечере Кристоф случайно узнал, что она тяжело больна и не играет уже несколько недель. Несмотря на запрет, он отправился к ней. Ему ответили, что никого не приказано принимать; но после того, как он, назвав себя, вышел за дверь, его вернули. Франсуаза лежала в постели, ей было лучше; она перенесла воспаление легких и сильно изменилась, но взгляд остался тот же — пронзительный, непокорный. Однако она явно обрадовалась Кристофу. Усадила возле постели и заговорила о себе с ироническим безразличием. Сказала, что

чуть не умерла. Он взволновался. Она высмеяла его. Он упрекнул ее за то, что она ничего не сообщила ему.

— Сообщить вам? Чтобы вы пришли? Ни за что на свете!

— Готов поручиться, что вы даже не вспомнили обо мне.

— И будете правы, — подтвердила она с обычной своей насмешливой и чуть грустной улыбкой. — Во время болезни не вспомнила ни разу. А вот сегодня вспомнила. Да не огорчайтесь вы! Когда я больна, мне ни до кого нет дела, я хочу только, чтобы меня все оставили в покое. Уткнусь носом в стену, лежу и жду... Я хочу быть одна, подохнуть одна, как крыса.

— Но ведь тяжело страдать одной!

— Я привыкла. Я столько лет была несчастна. И никто ни разу не помог мне. А теперь я обтерпелась... И вообще так лучше. Никто все равно ничем не поможет. Только шумят в комнате, пристают, надоедают, лицемерно охают... Нет. Я предпочитаю умереть в одиночестве.

— Какое смирение!

— Смирение? Не понимаю, что это такое. Нет, я просто стискиваю зубы и проклиная боль.

Он спросил, неужели никто не навещал ее, не заболтался о ней. Она сказала, что товарищи по театру — неплохие люди, хоть и дураки: они рады услужить и посочувствовать, но, конечно, больше на словах.

— Я же вам сказала, что сама не хочу их видеть. Со мной трудно ужиться.

— Я бы не прочь попробовать, — заметил он.

Она с сожалением посмотрела на него.

— И вы туда же! Вы тоже не лучше других.

— Простите меня, простите, — сказал он. — Боже правый! Я и в самом деле становлюсь парижанином. Мне стыдно... Клянусь, я это сболтнул не подумав.

Он зарылся лицом в одеяло. Она искренно расхохоталась и легонько шлепнула его по затылку.

— Вот это уже совсем не по-парижски! И слава богу! Это в вашем стиле. Ну, покажитесь-ка мне. Хватит поливать слезами мое одеяло.

— Вы меня простили?

— Простила. Только смотрите, чтоб это не повторилось.

Она еще немного поболтала с ним, спросила, чем он сейчас занят, потом устала, соскучилась и выставила его.

Решено было, что он навестит ее опять на следующей неделе. Кристоф уже собрался идти, как получил телеграмму: Франсуаза писала, что приходить не надо, она не в настроении. Но через день сама позвала его. Он пришел. Она уже поправлялась и полулежала у окна. Стояла ранняя весна, день был солнечный, на деревьях появились молодые побеги. Такой ласковой и мягкой он еще ни разу ее не видел. Она сказала, что в тот день не могла ни с кем говорить и его бы возненавидела, как всех остальных мужчин.

— А сегодня?

— Сегодня я чувствую себя молодой, неиспорченной, и мне мило все, что молодо и неиспорчено — вы, например.

— Я отнюдь не так уж молод и неиспорчен.

— Вы таким будете до самой смерти.

Они поговорили о том, что он делал с тех пор, как они не виделись, о театре, где она вскоре опять начнет работать; по этому поводу Франсуаза высказала свое отношение к театру: она его ненавидит и в то же время привязана к нему.

Она больше не позволила Кристофу приходить и обещала, что сама возобновит свои посещения, — только беспокоилась, что помешает ему. Он сказал, в какое время обычно не работает. Они вместе придумали условный стук; она постучит, а он откроет или нет — как ему заблагорассудится.

Франсуаза не сразу воспользовалась разрешением. Но однажды она согласилась читать стихи в чьем-то салоне, по дороге раздумала и позвонила, что не может приехать, а вместо этого решила заглянуть к Кристофу — на минутку, только поздороваться. Однако вышло так, что в этот вечер она разоткровенничалась с ним и рассказала всю свою жизнь с самого детства.

Печальное детство! Она — плод случайной связи и отца своего даже не знала. Мать — содержательница подозрительного кабачка в предместье одного из городов на севере Франции. Завсегдатаями там были возчики; они пили, оставались на ночь с хозяйкой и избивали ее. Один из таких гостей женился на матери Франсуазы, польстившись на ее убогие сбережения; он тоже напивался и тоже бил ее. У Франсуазы была старшая сестра, прислуживавшая в кабачке; она надрывалась от непосильной работы; отчим сделал ее своей любовницей, не постеснявшись матери; она была чахоточной и вскоре умерла. Франсуаза росла среди этой грязи и вечно терпела колотушки. Она была худосочным, озлобленным, замкнутым ребенком, дичком со страстной душой. На ее глазах плакали, страдали, терпели, унижались, чахли ее мать и сестра. Она же во что бы то ни стало решила не покоряться и вырваться из этой гнусной среды: по натуре она была бунтаркой. Несправедливость доводила ее до истерики; когда ее колотили, она царапалась и кусалась. А однажды собралась даже повеситься, но тут же раздумала, испугалась, что и в самом деле повесится; и когда она, уже задыхаясь, сведенными пальцами торопливо и неумело развязывала петлю, в ней билась иступленная жажда жизни. Раз ей нет спасения в смерти (Кристоф печально улыбался, вспоминая свои собственные детские страдания), она поклялась победить, стать свободной, богатой и растоптать всех своих мучителей. Эту клятву она дала себе как-то вечером в своей конурке, когда рядом раздавались ругательства отчима, крики матери, которую он бил, и рыдания сестры. Как она была несчастна! Но после клятвы ей стало легче. Стискивая зубы, она думала:

«Я вам всем покажу!»

В этом безрадостном детстве был один светлый луч.

Как-то раз соседский мальчишка, с которым она играла на улице, сын швейцара при театре, несмотря на строгий запрет, провел ее на репетицию. Дети прошмыгнули в самый дальний и темный угол зала. Франсуаза была потрясена волшебством сцены, озаренной огнями среди окружающего мрака, и теми пышными непонят-

ными фразами, которые там произносились, и королевской осанкой актрисы — та и в самом деле играла королеву в романтической мелодраме. Девочка оцепенела от волнения, но сердечко ее сильно билось... «Вот, вот кем надо быть!.. Ах, мне бы стать такой!» Когда репетиция кончилась, она решила во что бы то ни стало посмотреть вечерний спектакль. Пропустив вперед своего приятеля, она сделала вид, что идет за ним следом, а сама вернулась и спряталась под скамейкой; так она просидела три часа, задыхаясь от пыли, но перед самым началом, когда зрители стали собираться и когда она уже намеревалась выползти из своего убежища, ее поймали, с позором выволокли под смехи публики и отвели домой, где ее вдобавок высекли. В эту ночь она бы умерла от унижения, если бы отныне не знала твердо, кем ей надо сделаться, чтобы стать выше всех этих людишек и отомстить им.

План ее был выработан. Она поступила горничной в «Театральный отель и ресторан», где останавливались актеры. Она едва умела читать и писать, да ничего никогда и не читала — ей и нечего было читать. Она стала учиться с невероятным напряжением воли, таскала книги у постояльцев и читала их ночью при лунном свете или на заре, чтобы не жечь свечи. Из-за актерской безалаберности ее воровство проходило незамеченным; в крайнем случае владельцы книг поворчат и успокоятся. Впрочем, прочитав книги, она их возвращала, но возвращала не совсем сохранными: понравившиеся ей страницы она вырывала. Обычно она засовывала книги под кровать или под кресло, будто их и не выносили из комнаты. Она подслушивала у дверей, как актеры разучивают роль. И потом, подметая коридор, вполголоса подражала их интонациям, жестам. Ее ловили на этом занятии, смеялись, ругали. Она молчала, затаив злобу. Обучение по такому методу могло бы продолжаться до бесконечности, если бы она не осмелела и однажды не выкрала из номера у какого-то актера роль. Актер поднял шум. К нему никто не входил, кроме горничной, — он обвинил ее в воровстве. Она дерзко отпиралась, он пригрозил ей обыском. Тогда она бросилась ему в ноги и призналась во всем, а заодно и в том, что крада другие книги

и вырывала страницы, — словом, открыла все свои тайны. Актер отчаянно чертыхался, но на самом деле он был вовсе не злой человек. Он полюбостыждал, зачем она все это делала. Когда она сказала, что хочет быть актрисой, он долго хохотал. Потом начал ее экзаменовывать. Она стала читать ему на память целые страницы; он был поражен и спросил:

— Хочешь, я буду давать тебе уроки?

Она пришла в восторг, бросилась целовать ему руки.

— Ах, как бы я его любила! — сказала она Кристофу.

Но актер тут же добавил:

— Только, знаешь, голубушка, даром ничего не дают...

Она была невинна, она всегда с пугливым целомудрием отбивалась от наглых приставаний. Страстная стыдливость, омерзение ко всякой низменной чувственности без любви жили в ней с давних пор, с самого детства: их породило отвращение к тем гнусным картинам, которых она насмотрелась дома; они жили в ней и сейчас... Несчастливая, как же она была наказана! Как посмеялась над ней судьба!

— И вы согласились? — спросил Кристоф.

— Да, я готова была на что угодно. Ведь он грозился, что велит меня арестовать как воровку. У меня не оставалось выбора. Так я приобщилась к искусству... и к жизни.

— Мерзавец! — сказал Кристоф.

— Да. Я его возненавидела. Но с тех пор мне столько пришлось узнать, которые были не лучше его! Он-то хоть сдержал слово — обучил меня тому немногому, что знал сам из актерского ремесла, и ввел в труппу. Сперва все мною помыкали. Играла я выходные роли. Но как-то раз заболела субретка, и мне попробовали дать ее роль. Так оно и пошло. Меня считали несуразной, смешной, никуда не годной. Я тогда была дурнушкой. И слыла ею до тех пор, пока меня не провозгласили если не богиней, то женщиной в высшем, совершенном смысле этого слова, — женщиной с большой буквы... Дурачье! Игру мою находили неверной, экстравагантной. Публике я не нравилась. Товарищи надо

мною издевались. Однако меня держали, потому что я все-таки была полезна и обходилась недорого. Мало того, что обходилась недорого, — я платила. Да. За каждый успех, за каждый шаг вперед платила своим телом. Актеры, директор, антрепренер, приятели антрепренера...

Она замолчала, смертельно бледная, и сжала губы, глядя в одну точку; глаза ее были сухи, но чувствовалось, что душа ее плачет кровавыми слезами. В один миг пережила она весь прошлый позор и жгучую волю к победе — все более жгучую после каждой новой гнусности, которую ей приходилось терпеть. Она хотела умереть, но слишком мерзко было пасть, не поднявшись над унижениями. Покончить с собой в начале жизненного пути или уже после победы — куда ни шло! Но столько унижаться и ничего не достичь...

Она молчала. Кристоф гневно шагал по комнате: ему хотелось истребить всех подлецов, мучивших, мавравших эту женщину. Потом он остановился перед нею, с жалостью посмотрел на нее, нежно сжал руками ее голову, виски, лоб и произнес:

— Бедняжечка!

Она хотела отстранить его.

— Не бойтесь меня, — сказал он. — Я вам друг.

И тут по ее бледным щекам потекли слезы. Кристоф опустился перед нею на колени и поцеловал *la lunga man d'ogni bellezza piena* — прекрасные, узкие и нежные руки, на которые упали две слезы.

Затем он сел на прежнее место. Франсуаза овладела собой и уже спокойно продолжала свой рассказ.

Успех ей создал один драматург. В этой странной женщине он обнаружил гениальную, демоническую натуру и, что было еще важнее для него, «новую женщину, женщину нашего времени». Разумеется, он, как и все его предшественники, сделал ее своей любовницей, и она отдалась ему, как всем его предшественникам, без любви и даже с чувством, противоположным любви. Но он дал ей славу, и она прославила его.

— Зато теперь никто уже ничего не может вам сделать. Теперь вы делаете из них, что хотите.

— Вы так думаете? — с горечью спросила она.

И рассказала ему еще об одной насмешке судьбы —

о своей страсти к ничтожному человеку, которого она сама же презирала: он был писателем и всячески эксплуатировал ее, выпытывая самые унижительные ее тайны и пользуясь ими для своих писаний; потом бросил ее.

— Я его презираю как последнюю мразь и вся дрожу от ярости при мысли, что люблю его; но стоит ему только подать знак, и я бегу к этому негодяю и пресмыкаюсь перед ним. Что я могу поделывать? Сердце у меня так устроено: оно не желает любить то, что ему приказывает ум. И мне приходится приносить в жертву либо веления сердца, либо веления ума. Сердце и плоть кричат, требуют своей доли счастья. А у меня нет на них узды, я ни во что не верю, я свободна... Свободна? Нет, я раба моего сердца, моей плоти — чаще всего, почти всегда их желания сильнее меня. Они берут верх. Я стыжусь, а поделывать ничего не могу.

Она замолчала на миг, машинально помешивая пепел в камине.

— Я много раз читала, что сами актеры ничего не чувствуют, — продолжала она. — И действительно, почти все, кого я знаю, — большие тщеславные дети: они страдают, только когда затронута их мелкое самолюбие. Не могу решить, они ли настоящие актеры, или я. Мне кажется, что все-таки я. Как бы то ни было, я расплачиваюсь за других.

Она кончила свой рассказ и собралась уходить. Было три часа ночи. Кристоф предложил ей дожидаться утра и лечь на его кровать. Она предпочла сидеть в кресле у потухшего камина и мирно беседовать среди окружающей тишины.

— Завтра вы будете сонной.

— Я привыкла. А вот вы... Что вы делаете завтра?

— Ничего. У меня только урок в одиннадцать часов. Да ведь я крепкий.

— Таким и полагается крепко спать.

— Правда, я сплю, как убитый, несмотря ни на какие огорчения. Меня иногда даже досада берет. Сколько зря пропадает времени! Я буду очень рад хоть разок обмануть сон, украсть у него одну ночь.

Они продолжали разговаривать вполголоса, с дол-

гими паузами. В конце концов Кристоф заснул. Франсуаза улыбнулась и прислонила его голову к спинке кресла, чтобы он не упал... Сама же пересела к окну и стала задумчиво смотреть на темный, начинавший светлеть сад. Около семи часов она бережно разбудила Кристофа и простилась с ним.

В течение целого месяца она приходила и не заставляла Кристофа — дверь была на запоре. Потом Кристоф дал ей ключ от квартиры, чтобы она могла войти, когда захочет. Несколько раз после этого она попадала в отсутствие Кристофа. Тогда она оставляла букетик фиалок или записочку, наспех набросанный на листке бумаги рисунок, карикатуру — знак, что она была. Но как-то вечером она пришла к Кристофу прямо из театра снова поговорить по душе. Он работал. Они начали разговаривать, однако с первых же слов поняли, что ни тот, ни другой не настроены так рассудительно, как в прошлый раз. Франсуаза собралась уйти, но было поздно. Не то чтобы Кристоф ее удерживал. Собственная воля уже не пускала ее. Они остались вместе, чувствуя, как ими, все сильнее овладевает желание.

И стали любовниками.

После этой ночи она не показывалась несколько недель. В нем эта ночь разбудила пыл чувственности, дремавшей долгое время, и ему уже трудно было мириться с отсутствием Франсуазы. Она запретила ему приходить к ней. Он решил посмотреть на нее в театре, скрытый от посторонних глаз, где-то в последнем ряду; он весь горел и дрожал от любви и волнения. Страстный трагизм, который она вкладывала в свою игру, сжигал и его. В конце концов он не выдержал и написал ей:

«Вы сердитесь на меня, дорогая? Простите, если я обидел Вас».

Получив эти смиренные строки, она примчалась к нему и бросилась в его объятия.

— Лучше было бы остаться просто друзьями. Но раз это невозможно, незачем противиться неизбежному. Будь что будет!

Они соединили свои жизни. Однако каждый сохранил прежнюю квартиру и прежнюю свободу. Франсуаза неспособна была бы терпеть каждодневное присутствие Кристофа. Да и по роду ее занятий это было неудобно. Она приходила к Кристофу, изредка проводила с ним часть дня и ночи, но неизменно возвращалась к себе, а иногда и на ночь оставалась дома.

На те месяцы, что театр был закрыт, они вместе сняли домик в окрестностях Парижа, возле Жифа. Там они прожили счастливые дни, хоть и омрачавшиеся порой дымкой печали. Дни взаимной близости и мирного труда. У них была прекрасная, светлая спальня в верхнем этаже, откуда открывался широкий вид на поля и дальние просторы. Ночью с кровати они видели в окна, как по густой и блеклой синеве неба проплывают фантастические тени облаков. Лежа в объятиях друг друга, они слышали сквозь дремоту стрекот упоенных восторгом кузнечиков, шум грозового ливня; осеннее дыхание земли, запах жимолости, ломоноса, глицинии, скошенного сена пропитывали и дом и их самих. Ночная тишь. Сон вдвоем. Безмолвие. Далекий лай собак. Пение петухов. Светает. Жиденький благовест несется с дальней колокольни сквозь холодную, утреннюю мглу, от которой в теплом гнездышке пробирает дрожь холода, и они еще теснее и любовнее льнут друг к другу. В диком виноградe, увивающем стену, проснулись птицы. Кристоф открывает глаза и, затаив дыхание, с умилением смотрит на милое, усталое лицо спящей рядом подруги, побледневшее от любви...

Их любовь не была самодовлеющей страстью. Это была настоящая дружба, а тело только требовало своей доли. Они не стесняли друг друга. Каждый был занят своим делом. Франсуазу пленял талант Кристофа, его доброта, его нравственные устои. Во многом она чувствовала себя старше его, и это доставляло ей материнскую радость. Она огорчалась, что не понимает его произведений, — музыка вообще была ей недоступна и только в редких случаях вызывала у нее порывы безудержного волнения, но причина тут была не столько в музыке, сколько в самой Франсуазе, в тех страстях,

которые владели ею в ту пору и окрашивали собой все окружающее — природу, людей, цвета и звуки. Тем не менее она улавливала талант Кристофа сквозь таинственный, непонятный ей язык музыки, словно смотрела игру большого актера, говорящего на незнакомом языке. И творчество Кристофа живоительно действовало на ее собственный талант.

А Кристоф силою любви воплощал свои чувства в образе любимой женщины, проводил свои мысли сквозь призму ее мыслей; по воле его воображения они становились прекраснее, чем были на самом деле. Неоценимый дар — близость такой души, поистине женственной, слабой, доброй и жестокой, со вспышками гениальности. Благодаря ей он многое узнал о жизни и людях, о женщинах — их он знал еще очень плохо, а Франсуаза судила о них с беспощадной пронизательностью. Главное же, она научила его лучше понимать театр, помогла ему проникнуть в суть этого замечательного искусства, самого совершенного, самого трезвого и полноценного из искусств. Она открыла ему красоту этого волшебного орудия человеческой фантазии, убедила его, что нельзя писать только для самого себя, к чему у Кристофа была склонность — склонность очень многих художников, подобно Бетховену не желающих писать «для какой-то дурацкой скрипки, когда в них говорит дух божий». Самый великий драматург не стыдится писать для определенного театра и считаться с актерами, которые станут истолкователями его мысли. Он знает, что это не может его унижить, ибо мечта его прекрасна, а воплощение ее величественно. Театр, как фресковая живопись, выполняет главную миссию искусства. Он — поистине живое искусство.

Такого рода мысли, высказанные Франсуазой, были созвучны собственным мыслям Кристофа, стремившегося на данном этапе своего пути к коллективному искусству, создаваемому в тесном общении с людьми и ради этого общения. То, что поверяла ему Франсуаза, помогало Кристофу улавливать тайну взаимодействия, которое возникает между зрителем и актером. Несмотря на всю трезвость ума и полное отсутствие иллюзий, Франсуаза все-таки ощущала власть взаимного внушения, волны

братского понимания, которые соединяют актера со зрительным залом, так что голос актера, возносящийся над великим молчанием многих тысяч человеческих душ, становится их собственным голосом. Разумеется, такое чувство бывало у нее очень редко, оно возникало отдельными проблесками и почти никогда не повторялось в том же месте той же пьесы. В остальное время это было ремесло без души, рассудочная и холодная техника. Но увлекательно именно такое исключение — яркая вспышка, при свете которой открывается бездна, единая душа многих миллионов людей, чья сила сейчас воплощена в вас.

Вот эту единую душу и должен выражать большой художник. Идеалом такого художника является древний аэд, отождествляющий себя со всеми теми, для кого он поет, аэд, который, освобождаясь от своего «я», проникается коллективными страстями, бушующими над миром. Франсуаза особенно остро ощущала эту потребность, потому что она была неспособна на такое самоотречение и всегда играла только себя. Буйное цветение личной лирики за последние полтора столетия приобрело какой-то болезненный характер. Признак нравственной выскоты — это способность сильно чувствовать и с такой же силой обуздывать себя, быть сдержанным в речах и целомудренным в мыслях, не кичиться ими, уметь взглядом, словом, исполненным глубокого смысла, без детской восторженности, без женских излишаний, говорить для тех, кому все понятно с полуслова, для настоящих людей. Современная музыка, которая говорит больше всего о себе и назойливо сует всюду личные тайны, лишена стыдливости и лишена вкуса. Она напоминает больных, которые не устают говорить о своих болезнях и описывают их с противными и смешными подробностями. Франсуаза, не будучи музыкантшей, усматривала чуть ли не признак упадка в том, что музыка развивается за счет поэзии, глушит ее, точно нарост. Кристоф возражал, но, пораздумав, готов был признать в этом долю правды. Первые *Lieder*, написанные на слова Гёте, были сдержанны и точны; вскоре Шуберт извратил их романтической чувствительностью, Шуман — девичьей томностью, и так вплоть до Гуго Вольфа все нарастало тя-

готение к нарочитой декламации, к непристойному самоанализу, старание осветить малейшие закоулки собственной души. С сердечных тайн сорваны все покровы. То, что было в строгих словах сказано Софоклом, ныне горланят менады, нахально щеголяя своей наготой.

Кристоф немного стыдился этого искусства, чувствуя, что и сам заражен им; не думая возвращаться вспять (нелепое и противоестественное желание); он черпал силы у тех гениальных мастеров прошлого, которые были горделиво скрытны в своем творчестве и причастны к великому коллективному искусству. Так, Гендель пренебрег слезливым ханжеством своей эпохи и своей нации, написав монументальные хоры и оратории, эти героические эпопеи, пропетые народами для народов. Но нелегко было найти темы, способные, как библия во времена Генделя, пробудить чувства, общие для всех современных народов. У современной Европы нет больше общей книги — ни поэмы, ни молитвы, ни вероучения, которые были бы достоянием всех. Поистине позор для писателей, художников и мыслителей современности! Никто не писал, никто не мыслил для всех. Один лишь Бетховен оставил несколько страниц нового евангелия, дарящего утешение, но понятно оно только музыкантам, большинство же людей никогда не прочтет его. Вагнер попытался было создать на своем байрейтском холме религиозное искусство, объединяющее всех людей. Но его великому духу были слишком уж присущи все пороки упадочной музыки и философии его времени, и на священный холм пришли не галилейские рыбаки, а фарисеи.

Кристофу было ясно, что именно нужно делать, но ему недоставало помощи поэта и приходилось творить собственными силами, в пределах одной только музыки. А музыка, что бы ни утверждали, пользуется отнюдь не общедоступным языком, — нужна тетива слов, чтобы стрелы звуков могли проникнуть во все сердца.

Кристоф задумал цикл симфоний на темы обыденной жизни. Между прочим он собирался написать «Домашнюю симфонию» — только на свой лад, иначе, чем Рихард Штраус. Он вовсе не думал с кинематографической точностью, пользуясь условной азбукой, воплотить в музыке картину семейной жизни, где музыкальные

темы, по прихоти автора, соответствовали бы различным персонажам. Все это казалось Кристофу ученым ребячеством, которым забавлялся великий мастер контрапункта. Сам он хотел изобразить не каких-то определенных людей и их поступки, а чувства, знакомые всем, в которых каждый может услышать отголосок собственной души. Первая часть говорила о мирном и простодушном счастье молодой любящей четы, о ее сладострастной нежности, о вере в будущее. Вторая часть была элегия на смерть ребенка. Кристофу претили реалистические изыски в изображении горя; отдельные образы у него исчезали: была лишь великая скорбь — ваша, моя, любого человека, — перед лицом несчастья, которое постигает или может постичь всех. Душа подавлена отчаянием; но вот она выпрямляется тяжким усилием воли, приносит свое страдание в дар богу и мужественно продолжает свой путь в непосредственно вытекающей из второй части энергичной фуге с четким рисунком и властным ритмом, постепенно захватывающим все существо человека и приводящим его сквозь битвы и слезы к мощному маршу, полному несокрушимой веры. В финале изображены сумерки жизни. Здесь вновь возникают темы первой части, темы трогательной надежды и нестареющей любви, но теперь в них чувствуется большая зрелость и как бы усталость от жизни; они пробиваются из мрака скорби, увенчанные сиянием, и, точно цветущий сноп, возносят в небеса гимн благоговейной и беспредельной любви к жизни.

Кроме того, Кристоф старался найти в древних книгах величавые, простые и человеческие сюжеты, находящие отзвук в каждом сердце. Выбрал он два: «Иосифа» и «Ниобею». Но тут, кроме отсутствия поэта, вставала и другая проблема, чреватая опасностями, — проблема сочетания поэзии и музыки. Разговаривая об этом с Франсуазой, он вспомнил, как некогда набрасывал с Коринной¹ план музыкальной драмы, — нечто среднее между речитативной оперой и разговорной драмой, где искусство свободной речи сочеталось бы со свободной музыкой; о таком виде искусства не помышляет

¹ См. «Бунт». — Р. Р.

почти никто из современных композиторов, а рутинеры-критики, начиненные вагнерианством, отвергают его. Это искусство новаторское, ибо тут надо было не просто идти по стопам Бетховена, Вебера, Шумана и Бизе, как бы гениально ни владели они формой мелодрамы; не прилаживать какую попало декламацию к какой попало музыке, лишь бы любой ценой, с помощью самых вульгарных фиоритур, угодить на вульгарный вкус публики, — нет, тут надо было создать новый жанр, где музыкальные голоса сочетались бы с близкими им по звучанию инструментами и где бы их мелодическим строфам тактично вторили мечты и вздохи музыки. Само собой разумеется, что такая форма приемлема только для очень ограниченного круга сюжетов, ибо ее назначение — передать благоуханную поэзию души в минуты сокровенных раздумий. Это самый строгий и аристократический вид искусства. Ясно, что оно вряд ли способно расцвести в такую эпоху, когда, невзирая на самообольщения современных деятелей искусства, тон все-таки задают пошляки и выскочки.

Возможно, что и Кристоф был мало пригоден для такого рода искусства, — самый характер его дарования, его плебейская мощь служили тому помехой. Он лишь стремился к этому искусству и с помощью Франсуазы сделал кое-какие наброски.

Так, он воплотил в музыке некоторые страницы библии, почти ничего не изменив в них, — например, ту бессмертную сцену, когда Иосиф открывается братьям, когда он, после всего пережитого, изнемогая от волнения и любви, шепчет слова, которые без слез не мог читать в старости Толстой:

«Я больше не могу... Я — Иосиф. Жив ли еще отец мой? Я брат ваш, ваш давно потерянный брат. Я — Иосиф...»

Прекрасная свободная связь Франсуазы и Кристофа не могла быть прочной. Правда, им случалось ощущать вместе полноту жизни, но они были слишком разными людьми и при этом одинаково несдержанными, что вызывало частые столкновения. Эти столкновения никогда не доходили до грубости: Кристоф уважал Франсуазу.

А Франсуаза, хоть и могла быть жестокой, но ни за что на свете не причинила бы зла тем, кто был добр к ней. К тому же оба они обладали чувством юмора. Франсуаза первая смеялась над собой. И вместе с тем не переставала терзаться, не могла изжить свою страсть к прежнему любовнику, не могла забыть этого подлеца, — ей было мучительно это унижение, а главное — мысль, что Кристоф догадывается об ее тайне.

Кристоф же видел, что она по целым дням молчит, уйдя в себя, погрузившись в свои горькие думы, и не понимал, чего ей недостает для счастья. Ведь она достигла всего. Стала знаменитой артисткой, ее окружают лесть и поклонение.

— Все это так, — отвечала она, — но я не принадлежу к тем прославленным актрисам с душой торговки, для которых театр — та же коммерция. Им ничего больше не надо — только бы занять первое место, выйти замуж за богатого буржуа и, как пес *plus ultra*¹, получить крест, который дают за храбрость. А для меня этого мало. Для неглупого человека удача значит еще меньше, чем неудача. Тебе это можно не объяснять.

— Еще бы, — отвечал Кристоф. — Боже ты мой! Такой ли воображал я славу в детские годы! Я страстно жаждал ее и благоговел перед ней. Она мне казалась ослепительной. И все-таки одно в ней поистине прекрасно: она дает возможность сделать что-то хорошее.

— Да что ты можешь сделать? Допустим, ты победил. Ну, а дальше? Ничто не изменилось. Театры, концерты — все осталось, как прежде. Только одна мода сменила другую. Тебя либо не поняли, либо, едва поняв, сразу же занялись другим. А разве сам ты понимаешь своих собратьев по искусству? Они во всяком случае тебя не понимают. И меньше всего понимают те, кто тебе особенно дорог. Вспомни хотя бы твоего Толстого...

Кристоф писал Толстому. Он преклонялся перед ним, плакал, читая его книги, и попросил разрешения положить на музыку одну из его сказок для народа, послав ему свои *Lieder*. Толстой не ответил, как Гёте не

¹ самое высшее (лат.).

ответил Шуберту и Берлиозу, пославшим ему свои лучшие творения. Толстой пожелал послушать музыку Кристофа — она показалась ему непонятной, раздражающей. Ведь он и Бетховена называл декадентом, а Шекспира шарлатаном. Зато он одобрял тех жеманников, чьими вещицами для клавесина услаждал свой слух король-парик¹, и считал «Дневник горничной» истинно христианской книгой...

— Великим людям мы не нужны, — говорил Кристоф, — так что нам надо думать о других.

— О ком? О мещанах, заслоняющих от нас жизнь? Как?! Играть, творить для такой публики, ради нее губить свою жизнь! Да это же обидно!

— Э! Я этих людей вижу насквозь не хуже, чем ты, — возражал Кристоф, — но ничуть не огорчаюсь. Не так уж они плохи.

— Славный ты мой немецкий оптимист! Учитель Пангос!²

— Они такие же люди, как я. Почему они меня не поймут? А если и не поймут, отчаиваться мне, что ли? Среди этих сотен тысяч людей непременно найдутся двести сочувствующие души, и этого мне вполне достаточно, — ведь достаточно форточки, чтобы впустить в комнату свежий воздух... Вспомни неискушенных зрителей, подростков, простодушных старушек и старичков. Твое появление, твой голос, ты сама как воплощение трагической красоты, — все это возносит их над скудостью будничного прозябания. Вспомни, наконец, себя ребенком! Ведь приятно же нести другим, пусть даже одному-единственному, то счастье и утешение, какое в свое время кто-то принес тебе.

— А ты уверен, что найдется такой единственный? Я в конце концов усомнилась и в этом... Разве любят нас даже лучшие из тех, кто нас любит? Разве понимают по-настоящему! Их восторги оскорбительны, им точно так же нравится игра любой комедиантки. Они ставят нас на одну доску с теми ничтожествами, которых мы пре-

¹ Людовик XIV. — *Прим. ред.*

² Персонаж из философской повести Вольтера «Кандид». — *Прим. ред.*

зираем. Они привыкли валить в одну кучу всех знаменитостей.

— И все-таки самыми великими потомство признает именно самых великих.

— На расстоянии все виднее. Горы вырастают по мере того, как отдаляешься от них. Их вышина становится заметнее, но они уже далеко... И кто поручится, что это самые великие? Ведь ты не знаешь тех, кто исчез бесследно.

— Наплевать! — заявил Кристоф. — Пусть никто не поймет, что я думаю и что собой представляю, важно, что я — это я. У меня есть моя музыка, я люблю ее, верю в нее — она никогда не подведет.

— Ты-то свободен в своем творчестве, ты можешь делать, что хочешь. А я? Я должна играть все, что мне навязывают, мусолить одно и то же до тошноты. Слава богу, что мы не стали еще выючными животными, как американские актеры, — ведь они по десять тысяч раз играют «Рипа» или «Робера Макэра» и двадцать пять лет жизни убивают на какую-нибудь одну идиотскую роль. Но и мы уже близки к этому. Наши театры так оскудели. Публика переваривает талант только в самых ничтожных дозах, да еще требует, чтобы его приправили всякими модными вывертами... Разве не смешно звучат слова «модный талант»? Какая бессмысленная растрата сил! Ты только подумай, что сделали из Муне, что ставляли его играть всю жизнь? Две-три роли, ради которых стоило жить: Эдип, Полиевкт. А все остальное — чепуха, пошлятина. Сколько великих, замечательных образов мог бы он создать... И в других странах не лучше, чем у нас. Что сделали из Дузе? На какие бессмысленные роли растрочены ее силы...

— По-настоящему ваша роль состоит в том, чтобы показывать миру истинные произведения искусства, — сказал Кристоф.

— А мы гибнем зря, без всякой пользы. Как только какое-нибудь из этих истинных произведений попадает на сцену, оно утрачивает всю свою высокую поэтичность, становится лживым. Дыхание толпы иссушает его. Публика душных городов позабыла, что такое простор, при-

рода, здоровая, сочная поэзия, — она требует поэзии театральной, в мишуре и гриме. Ну, хорошо. Допустим, я добилась успеха. Все равно это не может заполнить жизнь, это не заполняет моей жизни...

— Ты все думаешь о нем?

— О ком?

— Ты же знаешь... О том человеке.

— Да, думаю.

— Признайся, даже если бы он был с тобой и любил тебя, ты все равно не была бы счастлива и нашла бы предлог для мучений.

— Возможно... Не знаю, почему я такая. Должно быть, мне слишком много пришлось бороться и терзать себя, и теперь я не нахожу покоя. Меня вечно гложет какая-то тревога.

— Эта тревога жила в тебе, даже когда ты не знала жизни.

— Пожалуй. Да, верно, она пожирала меня с самого раннего детства, с тех пор, как я себя помню.

— Чего же ты хочешь?

— Сама не знаю. Хочу того, что мне не по силам.

— Это и мне знакомо. Подростком я был таким же, — сказал Кристоф.

— Да, но ты стал взрослым. А я так и осталась вечным недорослем, недоразвитым существом.

— А кому удавалось развить все свои способности? Счастлив тот, кто знает свои пределы и довольствуется ими.

— Я перешагнула через эти пределы. И больше не могу. Довольно уже жизнь насиловала, трепала, калечила меня. А ведь я могла быть обыкновенной женщиной, здоровой и красивой и при этом непохожей на толпу.

— Не все упущено. Я ясно вижу тебя именно такой.

— Ну скажи, какой?

Он обрисовал ее в иных условиях, где она развивалась бы естественно и гармонично, где могла бы любить, быть любимой и счастливой. Ей было отрадно его слушать. Но немного погодя она сказала:

— Нет, теперь уже поздно.

— Что ж, тогда остается сказать себе то, что сказал старик Гендель, когда ослеп:



What ever is,
(Все, что есть, —

is right.
все благо.)

Кристоф подошел к роялю и напел эту фразу. Франсуаза расцеловала его, своего милого необузданного оптимиста. Для нее общение с Кристофом было благом, но она-то причиняла ему зло, — так по крайней мере со страхом думала сама Франсуаза. У нее бывали приступы отчаяния, и она не могла утаить их: любовь лишала ее воли. Ночью она лежала рядом с ним в постели и молчала, скрывая смутнение, но он догадывался и умолял ее, свою подругу, такую близкую и такую далекую, разделить с ним гнетущее ее время; и тут, не выдержав, она открывала ему душу, рыдала в его объятиях; потом он долгие часы утешал ее, терпеливо, без всякой досады, но под конец это постоянное беспокойство стало угнетать его. Франсуаза боялась, что он заразится ее тоской. Она любила его по-настоящему и не могла допустить, чтобы он страдал из-за нее. Ей предложили ангажемент в Америку; она согласилась, чтобы отрезать себе все пути. Он был унижен тем, что она покидает его. Она тоже чувствовала себя униженной. Почему они не могут дать друг другу полное счастье?

— Ах ты мой бедненький! — говорила она, улыбаясь грустно и ласково. — Какие же мы с тобой нескладные! Когда еще мы найдем такой случай, такую чудесную дружбу? Но ничего, ничего не выходит. Такими уж мы уродились дураками!

Они посмотрели друг на друга растерянным и печальным взглядом. Засмеялись оба, чтобы не расплакаться, обнялись и расстались со слезами на глазах. Никогда они так не любили друг друга, как в час расставания.

Когда она уехала, он вернулся к искусству — своему неизменному спутнику... О, блаженный покой звездного небосвода!

Вскоре Кристоф получил письмо от Жаклины. Писала она ему редко, это было третье по счету письмо, и оно разительно отличалось от предыдущих. Она выражала сожаление, что давно не видела милого Кристофа, и ласково просила заходить, чтобы не огорчать двух любящих его друзей. Кристоф очень обрадовался, но не слишком удивился. Он всегда считал, что Жаклина когда-нибудь поймет, как была к нему несправедлива. По этому поводу он вспоминал ехидное замечание деда:

«Рано или поздно женщина одумается, надо только набраться терпения».

Итак, он отправился к Оливье и был встречен очень радушно. Жаклина выказала ему много внимания, воздерживалась от привычного ей насмешливого тона, боялась сказать что-нибудь обидное для Кристофа, проявила интерес к его занятиям и сделала несколько умных замечаний, когда беседа перешла на серьезные темы. Кристоф решил, что она переродилась. В действительности она только старалась подладиться к нему. До нее дошли слухи о связи Кристофа со знаменитой актрисой, о чем болтали во всех парижских гостиных; и Кристоф явился ей совсем в новом свете — он внушил ей любопытство. Встретившись с ним, она нашла, что он стал гораздо приятнее. Даже недостатки его приобрели привлекательность в ее глазах. Она обнаружила, что Кристоф талантлив, и задумала обворовать его.

Отношения молодых супругов не улучшились, а даже стали хуже. Жаклина ужасно скучала — просто погибала от скуки... Как одинока женщина! Лишь ребенок заполняет ее жизнь, да и то не может заполнить всецело; если она настоящая женщина, а не только самка, если у нее сложная душа и большая жадность к жизни, ей столько нужно, что она не может со всем справиться одна, без посторонней помощи! Мужчина, даже самый одинокий, никогда не бывает так одинок — звучащий в нем внутренний голос оживляет для него пустыню;

одиночество вдвоем тоже не властно над ним, — он почти его не замечает, продолжая свой монолог. Ему и в голову не приходит, что от звука его невозмутимого голоса молчание становится еще страшнее для его спутницы, а одиночество — еще нестерпимее, потому что для женщины мертвы слова, не оживленные любовью. Он этого не замечает, ведь он не делает из любви ставки всей жизни — его жизнь направлена на другое. А куда направит жизнь женщина, во что превратятся ее беспредельные желания, тот огромный запас благодетельных сил, которые все сорок веков, что существует человечество, бесплодно сгорали на алтаре двух кумиров: один из них — любовь, слишком недолговечен, а другой — материнство, обманчив в своем величии, ибо тысячам женщин в нем отказано, у остальных же оно заполняет лишь считанные годы.

Жаклина дошла до отчаяния. Минутами ужас пронизывал ее, как острием меча. Она думала:

«Зачем я живу, зачем я родилась на свет?»

И сердце ее больно сжималось.

«Господи, я сейчас умру, я умираю, господи».

Эта мысль преследовала ее, не давала покоя по ночам. Ей снилось, будто она говорит:

«Сейчас у нас тысяча восемьсот восемьдесят девятый год».

«Нет, — отвечал ей кто-то, — тысяча девятьсот девятый».

И она впадала в отчаяние от того, что оказывалась двадцатью годами старше.

«Скоро всему конец, а я и не жила! На что ушли эти двадцать лет? На что ушла жизнь?»

Ей снилось, будто она — четыре маленьких девочки и будто все четыре лежат в одной комнате, но в разных кроватках. Все четыре одного роста, и лица у всех одинаковые; только одной из них восемь лет, другой — пятнадцать, третьей — двадцать, четвертой — тридцать. И вдруг — эпидемия. Трое из них уже умерли. Четвертая смотрится в зеркало и с ужасом видит, что нос у нее заострился, щеки впали... значит, она тоже сейчас умрет, и тогда все кончено...

«На что ушла моя жизнь?»

Она просыпалась в слезах; но кошмар не рассеивался, кошмар был явью. На что она растратила жизнь? Кто украл у нее жизнь? Ее охватывала ненависть к Оливье, ни в чем неповинному пособнику (пусть неповинному — от этого не легче) — пособнику слепого закона, убивавшего ее. Потом ей самой становилось стыдно, — она не была злой по натуре, но она слишком страдала и не могла удержаться, чтобы не выместить свои страдания на другом человеке, который был привязан к одной с нею точке и губил ее жизнь, хотя он и сам страдал не меньше. После этого она чувствовала себя еще несчастнее, ненавидела себя, но сознавала, что будет поступать еще хуже, если не найдет какого-нибудь выхода. И она ощупью искала выхода, как утопающий, цепляясь за что попало, силилась отвлечься чем-нибудь, каким-нибудь делом или человеческим созданием, которое могло бы в известной мере стать делом ее рук, ее созданием. Она пробовала вновь заняться умственным трудом, изучала иностранные языки, садилась писать статью, рассказ, пробовала рисовать, сочинять музыку... Все напрасно. В первый же день у нее опускались руки. Все это слишком трудно. «Да и что такое книги, произведения искусства? Я не уверена, что люблю их, что они нечто реальное...» Бывали дни, когда Жаклина оживлялась, говорила, смеялась вместе с Оливье, старалась заинтересоваться разговором, работой мужа, старалась забыться, но не могла, как не могла и плакать... Возбуждение спадало, сердце холодело, в глубоком отчаянии она спешила уединиться. Ей отчасти удалось перевоспитать Оливье. У него появился скептицизм, светскость. Жаклина отнюдь не ставила ему это в заслугу, а считала, что он такой же безвольный, как она. Вечерами они почти никогда не сидели дома, она влачила по парижским гостиницам свою тоскливую тревогу, которую никто бы не угадал под неизменно настороженной, иронической улыбкой. Она искала кого-нибудь, кто полюбил бы ее и удержал над бездной... Напрасно, все напрасно. На ее отчаянный призыв ответом было одно молчание...

Кристофа она недолюбливала; ей были противны его грубоватые манеры, его оскорбительная прямота, а главное, его равнодушие. Да, она его попросту не любила, но

чувствовала, что он хотя бы по-настоящему сильный человек, — скала, которую не сокрушит смерть. И ей хотелось ухватиться за эту скалу, за этого пловца, которого не захлестнут волны, или уж вместе с собой увлечь его на дно.

Кроме того, теперь ей мало было разлучить мужа с его друзьями — она хотела отнять их у него.

Даже самых порядочных женщин иногда тянет испытать свою власть и порой перейти за ее предел. Этим превышением власти слабые утверждают свою силу. Женщины себялюбивые и тщеславные ощущают особую зловую радость, отнимая у мужа дружбу его друзей. Задача нетрудная — достаточно нескольких томных взглядов. Нет такого мужчины, даже сверхпорядочного, который бы не клюнул на приманку. Правда, настоящий друг вряд ли обманет на деле; но помыслом обманет почти неизбежно. И если пострадавший заметит обман, дружбе придет конец: отныне все между ними будет по-иному. Женщина, затеявшая эту опасную игру, чаще всего не идет дальше, а довольствуется тем, что, рассорив друзей, держит обоих в своей власти.

Кристоф замечал внимание Жаклины и не удивлялся. Когда он питал к кому-нибудь теплое чувство, то в простоте сердечной считал естественным, что и его любят искренно, без задних мыслей. Он охотно отвечал на заигрывания молодой женщины, от души веселился вместе с ней и считал ее такой хорошей, что готов был укорять Оливье в неумение быть счастливым и сделать счастливой ее.

Он вместе с ними совершил автомобильную прогулку, продолжавшуюся несколько дней, и поехал погостить к ним в бургундскую усадьбу Ланже, — дом там был старый, заброшенный, его не продавали только потому, что с ним были связаны семейные воспоминания. Стоял он уединенно посреди виноградников и лесов; внутри все пришло в ветхость, окна плохо закрывались, пахло плесенью, сыростью, зрелыми плодами и смолой, разогретой на солнце. Постоянно общаясь с Жаклиной, Кристоф мало-помалу начал поддаваться заманчивому и сладостному чувству, однако не тревожился этим; ему доставляло невинное, но отнюдь не духовное наслаждение смотреть на нее, слушать ее, ощущать рядом ее излучающую

фигурку, впивать ее дыхание. Оливье хмурился, но молчал. У него не было подозрений — была только смутная тревога, в которой он постыдился бы признаться самому себе; чтобы наказать себя, он часто оставлял их вдвоем. Жаклина ясно видела, что с ним происходит, и была расстроена; ей хотелось сказать:

«Не огорчайся, дружок, ты все-таки мне дороже всех».

Но она этого не говорила, и все трое отдавались уносившему их течению: Кристоф совсем бездумно, Жаклина — сама не зная, чего хочет, и полагаясь на волю случая; один Оливье все предвидел и предчувствовал, но, щадя свое самолюбие и свою любовь, старался не задумываться. Когда воля безмолвствует, поднимает голос инстинкт; когда отсутствует душа, свои права заявляет тело.

Как-то вечером, после обеда, соблазнившись красотой ночи — ночи звездной, безлунной — они решили погулять по саду. Оливье и Кристоф первые вышли из дому. Жаклина поднялась к себе в спальню, чтобы накинуть платок, и все не появлялась. Кляня женскую медлительность, Кристоф отправился за ней. (С некоторых пор роль мужа, сам того не замечая, играл он.) Он услышал ее шаги. В комнате, где он ждал, закрыли ставни и было совсем темно.

— Поскорее собирайтесь, мадам Копушка, — шуточно крикнул Кристоф, — а не то проглядите все зеркала.

Она не ответила. Шаги смолкли. Кристоф чувствовал, что она здесь, в комнате, но она не шевелилась.

— Где вы? — спросил он.

Она не ответила. Кристоф тоже замолчал и ощупью стал пробираться в темноте; внезапно его охватило волнение, сердце усиленно забилося, он остановился. Совсем близко, возле себя, он ощутил легкое дыхание Жаклины. Он сделал еще шаг и опять остановился. Она была тут, рядом, он это знал, но не мог сдвинуться с места. Несколько секунд полного молчания. И вдруг две руки хватают его руки, притягивают его, ее губы на его губах. Он привлек ее к себе. Оба замерли без звука, без движения. Потом губы разъединились, Жаклина вышла из комнаты. Кристоф, весь дрожа, пошел за нею. Ноги у него подкашивались. Он постоял с минуту, прислонясь к стене, пока не улеглась буря в крови. Потом тоже

спустился в сад. Жаклина и Оливье гуляли, мирно беседуя между собой. Кристоф, совершенно уничтоженный, поплелся за ними. Оливье остановился и подождал его. Кристоф остановился тоже. Оливье ласково окликнул его. Кристоф не ответил. Зная, как прихотлив нрав друга и как он иногда на тройной запор замыкается в молчанье, Оливье не стал настаивать и пошел дальше с Жаклиной. А Кристоф, как пес, бессознательно плелся следом, в десяти шагах от них. Когда они останавливались, останавливался и он. Когда они шли, он шел тоже. Так они обошли весь сад и вернулись в дом. Кристоф поднялся к себе в комнату и заперся на ключ. Он не зажег света, не лег в постель. Он ни о чем не думал. Среди ночи он задремал сидя, положив руки и голову на стол. Через час он проснулся, зажег свечу, торопливо собрал свои рукописи, вещи, упаковал их, бросился на кровать и проспал до зари. Когда рассвело, он встал, захватил свои пожитки и ушел. Его прождали все утро. Его искали весь день. Дрожа от злости, но стараясь казаться равнодушной, Жаклина с оскорбительной иронией демонстративно пересчитала столовое серебро. Только на следующий день, к вечеру, Оливье получил письмо от Кристофа:

«Дорогой друг, не сердись, что я удрал, как сумасшедший. Ты ведь знаешь — я и в самом деле сумасшедший. Что поделаешь? Такой уж я уродился. Благодарю тебя за радушный прием. Мне было очень хорошо. Только, видишь ли, я не приспособлен к жизни с другими людьми. Сомневаюсь, приспособлен ли я вообще к жизни. Мне надо сидеть в своем углу и любить людей... издали: так будет вернее. Когда я их вижу вблизи, то становлюсь человеконенавистником. А этого я не хочу. Я хочу любить людей, всех вас любить. Как мне хочется помочь вам всем! Если бы я мог сделать вас, сделать тебя счастливым! Взамен я с восторгом отдал бы все счастье, какое только суждено мне самому... Но этого сделать нельзя. Можно лишь указать другим путь. Нельзя пройти этот путь вместо них. Спасение каждого в нем самом. Спасай себя! Спасайте себя!

Я тебя очень люблю.

Кристоф.

Почтительный привет госпоже Жанен».

«Госпожа Жанен» читала письмо, поджав губы и презрительно усмехаясь. Окончив, она сухо заметила:

— Что ж, последуй его совету — спасай себя!

Но когда Оливье протянул руку за письмом, Жаклина скомкала листок, швырнула его на пол, и две крупных слезы выкатились у нее из глаз. Оливье схватил ее руку.

— Что с тобой? — взволнованно спросил он.

— Оставь меня! — сердито закричала она и повернулась, чтобы уйти. С порога она крикнула: — Только о себе и думают!

В конце концов Кристоф умудрился превратить своих покровителей из «Гран журнал» во врагов. Этого следовало ожидать. Небо даровало Кристофу добродетель, которую восславил Гёте, а именно — *неблагодарность*.

«Нелюбовь к выражению благодарности, — иронически писал Гёте, — встречается редко и свойственна людям выдающимся, вышедшим из неимущих классов и принужденным на каждом шагу принимать помощь, которая бывает особенно горька из-за грубости благодетеля».

Кристоф не считал себя обязанным унижаться только потому, что ему оказали услугу, ни тем более поступаться своей свободой. Сам он не требовал за благодеяния процентов, а расточал их бесплатно. Его благодетели смотрели на дело несколько иначе. Они предъявляли к своим должникам весьма высокие нравственные требования и были глубоко оскорблены, когда Кристоф отказался положить на музыку глупейший гимн для праздника, устроенного газетой в целях рекламы. Они поставили ему на вид недопустимость его поведения. Кристоф огрызнулся и вскоре окончательно вывел их из себя, в резкой форме опровергнув утверждения, приписанные ему газетой.

И тут началась травля. Все средства были пущены в ход. Из арсенала клеветы извлекли на свет божий старое орудие, которое служило поочередно всем бесплодным бездарностям против всех творцов; оно никогда еще никого не убило, но зато без промаха действует на дураков. Кристофа обвинили в плагиате. Из того, что создал он и что создавали его безвестные собратья, набрали по

кусочкам несколько пассажиров, ловко подали их и доказали, что он обкрадывает чужое вдохновение. Заодно уж его обвинили в том, что он глушил молодые дарования. Добро бы нападали одни критиканы, которые лаются по призыванию, — те карлики, что карабкаются на плечи великану и кричат: «Я выше тебя!» Но нет, талантливые люди тоже грызутся между собой, и каждый старается насолить своим собратьям, хотя, как сказано, мир достаточно велик и всем хватит места, чтобы спокойно трудиться; кстати, и собственное дарование причиняет немало хлопот.

В Германии среди музыкантов отыскивались завистники, которые взялись снабжать врагов Кристофа такого рода оружием и даже, если нужно, изобретать новое. Нашлись они и во Франции. Националисты из музыкальных журналов, сами в большинстве своем иностранцы, поносили его за немецкое происхождение. Успех Кристофа сильно возрос, известную роль тут сыграла мода; естественно, что неумеренные славословия раздражали даже беспристрастных людей, не говоря уже о прочих. У Кристофа появились теперь восторженные почитатели среди посетителей концертов, светской публики и сотрудников периодических журналов — они восхищались всем, что он сочинял, и спешили заявить, что до Кристофа музыки не существовало. Одни занимались толкованием его произведений и усматривали в них философский смысл, которого сам он даже отдаленно не подозревал. Другие твердили, что это переворот в музыке и вызов традициям, тем самым традициям, которые Кристоф уважал больше, чем кто-либо. Возражать было бесполезно. Поклонники доказали бы ему, что он сам не понимает своих творений. Восхищаясь им, они восхищались собой. Немудрено, что поход против Кристофа вызвал живейший отклик у его собратий, возмущенных «шумихой», в которой он был неповинен. Впрочем, им не требовалось повода, чтобы отрицать ценность его музыки: для людей, не имеющих собственных мыслей и орудующих заученными формулами, это было естественным раздражением против человека, у которого мыслей избыток и выражает он их не совсем складно, подчиняясь своей беспорядочной с виду творческой фантазии. Сколько раз он слышал упреки

в безграмотности от тех начетчиков, для которых стиль заключается в готовых рецептах, составленных определенными кружками и группами, в кухонных формочках, куда предлагается вливать свою мысль! Настоящие друзья Кристофа, которые не старались его понять, одни только и понимали его на самом деле, просто потому что любили его за ту радость, какую он дарил им, но это были рядовые слушатели, не имевшие права голоса. Оливье один мог дать достойный отпор клеветникам, но Оливье в это время отдалился от своего друга и, казалось, забыл о нем. Итак, Кристоф был брошен на съедение противникам и поклонникам, и они наперебой старались повредить ему. Он махнул на все рукой и перестал отвечать вовсе. Когда какой-нибудь самонадеянный критик из влиятельной газеты, законодатель эстетических норм, с наглостью, какую дает невежество и безнаказанность, выносил очередной приговор Кристофу, тот лишь пожимал плечами и говорил: «Ты меня судишь. И я тебя сужу. Через сто лет потолкуем!» Но пока что клеветники не унимались; и обыватели, как всегда, жадно ловили самые грубые и подлые вымыслы.

Словно желая еще больше осложнить положение, Кристоф как раз в это время решил рассориться со своим издателем — и вдобавок без всяких оснований. Гехт исправно печатал его новые произведения и в делах был честен. Правда, честность Гехта не мешала ему навязывать Кристофу невыгодные договоры, но выполнял он их точно, и даже слишком точно. Однажды Кристоф с изумлением увидел, что написанный им секстет, не спросив его, переделали в квартет, а ряд фортепьянных пьес для двух рук неумело переложили для четырех. Он бросился к Гехту и, ткнув вещественное доказательство ему под нос, спросил:

— Вам это знакомо?

— Разумеется, — ответил Гехт.

— И вы посмели... вы осмелились без спроса коверкать мои произведения!..

— О чем тут спрашивать? — невозмутимо возразил Гехт. — Ваши произведения принадлежат мне,

— И мне тоже, смею надеяться!

— Нет, — кротко сказал Гехт.

Кристоф подскочил:

— Мои произведения мне не принадлежат?

— После того как вы мне их продали — нет.

— Да вы что, смеетесь? Я продал вам бумагу. Можете делать из нее деньги, если хотите. Но все, что на ней написано, это мое, кровью моей написано.

— Вы продали мне все. За это вот произведение я обязался выплатить вам общую сумму в триста франков, из расчета тридцать сантимов за каждый проданный экземпляр первого издания. А вы взамен предоставили мне безоговорочно и безо всяких ограничений все права на ваше произведение.

— Даже право его уничтожить?

Гехт пожал плечами, позвонил и сказал вошедшему конторщику:

— Принесите договорную папку господина Крафта.

Он обстоятельно прочел Кристофу текст того договора, который Кристоф в свое время подписал, не читая, и из которого явствовало, в соответствии с обычными в те времена условиями договоров, заключаемых издателями музыкальных произведений, что господин Гехт «приобретает все права, привилегии, функции автора — в частности, преимущественное перед всеми право издавать, публиковать, гравировать, печатать, переводить, давать в пользование, продавать в своих интересах вышеназванное произведение в каком ему заблагорассудится виде, разрешать данное произведение к исполнению на концертных и ресторанных эстрадах, в бальных залах, театрах и т. д., издавать любые переложения его для отдельных инструментов, даже со словами, а также изменять его название» и т. д. и т. д.¹

— Как видите, я еще очень очень скромен, — заметил Гехт.

— Должно быть, мне надо вас благодарить, — сказал Кристоф, — что вы не состряпали из моего секстета шансонетку.

Он умолк, в отчаянии уронив голову на руки.

— Я продал душу, — стонал он.

— Не беспокойтесь, я не употреблю ее во зло, — насмешливо заметил Гехт.

¹ Текст подлинный. — Р. Р.

— Хороша ваша республика, допускающая такие сделки! — сказал Кристоф. — Вы заявляете, что человек свободен, и с торгов продаете мысль.

— Вам за нее заплатили, — возразил Гехт.

— Да, заплатили, — тридцать сребреников! Получайте их обратно, — ответил Кристоф.

Он шарил по карманам, чтобы отдать Гехту триста франков, но не мог их наскрести. Гехт презрительно усмехнулся. Кристоф разъярился от этой усмешки.

— Я желаю взять назад свои произведения, откупить их у вас, — заявил он.

— Вы не имеете на это никакого права, — сказал Гехт. — Но не в моих привычках силой держать людей. Я согласен вернуть вам все, если вы имеете возможность уплатить мне неустойку.

— самого себя заложу, а найду такую возможность, — отозвался Кристоф.

Он беспрекословно принял все условия, которые Гехт предложил ему через две недели. У него хватило безумия выкупить издания своих произведений по ценам, в пять раз превышающим то, что он получил за них; на самом деле Гехт ничего не преувеличил: он исходил из точной цифры доходов, какие получал сам. Кристоф был не в состоянии расплатиться; Гехт на это и рассчитывал. Он уважал Кристофа как музыканта и человека больше всех остальных молодых композиторов и не собирался притеснять его, а только хотел его проучить: Гехт не мог потерпеть, чтобы кто-то посягал на его права. Не он ввел такие условия договора, они были тогда приняты повсеместно, и потому он считал их справедливыми. Впрочем, он был искренне убежден, что от них выигрывает и автор и издатель, который лучше автора умеет распространять произведения искусства, потому что не смущается, подобно автору, соображениями высшего порядка, — пусть весьма почтенными, но идущими в разрез с подлинными интересами дела. Он был намерен сделать из Кристофа знаменитость, но своими методами, связав его при этом по рукам и ногам. А теперь он хотел доказать Кристофу, что без Гехта сбиться нелегко. Они столкнулись так: если по истечении полугода Кристофу не удастся

расплатиться, его произведения останутся собственностью Гехта. Заранее можно было предсказать, что Кристоф не соберет и четверти нужной суммы.

Однако он упорствовал: сменил квартиру, полную милых воспоминаний, на другую, более дешевую, начал распродавать вещи и был очень удивлен, что ни одна из них не представляет ценности, делал долги, прибегал к содействию Мооха, на беду крайне стесненного в средствах и кроме того прикованного ревматизмом к постели, искал другого издателя и наталкивался на такие же грабительские условия, что и у Гехта, или же на прямой отказ.

Как раз в это время кампания, поднятая против Кристофа в музыкальной печати, достигла апогея. Особенно яростно травила его одна из крупнейших парижских газет. Его избрал мишенью для нападок кто-то из сотрудников, скрывавшийся под псевдонимом: недели не проходило, чтобы в хронике не появилось ехидной заметки, выставяющей Кристофа на осмеяние. Музыкальный критик дополнял своего анонимного собрата и пользовался любым предлогом, чтобы мимоходом лягнуть Кристофа, но это была только артиллерийская подготовка — критик грозился вернуться к этой теме на досуге и в скором времени разделить Кристофа по всем правилам. Враги не торопились, они знали, что точно сформулированное обвинение гораздо меньше действует на публику, чем ряд упорно повторяющихся коварных намеков. Они играли с Кристофом, как кошка с мышью. Кристофу присылали эти статейки, он презрительно отмахивался, но все-таки страдал. И при этом страдал молча, вместо того чтобы отвечать (впрочем, даже при желании ему это вряд ли удалось бы); он из самолюбия упорствовал в бесцельной и неравной борьбе со своим издателем, зря терял время, силы, деньги и не пускал в ход главного своего оружия — музыку, добровольно отказываясь от рекламы, которую создавал ей Гехт.

И вдруг все переменялось. Обещанная статья не была опубликована. Зловредные намеки прекратились. Травля оборвалась. Мало того, недели через две или три музыкальный критик как бы мимоходом обронил в

газете несколько хвалебных строк, видимо желая подчеркнуть, что мир заключен. Крупный лейпцигский издатель предложил Кристофу печатать его произведения, и договор был составлен на выгодных условиях. В письме с печатью австрийского посольства в самых лестных выражениях высказывалось пожелание внести некоторые из вещей Кристофа в программу парадных вечеров, устраиваемых в посольстве. Филомелу, которой Кристоф покровительствовал, пригласили спеть на одном из этих приемов, после чего ее наперебой стали звать в аристократические гостиные немецкой и итальянской колоний в Париже. Самому Кристофу пришлось побывать на таком музыкальном вечере, и посол оказал ему весьма теплый прием. Однако из краткой беседы выяснилось, что радушный хозяин, вообще мало сведущий в музыке, не имеет понятия о его произведениях. Откуда же явился такой внезапный интерес? Казалось, рука незримого покровителя устраняла с пути Кристофа все препятствия.

Кристоф стал расспрашивать. Посол упомянул о каких-то двух друзьях Кристофа — графе и графине Берени, искренне расположенных к нему. Кристоф впервые слышал это имя, а в тот вечер, когда он был в посольстве, ему не случилось представиться супругам Берени. Он и не добивался знакомства с ними. Он переживал полосу отворачивания к людям, полагался на друзей не больше, чем на врагов, — те и другие были одинаково ненадежны и менялись от малейшего дуновения; лучше было обходиться без них и повторять вслед за старым мудрецом XVII века:

«Бог дал мне друзей; бог отнял их у меня. Они покинули меня. Я сам покину их и даже поминать не буду».

После того как он уехал от Оливье, Оливье ни разу не подал признаков жизни; казалось, все кончено между ними. У Кристофа не было охоты заводить новых друзей. Он не сомневался, что граф и графиня Берени ничем не отличаются от тех снобов, которые любили выдавать себя за его друзей, и палец о палец не ударил, чтобы с ними встретиться. А если бы встретился, то скорее убежал бы от них. Он готов был убежать от всего

Парижа. Ему хотелось побыть несколько недель одному в близкой сердцу обстановке. Хорошо бы несколько дней, всего несколько дней, подышать живительным воздухом родины! Мало-помалу эта мысль переросла в болезненную потребность. Ему хотелось увидеть родную реку, родное небо, дорогие могилы. Он жаждал повидать их и не мог, не рискуя свободой: опасность ареста, нависшая над ним после бегства из Германии, не миновала. Тем не менее он готов был на любые безумства, лишь бы хоть день побыть там.

По счастью он заговорил об этом с одним из своих новоявленных покровителей. На вечере, где исполнялись его произведения, молодой атташе германского посольства сказал ему, что Германия гордится таким композитором, на что Кристоф с горечью ответил:

— Гордится-то гордится, а не впустит к себе, хотя бы я умер у ее порога.

Молодой дипломат попросил объяснить, в чем дело, а через несколько дней приехал к Кристофу и сообщил:

— В высших сферах вами интересуются. О вашем положении было доведено до сведения очень высокого лица, могущего своею властью остановить исполнение приговора, тяготеющего над вами. Оно соизволило принять в вас участие. Удивительно, что ему понравилась ваша музыка. Между нами говоря, вкус у него не слишком хороший, однако голова светлая и сердце великодушное. Отменить приговор в данный момент не находят возможным, но если вы пробудете двое суток в родном городе и повидаете родных, на это закроют глаза. Вот вам паспорт. Не забудьте завизировать его по приезде и при отъезде. Будьте осторожны и старайтесь не привлекать к себе внимания.

Кристоф вновь повидал родную землю. Те два дня, что были ему отпущены, он провел в общении с ней и с теми, кто в ней покоился. Он побывал на могиле матери. Могила поросла травой; но кто-то положил на холмик свежие цветы. Рядом покоились отец и дед. Он сел в ногах могилы. Она была у самой кладбищенской ограды. Ее осеняло каштановое дерево, росшее по ту сто-

рону, у проезжей дороги. Через низенькую ограду виднелись золотые нивы, волнующиеся от теплого ветерка; солнце царило над разомлевшей землей; слышался крик перепелов во ржи и легкий шелест кипарисов над могилами. Кристоф задумался в одиночестве. На сердце у него было покойно. Он сидел, обхватив руками колено, прислонившись к ограде, и глядел в небо. На миг глаза его сомкнулись. Как все было ясно и просто! Он чувствовал себя дома, среди своих близких. Он сидел подле них, словно рука с рукой. Часы текли. Под вечер на песке дорожки зашуршали шаги. Прошел сторож и оглянулся на сидящего Кристофа. Кристоф спросил его, кто положил цветы на могилу. Сторож ответил, что буирская фермерша бывает здесь два раза в год.

— Лорхен? — сказал Кристоф.

— Вы, должно быть, сын? — спросил сторож.

— У нее было трое сыновей, — сказал Кристоф.

— Я про гамбургского говорю. Остальные вышли непутевые.

Кристоф сидел молча, не шевелясь, откинув назад голову. Солнце заходило.

— Пора запирать, — сказал сторож.

Кристоф встал и медленно обошел вместе с ним кладбище. Сторож показывал свои владения, как радушный хозяин. Кристоф останавливался и читал имена на памятниках. Сколько знакомых увидел он здесь! Старик Эйлер, его зять, подалше друзья детства, девочки, с которыми он играл, а вот имя, от которого у него сжалось сердце: Ада... Вечный им всем покой...

Зарево заката опоясывало мирные дали. Кристоф вышел с кладбища и долго еще бродил по полям. Загорались звезды...

Назавтра он опять пришел сюда и провел полдня на вчерашнем месте. Но вчерашний чудесный, молчаливый покой всколыхнула зазвучавшая в сердце беззаботная, радостная песня. Сидя на краю могилы и положив на колено нотную тетрадку, он набрасывал карандашом эту звучавшую в нем мелодию. Так прошел день. Ему казалось, что он работает в своей прежней каморке, а за перегородкой возится мама. Когда он кончил и собрался уходить, даже отошел уже на несколько шагов от

могилы, он вдруг вернулся и положил тетрадку в траву, под плющом. Начал накрапывать дождь. Кристоф подумал:

«Она быстро сотрется. Тем лучше!.. Для тебя одной. Больше ни для кого».

Повидал он и реку и знакомые улицы, где многое переменилось. Вдоль бульвара, проложенного за городской стеной между старинными бастионами, разрослась рощица акаций, которую насадили у него на глазах, и теперь глушила старые деревья. Проходя мимо сада фон Керихов, он узнал тот столбик, на который взбирался мальчишкой, чтобы заглянуть за ограду парка, и был очень удивлен, увидев, какими маленькими стали улица, ограда и сад. У ворот он на минуту задержался. И только двинулся дальше, как услышал стук колес проезжающего экипажа. Он невольно поднял взгляд и встретился со взглядом молодой дамы, пухленькой, румяной, оживленной; она с любопытством рассматривала Кристофа. Вдруг дама удивленно вскрикнула, приказала кучеру остановиться и позвала:

— Господин Крафт!

Он повернулся.

Она, смеясь, пояснила:

— Я — Минна...

Он бросился к ней почти с таким же волнением, как в день первой встречи¹. Она представила сидевшего с ней рядом рослого, толстого, лысого господина с победоносно закрученными вверх усами: «Господин юстиции советник фон Бромбах», ее муж. Она настаивала, чтобы Кристоф зашел к ним. Он пытался уклониться. Но Минна твердила:

— Нет, нет, вы должны, непременно должны пообедать с нами.

Говорила она очень громко и очень быстро и, не дожидаясь вопросов, пустилась рассказывать о себе. Ошеломленный ее многословием и шумливостью, Кристоф слушал рассеяннo, а больше смотрел на нее. Так это его маленькая Минна! Она расцвела, раздобрела, приобрела пышные формы, цвет лица у нее был прекрасный,

¹ См. «Утро». — Р. Р.

нежно-розовый, но черты расплылись, особенно крупным и мясистым стал нос. Движения, манеры, жеманство остались прежними, изменились только формы.

А она тем временем говорила без умолку: рассказывала Кристофу о своем прошлом, самом интимном прошлом, о том, как она влюбилась в своего мужа и как муж влюбился в нее. Кристоф чувствовал себя неловко. Она все видела в розовом свете, безоговорочно считала самыми лучшими, лучше всех других — особенно в присутствии других — свой город, свой дом, свою семью, своего мужа, свою кухню, своих четверых детей и себя самое. При муже она говорила о нем, что «это замечательнейший из людей, каких ей доводилось видеть», что он обладает «сверхчеловеческой силой». «Замечательнейший из людей», смеясь, трепал Минну по щеке и заверял Кристофа, что она «весьма достойная женщина». Господин юстиции советник, повидимому, был осведомлен о делах Кристофа и не знал, выказывать ли ему уважение или неуважение, имея в виду, с одной стороны, вынесенный ему приговор, а с другой — высочайшее покровительство; в конце концов он решил избрать нечто среднее. А Минна все говорила. Наговорившись о себе, она заговорила о Кристофе и стала доносить его вопросами столь же интимного характера, как и те ответы, которые она давала на вопросы, не заданные им. Она была в восторге от встречи с Кристофом, о его музыке она понятия не имела, но слыхала, что он стал знаменитостью, и ей было лестно, что он любил ее (и что она ему отказала). Она игривым тоном довольно бестактно напомнила ему об этом и потребовала от него автограф для альбома. Она приставала к нему с расспросами о Париже, проявив столько же любопытства, сколько и презрения к этому городу. Она была убеждена, что знает Париж, потому что побывала в «Фоли Бержер» и в Опере, на Монмартре и в Сен-Клау. С ее точки зрения, все парижанки были кокетки, негодные матери, старались иметь поменьше детей, оставляли их без присмотра дома, а сами бегали по театрам и увеселительным заведениям. Возражений она не терпела. После обеда она пожелала, чтобы Кристоф

сыграл на рояле и похвалила его, но в глубине души она не меньше восхищалась игрой мужа.

Кристоф был рад встрече с матерью Минны, фрау фон Керих. Он сохранил к ней тайную симпатию, помня ее доброту. Она и теперь не утратила доброжелательности и держала себя естественнее, чем Минна; но в обращении ее с Кристофом попрежнему был оттенок ласковой насмешки, которая так раздражала его в свое время. Она ни в чем не изменилась с тех пор; у нее остались те же вкусы, и ей казалось немыслимым, что можно уйти дальше, стать лучше. Она противопоставляла прежнего Жан-Кристофа нынешнему и отдавала предпочтение первому.

Никто вокруг нее внутренне не переменялся, кроме Кристофа. А ему была тягостна эта провинциальная косность, ограниченность кругозора. Полвечера хозяева дома занимали его сплетнями о не знакомых ему людях, подмечали все смешное у своих близких и объявляли смешным то, что было непохоже на их собственные нравы и обычаи. Под конец Кристофу стало невозможно это злобное, мелочное любпытство. Он попытался перевести разговор на свою жизнь за границей, но сразу же почувствовал, что невозможно объяснить им, какова эта французская цивилизация, из-за которой он столько выстрадал и все обаяние которой ощущал сейчас, выступая ее представителем у себя на родине; невозможно объяснить им, что такое широта латинского духа, чей основной закон — стараться понять как можно больше, не боясь погрешить против так называемой нравственности. А с ними, в особенности с самой Минной, он вновь чувствовал то, от чего немало натерпелся в свое время и о чем успел позабыть: гордыню, происходящую из слабости не меньше, чем из добродетели, беспощадную честность, которая кичится своей добродетелью и не способна понять, как это можно оступиться, преклонение перед приличиями, негодующее презрение к «неположенному» превосходству. Минна была невозмутимо и безоговорочно убеждена в своей неизменной правоте. В суждениях о других — грубая прямолинейность. Впрочем, она и не старалась их понять; ее интересовала голько собственная особа, свое себялюбие она прикрывала легкой метафиз-

зической дымкой, то и дело толковала о своем «я», о развитии своего «я». Возможно, что она была неплохая женщина, была способна любить. Но она слишком любила себя. А главное слишком себя уважала; казалось, она непрерывно молится на это свое «я». Чувствовалось, что она совершенно и окончательно разлюбила бы горячо любимого человека, если бы он на миг погрешил против почтения, которое обязан был оказывать ее «я» (хотя бы он потом каялся всю жизнь). К черту ваше «я»! Вспомните хоть раз, что существует «ты»!..

И все же Кристоф смотрел на нее очень снисходительным взглядом. Он, обычно такой несдержанный, с ангельским терпением слушал ее разговоры и всячески старался не осуждать ее. Он, точно ореолом, окружал ее благоговейными воспоминаниями отроческой любви и силился найти в ней сходство с девочкой Минной. В некоторых движениях, пожалуй, проскальзывало что-то прежнее, и отдельные звонкие нотки в ее голосе будили волнующий отголосок. Он ловил их, молчал и не слушал того, что она говорила, но делал вид, будто слушает, и проявлял к ней умиленную почтительность. Ему трудно было сосредоточиться — своей шумливостью она заглушала былую Минну. В конце концов он утомился и встал.

«Бедненькая малютка Минна! Они хотят уверить меня, что ты и эта красивая толстуха, такая крикливая и нудная, — одно и то же. Но я-то знаю, что это неправда. Давай уйдем, Минна. Что у нас с ними общего?»

Он ушел, пообещав заглянуть на другой день. Если бы он сознался, что уезжает в тот же вечер, они бы не отпустили его до самого отхода поезда. С первых же шагов по темной улице к нему вернулось то отрадное настроение, какое было у него до появления экипажа. Воспоминание о тоскливом вечере стерлось, исчезло без следа, потонуло в рокоте Рейна. Кристоф пошел берегом в ту сторону, где стоял дом, в котором он родился, и сразу же узнал этот дом. Там все спали. Ставни были закрыты. Кристоф остановился посреди улицы; если он постучится, казалось ему, дверь откроют знакомые тени. Он вошел в палисадник возле дома, у самой реки, и сел посидеть на том месте, куда ходил когда-то по вечерам

беседовать с Готфридом. И минувшие дни ожили перед ним. Воскресла вновь и милая девочка, вместе с ним вкушавшая мечту первой любви. Вновь переживали они юную страсть со сладостными слезами и беспредельными надеждами. И, добродушно улыбаясь, он подумал про себя:

«Ничему-то меня не научила жизнь. Я все вижу... все знаю... и никак не расстанусь с прежними иллюзиями».

Какое счастье — неиссякаемая способность любить и верить! Все, что осенено любовью, неподвластно смерти.

«Настоящая Минна со мной... со мной, а не с ним, и эта Минна всегда останется юной!»

Луна выплыла из дымки облаков, и под ее лучами заискрилась серебристая чешуя волн. Кристофу казалось, что раньше река не подступала так близко к пригорку, на котором он сидел. Он пригляделся. Ну да. Раньше за этой вот грушей тянулась песчаная коса, над ней пологий зеленоеющий склон, где он резвился так часто. Река похозяйничала тут и, подступая все ближе, подтачивала уже корни грушевого дерева. У Кристофа сжалось сердце. Он пошел по направлению к станции. Здесь вырос новый квартал — рабочие казармы, строящиеся верфи, высокие заводские трубы. Кристоф вспомнил о рощице акаций, которую видел днем, и подумал:

«Тут тоже все подтачивает река...»

Спящий в темноте старинный городок со всеми его обитателями, живыми и мертвыми, стал еще роднее Кристофу, потому что над ним нависла угроза...

*Hostis habet muros...*¹

Надо скорей спасти самое дорогое! Смерть подкарауливает все, что мы любим. Поспешим навеки запечатлеть в бессмертной бронзе преходящий лик. Отвоюем у пламени сокровища отчизны, прежде чем огонь пожрет дворец Приама...

Кристоф сел в поезд, и тот помчался, словно убегая от потопа. Но, подобно мужам, что спасали из гибнущего города его богов, Кристоф увозил в себе искорку жизни, брызнувшую из родной земли, и священную душу прошлого.

¹ Враг владеет [этими] стенами (лат.).

Жаклина и Оливье на время сблизилась снова. У Жаклины умер отец. Она была глубоко потрясена его смертью. Перед лицом настоящего горя она почувствовала, как мелки и пошлы все другие огорчения; ласка, которой окружил ее Оливье, оживила ее привязанность к нему. Жизнь вернула ее на несколько лет назад, к печальным дням болезни и смерти тети Марты, после которых настали блаженные дни любви. Жаклина поняла, что не ценила жизни и что надо быть ей благодарной, если она не отбирает то немногое, что дарит нам. Теперь же, почувствовав всю цену этого немногого, она ревниво старалась его удержать. Врач посоветовал на время увести ее из Парижа, чтобы рассеять скорбь утраты, и путешествие вместе с Оливье, — своего рода паломничество по тем местам, где они любили друг друга в первый год их супружества, совсем растопило ее сердце. Когда где-нибудь на перекрестке перед ними возникал грустный и милый образ любви, казалось давно исчезнувшей, и они видели, как она проходит мимо, и твердо знали, что она неизбежно исчезнет вновь, — надолго ли? — быть может, навсегда... — они с особенной страстностью цеплялись за нее...

«Побудь, побудь с нами!»

Но оба сознавали, что удержать ее нельзя. Когда Жаклина вернулась в Париж, она ощутила в себе трепет новой, крохотной жизни, зажженной любовью. А сама любовь уже ушла. Бремя, которое Жаклина носила в себе, становилось все тяжелее, но не воскрешало ее привязанности к Оливье и не давало ей той радости, какую она ожидала. Она с тревогой заглядывала в себя. Прежде, когда она томилась, ей казалось, что появление малютки спасет ее. И вот теперь она ожидает ребенка, а спасения не видно. Она с ужасом чувствовала, как это живое растение пускает в ней корни, становится все больше и больше, сосет ее кровь. По целым дням она сидела, глядя в пространство, сосредоточенная, вся без остатка поглощенная неведомым существом, которое завладело ею. Что-то баюкало ее, какое-то смутное, нежное и томительное жужжание. Очнувшись от забытья, она вскакивала в испарине, в ознобе, в ней вспыхивало возмущение. Она пыталась вырваться из сетей, которыми

опутала ее природа. Ей хотелось жить, быть свободной, и казалось, что природа обманула ее. Потом она стыдилась таких мыслей, обзывала себя чудовищем, думала: «Неужели же я хуже других женщин или сделана из другого теста, чем они?» И мало-помалу стихала, словно дерево, отдавая все силы, все соки живому плоду, зреющему в ее чреве, и мечтала о нем: «Какой он? Какой он будет?..»

Когда она услышала первый крик народившегося на свет младенца, когда увидела его жалкое, трогательное тельце, на сердце у нее стало тепло. В один миг в ней вспыхнула торжествующая радость материнства, самая могучая на земле, — сознание, что из твоих мук родилась плоть от плоти твоей, родился человек. И великая волна любви, движущая миром, обдала ее с головы до пят, подхватила, захлестнула, подняла до небес... Женщина, когда рождает, уподобляется тебе, господи; но ты не ведаешь радости, какую испытывает она, ибо ты не страдал...

Немного погодя волна спала, и душа спустилась на землю.

Дрожа от волнения, Оливье нагнулся над ребенком и, улыбаясь Жаклине, старался понять, какие таинственные нити связывают их обоих и этого червячка, еще не похожего на человека. С чувством легкой гадливости он бережно прикоснулся губами к сморщенному, желтому лобику. Жаклина следила за ним: ревнивым движением она оттолкнула мужа, схватила ребенка, прижала к груди и принялась целовать. Ребенок запищал, тогда она отдала его и, повернувшись к стенке, заплакала. Оливье подошел к ней, приласкал ее, поцелуями осушил ее слезы; она тоже поцеловала его, насильственно улыбнулась; потом попросила, чтобы ее оставили в покое, но не уносили от нее ребенка. Увы, что делать, когда любовь умерла? Мужчина, в значительной степени живущий интеллектом, не может до конца изжить сильное чувство — в сознании всегда остается какой-то след, какая-то мысль... Пусть он больше не любит, но он не забывает, что любил. А женщина и полюбила, не размышляя, всем существом, и разлюбила, также не размышляя, всем существом; как же ей быть? Принудить себя, обманываться? А если она слишком безвольна, чтобы принудить себя, и слишком правдива, чтобы обманываться?

Облокотившись на подушку, Жаклина с нежной жалостью смотрела на ребенка. Какой он будет? Каким бы он ни был, не все в нем от нее. Что-то в нем есть и от «него». А «его» она больше не любит. Бедный малыш! Родной мой малыш! Она сердилась на это существо, которое привязывало ее к прошлому, и целовала его, склонившись над ним, целовала без конца...

Великая беда современных женщин в том, что они и слишком свободны и недостаточно свободны. Будь они более свободны, они старались бы чем-нибудь связать себя и находили бы в этом своего рода прелесть и успокоение. Будь они менее свободны, они смирились бы с наложенными на них узами, зная, что все равно их не порвать, и от этого меньше терзали бы себя. Хуже всего узы, которые не связывают, и обязанности, которые можно не выполнять.

Если бы Жаклина думала, что ей назначено жить в том же скромном уголке до конца дней, этот уголок показался бы ей менее тесным и неудобным, — она постаралась бы сделать его уютнее и кончила бы тем, с чего начала: полюбила бы его. Но она знала, что может вырваться отсюда, и потому задышалась здесь, могла бунтовать и пришла к выводу, что бунтовать — ее долг.

Удивительные существа — современные моралисты, в них все отмерло, кроме способности наблюдать. Они стремятся только видеть жизнь, понять ее почти не стараются и уж отнюдь не думают ее направлять. Усмотрев в человеческой природе то, что в ней есть, и отметив это, они считают свою задачу выполненной, констатируют: — Это есть.

И не пытаются ничего изменить. Кажется, будто в их глазах самый факт существования является уже добродетелью. Таким образом, за любыми слабостями признаны священные права. Это признаки явной демократизации. Раньше безответственность была привилегией короля. Теперь этой привилегией пользуются все — и шире всех прохвосты. У них замечательные советчики! С величайшим усердием и добросовестностью господа моралисты стараются показать слабым, до какой степени они слабы и

что слабость их искони является законом природы. Слабым ничего не остается, как примириться с неизбежностью. А то чего доброго и возгордиться! После того как женщине прожужжали уши, что она — больное дитя, ей это стало нравиться. Ее недостатки поощряют, даже культивируют. Никому бы не пришло в голову любезно сообщать ребенку, что в отроческую пору человек способен и на преступление, и на самоубийство, и на любые физические и нравственные извращения и они вполне простительны потому, что душа еще не обрела равновесия, — ведь это значило бы плодить преступников. Даже и взрослому достаточно услышать, что он лишен свободной воли, как он перестанет владеть собой и животное начало возьмет над ним верх. Внушите женщине, что она ответственна за свои поступки, что она хозяйка своих желаний, своей воли, и она ею будет. Но вы трусы, вы не считаете нужным говорить ей это, вам выгоднее, чтобы она об этом не знала!..

Пошлая среда, в которую попала Жаклина, окончательно сбила ее с толку. Отдалившись от Оливье, она вернулась в то общество, которое так презирала в годы девичества. Вокруг нее и ее замужних приятельниц образовался кружок молодых людей и молодых дам, неглупых, богатых, шикарных, праздных, беспринципных. Там была принята полнейшая свобода мыслей и выражений, которую обуздывали и сдобривали только остроумием. Участники кружка не прочь были присвоить себе девиз Телемского аббатства Рабле:

«Делай, что хочешь».

Но они приписывали себе слишком много — в сущности желания их были довольно ограничены; это были худосочные телемцы. Они усиленно проповедовали свободу инстинктов; но самые инстинкты у них порядком потускнели, и распутство их было чисто мозговым. Им нравилось нежиться в огромной купели цивилизации, барахтаться в этой тепловатой и пресной грязи, где размягчаются волевые импульсы, стихийные жизненные силы, первобытные чувствования, все, что способно дать пышные всходы веры, воли, долга и страсти.

Жаклина всем своим изящным телом погружалась в эту студенистую ванну салонной мудрости. И Оливье

не мог ей помешать. Впрочем, его тоже коснулась болезнь века: он считал себя не вправе посягать на чужую свободу и от любимой женщины хотел получать лишь то, к чему ее побуждала любовь. А Жаклина не ставила ему этого в заслугу, считая себя свободной по праву.

Хуже всего, что и в этом двуличном мире она осталась цельной натурой, чуждой всякой раздвоенности: уверовав во что-нибудь, она отдавалась всей душой, слабенькой, но пылкой и великодушной, несмотря на эгоизм, и сжигала за собой все корабли; а из совместной жизни с Оливье она вынесла нравственную прямолинейность, которую готова была вложить даже и в безнравственные поступки.

Новые ее друзья, люди осмотрительные, старались не показываться посторонним в истинном свете. Правда, на словах они проповедовали полное освобождение от общественных и моральных предрассудков, но на деле превосходно уживались с теми, какие считали для себя выгодными. Они эксплуатировали и мораль и общество, изменяя им, как нечестные слуги, обкрадывающие хозяев. Они обкрадывали даже друг друга — по привычке и из праздности. Среди них было много мужей, знавших, что у жены есть любовники. А женам было известно, что у мужей есть любовницы. И все с этим мирились. Нет огласки — не будет и скандала. Основой этих образцовых супружеств была молчаливая договоренность между партнерами... вернее, сообщниками. Но Жаклина, по своей прямооте, играла честно, в открытую. Прежде всего быть искренней. Всегда и во всем искренней. Искренность тоже принадлежала к числу модных в то время добродетелей. Но тут-то особенно наглядно сказывается, что для здоровых все здорово и все порча для испорченных сердец! До какого уродства доходит порой искренность! Для посредственных людей пагубно заглядывать в себя. Убеждаясь в своей посредственности, они и тут находят повод для самолюбования.

Жаклина по целым дням изучала себя как в зеркале и видела такие черточки, которые ей лучше было бы не видеть; но, однажды увидев их, она уже не могла оторвать от них глаз; и, вместо того чтобы бороться с ними,

наблюдала, как они разрастаются, становятся огромными, захватывают все поле ее зрения, все помыслы.

Ребенок не мог заполнить ее жизнь. Ей не удалось самой выкормить его, — он чуть было совсем не захирел у нее. Пришлось взять кормилицу. Сперва Жаклина очень огорчалась. А потом все пошло как нельзя лучше. Малыш сразу поздоровел; он рос толстеньким, крепеньким бутузом, никого не тревожил, большую часть времени спал и почти не пищал по ночам. Настоящей его матерью стала кормилица, дородная нивернезка — она выкармливала уже не первого младенца, и к каждому из своих питомцев питала животную, ревнивую, требовательную любовь. Когда Жаклина высказывала какое-нибудь пожелание, кормилица не слушалась и поступала по-своему, а если Жаклина пробовала возражать, то вскоре сама убеждалась в своем невежестве. С самого рождения ребенка она все прихварывала: ее ужасно угнетало начавшееся у нее воспаление вен, которое приковало ее на несколько недель к постели; она непрерывно грызла себя, как в бреду мысленно твердя все ту же жалобу: «Я не жила, совсем не жила, а теперь жизнь кончена...» Больное воображение внушило ей уверенность, что она искалечена навсегда, и в ней поднималась глухая, жгучая, затаенная злоба против невольного виновника ее страданий, против ребенка. Такое чувство вовсе не редкость, но о нем обычно умалчивают, и женщина, испытывающая его, стыдится признаться в нем даже самой себе. Жаклина осуждала себя, материнская любовь боролась в ней с себялюбием. Она умилялась, глядя на ребенка, спящего сном праведника, а через минуту уже думала со злобой: «Он меня убил» — и не могла подавить раздражения при виде этого безмятежного сна, купленного ценой ее мук. Даже после того как она выздоровела, а ребенок подрос, смутное чувство враждебности осталось. Стыдясь этого чувства, она переносила его на Оливье. Ей все казалось, что она еще больна, и, в вечном страхе за свое здоровье, она окончательно сосредоточила все мысли на себе, чему способствовали врачи, поощряя ее безделье, источник всех бед, — ей не дали кормить ребенка, не позволяли ничего делать, никого к ней не пускали, несколько недель продержали в постели, откармли-

вая, как на убой. Удивительны эти новейшие методы лечения неврастении, при которых болезнь моего «я» заменяется другой болезнью — гипертрофией моего «я». А вместо этого следовало бы применить кровопускание, оттянуть кровь от разбухшего эгоизма, или же, если субъект и без того малокровный, перегнать ее от головы к сердцу, вызвав сильную нравственную реакцию!

Жаклина вполне оправилась физически, пополнила, помолодела, но нравственный ее недуг усилился. Несколько месяцев вынужденного одиночества порвали последнюю духовную связь между нею и Оливье. Несмотря на многие уступки, Оливье оставался неизменно верен своим идеалам, и, пока Жаклина была подле него, она испытывала на себе его благотворное влияние; тщательно старалась она избавиться от порабощения человеком более сильным, уклониться от взгляда, видевшего ее насквозь и вынуждавшего порой, против воли, признать свою неправоту. Но как только случай разъединил ее с Оливье, как только ее перестала стеснять его пронизательная любовь и она почувствовала себя свободной, так сразу же дружеское доверие сменилось злобной досадой на то, что она подчинялась столько лет и терпела ярмо привязанности, которой сама уже не испытывала. Сколько неумолимой злобы таится порой в сердце человека, в чью любовь веришь, как в свою! Все меняется в один миг. Вчера еще казалось, что она любит, и она сама так думала. И вот она разлюбила. Тот, кого она любила, вычеркнут из ее сознания. Он видит вдруг, что перестал для нее существовать, и недоумевает — он не заметил постепенно происходившей в ней перемены, не подозревал, что против него нарастала затаенная враждебность, и теперь ему не хочется думать о причинах этой мстительной ненависти. А причины, многообразные и неясные, зачастую зародились давно — одни погребены под покровами алькова, другие идут от оскорбленного самолюбия, от того, что сокровенные побуждения были разгаданы и осуждены, третьи... да женщина и сама не отдает себе в них отчета. Бывают обиды, нанесенные бессознательно, но женщина не прощает их никогда; до них никогда не докопашься, сама она толком не помнит их, но обиды впились в ее плоть, и плоть не забудет их.

Не такому человеку, как Оливье, было бороться с этой крепнувшей волной неприязни; тут требовалась натура менее сложная, более примитивная и в то же время лучше приспособляющаяся, без чрезмерной душевной щепетильности, но обладающая острым чутьем и способная, когда нужно, на поступки, которые отвергаешь умом. А Оливье заранее был побежден и сложен оружие: с присущей ему пронизательностью он давно уже видел, что у Жаклины наследственность берет верх над волей, что тут сказывается материнский характер; он видел, что ее неудержимо тянет на дно голос крови, и все его беспомощные, неловкие старания удержать ее только ускоряют падение. Он заставлял себя быть спокойным. А она, в силу бессознательного расчета, старалась вывести его из этого спокойствия, вызвать на бестактность, грубость, резкость, чтобы иметь право презирать его. Если он раздражался, она презирала его. Если после такой вспышки он ходил с пристыженным видом, она еще больше презирала его. Если же ему удавалось сдержать раздражение, она начинала его ненавидеть. А хуже всего было молчание, в котором они проводили друг подле друга целые дни. Такое молчание душит, давит, лишает разума, доводит до иступления самых кротких людей, так что минутами хочется причинить боль, закричать самому и другого заставить кричать. Молчание, бесприсветное молчание, оно окончательно разрушает любовь, и люди, подобно мирам, следуя каждый своей орбите, исчезают во тьме. Жаклина и Оливье дошли до такого состояния, когда даже попытка сблизиться отдаляет людей. Их жизнь стала нестерпима. Случай ускорил развязку.

Последний год Сесиль Флэри стала часто бывать у Жаненов. Оливье встретился с нею у Кристофа; затем Жаклина пригласила ее, и Сесиль продолжала у них бывать даже после того, как Кристоф разошелся с ними. Жаклина была с ней приветлива; хотя сама она не очень разбиралась в музыке и находила, что Сесиль несколько вульгарна, однако поддавалась обаянию ее пения и ее умиротворяющему воздействию. Оливье охотно музицировал с Филомелой. Мало-помалу она стала своим человеком в доме. От нее веяло благожелательством; от ее открытого взгляда, здорового, жизнерадостного вида, добро-

душного, пожалуй чересчур громкого смеха собою делалось веселее, и когда она входила в гостиную Мэнсенов, казалось, будто солнечный луч пронизывает пелену тумана. Оливье и Жаклине становилось легче на душе. Когда она собиралась уходить, каждому из них хотелось сказать ей:

«Нет, нет, побудьте еще, без вас мне холодно!»

Во время отсутствия Жаклины Оливье все чаще встречался с Сесиль и частично проговорился ей о своих горестях. Он совершил такую неосторожность в порыве откровенности, свойственной людям нежным и слабым, которым нужно излить душу, чтобы не задохнуться. Сесиль пожалела его и постаралась утешить словами материнской ласки. Она сострадала им обоим и уговаривала Оливье не падать духом. Но потому ли, что она сильнее, чем он, почувствовала всю неловкость такого рода признаний, или по какой-нибудь другой причине, только она стала бывать реже. Должно быть, ей казалось, что она поступает нечестно по отношению к Жаклине, что ей не следует знать их интимные тайны. Во всяком случае Оливье именно так истолковал это и одобрил ее поведение, потому что сам упрекал себя за свою откровенность. Но, реже встречаясь с Сесиль, он понял, чем она для него стала. Он привык делиться с ней мыслями. Она одна умела облегчить его тяжелое состояние. Он слишком хорошо разбирался в своих чувствах, чтобы не дать верного названия чувству к ней. Самой Сесиль он ни слова не сказал об этом. Но не устоял перед искушением описать для себя свои переживания. С некоторых пор он вернулся к опасной привычке беседовать на бумаге с самим собой. За годы любви он отучился от этой привычки, но теперь, когда он опять стал одинок, наследственная тяга взяла верх — это приносило некоторое облегчение и отвечало потребности писателя в самоанализе. Итак, он описывал себя, свои горести, как будто рассказывал о них Сесиль, только тут он был гораздо откровеннее — ведь она этого никогда не прочтет.

Но волею судьбы эти записки попали на глаза Жаклине. И случилось это именно в такой день, когда она чувствовала себя ближе к Оливье, чем все последние годы. Убирая у себя в шкафу, она перечитывала любовные письма, полученные когда-то от него, и была рас-

трогана до слез. Бросив уборку, она сидела в уголке у шкафа, вспоминала прошлое и горько каялась, что сама разрушила его. Она думала о том, сколько огорчений причинила Оливье, — эту мысль она никак не могла перенести равнодушно; она могла забыть Оливье, но сознание, что он страдает из-за нее, было ей нестерпимо. У нее сердце разрывалось, ей хотелось броситься в его объятия, крикнуть ему:

«Оливье, Оливье, что мы с тобой сделали? Ведь это безумие, безумие! Не надо, не надо терзать друг друга!»

Ах, если бы он вошел в этот миг!

Но как раз в этот миг она наткнулась на его записки. Все было кончено. Поверила ли она, что он в самом деле изменил ей? Возможно. Да и не все ли равно? Для нее измена была не в поступках, а в помыслах. Она скорее простила бы любимому человеку то, что он завел любовницу, чем то, что он тайком отдал другой сердце. И была права.

«Экая важность», — скажут некоторые люди. (Бедняги, они страдают только от реальных измен! Плотские утехи не имеют значения, лишь бы сердце хранило верность. Когда же изменяет сердце, остальное уже не важно.)

Жаклина ни минуты не подумала о том, чтобы вернуть любовь Оливье. Поздно! Она и сама теперь недостаточно любила его. Или любила еще слишком сильно... Нет, то, что она испытывала, не было ревностью. Это было крушение последнего оплота, тех остатков веры в Оливье, упования на него, какие сохранились в тайниках ее души. Она не признавалась себе, что сама по собственной небрежности оттолкнула его, довела до отчаяния, что она повинна в этой его новой любви, кстати вполне безгрешной, а главное, что человек не властен любить или не любить. Она и не подумала провести параллель между этим невинным увлечением и своим флиртом с Кристофом — ведь она-то не любила Кристофа, значит это не могло идти в счет. Ослепленная обидой, она доходила до крайностей, уверяла себя, что Оливье лжет ей, что она для него больше не существует. Последняя опора ускользала от Жаклины, как раз когда она протянула руку, чтобы ухватиться за нее... Все было кончено.

Оливье так никогда и не узнал, что она выстрадала, в этот день. Но, увидев ее, он тоже почувствовал, что все кончено.

С этой минуты они разговаривали только на людях. Они зорко следили друг за другом, как два затравленных зверя, которые боятся друг друга. Еремиас Готгельф где-то с невозмутимым простодушием описывает мучительное существование двух супругов, которые разлюбили друг друга и заняты взаимным наблюдением, каждый старается подметить у другого признаки болезни, и хотя отнюдь не собирается ускорить его смерть и даже не желает ее, но позволяет себе помечтать о непредвиденной случайности, и каждый надеется, что именно он окажется более живучим. Минутами Жаклина и Оливье готовы были заподозрить друг друга в таких мыслях. Их не было ни у одного, ни у другого, но достаточно и того, что Жаклина приписывала подобные помыслы Оливье и по ночам в минуты лихорадочной бессонницы твердила себе, что он крепче ее, что он нарочно старается ее докона́ть и скоро добьется своего. Чудовищный бред расстроенного воображения и смятенной души. И при этом лучшей, самой сокровенной стороной своего «я» они любили друг друга!..

Обессилев под этим бременем, Оливье не пытался бороться, устранился, выпустил из рук кормило и предоставил Жаклину самой себе. Когда она почувствовала себя на свободе, без рулевого, у нее закружилась голова — ей нужен был повелитель, чтобы возмущаться против него; а раз его не стало, необходимо было найти нового повелителя. И ею овладела навязчивая идея. До тех пор, несмотря на все обиды, ей ни разу не приходила в голову мысль расстаться с Оливье. А тут она решила, что все узы порваны. Ей захотелось, пока не поздно, любить и быть любимой (несмотря на свою молодость, она считала себя старухой), — и она стала влюбляться, переживала воображаемую, но всепоглощающую страсть, увлекалась первым встречным, какой-нибудь знаменитостью или даже просто именем; но раз увлекшись кем-то, уже думаешь, что без этого избранника нельзя жить, уже не можешь стряхнуть наваждение, оно опустошает душу, вытесняет все, что прежде наполняло ее: другие привязан-

ности, нравственные понятия, воспоминания, собственную гордость и уважение к людям. А после того как все сожжено, навязчивая идея отмирает в свой черед, за отсутствием горючего, но из развалин поднимается совершенно новый человек, зачастую озлобленный, жестокий, состарившийся, во всем изверившийся, которому остается только прозябать в жизни, как прозябает трава у подножия разрушенных памятников!

Навязчивая идея и на этот раз отыскала объект, способный принести одно лишь разочарование. На свою беду Жаклина влюбилась в завязтого сердцееда, в парижского писателя, немолодого, некрасивого, обрюзгшего, потасканного, с сизо-багровым лицом, гнилыми зубами и ужасающей душевной черствостью; зато он был в моде и разбил сердце множеству женщин. У Жаклины не было даже того оправдания, что она не знала об эгоизме своего героя; наоборот, он выставлял его напоказ в своем творчестве и делал это умышленно: эгоизм в оправе искусства — то же, что блестящая приманка птицелова, или огонь, гипнотизирующий слабовольных. Многие из приятельниц Жаклины попались в его силки: он без особого труда соблазнил, а затем бросил одну молодую женщину, недавно вышедшую замуж... Жертвы от этого не умирали, но, к вящему удовольствию публики, довольно неумело скрывали свою обиду. Впрочем, даже те из них, которые были особенно жестоко уязвлены, старались в своем распутстве не выходить за пределы здравого смысла, так как больше всего оберегали свои интересы и светские обязанности. Ни скандала, ни огласки они не допускали, втихомолку обманывали мужа и подруг и сами втихомолку страдали от обмана. Это были подвижницы, ради мнения света способные на все.

Но Жаклина была безумица — она не только могла сделать то, о чем говорила, но и говорить о том, что сделала. В своих безумствах она не рассчитывала, не думала о себе. Она обладала опасным качеством — никогда не лукавила перед собой и не пугалась ответственности за свои поступки. Она была лучше окружающих, и потому поступала хуже их. Полюбив и решившись на измену, она очертя голову бросилась в любовную авантюру.

Госпожа Арно сидела одна у себя дома и вязала с тем судорожным спокойствием, с каким, должно быть, трудилась Пенелопа над своим пресловутым рукоделием. И, как Пенелопа, она тоже ждала мужа. Г-н Арно отсутствовал по целым дням. У него были и утренние и вечерние уроки. Обычно он приходил домой завтракать; хотя он прихрамывал, а лицей помещался на другом конце Парижа, это длинное путешествие он совершал не столько из любви к жене или из экономии, сколько по привычке. Но иногда его задерживали дополнительные занятия или же соблазняла близость библиотеки, и он уходил туда поработать. Люсиль Арно сидела одна в пустой квартире. Никто не заглядывал к ней, кроме прислуги, приходившей с восьми до десяти часов для черной работы, и кроме поставщиков, которые по утрам приносили то, что было заказано, и получали заказы на завтра. В доме у нее не осталось знакомых. Кристоф переехал, и новые жильцы расположились в сиреневом саду. Селина Шабран вышла замуж за Андре Эльсберже. Эли Эльсберже уехал с семьей в Испанию, работать на руднике. Старик Вейль овдовел и почти не жил на парижской квартире. Только Кристоф и его приятельница Сесиль продолжали бывать у Люсиль Арно; но жили они далеко, целый день были заняты утомительной работой и по нескольку недель не заглядывали к ней. Ей приходилось довольствоваться собственным обществом.

Да она и не скучала. Любая мелочь занимала ее — какое-нибудь домашнее дело, комнатное растение, чахлую листву которого она каждое утро обтирала с материнской заботливостью. Ее любимец — ленивый серый кот, как многие избалованные домашние животные отчасти перенял привычки хозяйки: целые дни проводил у камина или на столике под лампой и следил, как мелькают ее пальцы, а иногда обращал к ней загадочный взгляд, с минуту пристально смотрел на нее, потом взгляд угасал и снова становился равнодушным. Даже мебель помогала ей коротать время. Она сроднилась со многими вещами и с детским удовольствием холила их, бережно стирала пыль, ставила каждый предмет на привычное место и вела с ними молчаливый разговор. Она улыбалась изящному секретеру с откидной крышкой эпохи

Людовика XVI, единственной своей старинной вещи. Каждый день она с неизменным удовольствием смотрела на него. Не меньше времени уходило на пересмотр белья: она часами простаивала на стуле, засунув голову и руки в просторный деревенский шкаф, перебирала и раскладывала, а кот часами с любопытством смотрел на нее.

Но самые блаженные минуты наступали после того, как, закончив все домашние хлопоты, наспех позавтракав в одиночестве (она ела очень мало), побывав в городе по самым неотложным делам, она возвращалась домой около четырех часов и усаживалась у окна или у камина с работой и с неизменным котом на коленях. Иногда она придумывала предлог, чтобы не выходить вовсе: ей приятнее всего было сидеть дома, особенно зимой, когда шел снег. Она терпеть не могла холода, ветра, грязи, дождя, потому что и сама была по натуре чистоплотной кошечкой, избалованной неженкой. Она предпочла бы ничего не есть, лишь бы не ходить покупать себе завтрак, если поставщики забывали про нее. В таких случаях она довольствовалась тем, что находила в буфете, — кусочком шоколада или яблоком. Мужу она в этом ни за что бы не призналась. Впрочем, это были ее единственные проказы. И вот в такие серенькие дни, а иногда и в ясные, солнечные (когда небо сияло синевой, уличные шумы доносились до тихой, прохладной квартиры и словно светлый мираж окутывал душу) она сидела с вязанием в своем любимом уголке, поставив ноги на скамеечку, погрузившись в думы, не шевелясь — только пальцы двигались неутомимо. Рядом лежала любимая книжка, чаще всего шаблонный томик в красном переплете, перевод английского романа. Читала она не спеша, по главе в день; и книжка у нее на коленях подолгу оставалась открытой на той же странице или не открывалась вовсе — она и так уже знала ее и в мечтах переживала заново. Длинные романы Диккенса и Теккерея читались по целым неделям, а в мечтах растягивались на годы, обволакивали ее своим теплом. Современные люди читают торопливо и невнимательно, а потому и не знают, какую волшебную силу излучают хорошие книги, когда медленно смакуешь их. Для г-жи Арно жизнь их героев была такой же реаль-

ностью, как и ее собственная. Некоторым она рада была бы отдать душу. Леди Каслвуд, нежная ревнивица с материнским и девственным сердцем, умевшая любить и молчать, была ей точно сестра; маленький Домби был ее любимым сыночком, а сама она чувствовала себя Дорой, девочкой-женой, обреченной на раннюю смерть; она раскрывала объятия всем этим созданиям с чистой детской душой, которые проходят по жизни, глядя вокруг смелым и ясным взором; а хоровод славных бродяг и безбидных чудачков проносился мимо в погоне за своей нелепой и трогательной мечтой; и всех их любовно вел добрый гений — Диккенс и сам смеялся и плакал над порождением своей фантазии. Когда Люсиль смотрела в такие минуты в окно, ей казалось, будто среди прохожих нет-нет, да и мелькнет любимый или ненавистный персонаж из этого воображаемого мира.

А за стенами домов, конечно, жили такие же люди. Она не любила выходить на улицу именно потому, что боялась этого мира, полного волнующих тайн. Кругом ей чудились скрытые драмы, разыгранные напоказ комедии. И это не всегда был самообман. Проводя целые дни в одиночестве, она научилась каким-то сверхъестественным чутьем угадывать во взглядах прохожих тайны их прошлого и будущего, зачастую неведомые им самим. Эти реальные картины она переплетала с вымыслом, искажавшим их. Она чувствовала себя затерянной в этом необъятном мире и спешила домой, чтобы не потонуть в нем.

Но можно было и не читать, не встречаться с людьми. Достаточно было заглянуть в себя. Каким бесцветным, тусклым казалось извне ее существование и как озарялось оно изнутри! Какая кипучая полнота жизни! Какая сокровищница воспоминаний, о которых никто и не подозревал! Что в них было реального? Да всё, раз они существовали для нее... Сколько скудных жизней, преображенных волшебной палочкой фантазии!

Госпожа Арно мысленно возвращалась к прошедшим годам вплоть до самого раннего своего детства; и каждый хилый цветочек угасших надежд расцветал в тишине... Детская любовь к взрослой девушке, очаровавшей ее с первого взгляда. Она любила эту девушку так, как

можно в полной невинности любить настоящей любовью; она замирала от волнения, когда та прикасалась к ней; ей хотелось целовать ноги своей святыне, быть ее дочкой, женой; девушка вышла замуж, была несчастна в браке, у нее умер ребенок, сама она умерла... Новая любовь — лет в двенадцать — к своей сверстнице, белокурому бесенку, своенравной хохотушке, которая тиранила ее, нарочно доводила до слез, а потом душила поцелуями; они вместе строили самые романтические планы на будущее — и вдруг подружка постриглась в монахини; это было неожиданностью для всех, ее считали счастливцей... Дальше Люсиль страстно влюбилась в человека много старше ее. Об этом увлечении не узнал никто, даже и тот, кто его внушил. А она вложила в свое чувство столько самопожертвования, неисчерпаемые сокровища нежности. Затем новое увлечение, на этот раз взаимное, но, по непонятной робости и неуверенности в себе, она не поверила, что ее могут любить, и утаила свою любовь. Счастье прошло мимо, и она не постаралась его удержать. Потом... Но к чему рассказывать другим то, что полно значения только для себя самого! А тут мельчайшие события приобретают смысл: дружеское внимание, приветливое слово, которое случайно обронил Оливье, радость от посещений Кристофа, его музыка, вводящая в зачарованный мир, взгляд какого-нибудь незнакомца. Да, и эта безупречная, порядочная и чистая женщина порой в мыслях была неверна мужу, теряла равновесие и стыдилась самой себя, но не слишком боролась с этими невольными изменами, — ведь они были так невинны и точно солнечный луч согревали ее сердце... Мужа она любила, хоть и не о таком спутнике жизни мечтала когда-то; но он был очень добрый человек; однажды он сказал ей:

— Голубка моя, ты и сама не знаешь, как ты мне дорога. Для меня вся жизнь в тебе.

От этих слов сердце ее растаяло, и она поняла, что отныне соединена с ним навеки, безраздельно и никогда не покинет его. С каждым годом они становились все ближе друг другу. Вместе мечтали. Мечтали о работе, о путешествиях, о детях. Что сбылось из этих чудесных мечтаний? Ничего... А г-жа Арно продолжала мечтать.

Она так много, так сосредоточенно думала о ребенке, что почти видела его воочию. Она годами воображала его, непрерывно украшая всем, что встречалось ей самого прекрасного, самого дорогого ее сердцу... Не надо об этом!

Это было так мало. И это были целые миры... Сколько неизвестных трагедий, порой затрагивающих самое заветное, таят в себе такие спокойные, такие будничные существования! И вот что, пожалуй, трагичнее всего: на самом деле *ничего не происходит*, а люди питаются надеждой, отчаянно тянутся к тому, чего вправе добиваться, что им обещано природой и в чем им отказано, они мучаются в страстной тоске... и скрывают свои терзания!

К счастью г-жи Арно, она не была всецело поглощена собой. Собственная жизнь лишь частично занимала ее мечты. Она жила также жизнью тех, кого знала или знавала раньше; она ставила себя на их место, она думала о Кристофе, о его приятельнице Сесиль. Вот и сегодня она думала о Сесиль. Обе женщины очень привязались друг к другу. И как ни странно, но оказалось, что крепкая с виду Сесиль ищет опоры у слабенькой г-жи Арно. Эта жизнерадостная, пышущая здоровьем девушка была в сущности не так уж сильна. Она переживала внутреннюю драму. Самые уравновешенные люди не застрахованы от неожиданностей. Нежное чувство незаметно закралось в сердце Сесиль; сперва она не хотела замечать его; но оно все росло, и в конце концов от него уже нельзя было отмахнуться — она любила Оливье. Он сразу же привлек ее ласковой мягкостью манер, несколько женственным обаянием своей личности, какой-то слабостью и беззащитностью. (Женщин с сильно развитым материнским инстинктом всегда влечет к тем, кто нуждается в них.) Позднее семейные неурядицы Жаненов внушили ей опасную жалость к Оливье. Конечно, были и другие причины. Да разве можно объяснить, почему кто-то в кого-то влюбляется? Часто тут ни при чем ни та, ни другая сторона, а просто наступает такая минута, когда любая привязанность может застигнуть врасплох беззащитную душу. Как только у Сесиль не осталось никаких сомнений, она сделала мужественную попытку вырвать

жало любви, которую считала преступной и бессмысленной; она долго терзала себя, но излечиться не могла. Никто бы не догадался, что она страдает. Героическим усилием воли она старалась казаться веселой. Только г-жа Арно знала, чего ей это стоило. Иногда ей случалось прильнуть своей крупной головой к худенькой груди г-жи Арно, всплакнуть потихоньку и, тут же расцеловав подругу, засмеяться и уйти. Она благоговела перед этой хрупкой женщиной, чувствовала ее нравственную силу, ее превосходство над собой. Она не откровенничала с г-жой Арно, но г-жа Арно умела угадывать с полуслова. И мир казался ей печальным недоразумением. Исправить его немислимо. Можно только любить его, жалеть и мечтать.

А когда гудящий рой мечтаний мешал ей думать связно, она садилась за фортепиано, и пальцы ее скользили по клавишам, наугад, еле слышно, обволакивая умиротворяющими лучами звуков фантасмагорию жизни...

Но стойкая маленькая женщина не забывала о повседневных обязанностях: когда Арно приходил домой, лампа была зажжена, ужин приготовлен, а бледное личико жены улыбалось ему навстречу. И он даже представить себе не мог, из каких далеких странствий она возвратилась.

Труднее всего было оградить от столкновений обе жизни — будничную, повседневную, и ту, вторую, главную жизнь — духовную, с беспредельным горизонтом. Это давалось нелегко. К счастью, сам Арно тоже наполовину жил воображаемой жизнью, поглощенный книгами, произведениями искусства, чей неугасимый пламень поддерживал тлеющий огонек его души. Но за последние годы он совсем погряз в мелких служебных заботах, досадах на несправедливость, страхах, как бы его не обошли повышением, дразгах с коллегами или учениками; это его ожесточило; он все чаще разглагольствовал о политике, поносил правительство и евреев, возлагал на Дрейфуса вину за свои неприятности по службе. Его мрачное настроение отчасти сообщалось жене. Ей было под сорок. Она достигла того возраста, когда жизненные силы идут на убыль и тщетно стремятся восста-

новить нарушенное равновесие. В сознании ее образовались огромные разрывы. Оба супруга временами чувствовали, что жить незачем, не за что зацепить паутину, которую ткало их воображение. Нужно, чтобы мечты хоть в самой малой степени опирались на действительность. А тут этой опоры внезапно не стало. И друг в друге они тоже не находили поддержки. Вместо того чтобы помочь Люсиль, муж искал помощи у нее. А Люсиль сознавала, что не в ее силах поддержать его; тогда она и сама пала духом. Только чудо могло ее спасти. Она призывала чудо...

И оно пришло изнутри. Из глубин одинокой души возникла высокая и безрассудная потребность созидать наперекор всему, во имя радости созидания, наперекор всему ткать паутину в пространстве, уповая на то, что дуновение ветра или дыхание божие перенесет ее туда, где ей надлежит быть. И дыхание божие привязало ее к жизни, даровало ей незримый оплот. Тогда оба супруга вновь начали неумоимо ткать чудесную и эфемерную паутину, вкладывая в нее все, что было ими выстрадано, всю кровь своего сердца.

Госпожа Арно сидела одна у себя дома. Смеркалось.

На парадной раздался звонок. Г-жа Арно вздрогнула. Кто-то раньше времени вспугнул ее мечты. Она аккуратно сложила вязание и пошла отворять. Вошел Кристоф. Он был очень взволнован. Она ласково взяла обе его руки и спросила:

— Что с вами, друг мой?

— Оливье вернулся, — сказал он.

— Вернулся?

— Пришел сегодня утром и сказал: «Кристоф, спаси меня». Я обнял его. Он заплакал и сказал: «У меня больше никого нет, кроме тебя. Она ушла».

Госпожа Арно в смятении всплеснула руками и произнесла:

— Несчастные люди!

— Ушла. К любовнику, — пояснил Кристоф.

— А ребенок? — спросила г-жа Арно.

— Бросила и мужа и ребенка!
— Несчастливая женщина! — повторила г-жа Арно.
— Он любил ее. Одну ее любил, — сказал Кристоф. — Он этого не переживет. Он все твердит: «Она изменила мне, она, лучший мой друг, изменила мне», И не слушает, когда я говорю: какой же это друг, раз она тебе изменила? Она — враг тебе. Забудь ее или убей!

— Что вы говорите, Кристоф! Какой ужас!

— Да, я знаю, все вы ужасаетесь: убить — какое первобытное варварство! Слушать тошно, как наш маленький парижский свет восстает против животных инстинктов, которые толкают мужа на убийство неверной жены, как он проповедует разумную снисходительность! Вот уж лицемеры! И эта свора блудливых псов еще смеет возмущаться, когда люди слушаются голоса природы. Сами же оплевали жизнь, отняли у нее всякую цену, а теперь объявляют ее святыней. В самом деле, стоит благоговеть перед этим бездушным, бесславным, бессмысленным, утробным существованием, перед куском мяса, где пульсирует кровь! А они трясутся над этой говядиной, каждое посягательство на нее объявляют преступлением. Душу можно убить, но к телу притронуться не смей...

— Страшнее всего — убить душу; но одним преступлением нельзя оправдать другое, вы это сами знаете.

— Да, мой друг, знаю. Вы правы. Думать я так не думаю... Но сделать, может быть, и сделал бы.

— Не клеветайте на себя — вы добрый.

— В порыве страсти я становлюсь не менее жестоким, чем другие. Вы сами только что были свидетельницей такой вспышки. Но если видишь, что плачет любимый друг, как не проклинать причину его слез? Самые жестокие слова слишком мягки для дрянной бабенки, которая бросила свое дитя и убежала к любовнику.

— Не говорите так, Кристоф. Что вы знаете?

— Как? Вы можете ее защищать?

— Я и ее жалею.

— А я жалею тех, кто страдает, но не тех, кто причиняет страдания.

— И вы думаете, она не страдала? Думаете, ей легко было бросить ребенка и загубить собственную жизнь? Ведь ее жизнь тоже загублена. Я очень ее мало знаю, Кристоф. Я видела ее всего два раза, да и то мельком; ничего приятного я от нее не слыхала и, видимо, не понравилась ей. А знаю ее все-таки лучше, чем вы. И уверена, что она не такая уж плохая. Воображаю, сколько она, бедняжка, выстрадала!

— И вы, дорогая, можете об этом судить, когда ваша собственная жизнь — образец честности и благоразумия!

— Да, Кристоф, могу. Вы не понимаете. Хотя вы и добрый, но вы мужчина, и при всей доброте в вас есть чисто мужская жестокость, вы глухи ко всему, что не касается непосредственно вас. Вы, мужчины, никакого представления не имеете о женщинах, живущих бок о бок с вами. По-своему вы любите их, но даже не пытаетесь их понять. Вы слишком довольны собой! И не сомневаетесь, что прекрасно изучили нас... Ох, знали бы вы, какая для нас мука сознавать не то что вы нас вовсе не любите, а то, как вы нас любите и чем является женщина даже для самого любящего мужчины! Бывают минуты, когда мы впиваемся ногтями в ладонь, чтобы удержаться и не крикнуть вам: «Не любите, не любите нас совсем. Все лучше такой любви!» Помните слова поэта: «Даже в кругу семьи, среди детей, когда женщина с виду окружена всеми почестями, она вынуждена сносить презрение, которое в тысячу крат горше любых несчастий»? Вдумайтесь в эти слова, Кристоф.

— Вы меня поразили. Я не совсем понимаю... Но, значит, и вы сами?..

— Мне знакомы эти терзания.

— Быть не может... Ну, все равно, вы меня не убедите, что способны были бы поступить, как эта женщина.

— У меня нет ребенка, Кристоф. А на ее месте — не знаю, что бы я сделала.

— Нет, нет, это невозможно, я верю в вас, я вас слишком уважаю и готов поклясться, что это невозможно.

— Не клянитесь! Я чуть-чуть не поступила, как она... Мне тяжело разочаровывать вас. Но я хочу, чтобы

вы хоть немножко научились нас понимать, иначе вы будете несправедливы. Да, я была на волосок от такого же безрассудного шага. И отчасти вы сами удержали меня. Это было два года назад. Я переживала полосу гнетущей тоски. Мне казалось, что я ничемное существо, никто меня не любит, никому я не нужна, и даже муж отлично бы обошелся без меня, что жизнь моя прожита зря... Я собиралась уйти, сделать бог знает что. Я поднялась к вам. Вы, верно, забыли?.. Вы не поняли, зачем я пришла. А я пришла проститься... И тут, уж не помню, что произошло, что-то вы мне сказали, не могу точно повторить... Знаю только, что ваши слова были для меня как откровение (вы даже не подозревали этого)... Достаточно было маленького толчка, чтобы погубить меня или спасти... Я ушла от вас, заперлась у себя и проплакала весь день! И тоску как рукой сняло!

— А теперь вы об этом жалеете? — спросил Кристоф.

— Жалею? — повторила она. — О, я бы уже давно была на дне Сены, если бы решилась на этот отчаянный поступок. Я бы не могла жить с подобным позором и с сознанием, что нанесла такой удар бедному моему мужу.

— Значит, вы счастливы?

— Да, насколько можно быть счастливой на земле. Ведь так редко случается, чтобы в совместной жизни люди понимали и уважали друг друга, знали, что могут друг на друга положиться не только из доверия, основанного на любви, — оно так часто бывает обмануто, — а по опыту многих лет, прожитых вместе, унылых и скучных лет. И тогда воспоминания о преодоленных соблазнах не мешают, а скорее способствуют взаимному согласию. Впрочем, к старости все налаживается.

Она замолчала и вдруг вся вспыхнула.

— Господи, как это я могла рассказать вам! Что я наговорила! Прошу вас, Кристоф, забудьте. Никому ничего не говорите.

— Не бойтесь. Ваша тайна для меня священна, — сказал Кристоф, пожимая ей руку.

Госпожа Арно отвернулась, стыдясь своей откровенности. Немного погодя она сказала:

— Не надо было говорить, но, понимаете, мне хотелось доказать вам, что даже в самых дружных семьях, даже у женщин, которых вы уважаете, Кристоф, даже у них бывает не только минутное помрачение, как вы говорите, а подлинные терзания, да такие, которые нередко толкают на безумства и губят жизнь одного, а то и двух человек. Не будьте слишком строги. Люди очень мучают друг друга, даже когда любят по-настоящему.

— По-вашему, надо жить одиноко, каждый сам по себе?

— Это для нас еще хуже. Когда женщина живет одна, борется за жизнь, как мужчина, а часто и против мужчины, для нее это ужас, потому что наше общество не освоилось с этой мыслью и в большинстве своем относится к ней враждебно...

Госпожа Арно замолчала, подавшись вперед и устремив глаза на пламя камина; потом начала снова, глуховатым голосом, запинаясь, останавливаясь, однако договорила до конца:

— Но мы-то ведь тут ни при чем, женщина живет так не по своей прихоти, а по необходимости; она вынуждена зарабатывать себе на хлеб самостоятельно, обходиться без помощи мужчины — бедные мужчинам не нужны. Она обречена на одиночество, но радости оно ей не дает; стоит только женщине наравне с мужчиной воспользоваться своей независимостью, даже самым невинным образом, как поднимется шум; ей все запрещено. У меня есть подружка, учительница в провинциальном лицее; она там задыхается в одиночестве, как будто ее заперли в душную темницу. Буржуазия на порог к себе не пускает тех женщин, которые пытаются жить своим трудом; она открыто выказывает им презрительное недоверие; каждый их шаг толкуется недоброжелательно; преподаватели мужского лицея сторонятся своих коллег-женщин то ли из боязни сплетен, то ли из скрытой враждебности, а то еще и потому, что одичали, привыкли к сиденью в кафе, к вольным речам, устают за день от работы, а женщины-интеллигентки им надоели и опротивели. Бедняжки и друг другу становятся ненавистны, особенно когда они принуждены жить вместе в коллеже. Начальница обычно неспособна понять

нежную душу юных учительниц, и те доходят до отчаяния в первые годы безрадостного труда и чудовищного одиночества; они молча изнемогают от тоски, а начальница даже не пытается помочь им и вдобавок называет их гордячками. Никому они не нужны. Замуж они не могут выйти, у них нет ни приданого, ни знакомств. Не могут найти интерес и утешение в умственной жизни: слишком много времени отнимает работа. Если не иметь опоры в религии или в особо развитом чувстве долга — я бы сказала даже ненормально, болезненно развитом, потому что полное самопожертвование противоестественно, — это значит быть похороненной заживо... Итак, исключим умственный труд. Что может дать женщине благотворительность? Одни разочарования, если женщина слишком правдива, чтобы довольствоваться официальной или светской благотворительностью, человеколюбивыми фразами, гнусной помесью развлечения, филантропии и казенщины, если ей претит возиться с нищетой, в промежутке между двумя флиртами! Но когда она наберется храбрости и отправится одна взглянуть на эту самую нищету, о которой знает понаслышке, какое непереносимое зрелище представится ей! Поистине ад! И чем тут можно помочь? Она тонет в этом море отчаяния. Однако она пытается бороться, спасти хоть кого-нибудь из обездоленных, надрывается для них, вместе с ними идет ко дну. Счастье ее, если ей удастся спасти одного или двух. А кто спасет ее? Кому охота ее спасать? Но ведь она тоже настрадалась и чужими страданиями и своими. Чем больше веры старается она внушить другим, тем сильнее разочаровывается сама. Обездоленные цепляются за нее, ей же не за что ухватиться. Никто не протянет ей руки. Случается, в нее даже бросят камень... Вы ведь знавали, Кристоф, ту чудесную женщину, которая посвятила себя самому неблагодарному и самому доблестному из дел милосердия: она давала пристанище роженицам — проституткам с улицы. От этих несчастных отмахивается официальная благотворительность, да они и сами часто боятся официальной благотворительности, а она старалась спасти их физически и нравственно, оставить при них детей, пробудить в них материнское чувство, создать им домашний очаг и честную, трудовую жизнь. Она не

жадела сил на выполнение этой тяжелой задачи, а взамен видела одни огорчения и неприятности. (Много ли их удастся спасти, и многие ли хотят, чтобы их спасали! А сколько умирает младенцев, ни в чем не повинных и отверженных с рождения!) Эта подвижница взвалила на себя все бремя людских страданий, решила добровольно искупить преступления чужого эгоизма, и как же, вы думаете, к этому отнеслись? Злобная молва обвиняла ее в том, что она наживается на своем начинании и даже на своих подопечных... Ей пришлось покинуть свой район, она уехала, отчаявшись во всем... Вы и не представляете себе, какую борьбу приходится выдерживать самостоятельным женщинам против современного общества — общества косного и жестокого! Оно отмирает, а последние остатки сил тратит на то, что мешает жить другим.

— Не думайте, мой друг, что это удел исключительно женщин. Всем нам знакома эта борьба. Но я-то знаю, в чем от нее спасение!

— В чем?

— В искусстве.

— Спасение для вас, а не для нас. Да и среди мужчин оно доступно очень немногим.

— Взгляните на нашу общую приятельницу Сесиль. Она вполне счастлива.

— Почему вы знаете? Нельзя судить так опрометчиво. Да, она не падает духом, не носится со своими горестями и не жалуется, а вы отсюда уже делаете вывод, что она счастлива! Конечно, она счастлива тем, что у нее есть здоровье и силы для борьбы. Но вы не знаете всего, с чем ей приходится бороться. Да и почему вы думаете, что она рождена для искусства, для этой жизни, полной превратностей? Искусство! Есть же такие женщины, которые жаждут стать писательницами, актрисами, певицами. Им кажется, что это верх блаженства! Бедняжки! Значит, они уже совсем обездолены, и им не на что излить свою потребность в любви. Искусство! Да на что нам искусство, разве оно заменит все остальное? На свете только одно может заставить забыть все, все остальное — обожаемое маленькое существо!

— Как видите, этим не всегда удовлетворяются.

— Не всегда, конечно... Женщины вообще не очень

счастливы. Трудно быть женщиной. Куда труднее, чем быть мужчиной. Вы это плохо понимаете. Вас может целиком поглотить какая-нибудь отвлеченная страсть, какая-нибудь деятельность. Вы совершаете насилие над своей природой, но вам это дает особое удовлетворение. А для нормальной женщины это слишком мучительно. Человек не может безнаказанно подавлять часть своего «я». Нам, женщинам, мало одностороннего счастья. В нас живет много душ. А у вас душа одна, более сильная, в своей силе доходящая порой до грубости, до бесчеловечности. Я преклоняюсь перед вами. Но не будьте так эгоистичны. Вы сами не сознаете своего эгоизма и даже не замечаете, как мучаете нас.

— Что поделаешь! Не наша вина...

— Да, не ваша, милый мой Кристоф. Не ваша и не наша вина. Все дело, видите ли, в том, что жизнь очень сложная штука. Говорят — живите естественной жизнью. А что для нас естественно?

— Вы правы. Все в нашей жизни неестественно. Безбрачие неестественно. И брак не более естествен. А в свободном союзе сильные по-хищнически расправляются со слабыми. Да и само общество наше сложилось отнюдь не естественным путем: оно дело наших рук. Говорят, человек — животное общественное. Какая чушь! Ему пришлось стать таким, чтобы выжить. Он сделался общественным животным ради выгоды, ради удовольствия, ради самозащиты, ради того, чтобы возвысить свой род. При этом он был вынужден взять на себя кое-какие обязательства. Но природа бунтует и мстит за насилие. Природа создана не в угоду человеку. Мы пытаемся обуздать ее, боремся с нею и, разумеется, часто бываем биты. Что тут делать? Надо быть сильным.

— Надо быть добрым.

— О, господи! Быть добрым, сорвать с себя броню эгоизма, дышать полной грудью, любить жизнь, свет, свой скромный труд и тот уголок земли, куда вырастаешь корнями. И если нельзя развернуться вширь, надо стремиться вглубь и ввысь, как дерево, когда ему тесно, тянется к солнцу.

— Да. И главное — любить друг друга. Пусть бы мужчина понял по-настоящему, что он брат женщине,

а не только ее добыча, как и она не его добыча. Пусть бы они оба смирили свою гордость, поменьше думали о себе и побольше о другом!.. Мы слабы — так будем друг другу поддержкой. Не станем отворачиваться от того, кто пал, а скажем ему: «Мужайся, друг. Все обойдется».

Оба замолчали; они сидели у камина, котенок между ними, и все трое, не шевелясь, сосредоточенно смотрели в огонь. Последние вспышки пламени точно взмахами крыла ласкали худенькое лицо г-жи Арно, порозовевшее от непривычного волнения. Она сама удивлялась своей откровенности. Никогда этого с ней не бывало. И никогда больше не будет.

Она положила руку на руку Кристофа и спросила:

— Куда вы денете ребенка?

Вот о чем думала она с самого начала. Она говорила, говорила, как в дурмане, она словно переродилась. А думала только об одном. С первых же слов Кристофа она сочинила целый роман. Она думала о ребенке, брошенном матерью, о том, какое счастье было бы растить его, обвить эту детскую душу своими грезами и своей любовью. Мысленно она усовещевала себя:

«Это дурно, нельзя радоваться чужому горю».

Но не могла сладить с собой. Она говорила, говорила, а сердце молчало, упоенное надеждой.

— Мы, понятно, уже об этом думали, — сказал Кристоф. — Бедный малыш! Мы с Оливье не способны заниматься его воспитанием. Ему нужен женский уход. Я и решил: наверно, кто-нибудь из наших приятельниц не откажется нам помочь.

Госпожа Арно затаила дыхание.

— Я хотел поговорить с вами, — продолжал Кристоф. — А тут как раз пришла Сесиль. Когда она все узнала и увидела ребенка, она так разволновалась, так обрадовалась и сказала мне: «Кристоф...»

Кровь застыла в жилах г-жи Арно: она не слышала того, что сказала Сесиль; все поплыло у нее перед глазами. Ей хотелось крикнуть:

«Нет, нет, отдайте его мне!»

А Кристоф все говорил. Она не слышала его слов. Но потом сделала над собой усилие. Вспомнила признания Сесиль и подумала:

«Ей это нужнее, чем мне. У меня ведь есть мой милый Арно... и мой домашний уют... И потом, я старше ее...»

И, улыбнувшись, она сказала:

— Это очень хорошо.

Но огонь угас в камине, угас и розовый отблеск на ее лице. На этом милом усталом личике осталось только привычное выражение безропотной доброты.

«Моя подруга изменила мне».

Эта мысль не давала жить Оливье. Тщетно Кристоф из любви к нему стыдил и распекал его.

— Что поделаешь! — говорил он. — В конце концов измена друга такая же рядовая неприятность, как болезнь, бедность, как необходимость бороться с дураками. Надо быть вооруженным против этой беды. И жалок тот, кто не может ей противостоять.

— Да, ты прав. В любви у меня нет гордости... Да, я жалкий человек, мне нужна любовь, без нее я не могу жить.

— Твоя жизнь не кончена — у тебя еще найдется, кого любить.

— Я больше никому не верю. Друзей нет.

— Оливье!

— Прости. В тебе я не сомневаюсь. Хотя бывают минуты, когда я сомневаюсь во всем... даже в себе. Но ты-то сильный, тебе никто не нужен, ты можешь обойтись и без меня.

— Она еще лучше без тебя обходится.

— Какой ты жестокий, Кристоф.

— Дорогой мой, я нарочно мучаю тебя, чтобы ты возмутился наконец. Ведь это же черт знает что, это просто позор — жертвовать теми, кто тебя любит, и собственной своей жизнью человеку, которому на тебя наплевать.

— Какое мне дело до тех, кто меня любит? Я-то люблю ее.

— Работай. Тебя многое интересовало, когда-то...

— И перестало интересовать. Я устал. Я как будто вне жизни. Все кажется мне бесконечно далеким. Я смотрю и не понимаю. Мне дики люди, которые не устают изо дня в день, как заведенная машина, тянуть ту же бессмысленную лямку, ведут газетную полемику, гонятся за убогими развлечениями, страстно ратуют за или против кабинета министров, какой-нибудь книги или актрисы... Ах! Каким я себя чувствую старым! У меня ни против кого нет ни ненависти, ни обиды: все мне наскучило. Я ощущаю только пустоту... Писать? К чему? Кто меня поймет? Я писал только для нее одной, всем, чем я был, я был для нее... А теперь все пусто. Я устал, Кристоф, устал. Мне хочется спать.

— Ну, и поспи, мой милый. А я постерегу твой сон.

Но спать Оливье совсем не мог. Ах, если бы тот, кто страдает, мог спать месяцами, спать до тех пор, пока следы горя не изгладятся из его обновленной души, пока он не станет другим! Но никто не в силах даровать ему такой сон; да он и сам бы отказался от этого дара. Для него горше всего было бы лишиться своего горя. Оливье был точно больной, которого держит на ногах лихорадка. Это и была настоящая лихорадка, она находила на него приступами, в одни и те же часы, особенно к вечеру, когда начинает смеркаться. Он бродил разбитый, отравленный любовью, терзаясь воспоминаниями, перебирая все те же мысли, точно слабоумный, который без конца пережевывает и никак не может проглотить один и тот же кусок; все умственные силы его были подавлены, поглощены одной неотвязной мыслью.

Кристоф на его месте только озлился бы и, не задумываясь, взвалил всю вину на ту, что была причиной его несчастья. Оливье же, как человек более проницательный и справедливый, понимал, что тут есть доля и его вины и что несчастен не он один — Жаклина тоже по-своему жертва, его жертва. Она вручила ему свою судьбу, а как он ею распорядился? Если он не мог дать ей счастье, зачем он связал ее жизнь со своей? Она была права, порвав узы, причинявшие ей страдания.

«Она не виновата, — думал он. — Виноват я. Я недостаточно любил ее, хоть и любил сильно. Но любил не так, как надо, раз не сумел внушить ей ответную любовь».

Итак, он обвинял себя и, возможно, обвинял справедливо; но что проку осуждать прошлое? Это не мешает при случае повторить все те же ошибки, зато мешает жить. Сильный человек забывает зло, которое ему причинили, а также, к сожалению, и зло, которое причинил он сам, едва убедится, что оно непоправимо. Но силу дает не разум, а страсть. Любовь и страсть только отчасти сродни друг другу и редко идут рука об руку. Оливье любил; и силы у него хватало лишь для того, чтобы обратить ее против самого себя, — он впал в состояние такой апатии, что оказался беззащитен против всяческих немощей. Инфлуэнца, бронхит, воспаление легких разом навалились на него. Он прохворал часть лета. Кристоф с помощью г-жи Арно самоотверженно ухаживал за ним; болезнь удалось пресечь; но против душевного недуга друзья были бессильны; мало-помалу их утомила и даже стала тяготить эта постоянная грусть, им захотелось бежать прочь.

Горе создает вокруг человека своего рода пустыню. Люди питают безотчетный ужас перед чужим горем, как будто считают, что оно заразительно, во всяком случае оно надоедает, хочется быть подальше от него. Очень немногие люди снисходительны к чужим страданиям. Повторяется извечная история с друзьями Иова. Элифаз Феманитянин обвиняет Иова в том, что он нетерпелив к страданиям. Вилдад Савхейнин утверждает, что несчастья Иова — кара за грехи. Софар Наамитянин уличает его в самомнении. «Тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахилова, Вузитянина из племени Рамова: воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели бога». Мало людей, способных скорбеть по-настоящему. Много званных, мало избранных. Оливье принадлежал к числу последних. По меткому выражению некоего мизантропа, «казалось, ему нравится быть обиженным. Мало проку разыгрывать из себя страдальца — только становишься ненавистен людям»,

О своих переживаниях Оливье не мог говорить ни с кем, даже с самыми близкими. Он видел, что им убийственно скучно его слушать. Даже ближайшего его друга Кристофа раздражала такая упорная и назойливая скорбь. К тому же Кристоф знал, что не годится в утешители. По правде говоря, этот великодушный человек, сам немало перестрадавший, не мог по-настоящему понять страдания друга. Таково бессилье человеческой природы! Как бы ни были вы добры, жалостливы, вдумчивы, сколько бы вы ни выстрадали, все равно вам не станет больно оттого, что ваш друг мается от зубной боли. Если болезнь затягивается, вы склонны сделать вывод, что больной несдержан и нетерпелив. Тем паче, когда боль не внешняя, а скрытая в тайниках души! Тот, кого это не затрагивает непосредственно, возмущается, как можно портить себе кровь из-за чувства, до которого ему лично нет дела. А для успокоения собственной совести говорит:

— Что я могу поделать? Никакие мои уговоры не помогают.

Уговоры и не могут помочь. Облегчить страдания возможно, лишь любя того, кто страдает, любя попросту, не стараясь что-то внушить ему, исцелить его, а только любя и жалея. Любовь — единственное лекарство против ран, нанесенных любовью. Но источник любви способен иссякнуть даже у тех, кто любит всей душой: ее запасы не беспредельны.

После того как друзья устно или письменно высказали однажды все слова участия, какие только могли подыскать, а следовательно, выполнили, по их мнению, свой долг, они благоразумно устраниются, и вокруг страдальца, точно вокруг преступника, образуется пустота. Но друзьям все-таки немножко стыдно за свою малую помощь, и потому они помогают все меньше и меньше, чтобы скорбящий друг забыл о них, и сами стараются забыть о нем. А если горе оказывается упорным и отголоски его назойливо проникают сквозь все стены, друзья в конце концов строго осудят друга за слабость, за неумение переносить испытания. Если же горе окончательно сломит его, к их искренней жалости неизбежно примешается оттенок презрения:

«Бедняга! Я не думал, что он так малодушен».

Посреди этого всеобщего себялюбия, какое несказанное облегчение может принести просто ласковое слово, ненавязчивая забота, взгляд, в котором прочтешь жалость и любовь! Только тут узнаешь цену доброте. Как все ничтожно рядом с нею! Именно доброта сближала Оливье с г-жой Арно больше, чем с остальными, даже больше, чем с Кристофом. Хотя Кристоф прилагал похвальные усилия к тому, чтобы быть терпеливым, и из любви к Оливье не показывал ему, что думает о нем, но Оливье тонким чутьем, еще обострившимся от страданий, угадывал, какая борьба происходит в душе Кристофа, как тяготит его присутствие тоскующего друга. Этого было достаточно, чтобы он сам отдалился от Кристофа и порой едва сдерживался, чтобы не крикнуть: «Уходи прочь!»

Так горе нередко разлучает любящие сердца. Когда сортируют зерно, то в одну сторону откладывают то, что жизнеспособно, в другую — то, что обречено умереть. Жестоким закон жизни сильнее любви! Мать, видя, как умирает сын, а друг, видя, как тонет друг, и убедившись, что спасение невозможно, все-таки не забывают о собственном спасении и не умирают вместе с ними. Но ведь сын, друг им дороже собственной жизни...

При всей своей огромной любви к другу Кристоф минутами не выдерживал и убегал от Оливье. Он был слишком сильным, слишком здоровым человеком и задыхался в этой застойной тоске. Как ему потом бывало стыдно! Он казнил себя и, не зная, на ком выместить досаду, рвал и метал против Жаклины. Несмотря на мудрые речи проникательной г-жи Арно, он попрежнему сурово осуждал Жаклину, как свойственно молодым, цельным и страстным людям, еще недостаточно познавшим жизнь, а потому беспощадным к житейским слабостям.

Он навещал Сесиль и порученного ее попечениям ребенка. Став приемной матерью, Сесиль преобразилась — помолодела, повеселела, казалась женственнее, мягче. Уход Жаклины не пробудил в ней затаенной надежды на счастье. Она знала, что мысли о Жаклине еще больше отдаляют от нее Оливье, чем присутствие Жаклины.

Впрочем, буря, взбудоражившая ее, улеглась, критическая минута прошла, чему способствовал и плачевный пример Жаклины; привычное спокойствие вернулось к ней, и она уже сама толком не понимала, что же вывело ее из равновесия. Весь свой нерастратенный запас любви Сесиль отдала ребенку. С присущей женщинам чудесной силой воображения и проникновения она в этом крошечном существе видела любимого человека, словно сам он был в ее власти, слабый, беспомощный, принадлежал ей и она могла любить его, страстно любить любовью такой же чистой, как душа этого младенца, как его ясные глазки — брызги света... Конечно, была в ее чувстве и доля грустного сожаления. Ах! Будь это дитя собственной ее плотью и кровью!.. Но и так тоже было хорошо.

Кристоф смотрел теперь на Сесиль совсем иными глазами. Ему вспоминались насмешливые слова Франсуаза Удон:

«Вы с Филомелой словно рождены быть мужем и женой. Понять не могу, почему вы не влюбились друг в друга?»

Но сама Франсуаза лучше Кристофа могла ответить на этот вопрос: такие, как Кристоф, редко любят тех, с кем им может быть хорошо; гораздо чаще они любят тех, с кем им бывает плохо. Противоположности привлекают друг друга; природа стремится к самоистреблению, она предпочитает полнокровную жизнь, беспощадно сжигающую себя, жизни благоразумной, которая боится себя растратить. И закон таких людей, как Кристоф, — жить возможно интенсивнее, а не возможно дольше.

Кристоф был менее проникателен, чем Франсуаза, и считал, что любовь — безжалостная, слепая сила. Она соединяет людей, ненавистных друг другу. И разлучает тех, кто сделан из одного теста. По сравнению с тем, что любовь уничтожает, ее вдохновляющая сила не так уж велика. Счастливая любовь расслабляет волю. Несчастливая — разбивает сердце. Где же ее блага?

Но в разгар своих поношений, он увидел насмешливую и ласковую улыбку любви, говорившую ему:

«Неблагодарный!»

Кристофу пришлось еще раз скрепя сердце побывать на вечере в австрийском посольстве. Филомела исполнила песни Шуберта, Гуго Вольфа и Кристофа. Она радовалась и собственному успеху и успеху Кристофа, который стал теперь любимцем избранного круга. И даже среди широкой публики имя Кристофа становилось известнее день ото дня; такие, как Леви-Кёр, уже не могли игнорировать его. Произведения его исполнялись в концертах; одну вещь приняли к постановке в «Опера комик». Незримые нити участия тянулись к нему. Таинственный друг, не раз выручавший его, по-прежнему во всем помогал ему. Не раз Кристоф ощущал содействие чьей-то любящей руки: кто-то опекал его, а сам упорно держался в тени. Кристоф пытался дознаться, кто же этот друг, но тот, повидимому, был обижен, что Кристоф спохватился слишком поздно, и оставался неуловим. Впрочем, Кристофа отвлекали другие заботы: мысли об Оливье, мысли о Франсуазе; как раз в это утро он прочел в газете, что Франсуаза тяжело заболела в Сан-Франциско; он рисовал себе, как она лежит одна в номере гостиницы, в чужом городе, и никого не хочет видеть, не хочет писать друзьям, стиснув зубы, лежит одна и ждет смерти.

Под гнетом таких мыслей он искал уединения и нашел себе прибежище в маленькой отдаленной гостинице. Тут в полутемном уголке, отгороженном вечнозелеными растениями и цветами, он стоял, прислонясь к стене, и слушал чудесный, задушевный и страстный голос Филомелы — она пела шубертовскую «Липу»; прозрачная музыка будила грусть воспоминаний. Напротив, в большом трюмо отражались огни и оживленные лица в соседней зале. Но Кристоф не видел ничего; он углубился в себя и перед глазами его стояла пелена слез... И вдруг, подобно ветвям старой шубертовской липы, он весь затрепетал, сам не зная отчего, и несколько мгновений простоял, не шевелясь, весь бледный. Потом туман перед глазами рассеялся, и он увидел в зеркале женщину-друга, смотревшую на него... Друг? Но кто же она? Он понимал только одно, что она и есть тот самый друг и что он знает ее; и, глядя ей в глаза, он стоял, прислонясь к стене, и дрожал. Она улыбалась. Он не видел черт

ее лица, ее фигуры, не видел, какого цвета у нее глаза, высокая она или маленькая, как одета. Он видел только одно: неземную доброту ее сострадательной улыбки.

И от этой улыбки у Кристофа вдруг всплыло далекое воспоминание раннего детства... Ему лет шесть-семь, он в школе и чувствует себя очень несчастным, его только что обидели и отколотили другие школьники, мальчишки постарше и посильнее; все смеялись над ним, а учитель несправедливо наказал его; остальные играют, он же забился в уголок, сидит один-одинешенек и плачет тихонько. Только одна девочка, всегда какая-то грустная, не пошла играть с другими (она, как живая, стояла перед ним сейчас, хотя он ни разу с тех пор не вспоминал о ней; большеголовая коротышка, светлые, почти белые волосы и ресницы, водянисто-голубые глаза, бледные щеки, толстые губы, лицо скуластое, одутловатое и красные руки); засунув большой палец в рот, она долго смотрела, как он плачет; потом положила ручонку ему на голову и сказала застенчиво, торопливо, с такой же точно сострадательной улыбкой:

— Не плачь!..

Тогда Кристоф не выдержал и расплакался, уткнувшись носом в фартук девочки, а она все твердила срывающимся нежным голоском:

— Не плачь...

Она умерла вскоре, чуть ли не через несколько недель; когда происходила эта сцена, смерть уже, должно быть, занесла над ней руку... Почему он вспомнил ее в эту минуту? Ничего общего не было между этой маленькой бедной мешаночкой из далекого немецкого городка и молодой аристократкой, смотревшей на него сейчас. Однако душа у всех одна; и пусть миллионы людей различны между собой, как миры, свершающие свой путь во вселенной, та же любовь молнией вспыхивает в сердцах, разделенных веками. И Кристоф увидел сейчас то сияние, которое промелькнуло когда-то на бескровных губах маленькой утешительницы...

Это длилось одно мгновение. Толпа хлынула в двери и заслонила от Кристофа соседнюю залу. Боясь, чтобы его волнение не заметили, Кристоф поспешил отступить в темный угол, не отражавшийся в зеркале. Но,

успокоившись немного, он захотел еще раз взглянуть на нее. Он испугался, что она уедет. Войдя в залу, он сразу же увидел ее среди гостей, хотя она была совсем иной, чем тогда, в зеркале. Теперь она сидела в кругу нарядных дам и была ему видна в профиль; облокотясь на локотник кресла и слегка нагнувшись, подперев голову рукой, она с умной и рассеянной усмешкой слушала разговор; выражением и чертами лица она напоминала юного апостола Иоанна, каким изобразил его Рафаэль в своем «Диспуте», где он, полузакрыв глаза, улыбается собственным мыслям...

Но вот она подняла глаза, увидела его и ничуть не удивилась. И он понял, что она улыбается ему. Он смущенно поклонился и подошел к ней.

— Вы меня не узнали? — спросила она.

В этот миг он ее узнал.

— Грация... — произнес он¹.

Проходившая мимо супруга посла выразила удовольствие, что столь желанная встреча, наконец, состоялась, и представила Кристофа «графине Берени». Но Кристоф был так взволнован, что даже не расслышал и не заметил незнакомой фамилии. Для него она попрежнему была его юная Грация.

Грации исполнилось двадцать два года. Она год как была замужем за атташе австрийского посольства, молодым аристократом очень знатной фамилии, родственником имперского премьер-министра, снобом, кутилой, модным денди, уже порядком потасканным; она по-настоящему влюбилась в него и продолжала его любить, хотя и знала ему цену. Старик-отец ее умер. Муж был назначен в посольство в Париж. Благодаря связям графа Берени и собственному обаянию и уму, застенчивая и пугливая девочка превратилась в одну из самых модных дам парижского света, не сделав для этого ни малейшего усилия и ничуть этим не смущаясь.

Великая сила — быть молодой, красивой, нравиться и знать, что нравишься. И меньшая сила — обладать спокойным сердцем, очень трезвым и невозмутимым, и

¹ См. «Ярмарка на площади». — Р. Р.

обрести счастье в полном сочетании своих желаний со своей судьбой. Прекрасный цветок жизни распустился, не утратив гармонического строя своей латинской души, вскормленной светом и несокрушимым покоем родной Италии. Самым естественным образом Грация стала играть видную роль в парижском высшем свете. Она этому не удивлялась и с присущим ей тактом употребляла свое влияние на пользу художественным и благотворительным начинаниям, всякий раз как прибегали к ее помощи; официально возглавлять эти начинания она предоставляла другим, сама же, хоть и держала себя соответственно своему положению, в тайне сохранила от девочки-дикарки из уединенной виллы среди полей внутреннюю независимость, и «свет» в равной мере утомлял и забавлял ее; впрочем, она умела скрыть скуку под приветливой улыбкой, свидетельствующей о врожденной воспитанности и доброте.

Она не забыла своего взрослого друга Кристофа. Конечно, девочки, молча пылавшей невинной любовью, больше не существовало. Теперешняя Грация была женщиной весьма рассудительной, без малейшего налета романтизма. Она с ласковой насмешкой вспоминала о своем не в меру пылком детском увлечении. И тем не менее эти воспоминания умиляли ее. Мысль о Кристофе была связана с самыми чистыми минутами ее жизни. Она испытывала удовольствие всякий раз, как слышала его имя, и радовалась его успехам, словно здесь была и ее доля — ведь она предугадала его славу. Едва приехав в Париж, она стала искать встречи с Кристофом. Под пригласительным письмом, посланным ему, стояла и ее девичья фамилия. Кристоф не обратил на это внимания и, не ответив, бросил приглашение в корзину для бумаг. Грация не обиделась. Без его ведома она продолжала следить за его творчеством и отчасти даже за его жизнью. Именно ее дружеская рука поддержала его во время недавней травли, поднятой газетами. Вообще говоря, Грация брезговала газетным миром, но когда требовалось помочь другу, она была способна пустить в ход все свое коварство, чтобы лукаво обольстить самого неприятного человека. Она пригласила к себе редактора газеты, возглавлявшей свору клеветников, и мигом вскру-

жила ему голову; умело польстив его самолюбию, она так пленила его и вместе с тем внушила ему такой трепет, что достаточно было ей вскользь выразить презрительное недоумение по поводу нападков на Кристофа, и травля разом оборвалась. Редактор немедленно изъясил разносную статью, которая готовилась на завтра, и намылил голову хроникеру, когда тот посмел справиться о причинах изъятия. Мало того, он приказал одному из своих приспешников, мастеру на все руки, в двухнедельный срок состряпать хвалебную статью о Кристофе; статья была состряпана и оказалась как нельзя хвалебнее и глупее. Мысль об исполнении произведений Кристофа на вечерах в посольстве тоже принадлежала Грации, и она же, узнав, что он покровительствует Сесиль, помогла той проявить свое дарование. И, наконец, пользуясь своими связями в немецком дипломатическом мире, она исподволь, со спокойной уверенностью стала привлекать внимание властей к изгнанному из Германии Кристофу; мало-помалу она побудила определенные круги общества добиваться от императора указа, который открыл бы доступ в отечество большому музыканту, прославившему Германию. Правда, надежды на этот милостивый жест были преждевременны, но пока что благодаря хлопотам Грации на краткое пребывание Кристофа в родном городе посмотрели сквозь пальцы.

Кристоф давно уже чувствовал, что его осеняет незримое присутствие женщины-друга, но не мог обнаружить, кто же она, и вдруг узнал ее в облике юного апостола Иоанна, улыбавшегося ему в зеркале.

Они говорили о прошлом. Кристоф не знал, что собственно они говорили. Любимую не видишь и не слышишь. Ее любишь. А чем сильнее любишь, тем меньше сознаешь свою любовь. Кристоф ни о чем не думал. Ему достаточно было, что она тут. Все остальное не существовало...

Грация остановилась на полуслове. Долговязый, довольно красивый, элегантный, бритый, лысеющий молодой человек с презрительно-скупающей миной разглядывал Кристофа в монокль; вот он отвесил высокомерно учтивый поклон, а Грация сказала:

— Мой муж.

Снова стал слышен шум гостиной. Внутренний свет померк. Кристоф замолчал, весь сжавшись, и, ответив на поклон, поспешил ретироваться.

Как смешны и как ненасытны притязания души художника и те ребяческие законы, которые управляют его чувствами! В свое время он пренебрег любовью этой женщины, не вспоминал о ней долгие годы, но стоило им встретиться, как он уже решил, что Грация принадлежит ему, что она его собственность, и если другой завладел ею, значит тот украл ее — сама она не имела права отдать себя другому. Кристоф не понимал, что с ним происходит. Это понимал за него демон музыки, создавший в эти дни ряд самых прекрасных его песен о страданиях любви.

Довольно долго они не виделись. Горе и болезнь Оливье всецело поглотили Кристофа. Но однажды он обнаружил адрес, который дала ему Грация, и решился пойти к ней.

Поднимаясь по лестнице, он услышал стук молотков — рабочие что-то забивали. Вся передняя была загромождена ящиками и сундуками. Лакей ответил, что графиня не принимает. Но когда Кристоф, оставив визитную карточку, понуро пошел прочь, слуга нагнал его, с извинением попросил вернуться и ввел в небольшую гостиную, где ковры уже были сняты и скатаны. Грация вышла к нему, сияя улыбкой, и в радостном порыве протянула руку. Нелепые обиды мигом испарились. Он схватил и поцеловал ее руку в таком же порыве счастья.

— Как я рада, что вы пришли! — сказала она. — Мне очень жаль было бы уехать, не повидавшись с вами!

— Уехать! Вы уезжаете?

Все снова омрачилось для него.

— Как видите, — ответила она, указывая на беспорядок в комнате, — мы покидаем Париж в конце недели.

— Надолго?

Она развела руками:

— Как знать!

У него сдавило горло. Он с трудом проговорил:

— Куда же вы едете?

— В Соединенные Штаты. Муж назначен туда первым секретарем посольства.

— Так, значит, — с трудом выдавил он (у него дрожали губы), — значит, все кончено?..

— Нет, не кончено, друг мой, — ответила она, тронутая его тоном.

— Только я нашел вас и сразу же опять теряю!

На глаза у него навернулись слезы.

— Друг мой! — повторила она.

Он прикрыл глаза рукой и отвернулся, чтобы не показать волнения.

— Не огорчайтесь, — сказала она, касаясь рукой его руки.

Тут он снова вспомнил немецкую девочку. Оба замолчали.

— Почему вы так долго не приходили? — заговорила она наконец. — Я искала встречи с вами, а вы не откликались.

— Да ведь я не знал, не знал, — ответил он. — Скажите, это вы столько раз помогали мне? Вам я обязан тем, что меня пустили в Германию? Вы были моим ангелом хранителем?

— Для меня было радостью хоть чем-нибудь быть вам полезной. Я вам стольком обязана!

— Да чем же? — спросил он. — Я ничего для вас не сделал.

— Вы сами не знаете, что вы значили для меня, — ответила она.

И Грация заговорила о тех временах, когда, девочкой, встретила его у своего дяди Стивенса и его музыка показала ей все то прекрасное, что есть в мире. Постепенно оживляясь, она легкими, туманными и прозрачными намеками открыла ему свои ребяческие чувства, рассказала, как сострадала его горестям, как плакала, когда его освистали в концерте, и как послала ему письмо, на которое он не ответил, потому что оно не дошло до него. А Кристоф слушал ее и чистосердечно относился к прошлому нынешнее свое чувство и нежность, какую внушало ему милое лицо, обращенное к нему.

Они по-дружески весело разговаривали на самые безразличные темы. Говоря, Кристоф взял руку Грации.

И вдруг оба замолчали — Грация поняла, что Кристоф ее любит. И Кристоф тоже это понял...

В свое время Грация любила Кристофа, а его это не трогало. Теперь Кристоф любил Грацию. У Грации же осталось к нему спокойное, дружеское чувство — она любила другого. Нередко случается, что часы жизни одного опережают часы жизни другого, и от этого меняется вся жизнь обоих.

Грация отняла руку, и Кристоф покорился. Несколько мгновений они смущенно молчали.

— Прощайте, — произнесла Грация.

— Значит, все кончено, — повторил Кристоф свою жалобу.

— Должно быть, так лучше.

— Мы не увидимся до вашего отъезда?

— Нет, — сказала она.

— Когда же мы увидимся?

Она с грустным недоумением развела руками.

— Так зачем же, зачем мы встретились снова? — сказал Кристоф.

Но, увидев упрек в ее глазах, поторопился сам ответить:

— Нет, нет, простите, я несправедлив.

— Я буду думать о вас постоянно, — сказала она.

— Увы! Я даже думать о вас не могу, — ответил он, — я ничего не знаю о вашей жизни.

Спокойно в нескольких словах описала она свою жизнь, свои повседневные занятия. Она говорила о себе и о муже с обычной своей светлой, задушевной улыбкой.

— Так вы любите его? — ревниво произнес Кристоф.

— Да, — ответила она.

Он встал.

— Прощайте.

Она тоже поднялась. Тут только он заметил, что она беременна. И от этого у него в душе поднялось неизъяснимое чувство отвращения, нежности, ревности, жгучей жалости. Она проводила его до порога гостиной. В дверях он обернулся, склонился над ее руками и припал к ним долгим поцелуем. Она стояла, не шевелясь, полувзглядывая на нее, торопливо вышел.

*...E chi allora m'avesse
domandato di cosa alcuna,
la mia risponsione sarebbe
stata solamente Amore con
viso vestito d'umiltà...¹*

День всех святых. На улице пасмурно, холодный ветер. Кристоф сидел у Сесиль. Она не отходила от колыбельки, над которой склонилась и г-жа Арно, заглянувшая мимоходом. Кристоф задумался. Он чувствовал, что упустил счастье; он не собирался жаловаться: он знал, что счастье существует. Солнце, мне не нужно тебя видеть, чтобы любить тебя! В те долгие зимние дни, когда я прозябаю в темноте, сердце мое полно тобой; меня согревает любовь — я знаю, что ты существуешь...

Задумалась и Сесиль. Она смотрела на ребенка и почти не помнила, что это не ее ребенок. Благословенна сила воображения, творческая сила жизни! Жизни... А что такое жизнь? Совсем не то, что видно глазам и холодному разуму. Жизнь такова, какой мы ее воображаем. А мерило жизни — любовь.

Кристоф смотрел на Сесиль. Ее грубоватое лицо и широко раскрытые глаза так и сияли всей полнотой материнского чувства — она была больше матерью, чем настоящая мать. Он смотрел и на тонкое усталое лицо г-жи Арно и читал в нем, как в волнующей книге, повесть затаенных, никому неведомых радостей и горестей, которыми жизнь женщины-жены подчас бывает богата так же, как любовь Джульетты и Изольды. Только больше в ней самоотречения и величия...

Socia rei humanae atque divinae...²

¹ ...И если бы тогда меня о чем-нибудь спросили, то со смирением во взоре я ответил бы только: Любовь (итал.) — Данте, «Новая жизнь», гл. XIV. — Прим. ред.

² Союзница в делах человеческих и божественных (лат.).

И равно как вера или отсутствие веры, думал он, так и дети или отсутствие детей не составляют счастья или несчастья замужних или незамужних женщин. Счастье — это аромат души, музыка, поющая в тайниках сердца. Прекраснейшая музыка души — это доброта.

Вошел Оливье. Движения его были спокойны; лицо его светилось небывалым умиротворением. Он улыбнулся малышу, пожал руку Сесиль и г-же Арно и принялся спокойно разговаривать. Они следили за ним с дружеским удивлением. Он словно переродился.

В одиночестве, в котором он замкнулся со своим горем, как гусеница в коконе, ему тяжким усилием удалось стряхнуть с себя бремя скорби, точно пустую оболочку. Когда-нибудь мы расскажем, как он нашел, или думал, что нашел, высокую цель, достойную того, чтобы отдать ей жизнь, а жизнь была теперь ценна для него только потому, что ею можно пожертвовать. Но таков закон природы: едва в душе он отрешился от жизни, как она вновь возгорелась в нем. Друзья не спускали с него глаз. Они не знали, что же произошло, и не решились спросить; но они чувствовали, что он освободился, что у него уже нет сожалений, нет и горечи против чего бы то ни было и против кого бы то ни было.

Кристоф поднялся, подошел к роялю и сказал Оливье:

— Хочешь, я спою тебе песню Брамса?

— Брамса? — спросил Оливье. — Ты стал играть вещи своего давнего недруга?

— Сегодня день всех святых, день всепрощения, — ответил Кристоф.

И он пропел вполголоса, чтобы не разбудить ребенка, несколько тактов швабской народной песни:

...Für die Zeit, wo du g'liebt mi hast
Da dank' i dir schön,
Und i wünsch', dass dir's anderswo
Besser mag gehln...

(Благодарю тебя я за любовь,
За ласку и участие;
Дай бог тебе в других краях
Узнать побольше счастья...)

— Кристоф! — сказал Оливье.

Кристоф крепко обнял его.

— Бодрись, мой мальчик, — сказал он, — нам выпал благой удел.

Они сидели вчетвером у колыбели спящего ребенка. И никто не говорил ни слова. А если бы их спросили, что у них в мыслях, то со смирением во взоре они ответили бы лишь одно:

«Любовь».

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ШЕСТАЯ. АНТУАНЕТТА. Перевод <i>Н. Касаткиной</i>	7
КНИГА СЕДЬМАЯ. В Д О М Е. Перевод <i>В. Станевич</i>	
Предисловие к первому изданию	107
Часть первая	110
Часть вторая	177
КНИГА ВОСЬМАЯ. П О Д Р У Г И. Перевод <i>Н. Касаткиной</i>	279

ОПЕЧАТКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В 4-м ТОМЕ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
62	3 сл.	на сердце	не сердце
116	1 сл.	его отъезда	ее отъезда
156	11 сл.	Schülckchen	Schlückchen
317	18 сл.	начинали	начинала
449	6 сл.	mir	wir
»	7 сл.	verschingen	verschlingen

Ромен Роллан

Собрание сочинений, том 5

Редактор *Т. Кудрявцева*

Оформление художника *Н. Ильина*

Художеств. редактор *А. Ермаков*

Технич. редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *А. Кашич*

Сдано в набор 5/IX 1955 г. Подписано к печати 21/XI 1955 г. А-06167.
Бумага 84×103¹/₃₂—27,5 печ. л. 22,55
усл. печ. л. 21,77 уч.-изд. л. Тираж
240000. Заказ № 396. Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности.
2-я типография „Печатный Двор“ имени
А. М. Горького, Ленинград, Гатчин-
ская, 26.

ГОСПИТАЛ
1956